



Журнал

Редактор Евгений Беркович

**СЕМЬ
ИСКУССТВ**

Наука

Культура

Словесность

10/2010

Журнал
«Семь искусств»

Октябрь 2010

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник Дорота Белас

2010

Журнал
«Семь искусств»

Октябрь 2010

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная верстка и техническое
редактирование Изабеллы Побединой

Ганновер

Издательство «Общества любителей еврейской старины»

Содержание

Борис Болотовский	
Воспоминания о В.Л. Гинзбурге	4
Василий Демидович	
В.М. Тихомиров	85
Элиэзер М. Рабинович	
Второй закон термодинамики и человечество	112
Андрей Пелипенко	
Между природой и культурой	126
Эстер Пастернак	
В немыслимо высоком бытии	167
Генрих Нейгауз мл.	
Интервью с Михаилом Лидским	172
Йеѓуда Векслер	
После спектакля	245
Александр Селицкий	
Благодородство, аристократизм – за роялем и в жизни	297
Марк Райс	
Два эссе об Арнольде Шёнберге	324
Давид Паташинский	
Потому не молчу	336
Софья Шапошникова	
Из книги «Гений в плену или в плену у гения»	346
Марк Азов	
Книга	362
Даниэль Тамар	
Тени прошлого	370
Елена Матусевич	
Чемодан. Рассказы	387
Хаим Соколин	
И сотворил Бог нефть	398
Нина Воронель	
Герой своих романов	465
Георгий Фрумкер	
Хочется верить	503
Григорий Рыскин	
Реценз-з-з-з-ия	509
Об авторах	525



Борис Болотовский

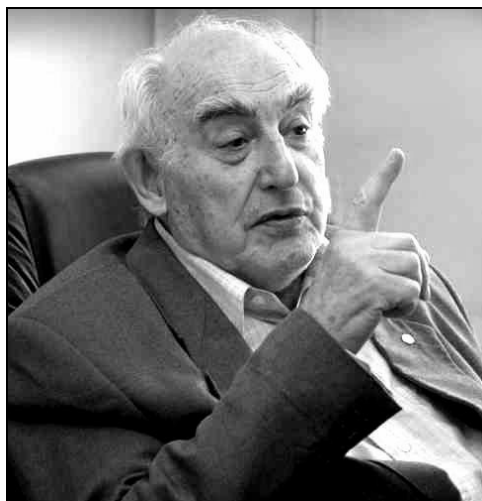
Воспоминания о В.Л. Гинзбурге



1950 году я учился на пятом курсе Физического Факультета МГУ. Пятый курс – время подготовки дипломной работы. Для выполнения дипломной работы, как правило, студента прикрепляли к научному руководителю. Первоначально предполагалось, что моим научным руководителем будет профессор Евгений Львович Фейнберг. Мне дали номер телефона и адрес Евгения Львовича, я созвонился с ним, и он пригласил меня к себе домой для знакомства и беседы. Евгений Львович мне с первого знакомства очень понравился. Доброжелательный и обаятельный человек, он предложил мне тему для дипломной работы, связанную с рассеянием нейтронов, и дал список литературы, которую я должен был предварительно изучить, чтобы войти в дело. На ознакомление с указанной литературой у меня ушло несколько месяцев. Но после этого Евгений Львович неожиданно сообщил мне, что эта тема – рассеяние нейтронов – для него более не представляет интереса, а другой темы он сейчас мне дать не может. Таким образом, я оказался без руководителя и без темы для исследования. А время уходило.

Потом, много позднее, я узнал, что тема, которую мне предложил Евгений Львович Фейнберг, была связана с его работой – он сотрудничал с лабораторией И.М.Франка, где проводились экспериментальные и теоретические исследования по замедлению и рассеянию нейтронов. Но как раз в то время, о котором я пишу, Евгений Львович был отстранен от этой тематики. Причиной отстранения послужило то обстоятельство, что жена его, Валентина Джозефовна Конен, известный музыковед, автор многих

книг по теории и истории музыки, провела свое детство и юность в США, куда ее отец, борец против царизма, вынужден был эмигрировать, спасаясь от преследований царской власти. У Валентины Джозефовны даже было американское гражданство. Через несколько лет после революции семья вернулась в Россию. Однако, проживание за границей было поводом для подозрения. Работы по нейтронной физике были засекречены, как и вся тематика, связанная с атомным ядром. Представляете себе: у одного из разработчиков секретной темы жена когда-то жила в Соединенных Штатах Америки!



Виталий Лазаревич Гинзбург (все фотографии в этой статье взяты из личного [семейного] архива В.Л. Гинзбурга и из архива Отделения теоретической физики Физического института им. П.Н. Лебедева)

Руководителем моей дипломной работы стал Иосиф Соломонович Шапиро, в то время доцент отделения строения вещества. От него я получил тему работы – фоторождение мезонов. Пришлось выполнять много расчетов, аналитических и численных. Относительно мезонов тогда мало что было известно. Поэтому расчеты проводились для разных вариантов мезонной теории – скалярных, векторных, псевдовекторных – и для разных

видов взаимодействия. Летом И.С.Шапиро снимал дачу под Москвой, и я регулярно к нему приезжал для обсуждения на всех стадиях выполнения своей дипломной. К концу лета 1950 года расчеты были в основном закончены. И в один из последних моих визитов на дачу Иосиф Соломонович спросил:

– Где вы собираетесь работать после окончания университета?



В то время выпускники университета, как и всех высших учебных заведений, подлежали распределению. И я тогда готовился к тому, что, вот, окончу я университет, а потом вызовут меня на комиссию по распределению и направят на работу, а куда направят – об этом гадать бесполезно. Куда направят, туда я и обязан ехать. Моих родителей предстоящее распределение очень заботило, а я по молодости не понимал всей важности этого мероприятия для моей дальнейшей судьбы. На вопрос моего руководителя я ответил, что буду работать там, куда меня направят. Иосиф Соломонович ничего на это не сказал, но на лице его появилось выражение сомнения и озабоченности.

И уже поздно осенью, в октябре, Иосиф Соломонович позвонил мне домой и сказал:

– Я говорил о вас с Виталием Лазаревичем Гинзбургом. Он хочет с вами познакомиться. Подходите к зданию Физического института (он назвал день и час), Гинзбург к вам выйдет.

Нет уже на свете Иосифа Соломоновича Шапиро. Он был замечательным физиком и выдающимся учителем. Не все знают, в частности, что он открыл несохранение четности в ядерных реакциях. Открытие кардинально меняло представления о мире, в котором мы живем. Иосиф Соломонович обсудил полученный им результат со Львом Давидовичем Ландау, и тот отнесся к результату скорее отрицательно, чем положительно. И.С. Шапиро и сам не был твердо уверен, и не решился опубликовать уже написанную статью. А через несколько лет к такому же заключению о несохранении четности в ядерных реакциях пришли два американских физика китайского происхождения – Т.Д. Ли и Янг. Они свой результат опубликовали. Это открытие было удостоено Нобелевской премии. Понятное дело, премия была присуждена Ли и Янгу. Иосифу Соломоновичу досталось только сознание того факта, что он сделал открытие мирового класса. Но и это не так уж мало.

Что касается меня, то я ему обязан еще и за то, что он свел меня с Виталием Лазаревичем Гинзбургом.

В назначенные день и час я подошел к ограде Физического Института имени П.Н.Лебедева Академии Наук СССР. Таково полное официальное название института, как он тогда назывался. Сокращенно (по первым буквам) – ФИАН СССР. Теперь нет уже СССР – Союза Советских Социалистических Республик, нет и Академии Наук СССР. Конечно, Академия Наук сохранилась, но она теперь называется иначе – Российская Академия Наук (РАН). Если придерживаться буквы закона, то и официальное название Физического Института имени Лебедева тоже изменилось – он теперь называется Физический Институт имени П.Н.Лебедева Российской Академии Наук, сокращенно по первым буквам – ФИРАН. Но фактически за институтом сохранилось прежнее сокращенное название, прежняя аббревиатура ФИАН. Так его все и называют, и молодые сотрудники, и старые. И я в своем дальнейшем рассказе так и буду называть этот замечательный институт.

В то время я знал Виталия Лазаревича Гинзбурга по его публикациям, точнее, по его книге

«Сверхпроводимость». Во время учебы на Физическом факультете МГУ мы проходили лабораторный практикум по физике низких температур. Практикум располагался в Институте физических проблем Академии Наук. В те годы книга В.Л. Гинзбурга «Сверхпроводимость» была, пожалуй, единственным систематическим источником на русском языке, из которого можно было почерпнуть основные сведения о состоянии дел в этой области. Прежде, чем приступить к выполнению лабораторных работ, студенты должны были получить представление о физике низких температур и пройти довольно трудное собеседование. Знакомство с книгой В.Л. Гинзбурга «Сверхпроводимость» сильно облегчало эту задачу. Но этим мои сведения о Виталии Лазаревиче Гинзбурге не исчерпывались. Он в конце 40-х годов прошлого века стал одной из жертв антисемитской травли на государственном уровне. Травля проходила под лозунгом борьбы против безродного космополитизма. Я читал направленные против него газетные статьи. В.Л. Гинзбурга обвиняли в отклонениях от единственно правильного и научно обоснованного великого и непобедимого учения – марксизма-ленинизма, а также в том, что он систематически не ссылается на работы советских физиков. Это, по сути, были обвинения в политической неблагонадежности и научной недобросовестности. Обвинения эти никак не были обоснованы, но не в том дело, что они не были обоснованы, а в том, что они были громогласно высказаны. В те годы человек, против которого выдвигались такие обвинения, мог ждать самого плохого – увольнения с работы, ареста, судебного преследования. Тому, кто стал объектом травли, надо было сушить сухари.

И вот, в назначенное время я ходил перед оградой Физического института и ждал встречи с Виталием Лазаревичем Гинзбургом. Через решетку ограды я видел красивое четырехэтажное здание, стоявшее в глубине участка. Справа и слева от него и несколько впереди стояли симметрично два здания поменьше – двухэтажные. Центральное здание было построено еще до революции 1917 года. Средства, и немалые, были выделены знаменитым

Леденцовским обществом, о котором теперь мало кто помнит. Здание строилось для великого физика Петра Николаевича Лебедева. П.Н. Лебедев ушел из Московского Университета в знак протеста против политики властей в области высшего образования. Для него и строился институт, чтобы дать ему и его ученикам возможность продолжать свои исследования. Но Лебедев вскоре тяжело заболел и не дожил до того дня, когда постройка была закончена и здание было введено в строй. В здании обосновался Институт физики и биофизики, а возглавил институт академик Петр Петрович Лазарев, ближайший ученик П.Н. Лебедева, взявший на себя еще при жизни Лебедева заботу о школе великого физика и о достройке здания. Это все произошло за несколько лет до Революции 1917 года. После революции институт продолжал плодотворную научную работу во многих областях физики. Надо было поднимать науку после революции, и институт Лазарева внес большой вклад в решение этой задачи.

Институт Лазарева (Институт Физики и Биофизики) закончил свое существование в 1931 году. Петр Петрович Лазарев был арестован, институт был закрыт, и все сотрудники были уволены. В здании расположился Институт Спецзаданий. По какой причине был арестован Лазарев, почему закрыли его Институт Физики и Биофизики, чем занимался Институт Спецзаданий – на все эти вопросы до сих пор нет ясных и четких ответов. П.П. Лазарев через полгода был освобожден, а через год после ареста получил разрешение вернуться в Москву, но до конца жизни (он умер во время войны, в 1942 году, в эвакуации) так и не оправился от перенесенных страданий.

Институт Спецзаданий просуществовал около двух лет, а затем сгинул без следа, вместе с заведующим и со всеми своими сотрудниками, и вместе с ним сгинуло богатейшее научное оборудование, которым располагал институт Лазарева. Здание снова опустело. Уцелела только библиотека.

В 1934 году здание было предоставлено только что учрежденному Физическому Институту Академии Наук (ФИАНу). Директором ФИАНу был назначен академик

Сергей Иванович Вавилов, ученик Петра Петровича Лазарева. А уже в первые годы после Великой Отечественной Войны были построены два флигеля – правый и левый. В левом флигеле, если стоять лицом к фасаду главного здания, помещалась лаборатория ускорителей, в правом – лаборатория атомного ядра.

И вот эти самые здания – центральное и два боковых поменьше – я и видел за прутьями ограды, не зная, впрочем, ничего из тех исторических сведений, которые я привел выше. Обо всем этом я узнал сравнительно недавно и решил здесь об этом упомянуть, потому что эти исторические подробности в наши дни мало кому известны.

ФИАН в этих зданиях, расположенных на Миусской площади, находился до конца 1951 года, а потом постепенно, одна лаборатория за другой, стали переезжать в новое большое здание на Ленинском проспекте. И все лаборатории ФИАНа туда переехали. Здание на Миусской площади снова опустело, и вскоре там расположился Институт Прикладной Математики Академии Наук. И поскольку это произошло давно, шестьдесят лет назад, то сегодня многие только и знают этот «новый» адрес ФИАН – Ленинский проспект, 53 – и неявно предполагают, что ФИАН там всегда и находился, где сегодня находится.

На встречу с В.Л. Гинзбургом я пришел раньше назначенного мне времени – боялся опоздать. Вот и пришлось погулять под мелким холодным дождем.

В точно назначенное время я увидел сквозь прутья решетки, как из главного здания быстрым шагом вышел человек в светло-сером костюме и без пальто. Он быстро прошел через проходную – не бежал, а шел быстрым шагом, вышел на улицу, подошел ко мне и спросил:

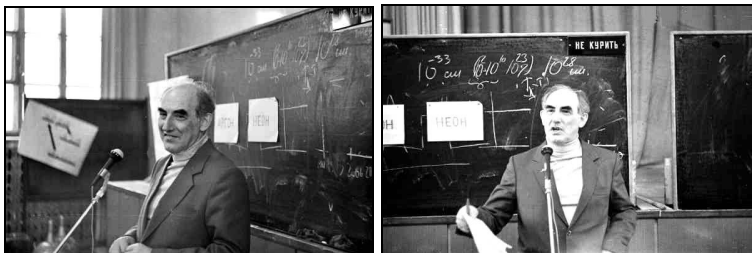
– Вы Болотовский?

Мы поздоровались, и Виталий Лазаревич, несмотря на мелкий, редкий и холодный осенний дождик, стал меня экзаменовать. На дождик он не обращал никакого внимания. Я ему сказал, что он может простудиться, но он пропустил эти мои слова мимо ушей. Виталий Лазаревич производил впечатление очень крепкого здорового человека. Здорового и темпераментного, быстрого на реакцию. Ему тогда было

35 лет. Я уже не помню всех вопросов, которые он мне задавал. Помню, что он попросил написать уравнения Максвелла. Я написал в четырехмерной записи. Это ему понравилось. Потом он попросил написать вектор тока для уравнения Дирака. Потом еще о чем-то спрашивал и в заключение сказал:

– Теоретический Отдел ФИАН подаст на Вас заявку в комиссию по распределению.

Никакого ручательства в том, что эта заявка будет удовлетворена, я дать не могу. И никто не может. От Вас пока требуется только одно – Вы должны ходить на семинар Теоретического Отдела. Это обязательное требование. Свяжитесь с секретарем семинара Виктором Павловичем Силиным, я вам дам номер его телефона. Силин Вам оформит пропуск.



Я записал телефон Силина. Виталий Лазаревич простился со мной и быстрым шагом скрылся в проходной.

В ближайшие дни я созвонился и познакомился с Виктором Павловичем Силиным. Пропуск мне оформили быстро, и стал я ходить на еженедельный семинар Теоретического отдела.

Участников семинара в то время можно было грубо и приблизительно, но все же с некоторым основанием, разделить на две группы – «старики» и молодежь. Слово «старики» я заключил в кавычки, потому что по возрасту своему «старики» не были людьми пожилого возраста. Это были физики-теоретики среднего возраста. «Старики» – это были Семен Захарович Беленький, Виталий Лазаревич Гинзбург, Моисей Александрович Марков, Евгений Львович Фейнберг. Конечно, «стариком» был и Игорь Евгеньевич

Тамм, заведовавший Теоретическим отделом со дня основания ФИАН в 1934 году. Он и по возрасту был самым старшим, хотя и далеко не стариком – ему было в то время 55 лет. Остальные «старики» были лет на 15-20 моложе. М.А. Марков был сотрудником отдела с первого дня, Е.Л. Фейнберг пришел в Теоретический отдел в 1938 году, В.Л. Гинзбург – в 1940 г. Семен Захарович Беленький стал сотрудником Отдела в конце Отечественной войны, однако, еще до войны он был аспирантом Игоря Евгеньевича на Физическом факультете МГУ, на кафедре теоретической физики. Научным руководителем аспиранта Беленького был Игорь Евгеньевич, который тогда заведовал кафедрой теоретической физики. Формально Семен Захарович пришел в Теоретический отдел позднее остальных «стариков», но задолго до зачисления в Отдел он состоял в тесных научных и дружеских отношениях со «старожилами» отдела, которые, как и он, были учениками Игоря Евгеньевича. Но, хотя это были ученики одного учителя, каждый из «стариков» был яркой индивидуальностью, непохожей на остальных, и в науке и в повседневной жизни. Если не знать, что они все были учениками Игоря Евгеньевича Тамма (а я этого тогда не знал), то такая мысль даже не могла прийти в голову. Уже позднее я понял, что Игорь Евгеньевич Тамм, как учитель, старался разглядеть в каждом ученике сильные стороны – у каждого свои – и способствовать их развитию.

У замечательного поэта Михаила Светлова есть запись, в которой говорится:

«Учитель – по установившейся вульгарной традиции – это человек, которому надо подражать. Я с этим категорически не согласен. Учитель – это человек, который помог тебе стать самим собой».

И.Е. Тамм и был таким учителем. В те дни он редко появлялся на семинаре, он работал далеко от Москвы в секретном научном центре, где создавалась водородная бомба. Вместе с Игорем Евгеньевичем и под его началом в том же самом научном центре работали два сотрудника Теоретического отдела, Андрей Дмитриевич Сахаров и Юрий Александрович Романов. Игорь Евгеньевич Тамм иногда появлялся на семинаре. Это случалось во время его

редких приездов в Москву, и это был праздник для всех участников.

«Старики» задавали тон на семинаре. Молодежь до поры до времени помалкивала и прислушивалась.

Молодежь состояла в основном из выпускников Московского Государственного Университета и Московского Инженерно-Физического Института, зачисленных в Теоретический Отдел уже после Великой Отечественной Войны. За несколько лет, начиная с 1948 года, состав Теоретического Отдела удвоился, а, возможно, более чем удвоился. Это были годы, когда бурно развивались те области физики, которые имели важнейшее прикладное значение для государства. Прикладные области были важны и для мирных, и для военных приложений: атомная энергетика (ядерные реакторы, атомное и водородное оружие); радиофизика (связь, радиолокация), ракетная техника (боевые ракеты, реактивная авиация). Набор студентов на физические специальности университетов и технических институтов был значительно увеличен, и за несколько лет в ФИАН пришло много научной молодежи. Из молодых сотрудников теоретического отдела помню Ю.А. Гольфанда, Г.Ф. Жаркова, В.П. Силина, В.Я. Файнберга, Е.С. Фрадкина, Ю.К. Хохлова Д.С. Чернавского. На семинар приходили также и аспиранты Отдела. Их было человек пять – семь. Среди аспирантов выделялся Юрий Мелитонович Ломсадзе – светловолосый, начинающий лысеть, с усами по грузинскому обычаю и с добродушной и доброжелательной улыбкой. Он имел парадоксальный склад ума, и высказывания его нередко бывали столь же парадоксальны и остроумны. Рассказывали, что на приемных экзаменах в аспирантуру его спросили, среди прочих вопросов, каков удельный вес железа. Юра подумал и сказал: «сто!». В действительности, удельный вес железа на порядок меньше. «Почему сто?» – спросили экзаменаторы. Юра пояснил: «Потому что железо тонет в воде!». Он был человек с неистребимым чувством юмора. Мы тогда любили задавать друг другу всякие хитрые задачки, ставить каверзные

вопросы. И вот, Юрий Мелитонович, бывало, с самым серьезным видом спрашивал:

– Чего на свете больше – лошадей или коров?

В те годы ответить на этот вопрос городскому жителю было не просто. Человек затруднялся с ответом, а Ломсадзе пояснял:

– Коров больше, чем лошадей.

И пояснял:

– Потому что лошадей крадут.

– Юра, – говорил собеседник, – я не понимаю. Если лошадь украдут в одном месте, она же появится где-то в другом месте, и полное число лошадей при этом не изменится.

– Нет, ты не прав, – отвечал Юра с самым серьезным видом, – их везде крадут.

Если же ему кто-то, в свою очередь, задавал хитрую задачу, Юра ненадолго задумывался, а потом, опять же, сохраняя полную серьезность, говорил:

– Хочешь, я докажу тебе в общем виде, что эта задача не имеет решения?

Позднее Юрий Мелитонович Ломсадзе в течение ряда лет заведовал кафедрой теоретической физики Ужгородского университета. По его инициативе Ужгородский университет в течение ряда лет проводил всеоюзные конференции по квантовой теории поля.

Семинар Теоретического отдела посещали также молодые теоретики из других лабораторий ФИАН. Я познакомился тогда с Юрием Дмитриевичем Усачевым, работавшим в лаборатории В.И.Векслера. Он меня тогда поразил своей высокой интеллигентностью, которая стала для меня недостижимым примером.

С докладами на семинаре выступали и старшие участники, и молодежь. Тематика докладов преимущественно группировалась вокруг квантовой теории поля, а точнее, вокруг квантовой электродинамики. Эта теория в те годы быстро развивалась и вскоре достигла известного завершения. Перенормировка, лэмбовский сдвиг, поправки более высоких приближений к значениям физических величин (в частности, магнитного момента

электрона) – эти результаты часто докладывались и обсуждались на семинаре. Докладывались первые работы Габора по голографии, работы по физике высоких энергий, по проблеме причинности. Много внимания было уделено подходу Гейзенберга и описанию физических процессов с помощью S-матрицы, а также работам Гейзенберга по нелинейной теории. В те годы было открыто несколько разных мезонов и измерены их свойства – спин, заряд, время жизни. Об этом тоже шла речь на семинаре.

Виталий Лазаревич активно участвовал во всех обсуждениях, часто высказывался, задавал много вопросов. Тем не менее, видно было, что высокая квантовая электродинамика его не увлекает, хотя он и отдавал ей должное. Один раз он даже пошутил – задал вопрос после того, как докладчик рассказал об очередной работе:

– А нет ли чего-нибудь нового из физики XIX века?

Он тогда интересовался распространением радиоволн в различных средах, физикой низких температур и много еще чем. Как раз в это время вышла из печати совместная работа его и Л.Д.Ландау по теории сверхпроводимости. Эта замечательная работа содержала минимальное количество исходных положений, которые вытекали из первых принципов, и была также основана на предположении, что переход из нормального состояния в сверхпроводящее аналогичен фазовому переходу второго рода. Знаменитое уравнение Гинзбурга-Ландау позволило описать многие свойства сверхпроводников, но также оказалось применимо к объяснению многих физических явлений, далеких от сверхпроводимости. Уравнения такого типа применяются теперь для рассмотрения широкого круга проблем от сегнетоэлектричества до космологии.

Со мной Виталий Лазаревич каждый раз здоровался и обменивался рукопожатием. Тема моей дипломной работы его не интересовала. Примерно через месяц он мне сказал при встрече:

– Теоретический Отдел послал на вас заявку в комиссию по распределению. Нет никакой гарантии, что заявку примут во внимание. Но будем надеяться на лучшее.

А мне уже очень хотелось стать сотрудником Теоретического отдела ФИАН. И семинар был для меня интересен, хотя я далеко не все понимал из того, что там говорилось, но чем дольше я ходил туда, тем яснее для меня становились обсуждавшиеся там темы. И люди, участники семинара, мне нравились, и их отношение друг к другу.

В ноябре 1950 года я благополучно защитил свою дипломную работу. Затем сдал государственные экзамены, отпраздновал со всеми своими однокурсниками окончание университета и стал ждать, куда меня направит комиссия по распределению.

Распределение состоялось в самом конце января 1951 года. Заявка, посланная теоретическим отделом, сработала. Меня направили на работу в ФИАН. Но я не сразу это понял. Мне вручили путевку, где было написано, что я направляюсь на объект товарища В.Л. Левшина и должен туда явиться 15 февраля 1951 года. Не в ФИАН, а на объект товарища Левшина. Но там же, в комиссии по распределению, я узнал, что объект товарища Левшина – это и есть ФИАН, Физический институт имени П.Н. Лебедева Академии Наук. Потом я сообразил, откуда появилось такое название института – «объект товарища Левшина». Профессор Вадим Леонидович Левшин был заместителем директора ФИАН. Он был другом и многолетним сотрудником директора ФИАН академика Сергея Ивановича Вавилова. В середине января 1951 года Сергей Иванович умер, и В.Л. Левшин стал временно исполняющим обязанности директора. При этом ФИАН из «объекта товарища С.И. Вавилова» превратился в «объект товарища В.Л. Левшина». А сама эта формулировка – «объект товарища ИмяРек» – была принята по соображениям секретности. Враг не должен был знать, в какой институт меня направили на работу. И, более того, многочисленные враги и шпионы не должны были знать, что вообще существует на свете Физический институт имени П.Н. Лебедева. Не существует такого института, а зато существует «объект товарища Левшина».

Вот и пусть ломают голову.

Из комиссии по распределению я прямоком отправился домой, где мои родители с волнением ждали, как повернется моя судьба. В те дни их волнение было мне непонятно. Я думал: о чем тут беспокоиться? Куда направят на работу, туда и направят, там и буду работать, из-за чего тут переживать? Но с того времени прошло много лет, я сам стал сначала отцом, а потом и дедушкой. Теперь я, обращаясь мыслями в далекое прошлое (все-таки это было шестьдесят лет назад) и, вспоминая свой день распределения, вполне понимаю и волнение моих родителей и их радость, когда они узнали, что я остаюсь в Москве. Главное мое везение было тогда им – да и мне самому – еще неизвестно. А заключалось это везение в том, что я был направлен для работы в совершенно замечательное место, уникальный институт, где работали великие физики и великие учителя, от которых было чему научиться в науке. И учили они не проповедями, а делом, своим личным примером. Да еще к этому надо добавить, что были эти люди примером не только в науке, а в повседневном поведении. И это тоже было далеко не последним делом, может быть, даже более важным.

То, что мне посчастливилось попасть на работу в ФИАН – это я понял не сразу, а много лет спустя. И не потому мне посчастливилось, что жизнь в ФИАНе была легкой. Такая же трудная была жизнь, как и всюду вокруг, и для меня, и для всех, с кем я работал, и для тех, кого я считал примером для подражания. Оглядываясь назад, на прожитую жизнь, я вижу, что мне повезло в двух отношениях. С самого начала те физические задачи, которыми я занимался, были мне интересны. Это – первая причина. Мне работать было интересно. А вторая причина состоит в том, что среди людей, рядом с которыми мне довелось работать, были люди совершенно замечательные. Эта вторая причина, повторюсь, возможно, является даже более важной, чем первая. Как говорят англичане, last but not least (последняя по порядку, но не последняя по значению).

15 февраля 1951 года в назначенное время я явился в ФИАН. Я пришел вместе с еще несколькими выпускниками,

получившими, как и я, направление на работу в ФИАН. Нас было человек восемь: Толя Белоусов, Женя Лейкин, Ия Соколова, Володя Спиридонов, Гарик Сокол, Женя Минарик, Роза Парунцева... Мы собрались в коридоре перед дверью директорского кабинета. Что-то нам рассказывал Женя Лейкин. Он уже знал, в какую попадет лабораторию, уже имел разговор с одним из ведущих сотрудников этой лаборатории – с профессором Черенковым. Лаборатория находилась на краю тогдашней Москвы. Женя рассказывал, что он спросил тогда Павла Алексеевича Черенкова, как доехать до лаборатории, на каком трамвае, троллейбусе или автобусе. Павел Алексеевич ответил:

–Я не пользуюсь услугами городского транспорта.

Мы такому ответу изумились и решили, что Павел Алексеевич Черенков, наверное, занимает высокий пост и ездит по городу на персональной машине. Однако, объяснение было простое: П.А. Черенков жил поблизости от лаборатории. Я слушал Женин рассказ с большим вниманием, мне заранее было интересно все, что касается института, и людей, в нем работающих.

Мы недолго разговаривали. Вскоре нас по одному стали вызывать в кабинет директора. Прием проводил профессор Павел Алексеевич Бажулин. Он тогда исполнял обязанности заместителя директора. Я Бажулина знал. В бытность мою студентом я ему сдавал задачи оптического спецпрактикума. К студентам он не придирался, старался только выяснить меру понимания и степень самостоятельности – какие из приведенных в отчете данных мы сами намерили, а какие «содрали» – у товарищей, ранее выполнявших ту же работу. В моем случае он сразу определил, какую часть результатов я сам получил, а какую «позаимствовал». Пожурил меня за попытку обмануть преподавателя, но в целом отнесся ко мне вполне благожелательно.

– Это ты не мерил. Это ты списал, – сказал он, уставив палец в колонку цифр. – Не стыдно тебе?

Стыдно мне тогда не было, а было очень неудобно. Я молчал. Павел Алексеевич задал мне несколько вопросов, потом объяснил те детали работы, которые, по его

справедливому мнению, я недостаточно понимал, и в конце концов поставил мне хорошую оценку.

В помещении оптического практикума царила полная темнота, только на столе у Бажулина горела лампа, и то она освещала только часть поверхности стола, на которой лежал мой отчет по измерениям. Все остальное терялось во тьме. Я не видел лица Павла Алексеевича, он не видел моего лица. Так что навряд ли он меня тогда запомнил и мог узнать в лицо. Уже работая в ФИАНе, я с ним ближе познакомился.



На этот раз Бажулин, поздоровавшись со мной, спросил, как моя фамилия, и углубился в список молодых специалистов, присланных в ФИАН по распределению. Отыскав меня в списке и прочитав какие-то пометки напротив моей фамилии, он сказал:

– Вас прислали к нам по заявке Теоретического отдела. Но там сейчас нет вакансий. Мы Вас направляем в Эталонную лабораторию.

Я этим был немного обескуражен. Ничего я не имел против Эталонной лаборатории, тем более что ничего о ней не знал, не знал, кто там работает, и чем эта лаборатория занимается. А сотрудники Теоретического отдела мне были знакомы по семинару, и я уже представлял себе, что я начну работу под руководством Виталия Лазаревича Гинзбурга, и пытался отгадать, чем я буду заниматься. А тут – неведомая мне Эталонная лаборатория, где я ни одного сотрудника не знаю. Но скоро я до некоторой степени утешился, потому что в ту же Эталонную лабораторию были направлены почти все мои однокурсники, которые явились в тот день.

Мы отправились в Эталонную лабораторию. Она была расположена в левом из двух флигелей, стоявших по обе стороны перед главным зданием (в левом, если стать лицом к фасаду главного здания). Нас провели в кабинет заведующего лабораторией. Его там не было, он появился несколько минут спустя. В кабинет быстрым шагом вошел, почти вбежал профессор Владимир Иосифович Векслер. Мы все его знали, он нам читал курс лекций, посвященный прохождению заряженных частиц через вещество. Именно он и был заведующим Эталонной лабораторией. За ним, стараясь не отставать, в кабинет вошли несколько сотрудников. По-видимому, Векслеру пришлось прервать обсуждение каких-то насущных вопросов для того, чтобы познакомиться с молодым пополнением. Участники этого прерванного обсуждения не хотели упускать своего руководителя и терпеливо ждали, пока он с нами разговаривал.

У Векслера была хорошая память на лица. Многих из нас он помнил. Меня он спросил:

– Вы теоретик?

Я сказал:

– Да.

Векслер распорядился:

– Отдать его Маркову!

Распределив всех новичков, Векслер выбежал из кабинета. За ним побежали сторожившие его сотрудники. А мне объяснили, как найти Маркова.

Профессора Моисея Александровича Маркова я тоже знал по университету. Он нам читал лекции по ядерной физике. И он был председателем комиссии, в которой происходила защита дипломных работ. А еще я знал его как автора прекрасной статьи «О природе физического знания». Эта статья была опубликована в журнале «Вопросы философии» в 1947 году и содержала очень ясно изложенное понимание особенностей квантового мира. Мне, студенту статья очень понравилась. Однако, эта статья послужила поводом для травли Маркова – сначала со стороны невежественных философов. Маркова обвинили в отходе от марксистской философии, в идеализме, что в те

времена было очень опасным обвинением. К травле присоединились и некоторое количество невежественных физиков. Были среди физиков и такие, которые понимали квантовые закономерности примерно так же, как их понимал М.А. Марков, но, несмотря на это, подключились к травле из соображений карьеры. Клич «ату его!» – очень заразителен. Директору ФИАН академику Сергею Ивановичу Вавилову пришлось приложить немало усилий для того, чтобы все эти нападки не привели к вещественным «оргвыводам». А оргвыводы могли быть очень вещественные. В частности, и это было еще не самое страшное, предлагалось отменить решение Высшей Аттестационной Комиссии о присуждении М.А. Маркову профессорского звания.

В Эталонной лаборатории М.А. Марков заведовал Теоретическим отделом. Вот меня к нему и направили.

Марков был в своем кабинете. Он поздоровался со мной, оставил свои дела и повел меня по лаборатории знакомить с сотрудниками. Он меня представлял. Я в тот день познакомился с несколькими сотрудниками Эталонной лаборатории, в основном, с теоретиками. Марков довел меня до Евсея Моисеевича Мороза, а в кабинете Мороза оставил меня и пошел по своим делам. А Сеня Мороз повел меня на отведенное мне место.

В большой комнате, куда он меня привел, стояли три письменных стола. За двумя столами сидели две девушки, две Гали – Галя Большая (Кузьмичева) и Галя Маленькая (Харламова). Это были расчетчицы. Они производили численные расчеты, составляли таблицы и графики по тем формулам, которые им приносили теоретики. Третий письменный стол был предназначен для меня.

Сеня познакомил меня с девушками. По случаю знакомства завязался между нами разговор обо всем и ни о чем. Во время разговора я расхаживал между столами. Разговор длился несколько минут, а потом, неожиданно для меня, обе Гали поднялись и вышли. Когда за ними закрылась дверь, Сеня мне сказал: – Застегните брюки.

Вот так получилось, что в первый день работы в ФИАНе, в Эталонной лаборатории, я был представлен и

познакомился с некоторым числом сотрудников, представлял меня Моисей Александрович Марков, а я ходил за ним с расстегнутыми брюками. Но, судя по всему, на это обстоятельство обратили внимание только две Гали – Галя Большая и Галя Маленькая.

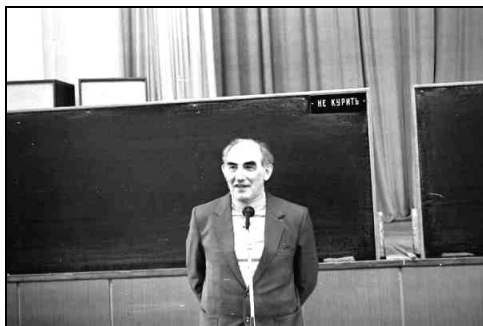
Со следующего дня началась моя работа в Эталонной лаборатории. В процессе работы я скоро понял, какие научные задачи стояли перед Эталонной лабораторией. Название лаборатории – «Эталонная» – к этим задачам никакого отношения не имело и объяснялось соображениями секретности.

В лаборатории проектировались и строились ускорители заряженных частиц, рассчитанные на все более и более высокие энергии. В основе работы ускорителей лежал принцип автофазировки, открытый В.И.Векслером в 1944 году и годом позже переоткрытый американским физиком Э. МакМилланом. Применение этого принципа произвело переворот в ускорительном деле, позволив во много раз повысить достижимые энергии. В Эталонной лаборатории к тому времени уже работали два электронных синхротрона – С-3 и С-25. Первый из них ускорял электроны до энергии в 30 миллионов электрон-вольт, второй – до энергии 250 миллионов электрон-вольт. Уже разрабатывался и далеко продвинулся проект гигантского ускорителя протонов, рассчитанного на энергию 10 миллиардов электрон-вольт.

Запуск ускорителей не был самоцелью. После того, как они вводились в строй, начиналось исследование различных ядерных реакций с участием ускоренных частиц. Одним из направлений исследования в Эталонной лаборатории было фоторождение мезонов. Пучок электронов в конце цикла ускорения пропускали через мишень. Взаимодействуя с ядрами мишени, электроны давали тормозное излучение. Как известно, тормозное излучение имеет непрерывный спектр, причем верхняя граница спектра (максимальная энергия тормозных квантов) равна энергии налетающего электрона. На ускорителе С-25 энергия тормозных квантов была достаточна для рождения мю- и пи-мезонов. Фоторождение мезонов и было тогда одним из направлений исследования в Эталонной

лаборатории. На ускорителе С-3 изучали «гигантский дипольный резонанс» – возбуждение колебаний ядра под воздействием жестких гамма-квантов.

Мне в первый год работы пришлось выполнять и расчеты, которые относились к динамике работы ускорителя, и расчеты по физике высоких энергий. Первая моя работа относилась к оценке потерь ускоряемых электронов из-за столкновений с молекулами остаточного газа в камере ускорителя. Ускоряемый электрон сталкивается с молекулой остаточного газа, рассеивается и выходит из режима ускорения. При достаточно большой энергии такой «сбитый с пути» – электрон выходит из вакуумной камеры и дает вклад в радиационный фон вокруг ускорителя.



После того, как я оценил потери электронов на остаточном газе, мне было поручено провести расчет ионизационной камеры, с помощью которой предполагалось измерять интенсивность тормозного излучения. Камера состояла из двух толстых графитовых пластин, между которыми поддерживалась постоянная разность потенциалов. Если такую камеру поместить в пучок тормозного излучения, между пластинами возникнет ток, потому что тормозные кванты, проходя через графит, ионизуют атомы углерода. Надо было определить связь между интенсивностью тормозного излучения и возникающим током ионизации для разных значений верхней энергии спектра. Эта задача оказалась очень нужной для экспериментаторов, и решать ее пришлось

спешно. Результаты расчетов были необходимы для того, чтобы измерять сечения фотоядерных реакций. Физики с «питомника» – (так называлось место, где работал ускоритель С-25, раньше на этом месте находился питомник плодовых деревьев) меня торопили, поэтому, выполнив расчеты, я не стал писать отчет по выполненной работе, а сразу отослал таблицы и графики на «питомник». Конечно, и таблицы, и графики – все по тем временам было секретно, и пересылка шла через первый отдел. Никаких следов от этой работы не осталось. Несколько лет мои расчеты и графики верой и правдой служили при измерении сечений, а потом вместо графитовой камеры появился другой способ измерения интенсивности тормозного излучения. Утешаюсь тем, что все результаты по измерению сечений с помощью рассчитанной мной графитовой камеры оказались правильными.

Эти мои дела были продиктованы насущными нуждами Эталонной лаборатории. Я также посещал семинар Теоретического отдела, не пропускал ни одного заседания. Здесь я регулярно встречался с Виталием Лазаревичем, и он время от времени интересовался, чем я занимаюсь. Большого интереса к тому, чем мне приходилось заниматься, он не проявлял. Однако, примерно через год после моего прихода в ФИАН, мне была дана задача, которая входила в круг интересов Виталия Лазаревича. Благо, круг этот был достаточно велик.

Заведующий Эталонной лабораторией И.И. Векслер был, как уже сказано, автором принципа автофазировки. На этом принципе основана работа всех ныне действующих ускорителей заряженных частиц. Такие ускорители, рассчитанные на все большие энергии, строились и в его лаборатории. В то же время Владимир Иосифович не оставлял поисков новых более эффективных методов ускорения. В те годы (конец 40-х и начало 50-х годов прошлого столетия) он искал такие процессы взаимодействия частиц, в которых возникают большие электрические поля. Эти большие поля можно было попытаться использовать для ускорения заряженных частиц. И у него возникла одна идея. Грубо говоря, она сводилась к

следующему. Представим себе пучок ускоренных электронов с энергией, скажем, один миллион электрон-вольт. Поместим в этот пучок один покоящийся протон. Электроны будут рассеиваться на протоне и передавать ему часть своего импульса. Протон станет ускоряться в направлении потока электронов. Можно сказать, что протон будет увлекаться потоком электронов. Этот процесс увлечения закончится, когда скорость протона сравняется со скоростью электронов. И тогда энергия протона будет круглым счетом в две тысячи раз больше, чем энергия электрона в потоке. Если электрон в потоке имеет энергию в один миллион электрон-вольт, то протон, когда его скорость сравняется со скоростью электронов, будет иметь энергию круглым счетом в два миллиарда электрон-вольт. А если говорить точнее, то энергия протона при равенстве скоростей будет во столько раз больше энергии электрона, во сколько раз масса протона больше, чем масса электрона.

Требовалась количественная оценка предложенного нового метода ускорения. Я решил начать рассмотрение с простейшего варианта – найти силу, действующую на покоящийся заряд в движущейся электронной плазме. Очевидно, эта задача была эквивалентна отысканию силы, действующей на движущийся заряд в покоящейся электронной плазме. Владимир Иосифович Векслер проявил живой интерес к этой задаче и не жалел времени для обсуждения деталей. Для меня такие обсуждения были необычайно полезны, на моих глазах оформлялась и развивалась физическая идея. Эта идея обещала важные и полезные применения.

Различные варианты предложенного метода ускорения (В.И.Векслер назвал этот метод когерентным методом ускорения) рассматривали теоретики Эталонной лаборатории Г.А. Аскарьян, В.Н. Цытович, А.А. Коломенский. А мне, как я уже сказал, надо было рассмотреть простую модель – прохождение заряженной частицы (или сгустка заряженных частиц) через электронную плазму.

И тут мне сильно повезло. Дело в том, что в ФИАНе работали физики, которые внесли важнейшие вклады в

теорию прохождения заряженной частицы через вещество. Это были будущие лауреаты Нобелевской премии Игорь Евгеньевич Тамм, Илья Михайлович Франк и Виталий Лазаревич Гинзбург. Позднее И.Е. Тамм и И.М. Франк вместе с П.А. Черенковым получили Нобелевскую премию за открытие и объяснение излучения Вавилова-Черенкова, красивого эффекта, сопровождающего прохождение быстрой частицы через среду. В.Л. Гинзбург получил Нобелевскую премию за свои работы по физике низких температур, но он является также автором нескольких работ, которые внесли первостепенный вклад в теорию прохождения заряженных частиц через вещество. В работах Виталия Лазаревича было рассмотрено излучение Вавилова-Черенкова в кристаллах. Он также разработал квантовую теорию излучения Вавилова-Черенкова. Несколько статей, содержащих важное развитие теории, было выполнено им в сотрудничестве с И.М. Франком. Наиболее важной из их совместных работ, по моему мнению, была работа, в которой они открыли, можно сказать, на кончике пера, новый вид излучения заряженных частиц – переходное излучение. Переходное излучение возникает, когда движущаяся заряженная частица пересекает границу раздела двух сред, например, вылетает из металла в свободное пространство или, наоборот, влетает в металл из вакуума. Переходное излучение было обнаружено экспериментально через пять лет после того, как В.Л. Гинзбург и И.М. Франк предсказали этот вид излучения и теоретически определили его свойства. Теперь переходное излучение с успехом применяется для генерации электромагнитных волн, а в физике высоких энергий нашли широкое применение детекторы заряженных частиц на переходном излучении. В.Л. Гинзбург и И.М. Франк рассмотрели также излучение Вавилова-Черенкова для случая, когда заряженная частица движется не в сплошной среде, а по оси канала, проделанного в диэлектрике. Результаты этого рассмотрения дали ответ на вопрос, какие области среды существенны для генерации излучения Вавилова-Черенкова. Я изучал эти работы. Некоторые из них имели прямое отношение к моим расчетам. У меня была уникальная возможность, если что-то

было непонятно, спрашивать объяснение у этих великих физиков. В свою очередь, они интересовались тем, что я делал, и я им охотно рассказывал, хотя работа моя считалась секретной, как и все, что делалось в Эталонной лаборатории. Я очень много получал от общения с ними.

В то время (конец 40-х – начало 50-х годов прошлого века) в ФИАН пришло много научной молодежи – выпускников Московского университета, Московского Инженерно-физического института, Московского Энергетического института. Позднее стали приходить выпускники Московского Физико-технического института («Физтех»). Планы научных исследований требовали увеличения числа сотрудников. И увеличение шло за счет научной молодежи, выпускников. В Теоретическом отделе возникла тогда идея прочесть для молодых научных сотрудников института несколько лекций по современной физике. Такие лекции были прочитаны. Две или три лекции прочитал Виталий Лазаревич. Его лекции были посвящены электродинамике, теории относительности и квантовой механике. Кроме В.Л. Гинзбурга лекции читали Евгений Львович Фейнберг (он рассказывал о физике высоких энергий) и Семен Захарович Беленький (в его лекции речь шла о множественном рождении).

Это мероприятие – чтение лекций по современной физике – было очень полезно для молодежи и довольно опасно для лекторов ввиду громогласной и невежественной критики, которая тогда обрушилась в нашей стране на теорию относительности и квантовую механику. Слава богу, лекции эти в ФИАНе прошли без «вредных последствий». Молодежь получила большую пользу, а борцы за идеологическую чистоту советской физики как-то проглядели это мероприятие, упустили его из круга своего внимания.

С самого начала было решено записать и размножить этот курс лекций. Из числа слушателей были выбраны люди для записи. Одну из лекций Виталия Лазаревича поручили записывать мне. У нас не было магнитофонов, да они и не помогли бы, ведь лекции

читались у доски, и лектор много писал на доске. Магнитофон тут ничем не поможет. Мы старались записать слова лектора как можно подробнее. Потом мы переписывали текст лекции и отдавали лектору для редактирования. Окончательный вариант переписывался по возможности каллиграфическим почерком, и с него шло размножение.

Лекции были интересны для слушателей, приходила вся молодежь и кое-кто постарше.

Я помню, как на своей лекции о своеобразии квантовых законов Виталий Лазаревич разбирал рассеяние частицы на силовом центре. Для сравнения он рассмотрел этот процесс в классической и квантовой механике. В классике задача сводилась к определению траектории частицы, квантовая механика давала вероятность рассеяния на заданный угол. Много лет спустя появился прекрасный курс физики Р. Фейнмана. В этом курсе своеобразие квантовой механики артистически изложено в главах 37 и 38. Они служат как бы введением в квантовую физику. В американском издании фейнмановского курса обе эти очень важные главы повторяются дважды – в конце раздела, посвященного оптике, а затем с них начинается раздел, где излагается квантовая механика. В русском переводе издатели поместили эти две главы в конце оптического раздела и не стали их повторять в начале изложения квантовой механики. И напрасно, потому что и там и там эти главы очень к месту. И когда я читал эти главы, я вспомнил лекцию Виталия Лазаревича. В той лекции были схожие фразы или даже строчки. Он говорил не так подробно, как написано у Фейнмана, но нарисовал схожую картину.

Между прочим, в своих лекциях Виталий Лазаревич говорил не только о физике, но и касался около-физических вопросов. В одной из лекций он, в частности, высказал свое мнение о недавнем присуждении Сталинских премий по физике. В тот раз премия была присуждена известным физикам братьям А.И. Алиханову и А.И. Алиханяну. Они построили магнитный спектрометр на горе Арагац в Армении и с его помощью измеряли массы частиц,

приходящих на Землю в составе космического излучения. У них получился целый спектр значений масс, в том числе и такие значения, которые ранее не были известны. Этот результат вызвал споры среди физиков. Многие из них, в том числе такие уважаемые, как Л.Д. Ландау, были согласны с открытием А.И. Алиханова и А.И. Алиханяна. Но были и такие, кто возражал против найденного спектра масс, при этом выдвигая общефизические возражения, либо подозревая авторов в неточных измерениях. В числе несогласных был и Виталий Лазаревич Гинзбург. Я помню также, что Владимир Иосифович Векслер, один из лидеров в исследовании космического излучения, тоже возражал против результата, полученного Алихановым и Алиханяном. Комитет по Сталинским премиям рассмотрел эту работу и присудил авторам Сталинскую премию первой степени. Многие восприняли это как конец дискуссии и прекратили высказывать возражения. Многие, но не ВЛ. На одной из своих лекций для научной молодежи он подверг сомнению результат, полученный на горе Арагац. Немедленно в стенной газете ФИАН (газета называлась «Импульс») появилось негодующее письмо одной сотрудницы А.И.Алиханяна. Научной стороны дела она не касалась, но возмущалась тем, что В.Л. Гинзбург подверг сомнению авторитетное решение авторитетного органа – Комитета по Сталинским премиям. В том же выпуске «Импульса» был помещен ответ ВЛ. Он писал, что несогласие его вызвано чисто научными соображениями, а Комитет по Сталинским премиям, хотя и авторитетный орган, но все могут ошибаться, и он считает, что в данном случае Комитет принял неправильное решение. Для такого заявления в то время нужно было иметь мужество. Прошло немного времени, и выяснилось, что результаты Алиханова и Алиханяна были ошибочны. Я это здесь упоминаю не в упрек братьям А.И.Алиханову и А.И.Алиханяну. Оба они были замечательные физики, много сделали для развития этой науки в России и в Армении. От ошибки никто не застрахован. Но в условиях того времени не всякий мог отважиться на критику решения, принятого правительственным органом. После того, как исследователи

признали свою ошибку, их критики вели себя по-разному. У Владимира Иосифовича Векслера установились хорошие отношения с Артемом Исааковичем Алиханяном. А Виталий Лазаревич Алиханяна потом недолго любил.

Где-то в самом начале пятидесятых годов в ФИАНе состоялось заседание Ученого совета, посвященное выдвижению кандидатов на выборы в Академию Наук. В числе прочих была выдвинута и кандидатура В.Л. Гинзбурга. Как я понимаю, это были не первые выборы, на которые выдвигалась его кандидатура. И он уже тогда, без сомнения, был достоин избрания. Уже была опубликована его совместная работа с Л.Д. Ландау по сверхпроводимости, за которую много лет спустя он был удостоен Нобелевской премии. И других замечательных работ было у него опубликовано немало. Но, несмотря на это, Виталия Лазаревича в Академию не избирали. Вопрос об избрании тогда решался не в Академии Наук, а в Отделе науки ЦК КПСС.

В тот раз Председатель Ученого совета академик Д.В. Скобельцын, обращаясь к ВЛ, спросил:

– Виталий Лазаревич, вас по какой специальности выдвигать – по физике и астрофизике или по ядерной физике? Виталий Лазаревич ответил:

– Мне все равно, по какой специальности меня завалят.

В те годы физика в нашей стране была под угрозой полного запрета. Невежественные люди, обладавшие необходимой властью, успешно разгромили к тому времени генетику и кибернетику, в печати и в устных выступлениях некоторых физиков и философов раздавалась резкая критика новой физики – теории относительности и квантовой теории. Утверждалось, что теория относительности и квантовая механика противоречат диалектическому материализму и потому эти теории ошибочны. Те, кто занимается теорией относительности и квантовой механикой, либо не понимают, что делают, либо подкапываются под единственно правильное великое и

непобедимое учение диалектического материализма. И физику и философию эти люди знали плохо. Но спорить с ними было опасно. Несогласных они обвиняли в покушении на основы победоносного марксистско-ленинского учения. По тем временам это было очень опасное обвинение.



В свободное время я ходил на обсуждения по интересным для меня вопросам, которые проводились на Физическом факультете МГУ. Тогда еще здание Физического факультета на Ленинских горах не было построено, обсуждения происходили в старом здании Физфака на Моховой. Однажды я увидел на факультете объявление о семинаре по философским проблемам физики. Я этой темой интересовался и пришел на семинар. Там, как я понял, собирались противники новой физики – квантовой механики и теории относительности. Наиболее активные участники семинара считали, что надо созвать всесоюзное совещание, посвященное проблемам физической науки. На этом совещании предполагалось разгромить новую физику. Образцом для проведения такого совещания должно было послужить проведенное несколькими годами ранее Всесоюзное совещание о положении в биологической науке. На этом совещании, проведенном в 1948 году, была подвергнута разгрому классическая генетика. Преподавание генетики было официально запрещено, приверженцев классической генетики увольняли с работы. Место генетики в учебных курсах заняло «учение» Т.Д. Лысенко под

названием «Мичуринская биология». Знаменитый Мичурин не имел к мичуринской биологии никакого отношения. Его имя было выбрано как прикрытие, а возразить с того света он не имел возможности. И вот, на том семинаре по философским проблемам физики участники искали кандидатуру – кого из русских физиков выбрать как знамя для борьбы с теорией относительности и квантовой механикой. На этом заседании я впервые увидел профессора Х.М. Фаталиева – заведующего кафедрой диалектического материализма естественнонаучных факультетов МГУ. Фаталиев был активным сторонником и организатором Всесоюзного совещания по разгрому физической науки. Не его вина, что совещание так и не состоялось. На том семинаре, где я присутствовал, он говорил:

– Легко было биологам. У них был Мичурин. Легко было физиологам. У них был Павлов. А физикам трудно. Нет у нас своего Ломоносова.

Свой-то Ломоносов у нас был. И он был великий ученый и просветитель. Но очень он был преклонного возраста и не мог служить символом не то что новой, но и старой физики.

В.Л. Гинзбург в те годы, как уже было сказано, подвергался критике в печати как космополит и сторонник физического идеализма. Организаторы совещания по философским проблемам физики добивались от него, чтобы он выступил на совещании и покаялся.

Я на этот семинар по философским проблемам физики ходил недолго и довольно скоро потерял к нему интерес.

В самом начале 50-х годов на Физическом факультете состоялось обсуждение книги профессора А.А. Власова «Теория многих частиц». В одно заседание это обсуждение не уложилось, собирались два или три раза. Я к тому времени уже изучил и книгу А.А. Власова, и резко критическую статью о нем четырех авторов (В.Л. Гинзбурга, Л.Д. Ландау, М.А. Леонтовича и В.А. Фока), и сам составил мнение обо всем этом, но все же послушал и обсуждение на Физическом факультете. Высказывались на этом

обсуждении положительные мнения, высказывались и отрицательные. Времени с тех пор прошло немало (больше полувека), за это время ценность самосогласованной системы уравнений А.А. Власова повсеместно признана. Так что, может быть, не имеет смысла вспоминать, кто и как выступал на обсуждении. Но, мне кажется, имеет смысл напомнить одну красноречивую деталь. В конце обсуждения выступил профессор Х.М. Фаталиев, философ, а не физик. Что он мог сказать по поводу описания системы, состоящей из многих заряженных частиц? Но он сказал. Я его речь запомнил. Он начал так:

– В дискуссии по поводу книги профессора А.А. Власова «Теория многих частиц», выступавшие товарищи использовали свое оружие – знания по физике. Позвольте и мне использовать свое оружие – марксизм-ленинизм.

В аудитории после этих слов воцарилась почтительная тишина. Марксизм-ленинизм был официальной идеологией правящей Коммунистической Партии Советского Союза, а Коммунистическая Партия была вдохновителем и организатором всех наших побед. Оратор продолжал:

– Верно ли книга Власова отражает некоторые определенные особенности окружающего нас мира? Да, в основном верно, ибо марксизм-ленинизм учит нас, что человеческое сознание приблизительно верно отражает действительность.

Эти слова были подкреплены извлечениями из классиков марксизма-ленинизма о том, что мир познаваем, мир материален, и притом материя первична, а сознание вторично. Далее оратор перешел к ошибкам, которые профессор А.А. Власов сделал в своей книге:

– Есть ли в обсуждаемой книге ошибки? Да, товарищи, конечно есть. Марксизм-ленинизм учит нас, что наше сознание лишь приблизительно отражает окружающий мир, поэтому наши знания являются неполными и нуждаются в постоянном уточнении и развитии.

Эту свою мысль оратор также подкрепил извлечениями из классиков марксизма-ленинизма. Он сказал

что-то вроде того, что наши знания развиваются по спирали, а спираль все ближе подходит к некоторой окончательной кривой, но никогда с этой окончательной кривой не совпадает. А окончательная кривая – это абсолютная истина.

Закончил Фаталиев так:

– Теперь, товарищи, зададим вопрос: что же в теории Власова правильно, а что неправильно? Марксизм-ленинизм учит нас, что на этот вопрос должна дать ответ практика, ибо практика – критерий истины.

Говорил, говорил человек, а что сказал?

Выступление профессора Фаталиева напомнило мне одну историю, которая произошла с воздухоплавателями, летевшими на воздушном шаре. Они некоторое время летели, не видя земли. Земля была закрыта облаками. Поэтому они не знали, где находятся. Но вот тучи разошлись, и воздухоплаватели увидели большой зеленый луг, на котором паслось стадо коров под присмотром пастуха. Путешественники закричали пастуху:

– Где мы находимся?

Пастух задрал голову на крик и ответил:

– Вы находитесь на воздушном шаре!

К счастью, всесоюзное совещание по философским вопросам физики так и не состоялось. Одним из «мальчиков для битья», на этом совещании намечался Виталий Лазаревич Гинзбург, и его чаша сия миновала. А ведь ВЛ всерьез интересовался философией естествознания, и она для него не сводилась к публикациям таких «философов», как Максимов, Омеляновский и др. Он считал, что философия физики определяется уровнем научных достижений, а не наоборот. Философия не предписывает естествоиспытателю, какие делать выводы по результатам исследования, а сама строит свои выводы, учитывая достижения естественных наук. В этой связи я вспоминаю такой случай. Академик В.А. Амбарцумян, излагая свои соображения об эволюции звездных скоплений, написал, что эти соображения полностью соответствуют диалектическому материализму. По этому поводу Виталий Лазаревич заметил: а как быть, если гипотеза В.А. Амбарцумяна не найдет подтверждения? Тогда, значит,

надо будет делать вывод, что и диалектический материализм – ошибочное учение?

Сам он был приверженцем диалектического материализма до конца своих дней, и, в полном соответствии с таким мировоззрением, был атеистом, неверующим человеком.

В 1955 году я защитил кандидатскую диссертацию. Оппонентами на защите были Александр Ильич Ахиезер и Виталий Лазаревич Гинзбург. Я тогда еще работал в Эталонной лаборатории. Все исследования этой лаборатории были засекречены, и моя диссертация тоже проходила под грифом «секретно». Виталий Лазаревич в своем отзыве отметил, что секретность является одним из основных недостатков диссертации: ничего в ней нет секретного.

Вскоре заведующий Эталонной лабораторией Владимир Иосифович Векслер стал все реже бывать в лаборатории. Под его руководством началось строительство гигантского ускорителя в Дубне. Без Векслера жизнь в Эталонной лаборатории стала для меня не столь вдохновляющей. Были там замечательные теоретики – Саша Балдин, Вадим Михайлов, Матвей Самсонович Рабинович, Андрей Александрович Коломенский. Но с ними было не так интересно, как в В.И. Векслером. Он, хотя и не был теоретиком, но буквально был начинен идеями, которые несомненно были достойны внимания и требовали внимательного изучения. Без него я заскучал. И тогда Виталий Лазаревич сказал мне:

– Боря, переходите ко мне в Теоретический отдел. Я не эксплуататор.

Последняя его фраза – о том, что он не эксплуататор, – по-видимому, отражала его мнение о Владимире Иосифовиче Векслере. Возможно, у него были какие-то основания для такого мнения. Что касается меня, то я, наоборот, много получил от научного общения с В.И. Векслером. И я перешел в Теоретический отдел (1955).

В Теоретическом отделе мне достался письменный стол у окна в комнате, где стояли еще два письменных стола. За одним столом работал аспирант В.Л. Гинзбурга Леонид Келдыш, за другим Алик Гуревич, сотрудник Отдела. К каждому из трех обитателей – то к одному, а то к другому – нередко приходили посетители, бывало, что по несколько человек, и начинались обсуждения, достаточно шумные. Обсуждения эти, конечно, мешали работать тем, кто в тот момент «творил» в одиночестве. Мы все старались не мешать друг другу, но не всегда это получалось. Тем не менее, никаких конфликтов на этой почве никогда не возникало, даже в зародыше. Если дискуссия становилась очень шумной, нередко принимавший хозяин уводил своих гостей в пустовавшую на тот момент комнату с доской или в тихий коридор. А бывало и так, что шумные спорщики оставались в комнате, а те коренные обитатели, которым это мешало, уходили работать в читальный зал. Но бывали, и нередко, такие дни, когда кто-то из нас приходил на работу, а соседи по комнате не появлялись – были в этот день на семинаре в другом институте, или в командировке, или еще где-нибудь.

А рядом с нашей комнатой, дверь в дверь, был расположен «кабинет» Виталия Лазаревича. Это была маленькая, даже малюсенькая комнатка площадью 5 или 6 квадратных метров. Там помещались стол, два стула и кресло. Виталий Лазаревич регулярно приходил к себе в «кабинет» и там подолгу работал. Нередко к нему приходили и его ученики и сотрудники. Обсуждения шли часами, и при этом через закрытую дверь доносился громкий голос Виталия Лазаревича. Он спорил, убеждал своих собеседников, излагал свою точку зрения. Это была и научная работа и в то же время школа для его учеников. Молодые физики быстро набирали силу и становились самостоятельными.

Я тогда заметил одну особенность в общении В.Л. Гинзбурга со своими учениками, которая мне показалась странной. Виталий Лазаревич не жалел времени на работу со своими учениками, но только в тот период

времени, когда они входили в дело, приобретали квалификацию. А потом он, по моим наблюдениям, терял к ним интерес. Не всегда так происходило, но достаточно часто. Один раз я его об этом спросил. Он сказал:

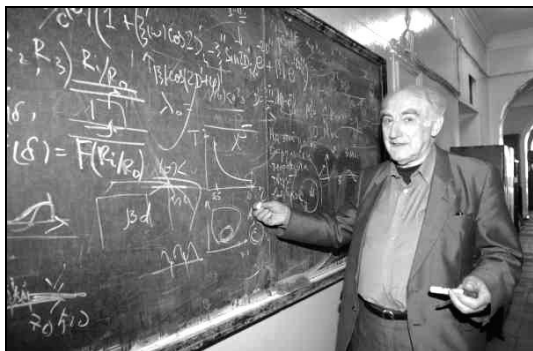
– Боря, вы ничего не поняли. Это не я к ним, это они ко мне теряют интерес.

Эти слова он произнес с улыбкой, но улыбка его, как мне показалось, была грустной.

В начале 60-х годов из Еревана в Москву приехал выпускник Ереванского университета Давид Мгерович Седракян. Его отправил в Москву профессор Ереванского университета (а впоследствии академик АН Армянской ССР) Гурген Серобович Саакян. Давид привез письмо от Саакяна, адресованное В.Л. Гинзбургу. Гурген Саакян был участником Великой отечественной войны. После войны он пришел в аспирантуру Теоретического отдела. Его научным руководителем был Игорь Евгеньевич Тамм. Гурген хорошо знал Теоретический отдел ФИАН и его сотрудников. В письме к В.Л. Гинзбургу он писал, что считает Давида Седракяна одним из лучших студентов-выпускников и считает его достойным быть учеником В.Л. Гинзбурга.

В то время В.Л. был перегружен (а когда он не был перегружен?). Он уже был научным руководителем нескольких аспирантов, не говоря о других обязанностях. В.Л. поговорил с Давидом, объяснил ему положение дел, а потом позвал меня и предложил мне (конечно, с согласия Давида Седракяна) стать его, Седракяна, научным руководителем в аспирантуре. Я сразу же предложил Давиду задачу по теории дифракционного излучения. Задача по тому времени была достаточно трудной. Надо было определить излучение, возникающее при пролете заряженной частицы мимо преломляющих тел определенной формы. Давид предложенную мной задачу принял к рассмотрению и уехал домой. За несколько месяцев он эту задачу решил в аналитическом виде. Осенью он приехал в Москву, легко сдал приемные экзамены и стал аспирантом Теоретического отдела. Я был утвержден его научным руководителем.

Давид Седракян имел хорошую подготовку и по физике и по математике. Здесь сыграли роль и его личные качества, и высокий уровень преподавания в Ереванском университете.



Аспиранту для подготовки кандидатской диссертации предоставляется три года. Давид выполнил свою диссертационную работу за два года, и это была хорошая диссертация. Его работа в аспирантуре позволяла надеяться, что и в дальнейшем он будет вполне успешно работать в тех областях теоретической физики, которые он изберет. Надежды эти, скажу, забегая вперед, оправдались в полной мере. Давид получил важные результаты в астрофизике и в общей теории относительности, он был избран действительным членом Академии Наук Армении, а позднее стал вице-президентом Академии. А у меня с ним сложились и за многие годы сохранились дружеские отношения. С пребыванием Давида в аспирантуре связан один забавный эпизод. Когда минул год его работы и учебы в аспирантуре, меня позвал в свой кабинет Виталий Лазаревич. Я уже отметил, что дверь кабинетика, в котором работал Виталий Лазаревич, находилась метрах в двух напротив двери, которая вела в нашу комнату. Можно сказать, что дверь кабинета Гинзбурга открывалась в нашу комнату. Так вот, Виталий Лазаревич открыл дверь своего кабинетика, высунулся в коридорчик и сказал:

– Боря, зайдите, пожалуйста, ко мне.

Когда я зашел, ВЛ спросил меня:

– Давид Седракян оформлен как аспирант Теоретического отдела?

Я сказал:

– Оформлен еще год назад.

– Кто официально является его руководителем?

Я ответил, что официально утвердили меня. Тогда Виталий Лазаревич поинтересовался:

– А почему из Еревана деньги за научное руководство прислали мне? Я же с ним не работаю.

Я ничего не мог ответить. Наверное, когда Гурген Саакян посылал Давида в Москву с письмом к ВЛ, он считал, что Давид Седракян будет оформлен как аспирант Гинзбурга. Соответственно, в Ереване все было оформлено так, что руководителем Седракяна считался Виталий Лазаревич.

Не получив от меня внятного ответа, Виталий Лазаревич сначала высказал все, что он думает про всех московских и ереванских бюрократов, а затем полез в карман и вынул оттуда деньги – 120 рублей, годовую оплату за руководство аспирантом.

– Они прислали деньги почтовым переводом на мое имя, – сказал он. – Мне пришлось идти на почту. Скажите Седракяну, пусть он там все оформит как надо.

ВЛ вручил мне и талон к почтовому переводу, где было написано «научное руководство Д.М. Седракяном».

Мне было очень неудобно, что пришлось Виталию Лазаревичу из-за меня терять время, я извинялся и благодарил. Конечно, я рассказал об этом Давиду Седракяну, и он обещал все сделать, как надо. И я думаю, что все, от него зависящее, он сделал. Но вот, прошел год, и опять позвал меня к себе Виталий Лазаревич. На этот раз он изложил мне свои мысли не только про всех московских и ереванских бюрократов, но и про меня вкуче с Давидом Седракяном. Опять пришел по почте из Еревана денежный перевод за научное руководство аспирантом Седракяном, и опять перевод на имя Гинзбурга. И снова он пошел на почту, получил перевод и передал деньги мне. Слава Богу, в третий раз этого не произошло, но только потому, что Давид Седракян закончил аспирантуру за два года.

Когда я пишу, что Виталий Лазаревич говорил все, что он думает про всех бюрократов и про нас с Седракианом, я не имею в виду, что употреблялись матерные ругательства. Я таких за шестьдесят лет знакомства от Гинзбурга не слышал, хотя имею сведения, что он изредка отводил душу при помощи непарламентских выражений. Обычно высшую степень негодования он выражал словами «это черт знает что!» или «безобразие!». Но слова эти произносились очень темпераментно, «с превеликим огнем», так что объект негодования чувствовал себя очень не в своей тарелке.

Работоспособность ВЛ меня поражала и поражает до сих пор. Он много лет работал с неослабевающей продуктивностью. Десять-двенадцать научных статей в год, статей, содержащих нетривиальные идеи и трудоемкие расчеты. Одна-две научно-популярных статьи в год. Это были такие статьи, которые давали читателю в понятном изложении знания с переднего края науки. Очередная книга раз в два-три года. И еще лекции, которые он читал в Горьковском университете и на созданной им кафедре Московского Физико-технического института. И еще знаменитый семинар Гинзбурга, который проходил еженедельно по средам в ФИАНе. И это все – только часть работы, которую он выполнял изо дня в день в течение десятков лет.

Расскажу, каким Виталий Лазаревич был соавтором. Однажды он предложил мне совместно написать статью о сверхсветовых источниках в вакууме. Как известно из теории относительности, ни одно материальное тело не может иметь скорость, превышающую скорость света в пустоте. Но, с другой стороны, солнечный зайчик, бегущий по стене, может иметь сверхсветовую скорость, и при этом не возникает никакого противоречия с теорией относительности. Такие объекты вроде зайчика сами могут стать источниками излучения, потому что в бегущем пятне зайчика возбуждаются переменные поверхностные токи и заряды.

Виталий Лазаревич рассказал об этом на своем семинаре. Я тогда напомнил, что И.М. Франк ранее

рассмотрел простую модель сверхсветового источника в вакууме – электромагнитную волну, падающую на плоскую границу раздела между двумя средами. Эта волна возбуждает в плоскости раздела бегущие волны плотности заряда и плотности тока. Скорость этих волн превышает скорость света в той среде, откуда падает волна. Поэтому индуцированные заряды и токи дают излучение Вавилова-Черенкова, и это излучение уходит от границы. И.М. Франк показал, что это вторичное излучение представляет собой в точности отраженную волну, причем все законы отражения выполняются – частота отраженной волны равна частоте падающей, угол падения равен углу отражения. Франк также показал, что и преломленная волна может рассматриваться как излучение Вавилова-Черенкова от поверхностных зарядов и токов, возбужденных на границе раздела падающей волной.

Я тогда еще не знал, что задолго до И.М. Франка схожий вариант сверхсветового источника рассмотрел (хотя и не с такой общностью, как у Франка) знаменитый английский физик и математик Оливер Хевисайд.

После семинара мы с Виталием Лазаревичем продолжили обсуждение, и он мне предложил написать совместную статью о сверхсветовых источниках в вакууме. До этого я рассмотрел несколько разных моделей сверхсветовых источников и провел некоторые расчеты. Я свои расчеты привел в порядок, изложил их так, чтобы читателю не составляло большого труда разобраться, и отдал Виталию Лазаревичу. Он, когда прочитал, похвалил меня, сказав:

– Хорошо вы пишете.

Я обрадовался. Эта похвала означала, что поданный мной текст Виталий Лазаревич включит в нашу совместную статью. По крайней мере, я так подумал.

Потом Виталий Лазаревич спросил меня, откуда я взял некоторые формулы, которые были включены в текст. Я сказал, что сам их вывел.

– Вы по этим результатам напишите статью и пошлите в печать, – сказал Виталий Лазаревич. Это – ваши

результаты. Вы их получили, вы их и публикуйте, а мы в своем обзоре сошлемся на ваши публикации.

Так я и сделал.

Довольно скоро Виталий Лазаревич скомпоновал свою часть и мою в единый текст и представил на мое рассмотрение.

Не будет преувеличением сказать, что в тексте почти ничего не осталось от того, что я написал. То есть, все осталось, но приобрело другой вид. И слов моих, которые я написал, сохранилось очень мало. Виталий Лазаревич все написал по-своему. Так что, не следовало мне обольщаться, услышав его похвалу, дескать, хорошо я пишу. Но, с другой стороны, после того, как Виталий Лазаревич все переписал по-своему, у меня не было причин спорить: все, что я хотел сказать, было сказано. Хотя и не совсем так, не теми словами, как я это написал.

Передавая мне текст нашей статьи, ВЛ сказал:

– Посмотрите и представьте свои замечания.

Я прочитал окончательный вариант и обнаружил несколько мест, где необходимо было, по моему мнению, сделать уточнения. Я даже написал для каждого из этих мест уточняющие варианты. Ни один из этих вариантов Виталий Лазаревич не принял. Он спрашивал по поводу каждого моего предложения:

– Чем вас место в тексте не устраивает?

Я объяснял. Виталий Лазаревич соглашался, что в этом месте надо что-то изменить или добавить. Потом, отложив мой вариант в сторону, сам писал дополнение или исправление и передавал мне с вопросом:

– Так хорошо будет?

Вот так и получилось, что всё или почти всё в нашей совместной работе было написано его рукой.

Думаю, что сходным образом Виталий Лазаревич поступал и при написании совместных работ с другими своими соавторами. Если его доля труда составляла меньше половины, он такую статью не подписывал. Он говорил автору:

– Можете мне в конце статьи объявить благодарность.

После того, как статья наша была закончена и послана в печать, мы доложили полученные результаты на сессии Отделения физических наук. Докладывал Виталий Лазаревич. Перед докладом он меня удивил, сказал, что волнуется. Я не мог поверить, и тогда Виталий Лазаревич удивил меня еще больше. Он сказал, что, как правило, волнуется перед каждым докладом. А мне казалось, что он всегда выступает уверенно.

ВЛ иногда рассказывал о прочитанных им книгах. Прочитает книгу и рассказывает о ней, находясь еще под впечатлением от прочитанного. Один раз он рассказал, что перечитал фантастический роман Герберта Уэллса «Борьба миров»:

– Там рассказывается, как марсиане высадились на Землю и за короткое время завоевали большую территорию. Могли всю Землю завоевать, но внезапно вымерли. И вымерли от простого гриппа. У них там, на Марсе, они давно победили все болезни, уничтожили всех возбудителей и затем потеряли иммунитет, потеряли способность сопротивляться болезням. Я прочитал и подумал: у нас такой хороший дружный отдел, такие интеллигентные люди... Появись хоть одна сволочь, и отдел развалится.

Одно время я работал по совместительству научным редактором в журнале «Успехи Физических Наук». В те годы ответственным редактором журнала был профессор Эдуард Владимирович Шпольский, последний оставшийся в живых из учредителей этого прекрасного журнала. В 1918 году журнал был учрежден тремя физиками – академиком Петром Петровичем Лазаревым и двумя его учениками: Сергеем Ивановичем Вавиловым и Эдуардом Владимировичем Шпольским. Виталий Лазаревич был членом редакционной коллегии этого журнала. Присутствуя на заседаниях редколлегии, я увидел, что Виталий Лазаревич был одним из наиболее активных участников обсуждения, какой бы вопрос ни обсуждался. Столь же активным был и академик Яков Борисович Зельдович, причем нередко их точки зрения не совпадали. Виталий

Лазаревич горячо и темпераментно говорил, Яков Борисович более или менее спокойно возражал, а мудрый Эдуард Владимирович переводил взгляд с одного на другого и прикидывал окончательное решение.

После нескольких заседаний редколлегии я пришел к заключению, что Гинзбург и Зельдович совершенно по-разному смотрят на вещи и, вдобавок, враждуют друг с другом. Но однажды заведующая редакцией Людмила Ивановна Копейкина попросила меня известить членов редколлегии об очередном заседании. Я позвонил Виталию Лазаревичу и сообщил ему дату. Он сразу же спросил:

– Яша будет?

Яша – это Яков Борисович Зельдович.

А первый вопрос Якова Борисовича, который он задал, когда я ему позвонил, был:

– Витя будет?

Витя – это Виталий Лазаревич Гинзбург.

И так повторялось каждый раз, когда я оповещал этих знаменитых физиков об очередном заседании редколлегии.

Когда я написал докторскую диссертацию, ВЛ выдвинул категорическое требование:

– Одним из трех ваших оппонентов должен быть Лев Альбертович Вайнштейн.

Дело в том, что некоторые задачи в диссертации были решены с помощью метода, разработанного Л.А. Вайнштейном. Виталий Лазаревич считал, что соответствующая часть диссертации нуждается в одобрении Вайнштейна.

Лев Альбертович Вайнштейн работал в Институте физических проблем. Он был признанным авторитетом в области генерации и преобразования электромагнитных волн. Когда я направлял в печать свои работы со ссылками на Л.А. Вайнштейна, редколлегия нередко направляла их на отзыв самому Льву Альбертовичу, и отзывы его всегда были положительны. Но я недостаточно был с ним знаком, чтобы лично попросить его об оппонировании. Да и кроме того, я знал, что он неохотно отзывается на такого рода просьбы.

Поэтому я сказал Виталию Лазаревичу, что Вайнштейн эту часть диссертации знает, возражений не имеет, но быть оппонентом вряд ли согласится.

– Я с ним поговорю, – сказал Виталий Лазаревич.

Через несколько дней он сказал мне:

– Боря, я поговорил с Вайнштейном. Он не возражает. Мы договорились, что когда вы напечатаете диссертацию, вы ему принесете. А пока что составьте список возможных оппонентов.

Стал я составлять список возможных оппонентов. В этом деле для меня имелась одна трудность. Был один физик, профессор Михаил Львович Левин, человек глубоких знаний, который вполне мог бы выступить как оппонент. Доходили до меня невнятные слухи, что ВЛ его не любил, считал плохим человеком. Самым для меня безопасным было не включать этого человека в список возможных оппонентов. Но я к этому человеку относился с большим уважением, плохого за ним не знал, считал знающим физиком и хорошим человеком. Я с ним познакомился, когда еще работал в лаборатории В.И.Векслера. Левин был сотрудником Радиотехнического института Академии наук. Он тогда принимал участие в разработке коллективных методов ускорения. Я его включил в список возможных оппонентов.

С этим списком я пришел к Виталию Лазаревичу. Он прежде всего увидел в списке Илью Михайловича Франка и спросил:

– Франк согласен?

Говорю:

– Согласен.

– Так, – сказал Виталий Лазаревич, – Один оппонент уже есть. Второй – Вайнштейн. Я с ним поговорил. Это уже два оппонента.

И стал смотреть список дальше. При защите докторской диссертации должны выступить три оппонента, три доктора наук. Нужен был еще один оппонент.

Смотрит и спрашивает:

– Почему у вас в списке два человека из Еревана, Гарибян и Тер-Микаелян? Два человека из одного института – это не полагается.

Действительно, я включил в список двух сотрудников Ереванского физического института – Григория Маркаровича Гарибяна и Михаила Леоновича Тер-Микаеляна. Оба они были несомненными специалистами по теме диссертации, и с обоими у меня были дружеские отношения. Но друг с другом они не ладили. Я надеялся (теперь, много лет спустя, я понимаю: это была маниловская надежда), что если я приглашу их обоих быть моими официальными оппонентами, то мы после защиты отпразднуем это мероприятие, посидим за одним столом, выпьем за здоровье друг друга, поговорим по душам, и отношения между ними улучшатся. А если я приглашу кого-нибудь одного из них, то, конечно, отношения между ними не улучшатся, и, вдобавок, тот из них, кого я не пригласил, на меня обидится за то, что я его обошел.

Я об этом сказал Виталию Лазаревичу. Он обоих этих возможных оппонентов знал и относительно их высокой квалификации сомнений не имел. Что же касается плохих отношений между ними и моего намерения эти отношения исправить, он высказался так:

– Что за ерунда! Пригласите одного из них, а если другой обидится, вы ему прямо скажите, что он – дурак!

Получив такой совет, я решил не приглашать ни того, ни другого.

А Виталий Лазаревич стал дальше знакомиться со списком возможных оппонентов и дошел до М.Л. Левина.

– Боря, – сказал ВЛ, – Левин вам не годится, я объясню, почему. Смотрите: первый оппонент у вас Франк, второй – Вайнштейн. Ну, допустим, третьим будет Левин. Понимаете, три нерусских фамилии. Вы и сам не без греха. В нашем Ученом совете это пройдет, но в ВАКе могут придаться и, скорее всего, придерутся. Там ведь сидят испытанные борцы с низкопоклонством, космополитизмом и сионизмом. Поэтому будет лучше, если мы с вами выберем человека не с такой фамилией, как Левин. Кого же мы выберем?

С этими словами он стал просматривать список. Через минуту он нашел то, что искал:

– Вот, прекрасный выбор: Моисей Исаакович Каганов! К нему и обратитесь.

К М.И. Каганову я обратился и благодарен ему за согласие. А ВЛ оказался прав: этот выбор не вызвал нареканий на всех стадиях прохождения диссертации.

Итак, выбор оппонентов был произведен: Франк, Вайнштейн, Каганов. Но к тому времени Л.А. Вайнштейн еще не дал своего согласия.

Напечатал я диссертацию и понес ее Льву Альбертовичу. Он ее взял, перелистал не торопясь, а затем спросил:

– А зачем вы ко мне пришли?

– Виталий Лазаревич мне сказал, что вы согласны быть оппонентом.

– Я не соглашался. Он мне сказал: будь оппонентом у Болотовского, а я сказал, что не согласен.

Я тогда повторил: – Но Виталий Лазаревич мне сказал, что вы согласились и чтобы я вам принес диссертацию.

– Это недоразумение. Он мне сказал: «Я считаю, что твой отказ не окончательный. Болотовский напечатает диссертацию и тебе принесет». Повернулся и пошел. А я ему вслед сказал: «Ну и пускай придет. А я ему скажу то же самое». Но он, по-видимому, последние мои слова не услышал.

Я Вайнштейну говорю:

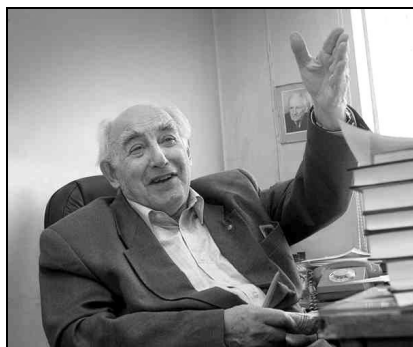
– Лев Альбертович, я вас со слов Виталия Лазаревича включил в список официальных оппонентов, и Ученый Совет вас утвердил.

А Лев Альбертович отвечает: – И все-таки вам будет легче найти другого оппонента, чем уговорить меня.

Что тут сделаешь? Я был, конечно, огорчен, но уговаривать Льва Альбертовича не стал. Мы пожали друг другу руки, я забрал диссертацию и ушел.

Об отказе Вайнштейна я в тот же день сообщил Виталию Лазаревичу. Вопреки моим ожиданиям, он это известие встретил спокойно.

– Отказался и ладно, – сказал он, – Мы найдем другого оппонента.



Оказалось, что днем раньше он нашел время и прочитал мою диссертацию, а прочитав, составил о ней хорошее мнение. Официальное подтверждение со стороны Л.А. Вайнштейна он уже не считал необходимым. Тем более что мнение Вайнштейна ВЛ, я думаю, знал из разговора с ним. Друзья мне сообщили, что накануне ВЛ задержался на работе. Он читал мою диссертацию. Часов около девяти вечера он вышел из своего кабинета и заглянул в нашу комнату, где после работы резались навывлет любители шахматной игры. К шахматам он был равнодушен, точнее говоря, относился к этой игре как зритель. И в этот раз он постоял, посмотрел, о чем-то поговорил, и, между прочим, сказал, что прочитал мою диссертацию и что она ему понравилась.

И вскоре ВЛ посоветовал, кого пригласить в оппоненты вместо Л.А. Вайнштейна. Он предложил обратиться к горьковскому радиофизику Михаилу Адольфовичу Миллеру. Я тогда знал Миллера по работам, но лично не был с ним знаком. Миллер оказался совершенно замечательным человеком. Оппонентом он оказался справедливым, беспощадным и доброжелательным. Позднее я с ним ближе познакомился, подружился и от всей души благодарен ВЛ за то, что он нас свёл.

Вопрос об утверждении мне оппонентов пришлось вторично вносить в повестку дня Ученого Совета ФИАН.

В 1966 году Виталий Лазаревич был избран действительным членом Академии Наук СССР. В том же году ему исполнилось 50 лет. Эти два события были отмечены юбилейным заседанием. Народу на этом заседании было не очень много – примерно треть нашего ФИАНского конференц-зала. Если я правильно помню, это заседание происходило летом, за несколько месяцев до дня рождения и вскоре после избрания ВЛ в академики. Многие были в отъезде.

Я к этому заседанию сочинил песню на мотив песни Алешковского «Товарищ Сталин, вы большой ученый» и спел ее под гитару... Обстановка на заседании была дружеская, неформальная. Собрались многие друзья Виталия Лазаревича. Так что моя легкомысленная песня не очень выбивалась из общего стиля выступлений. Приведу здесь текст своей песни:

Оно пришло, не ожидая зова,
Пришло само, и не сдержать его.
Позвольте мне сказать вам это слово,
Простое слово сердца моего.

Товарищ Гинзбург, вы большой ученый,
Во всех науках вы меня мудрей,
А я – успехом вашим восхищенный
Простой теоретический еврей.

Полвека вам, и вы – любимец века.
В почете физик – мода такова.
В загоне лирик или, скажем, Пекарь,
Хотя и Пекарь – тоже голова.

Позвольте мне вам низко поклониться,
Теперь вам дальше некуда расти,
И даже вас пускают в за границу,
Не то, что раньше, Господи прости.

Страна вам платит лаской и заботой,
Теперь у вас не жизнь, а благодать.
Скажите мне, какая вам охота

Чегой-то вычислять и докладать.
Культурный отдых тоже много значит,
Да и семью нельзя пускать на слом.
Небось, жена ругается и плачет,
Увидев вас за письменным столом.

Вы ж не дитя, трудов у вас без счету,
Пушай теперь вас переиздают.
Пора кончать научную работу,
А то вас люди просто засмеют!

Текст этой песни требует некоторых пояснений. Первая строфа украдена у поэта М. Исаковского целиком и без изменений. В третьей строфе слово Пекарь пишется с большой буквы, потому что здесь это не профессия, а фамилия. Имеется в виду профессор Киевского университета и академик Национальной Академии Наук Украины С.И. Пекар, с которым у В.Л. Гинзбурга в то время был конфликт (далее об этом будет сказано подробнее). Правда, фамилия С.И. Пекара произносится с ударением на втором слоге – Пекáр, но ВЛ систематически произносил фамилию этого киевского физика с ударением на первом слоге – Пéкар. И, наконец, следует еще сказать, что первоначальный вариант песни я показал замечательному человеку, замечательному физику и не менее замечательному поэту, моему другу, Герцену Исаевичу Копылову, и тот песню слегка почистил.

Песня присутствующим понравилась. Меня заставили спеть ее на бис. Исаак Маркович Халатников хлопнул меня по плечу и сказал: «Наша школа!».

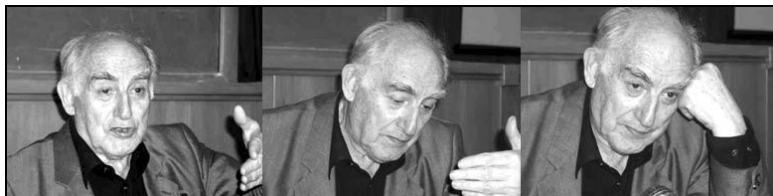
Потом наступила осень. В сентябре начал свою ежегодную работу семинар Гинзбурга. На первом заседании ВЛ сказал мне:

– Боря, сядьте куда-нибудь подальше от меня, чтобы я вас не видел, а то я вас увижу и начну смеяться.

Когда я пришел в Теоретический Отдел, Виталий Лазаревич занимал должность заместителя заведующего Отделом. Должность заведующего, начиная со дня создания Отдела, исполнял Игорь Евгеньевич Тамм, а Виталий

Лазаревич был его правой рукой. В течение нескольких лет, начиная с 1948 года, И.Е. Тамм был в отъезде – работал в Сарове, где создавалась водородная бомба. В это время на Виталия Лазаревича легли, помимо научных, все административные заботы по руководству Теоретическим Отделом. В последние годы жизни Игорь Евгеньевич тяжело болел, и фактически, Виталию Лазаревичу приходилось решать проблемы, связанные с жизнью Отдела. Как правило, ВЛ докладывал Игорю Евгеньевичу о текущих делах и советовался с ним, когда была такая возможность, но нередко приходилось самому ему принимать решения.

И.Е. Тамм умер в 1971 году. После его кончины ВЛ официально занял пост заведующего Теоретическим Отделом и оставался на этом посту в течение 18 лет. Эта административная деятельность отнимала у него немало времени.



Работа ВЛ в качестве Заведующего Отделом не была обставлена особыми формальностями. Любой сотрудник в любое время мог прийти в кабинет, где ВЛ сидел и работал – писал очередную статью или деловое письмо, правил рукописи, обсуждал что-то со своими соавторами – дел у него было много. Посетитель заглядывал в кабинет, и если ВЛ был один, входил. ВЛ поднимал глаза от рукописи и знакомился с очередной отдельской или личной нуждой. Реагировал он очень быстро, часто не дослушивал собеседника до конца и не давал ему договорить:

– В Президиуме ваш вопрос находится в ведении такого-то (он называл фамилию). Я с этой сволочью разговаривать не буду. Напишите любую бумагу, я подпишу.

Он часто угадывал, о чем будет говорить собеседник, прерывал того и не давал договорить. У

собеседника это нередко вызывало ощущение неудовлетворенности – ВЛ не дал высказаться. Но и Гинзбургу было не легче. Перед ним лежал текст, который надо было срочно править, а приходилось постоянно отвлекаться на разные административные дела.

Один раз ВЛ попытался ввести особое время для приема посетителей по административным делам, но встретил полное непонимание сотрудников – они уже привыкли заходить к шефу по потребности – и махнул рукой.

Кстати говоря, и в научных обсуждениях ВЛ, бывало, недослушивал собеседника, прерывал его, перебивал. Но и здесь, как и при обсуждении повседневных дел, он нередко по первым словам собеседника угадывал, о чем пойдет речь, не давая тому договорить, и сразу же отвечал на еще не до конца высказанный вопрос.

В самом конце 60-х годов в Отдел пришел Андрей Дмитриевич Сахаров, великий ученый и общественный деятель. Точнее было бы сказать, что в 1969 году А.Д. Сахаров вернулся в Отдел, куда впервые пришел в начале 1945 года. Он тогда работал инженером на Ульяновском патронном заводе и хотел поступить в аспирантуру к Игорю Евгеньевичу Тамму. Приемные экзамены в аспирантуру А.Д. Сахаров успешно выдержал, был принят и провел в Теоретическом Отделе три года. За это время, благодаря своим уникальным способностям и высоким душевным качествам, он заслужил уважение и со стороны молодых своих сверстников, и со стороны своих учителей. В 1948 году он с успехом защитил кандидатскую диссертацию и был зачислен в штат Теоретического Отдела. В том же году он вместе со своим научным руководителем И.Е. Таммом был командирован в секретный институт, местонахождение которого тогда строго скрывалось. Там разрабатывалось атомное и водородное оружие. Для работ в этом направлении в Теоретическом Отделе была создана специальная группа. Руководителем группы был утвержден Игорь Евгеньевич Тамм, в состав группы вошли сотрудники

Отдела, в том числе Андрей Дмитриевич Сахаров и Виталий Лазаревич Гинзбург.

Часть этой группы – И.Е. Тамм, А.Д. Сахаров, Ю.А. Романов – была вскоре командирована в «почтовый ящик» – в знаменитый институт, который тогда не имел географического адреса. Теперь этот адрес известен – город Саров Нижегородской области.

Виталий Лазаревич Гинзбург и несколько других членов группы (в том числе С.З. Беленький и Е.С. Фрадкин) остались в Москве, причем работали в тесном контакте с теми, кто находился в Сарове.

Как известно, работа эта увенчалась успехом, если, конечно, создание водородной бомбы можно рассматривать как успех.

Мотивы работы над ядерным оружием были различны для разных физиков, и у нас в стране, и в США. Знаменитый физик Энрико Ферми, эмигрировавший в США из Италии, на вопрос, почему он работает над атомным оружием, отвечал: «Это – прекрасная физика». Для Роберта Оппенгеймера, возглавлявшего работу над Атомной бомбой в США, основным мотивом было опередить Гитлера – создать атомную бомбу раньше, чем этого добьются физики фашистской Германии. Эдвард Теллер, возглавив работу над водородной бомбой в США, руководствовался ненавистью к коммунизму. Сахаров (и его учитель И.Е. Тамм) считали опасным для всего мира такое положение, при котором одна страна, США, монопольно владела бы столь страшным разрушительным оружием, как водородная бомба.

Виталий Лазаревич такого рода соображения в духе высокой политики или высокой физики не высказывал. Во всяком случае, я таких высказываний от него не слышал. Но он неоднократно говорил, что успешная работа над водородной бомбой спасла его от политических обвинений, дала возможность заниматься наукой и обусловила его избрание в Академию Наук СССР. Действительно, вклад ВЛ в создание водородного оружия оказался очень важным. Таких людей власть берегла, и поэтому обвинения в преклонении перед западом, в идеологических шатаниях, а также обвинения в космополитизме (эти обвинения были

формой антисемитизма) – все эти опасности ему более не угрожали. Что же касается избрания в Академию Наук СССР, то мнение ВЛ о том, что избрание это было обусловлено его работой над водородным оружием, может показаться странным. ВЛ внес важные вклады во многие разделы физики – в электродинамику (классическую и квантовую), физику космических лучей, физику низких температур – всего не перечислить. И при всем этом, по его мнению, он бы не прошел в Академию Наук СССР, если бы не работал над водородной бомбой. Так он сам думал, и я неоднократно от него это слышал.

Первое успешное испытание советской водородной бомбы произошло в 1953 году. В основу конструкции были положены два основных предложения. Одно из них принадлежало Виталию Лазаревичу Гинзбургу, другое – Андрею Дмитриевичу Сахарову. Сахаров предложил способ размещения ядерного горючего («слойка»). Идея, высказанная ВЛ, касалась самого выбора ядерного горючего. Он предложил использовать легкий элемент литий. Это намного удешевило производство и, что не менее важно, значительно сократило сроки изготовления. Литий, в отличие от трития, достаточно распространен в природе. В то же время, ядерная реакция с участием лития, возникающая при взрыве, приводит к образованию необходимого количества трития. Отпадает нужда в строительстве дорогостоящих установок по производству трития. И выигрыш во времени был даже важнее, чем выигрыш в затратах.

После успешного испытания водородной бомбы ВЛ был избран членом-корреспондентом Академии Наук СССР, ему была присуждена Сталинская премия первой степени и, что для него было важнее всего, его жена Нина Ивановна получила разрешение на жительство в Москве. Нина Ивановна в конце Отечественной войны была арестована по абсурдному обвинению в подготовке покушения на И.В. Сталина. После освобождения из мест заключения она не имела права проживания в Москве. ВЛ неоднократно обращался к властям с просьбой разрешить его жене проживание в Москве. Участие ВЛ в создании

термоядерного оружия помогло, помимо всего прочего, воссоединить его семью.

После испытаний Игорь Евгеньевич Тамм вернулся в Москву, а Андрей Дмитриевич Сахаров остался в Сарове, где провел, в общей сложности, около двадцати лет. Он сыграл важную роль в создании ядерного могущества Советского Союза. Заслуги А.Д.Сахарова были в полной мере признаны государством. Ему трижды была присуждена высшая государственная награда – он был три раза награжден высоким званием Героя социалистического труда. Коллеги восхищались знаниями и способностями А.Д.С. Его знали и им восхищались высшие руководители страны. И вот, оказалось, что этот человек интересуется не только тем, чем ему и положено было интересоваться – родной своей наукой, физикой. А интересуется Андрей Дмитриевич Сахаров такими далекими от физики вопросами, как отношения между гражданином и властью, международные отношения, баланс вооружений великих держав, права человека, и много чем еще. И по этим вопросам не боится высказывать соображения, которые явно противоречат начальственным предписаниям. Это стало ясно после того, как Сахаров написал статью под заглавием «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Великий человек поделился своими мыслями о том, что надо сделать, чтобы страна и мир могли успешно развиваться. Статья эта в нашей стране замалчивалась, но из рук в руки ходили истрепанные и почти неразборчивые машинописные копии на папиросной бумаге, протертые на сгибах.

После появления статьи руководство страны посчитало, что А.Д. Сахаров недостаточно надежен, и его освободили от работы в институте, где велись секретные работы, жизненно важные для Советского Союза. Сахаров вернулся в Москву. Вопрос о его трудоустройстве решался на заседании Секретариата ЦК КПСС. Решено было принять во внимание просьбу академика И.Е. Тамма о том, чтобы его ученик А.Д. Сахаров вернулся в Физический институт им. П.Н. Лебедева АН СССР, в Теоретический отдел, где он и работал до переезда в Саров. На этом заседании секретарь

ЦК КПСС М.А.Сулов сказал секретарю парткома ФИАН (секретарем тогда был В.П. Силин):

– Вы теперь отвечаете за Сахарова.

Под обращением «вы» следовало понимать не лично Виктора Павловича Силина, а весь наш институт.

Так в Теоретическом отделе появился сотрудник, общественное значение которого далеко выходило за рамки Отдела, и за рамки Института, и за рамки Академии Наук.

Андрей Дмитриевич Сахаров быстро вошел в научную жизнь Отдела. Он не пропускал ни одного семинара по вторникам (семинар этот был посвящен главным образом вопросам теории поля; семинар был основан Игорем Евгеньевичем Таммом; посещение как раз этого семинара мне вменил в обязанность Виталий Лазаревич при первом знакомстве). Он также регулярно посещал не столь формальный семинар по пятницам («трёп»). Внимательно слушал докладчика, задавал вопросы, сам рассказывал. Но все больше сил и времени у него занимала общественная деятельность – выступления за прекращение испытаний ядерного оружия, в защиту людей, которых власти преследовали за выражение своих мнений, выступления по разным злободневным международным и внутренним проблемам.

Как относился ВЛ к Сахарову? В те годы я не слышал от него никаких высказываний об Андрее Дмитриевиче – ни хвалебных, ни критических. Но, мне кажется, что тогда он относился к общественной деятельности Сахарова достаточно скептически, не верил, что она может получить признание, поддержку и развитие. И как всякий практический человек считал, что коль скоро это так, то и начинать не следует. Опять же, прямых высказываний об этом я от него не слышал. Но был один случай, когда это отношение дало себя знать.

На одном из заседаний Ученого совета в Отделе стали обсуждать, что делать, если в Академии Наук, а точнее говоря, в ФИАНе, начнется сокращение штатов. Обсуждали, как лучше поступить в этом случае – сократить всем зарплату и никого не увольнять, либо зарплату не уменьшать, но кого-то уволить. Виталий Лазаревич, как

председатель Ученого совета, вел заседание. Андрей Дмитриевич о чем-то задумался и не принимал участия в обсуждении. И тут ВЛ спросил его о чем-то, имеющем отношение к предмету обсуждения. АД очнулся от задумчивости и сказал:

– У меня по этому вопросу нет мнения.

– Хорошенькое дело, – сказал ВЛ. – Когда вас никто не спрашивает, вы то и дело выступаете с разными заявлениями. А когда к вам обращаются с вопросом, оказывается, что у вас нет своего мнения.

Это, конечно, была шутка. Но она все же отражала отношение ВЛ к общественной деятельности А.Д. Сахарова.

Андрей Дмитриевич не обиделся на эту шутку. Он улыбнулся и сказал:

– Ну, если вы хотите знать мое мнение, то оно заключается в том, что надо по возможности избегать кровопролития.

Вот такой был случай, по которому я вынес суждение об отношении ВЛ к общественной деятельности АД. Но для окончательного суждения надо еще учесть и другие соображения. В частности, следует учесть, как относилось руководство страны к деятельности Сахарова.

Наше высшее начальство не сомневалось в том, что порядки в нашей стране самые разумные и самые хорошие. Руководители и сами были в этом уверены, а если у кого-нибудь из них и возникали сомнения, то эти сомнения быстро развеивали многочисленные холуи и подпевалы. Поэтому, если кто-то чем-то был недоволен, то считалось, что этот человек просто чего-то не понял. Надо ему разъяснить то, чего он не понимает, и все будет в порядке. Заявления Сахарова высшее начальство объясняло тем, что с АД ведется недостаточная политико-воспитательная работа. А кто в Теоретическом отделе ФИАН отвечает за политико-воспитательную работу? Естественно, заведующий отделом академик Гинзбург. Вот ему и предъявляли претензии по поводу деятельности Сахарова. Я помню, как секретарь партбюро ФИАН Анатолий Федорович Плотников сказал ВЛ:

– Вы не должны оставлять без ответа ни одно заявление Сахарова.

Виталий Лазаревич ответил:

– Для этого я должен день и ночь сидеть у радиоприемника и ловить «Голос Америки» и «Би-БиСи».

Действительно, ни в каких наших средствах массовой информации ничего не сообщалось о заявлениях АД и вообще о его деятельности.

Однажды, когда я был парторгом Отдела, Виталия Лазаревича и меня вызвали в дирекцию Института. Зам директора ФИАН Алексей Иванович Исаков сообщил нам, что А.Д. Сахаров направил письмо руководителям партии и правительства. Исаков спросил Виталия Лазаревича, какие шаги в связи с этим тот намерен предпринять.

– Никаких, – сказал ВЛ, – в Отделе никому и ничего об этом письме неизвестно.

А когда мы ушли из дирекции, по дороге в Отдел Виталий Лазаревич сказал мне:

– Я только одного боюсь: встану утром, раскрою газету, а там письмо академиков против Сахарова, а под письмом стоит и моя подпись.

Он боялся, что подпись могут поставить вопреки его желанию.

Постепенно от замалчивания действий и заявлений А.Д. Сахарова руководство страны перешло к его травле. В газетах стали появляться статьи, в которых Сахаров изображался как враг советской страны, его обвиняли в том, что он рвется к власти. Появилось в «Правде» письмо с осуждением общественной деятельности Сахарова. Письмо подписали 40 академиков. Академия Наук СССР присоединилась к травле своего достойнейшего члена. Подписи ВЛ под этим письмом не было.

В нашем институте на общепартийных собраниях общественная деятельность Сахарова осуждалась, говорились такие речи: «Академик Сахаров должен решить, по какую сторону баррикады он находится, должен прекратить свою безответственную антисоветскую деятельность». Эти слова вместе с разгоревшейся в газетах травлей, конечно, действовали на слушателей. На одном из

партийных собраний я был свидетелем сцены, которую трудно забыть. Секретарь парткома, стоя на трибуне, говорил об институтских делах и, как обычно, перешел к критике Сахарова. Он только начал свои обличения, как из зала раздался громовый крик:

– Товарищи!

Оратор на трибуне замолк. Все обернулись на крик. По проходу, ведущему к трибуне, из глубины зала шел человек выше среднего роста, широкоплечий, крепкого телосложения. Он подошел к трибуне и встал перед ней, так что оратор на трибуне над ним возвышался. Человек повернулся лицом к залу, и я увидел тупое бессмысленное лицо. Он громким голосом проговорил:

– Кто такой Сахаров? Чем он передо мной заслужил? Дайте его мне, я его...

И он сделал такое движение руками, как будто скручивал шею курице.

Оратор, стоя на трибуне, улыбаясь, аплодировал. В зале стояла мертвая тишина. А человек под трибуной повторил свои слова:

– Я его...

И повторил движение руками.

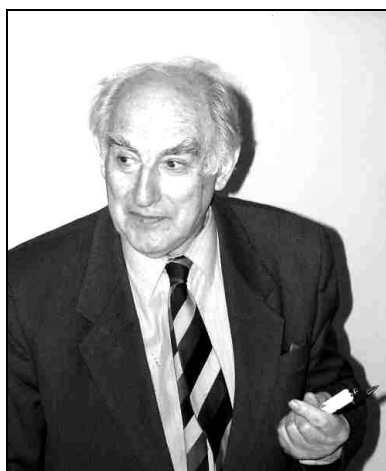
Эту жуткую сцену прекратил председательствующий, доктор физико-математических наук Анатолий Николаевич Ораевский. Он сказал:

– Сядьте на свое место, товарищ. Вам никто слова не давал.

После собрания ВЛ написал докладную записку на имя заместителя директора ФИАН по режиму. В записке он сообщил, что на общеинститутском партийном собрании были высказаны угрозы физической расправы над А.Д. Сахаровым, и просил принять необходимые меры для его защиты. Я потом узнал, что человек, который угрожал расправой над АД, был пьян. Этот случай произвел на меня жуткое впечатление. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вот до чего может довести человека массированная пропаганда.

Некоторое время спустя в институте было составлено «Заявление ученых ФИАН», в котором

общественная деятельность А.Д. Сахарова подвергалась осуждению. Авторы письма требовали от А.Д. Сахарова прекратить эту деятельность. Письмо подписали несколько сот сотрудников института. ВЛ это письмо не подписал. И ни один сотрудник Теоретического отдела не подписал это письмо. После этого некоторые особо бдительные товарищи, обладавшие усердием не по разуму, заговорили о том, что Теоретический отдел является базой для антисоветской деятельности А.Д. Сахарова. Перед Отделом встала реальная угроза расформирования.



Как заведующий Теоретическим отделом, ВЛ оказался в трудном положении. Надо было уберечь от разгрома Отдел, замечательный творческий коллектив, созданный Игорем Евгеньевичем Таммом. Андрей Дмитриевич Сахаров был неотъемлемой частью и украшением этого коллектива. Надо было сохранить для всех сотрудников Отдела, включая и Сахарова, все условия для плодотворной научной работы. Что же касается общественной деятельности АД, то Виталий Лазаревич говорил и повторял, что это – личное дело Сахарова, что Отдел в этой деятельности никакого участия не принимает.

В семидесятые годы, когда велась травля А.Д. Сахарова, в печати то и дело появлялись статьи, где все, сказанное и написанное Сахаровым, искажалось, а ему

приписывались самые зловещие намерения. Систематически также печатались письма, подписанные известными деятелями науки, литературы, искусства, рабочими и колхозниками. В этих письмах авторы осуждали Сахарова. Варианты были разные, но суть одна: «Я Сахарова не читал, но мне за него стыдно!». В одном номере газеты «Известия», я увидел два весьма примечательных письма, в которых авторы осуждали Сахарова. Один автор был известный украинский писатель, а другой – патриарх Алексей Второй. Патриарх осуждал Сахарова за то, что его, Сахарова, действия подрывают разрядку международной напряженности. А известный советский украинский писатель возмущался тем, что Сахаров подрывает нашу святую веру в светлые идеалы коммунизма. Прочитал я эти письма и подумал: вот до чего дошло: советский писатель защищает святую веру, а патриарх – разрядку международной напряженности.

Конечно, кто-то из авторов писал осуждающие письма, уступая прямому давлению властей. Но были и такие, которые верили лживым обвинениям против Сахарова.

В Теоретическом отделе работало несколько членов Коммунистической партии и была своя небольшая первичная партийная организация – шесть или семь человек. Дела первичной организации вел парторг – партийный организатор. Это была выборная должность, и несколько раз на эту должность коммунисты Отдела выбирали меня.

Наступил такой момент, когда партийное руководство захотело, чтобы с заявлением против Сахарова выступили коммунисты Теоретического отдела. В райкоме партии мне сказали:

– Надо коммунистам Теоретического отдела собраться и написать, что они не хотят работать рядом с Сахаровым.

Я этот совет понял так, что власть хочет уволить Сахарова нашими руками. Вполне было возможно, что партийная власть в нашем Октябрьском районе города Москвы особенно и не вникала в правозащитную деятельность Сахарова, а рассуждала так: раз его ругают в

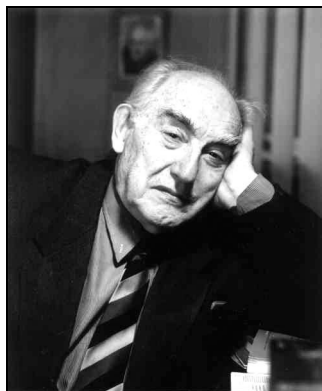
центральной печати, а он работает в нашем районе, нам от этого лишняя головная боль. Пусть делает что угодно, но только не в нашем районе.

Конечно, те, кто не знал Андрея Дмитриевича и не знал, за что он борется, те могли поверить клевете. Но мы-то его знали. Мы, наоборот, считали, что надо ему создать все условия для научной работы. Кроме того, многие из нас, хотя и боялись это открыто высказать, сочувствовали этому великому человеку в его, как тогда казалось (и даже ему самому) необходимом, но безнадежном деле.

Так или иначе, власть не дождалась от нас заявления, что мы не хотим работать с А.Д. Сахаровым.

А между тем, как уже было сказано выше, некоторые особо бдительные товарищи истолковывали молчание Отдела так, что Отдел является базой для антисоветской деятельности академика Сахарова. Чем это грозило Отделу и его заведующему академику В.Л. Гинзбургу, можно не объяснять.

Вопрос об отношении коммунистов Отдела к общественной деятельности академика А.Д. Сахарова все же пришлось обсудить на собрании первичной партийной организации Отдела.



На это собрание пришел секретарь парткома ФИАН Виктор Павлович Силин. Он до начала 60-х годов работал в Теоретическом отделе, но потом перешел в лабораторию физики плазмы, где возглавил сектор теории плазменных

явлений. Формально он еще был членом нашей партийной организации. Все мы хорошо его знали, и он нас хорошо знал. Витя начал первым. Он сказал, что создалось такое положение, при котором коммунисты Отдела не могут молчать. Они должны определить свою позицию по отношению к академику Сахарову.

Затем слово взял ВЛ. Он был краток:

– Виктор Павлович, я понимаю, что парткому нужно заявление от нашей партийной организации, и я знаю, какое нужно заявление. Предлагаю такой текст:

И он продиктовал текст постановления (или заявления) из трех пунктов:

«1. Партийная организация Теоретического отдела поддерживает политику Партии и Правительства, направленную на разрядку международной напряженности и осуждает те действия Сахарова, которые противоречат разрядке.

2. Партийная организация Теоретического отдела считает своей задачей изолировать Отдел от политической деятельности Сахарова.

3. Партийная организация Теоретического отдела считает своей задачей создать академику Сахарову все условия для плодотворной научной работы».

– Ну, как, Витя? – спросил ВЛ.

Витя с минуту размышлял, а потом внес поправку:

– Предлагаю в первом пункте вместо слов «осуждает те действия» написать «осуждает все те действия».

Поправку приняли без разговоров. Потом проголосовали текст в целом. Все проголосовали «за», один я воздержался. Я был не согласен со словами осуждения в первом пункте. Однако, мудрому Ефиму Фрадкину не понравилось, как я голосовал. Он предложил переголосовать проект решения, а мне сказал:

– Такие резолюции надо принимать единогласно.

Переголосовали и приняли текст единогласно.

Оглядываясь назад, я думаю, что этот текст сослужил Отделу добрую службу. Ясно было сказано, что Отдел не является базой для деятельности АД. И ясно было сказано, что партийная организация Отдела выступает

против увольнения АД. Что же касается осуждения А.Д. Сахарова «за все те действия, которые противоречат разрядке международной напряженности», то где они, эти действия? Можно было с тем же основанием написать, что мы осуждаем А.Д. Сахарова за все прошлые и будущие солнечные затмения.

Текст нашего постановления был передан в партком Института, но в печать не попал. Видимо, что-то в тексте было такое, что не подходило для публикации. Возможно, это был пункт третий – о необходимости создать АД все условия для научной работы. Этот пункт расходился с намерениями некоторых администраторов, партийных, советских и академических. Они хотели уволить Сахарова.

Некоторое время спустя в институте было составлено «Заявление ученых ФИАН», в котором общественная деятельность А.Д. Сахарова подвергалась осуждению. Авторы письма требовали от А.Д. Сахарова прекратить эту деятельность. Письмо подписали несколько сот сотрудников института. ВЛ это письмо не подписал. И ни один сотрудник Теоретического отдела не подписал это письмо. Стандартное объяснение для властей было такое: «Я согласен с заявлением нашей партийной организации и не считаю нужным что-то еще подписывать».

В январе 1980 года А.Д. Сахаров был арестован и сослан в город Горький (теперь город носит свое первоначальное название Нижний Новгород). Для Теоретического Отдела и его заведующего Виталия Лазаревича Гинзбурга возникло множество проблем. Сразу же начались попытки увольнения Сахарова. Мне известно о двух таких попытках. Одна была предпринята в нашем родном институте. Директор ФИАН академик Н.Г. Басов дал указание своему заместителю С.И. Никольскому подготовить приказ об увольнении Сахарова. Сереже Никольскому делать это очень не хотелось. Он позвонил в Президиум Верховного Совета СССР, представился и сказал примерно следующее:

– В газетах сообщили, что Сахаров лишен всех наград и выслан в город Горький согласно постановлению

Президиума Верховного Совета СССР. Не могли бы вы мне сообщить дату и номер этого постановления? Мне это нужно для приказа об увольнении Сахарова.

На той стороне линии возникло некоторое замешательство. Номер постановления и дату Сереже не сообщили, сказали, что сразу не нашли. Обещали перезвонить, да так и не перезвонили. Похоже, что никакого постановления о высылке Сахарова Президиум Верховного Совета не принимал. А С. Никольскому того и было надо.

Вторая попытка уволить А.Д. Сахарова была предпринята Отделом кадров Президиума Академии Наук. Оттуда позвонили к нам в Отдел Гелию Фроловичу Жаркову (он был заместителем В.Л. Гинзбурга) и спросили:

– Скажите, пожалуйста, Сахаров ходит на работу?

– А вы что, не знаете, что он выслан в город Горький? – в свою очередь спросил Гелий.

– Мы знаем, но вы нам скажите, ходит он на работу или нет.

– Не ходит.

– Пишите рапорт, что Сахаров не ходит на работу.

Кто-то в Президиуме хотел уволить Сахарова, но для этого нужна была наша помощь – рапорт о том, что Сахаров не ходит на работу.

Доктор физико-математических наук Гелий Фролович Жарков был не только хорошим физиком, он еще знал, на каком языке надо говорить с чиновниками. Он сказал:

– Рапорта не будет. Согласно Правилам внутреннего распорядка учреждений Академии Наук, действительный член Академии не обязан каждый день ходить на работу.

Атака была отбита.

Несколько месяцев прошло, прежде чем появилась некоторая определенность в положении А.Д. Сахарова. Кажется, в марте 1980 года был издан приказ Президента Академии Наук, посвященный А.Д. Сахарову. Сахаров остался в Теоретическом Отделе ФИАН, не был уволен. Сотрудникам разрешалось периодически его навещать для обмена научной информацией. Прежде, чем состоялось такое решение, пришлось Виталию Лазаревичу вести

переговоры в Отделе науки ЦК КПСС и в Президиуме Академии Наук. Он добивался, чтобы Сахаров остался сотрудником Теоретического Отдела, и он этого добился. Виталий Лазаревич первым поехал к А.Д. Сахарову, ознакомился с условиями его жизни и помог в разрешении некоторых трудностей. Трудностей было более чем достаточно, но не во власти ВЛ было устранить их все.

После кончины АД сотрудники Отдела приняли решение выпустить сборник воспоминаний о нем. Такой сборник был издан. Сборник носит название «Он между нами жил». Книга переведена на английский язык под названием “Facets of the Life” («Грани жизни»). Когда рукопись книги была подготовлена к печати, мы ее отвезли к Елене Георгиевне Боннер, у Елены Георгиевны хорошая память. Мы хотели, чтобы она прочла книгу и помогла уточнить даты событий и другие подробности. Рукопись к Елене Георгиевне повезли Игорь Михайлович Дремин и я.

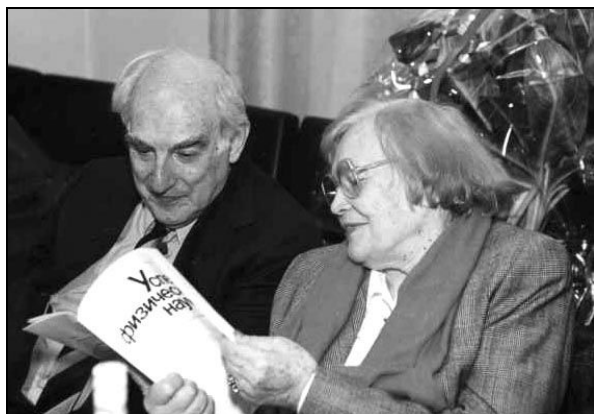
После того, как деловая часть визита была закончена, Елена Георгиевна усадила нас за стол в кухне и напоила чаем. За чаем она задала нам неожиданный вопрос:

– Скажите, Виталий Лазаревич любил Андрея Дмитриевича?

Мы с Игорем не могли ответить на этот вопрос. Игорь промолчал, а я сказал, что Виталий Лазаревич при мне ни разу не высказывал свое отношение к АД – не хвалил и не ругал.

Когда мы вернулись в институт, Игорь рассказал Виталию Лазаревичу о вопросе, который нам задала Елена Георгиевна. Виталий Лазаревич к Елене Георгиевне относился сдержанно, в частности, считал, что она побуждает АД на резкие заявления и на резкие действия. В этом я был с ним не согласен. Не такой был человек АД, чтобы действовать под чьим-то влиянием. Решения свои он принимал обдуманно, и никакая внешняя сила не могла эти решения изменить. Другое дело, что Елена Георгиевна была в числе тех, кто поддерживал решения, принятые АД. Несколько раз Виталий Лазаревич высказывал мне свое мнение о Елене Георгиевне. Я с ним не соглашался, спорил,

несмотря на все мое к нему уважение. Каждый остался при своем мнении.



При таком отношении Виталия Лазаревича к Е.Г. Боннер я бы не стал сообщать ему о вопросе, который задала Елена Георгиевна – любил ли ВЛ Сахарова. Но Игорь придерживался другого мнения и рассказал об этом Виталию Лазаревичу. Почти сразу после этого ВЛ пришел ко мне и спросил:

– Вам Елена Георгиевна задала вопрос, любил ли я Сахарова?

Говорю: да.

– И что вы ответили?

Я сказал, как я ответил.

ВЛ молча вышел.

На следующее утро он зашел ко мне и, даже не поздоровавшись, произнес, как отчеканил:

– А вы бы ей сказали: «А ты сама-то его любишь?»

И вышел.

Виталий Лазаревич был человеком темпераментным, т. е. впечатлительным и легко возбудимым. Бывало, что он не мог сладить со своим темпераментом, и тогда не он сам, а его темперамент определял его слова и поступки. Приведу пример, может быть, самый малозначащий, но он дает представление о том, что я имею в виду.

Речь пойдет о знаменитом семинаре Гинзбурга. На одном из заседаний я, как обычно, сидел рядом со своим другом и соавтором, профессором Физтеха Станиславом Николаевичем Столяровым. Уже не помню, какой был доклад на семинаре. Некоторые утверждения докладчика нам были не ясны, и мы со Столяровым стали их обсуждать. Говорили сначала шепотом, чтобы не мешать соседям, а потом увлеклись, стали говорить громче. Виталий Лазаревич несколько раз оглянулся на нас из своего первого ряда. Он не любил посторонних разговоров. Наш разговор, правда, был не посторонний, мы обсуждали сказанное докладчиком, но все равно мы мешали слушателям. Проще было спросить самого докладчика о том, что было нам непонятно, но мы не хотели прерывать его. Справедливость требует отметить, что иногда на семинаре мы переставали слушать доклад и начинали разговоры на посторонние темы.

Виталий Лазаревич оглянулся на нас несколько раз, а потом встал, прервал докладчика и повернувшись в нашу сторону, сказал:

– Борис Михайлович! Почему вы болтаете? Семинар – это работа. Сегодня у нас идет пятьсот двадцать третий семинар, и за много лет я старался не пропустить ни одного заседания семинара. Я приходил даже больной, с температурой. Семинар – это работа. А вы тут сидите и болтаете. Вы зрелый муж, доктор физико-математических наук. Не мое дело вас учить, как надо себя вести. Но я вам говорю: если вы и впредь будете болтать на семинаре, лучше не приходите сюда. Но я вас предупреждаю: если вы не будете ходить на семинар, вы для меня перестанете существовать.

На семинаре присутствует больше ста человек. Может быть, полтора. И все сидят и молчат. И слушают, как ВЛ меня разносит. Я себя чувствую очень неуютно. А ВЛ продолжает:

– На семинаре Ландау каждый участник может свободно разговаривать. В зале стоит гул. Я всегда поражался и не мог понять, как Ландау это допускает. Но Ландау – большой человек, а я человек маленький, и у меня вы болтать не будете!

ВЛ еще говорил, все не помню. Сказал и душу облегчил. И обратился к докладчику, который во все время этого «лирического отступления» молча стоял у доски:

– Извините, я вас прервал. Продолжайте, пожалуйста.

Доклад возобновился. Я сидел ошеломленный. Я не помнил, чтобы ВЛ кого-нибудь когда-нибудь ругал так горячо, как меня. Да еще, обращаясь ко мне, он меня называл «Борис Михайлович», а не просто «Боря», как обычно. Доклад я уже не слушал. Так прошло минут десять. А потом Виталий Лазаревич сделал докладчику необычно резкое замечание и тут же сказал:

– Извините, пожалуйста. Это я огорчен тем, что так обхамил Бориса Михайловича. И тут он встал, обратился лицом к аудитории и сказал:

– Я должен принести свои извинения Борису Михайловичу за то, что я столько наговорил в его адрес.

Я сказал:

– Я только с одним не согласен из того, что вы сказали.

– С чем? – спросил Виталий Лазаревич.

– Вы сказали, что я – зрелый муж.

– Вот видите, Боря, – грустно сказал Виталий Лазаревич, – вы сохранили чувство юмора, а я его потерял. Но в свое оправдание я только могу сказать, что семинар – это работа...

Тут его голос снова окреп, и он с большим темпераментом продолжил:

– ... и если вы будете болтать на семинаре...

И он выдал мне по второму разу все, ранее сказанное.

Но на этом дело не кончилось. После семинара шел я по коридору. Меня догнал ВЛ, остановил и во второй раз сказал, что он сожалеет... И понес меня в третий раз.

Виталий Лазаревич является автором нескольких статей, которые я бы назвал как разгромные. В этих статьях подвергались острой критике некоторые научные статьи или вышедшие из печати монографии, учебники.

Я пишу, что критике подвергались работы – статьи, книги, – но ведь на самом деле критике подвергались авторы. Виталий Лазаревич нередко вспоминал, как Л.Д. Ландау удивлялся, имея в виду обиженного им физика:

– Почему он обиделся? Я же не назвал его идиотом, я сказал, что статья у него идиотская.

Конечно, критикуя те или иные работы, ВЛ вступал в полемику с их авторами. У него был незаурядный полемический талант. Если он против кого-то ополчался, то он, как говорится, не жалел снарядов и палил из всех бортовых орудий. В его полемических статьях не редкость были фразы вроде такой: «Если в работах автора и есть что-то новое, то это – новые ошибки». От атаки В.Л. Гинзбурга трудно было защищаться, тем более что он был физик высочайшей квалификации и писал о существе дела, о том, что было ему хорошо известно.

В конце сороковых – начале пятидесятых годов В.Л. Гинзбург стал объектом травли как идеалист и космополит. Травля эта началась в газетах, а затем нашла свое отражение и в чисто научной, казалось бы, литературе. В начале пятидесятых годов вышел из печати учебник «Радиофизика», написанный профессором Кессенихом, тогда деканом Физического факультета МГУ. В этом учебнике работы В.Л. Гинзбурга по распространению радиоволн были подвергнуты критике. В учебнике были даже параграфы, озаглавленные «Первая ошибка Гинзбурга», «Вторая ошибка Гинзбурга». Что представляли собой «ошибки Гинзбурга» по мнению автора? Одна из «ошибок» состояла в том, что ВЛ описывал электромагнитные свойства ионосферы с помощью тензора диэлектрической проницаемости. По мнению автора учебника, понятие «диэлектрическая постоянная» имело смысл только в применении к твердому телу, но не к подвижной среде вроде ионизованного газа. Автор, видимо, сам не занимался теорией распространения радиоволн, в которой при описании локальных свойств ионосферы как раз и применялось (с полным, добавим, основанием) понятие тензора диэлектрической проницаемости.

Остальные указания на «ошибки» В.Л. Гинзбурга были столь же безосновательны.

Виталий Лазаревич написал подробную статью, в которой ответил на относящиеся к нему возражения, а также осветил ряд других недостатков учебного пособия. Увы, недостатков было немало, и ВЛ обсудил некоторые из них с полной беспощадностью. Автор учебника от дальнейшей дискуссии воздержался, признал, что учебник нуждается в переработке, но перерабатывать его не стал.

Столь же разгромной оказалась рецензия ВЛ на учебник «Теоретическая оптика», написанный профессором Физического факультета МГУ Ф.А. Королевым. И опять могу сказать, что замечания ВЛ были совершенно справедливыми по существу, хотя и довольно резкими по форме. На эту свою рецензию ВЛ получил «ответ» со всяческой руганью и с обращенным к нему вопросом: «Что ты можешь видеть со своей жидовской колокольни?». Я бы сказал, что в этом анонимном письме было введено невиданное до этого в архитектуре понятие – «Жидовская колокольня». Возражений по существу в письме не было, если ругань не считать возражением по существу.

Но есть среди полемических статей ВЛ и такие, где уровень резкости является неоправданно высоким, а физическая аргументация безупречна. Такой несправедливо резкой разгромной статьёй является статья, содержащая критику работ профессора Анатолия Александровича Власова.

Профессор Московского университета Анатолий Александрович Власов был незаурядным физиком-теоретиком. Несомненным и очень важным его достижением является система самосогласованных уравнений для описания свойств электронной плазмы. Эта система уравнений так и называется – уравнения Власова. Она нашла широчайшее применение в исследовании газового разряда, распространения радиоволн, колебательных свойств электронной плазмы и т. д. – всего не перечислить.

В своих лекциях А.А. Власов не только излагал современное состояние знаний, но, как правило, обращал

внимание студентов на еще не решенные вопросы. Была даже шутка у студентов: предисловие к конспекту лекций Власова начиналось с фразы: «Задачей настоящего курса является углубление и развитие трудностей, лежащих в основе современной теории». Он обсуждал возможные пути развития, и для слушателей это было важно. Они, благодаря лектору, воспринимали науку не как застывшую систему знаний, а как растущий организм, наряду с успехами развития видели и болезни роста.

Кстати сказать, А.А. Власов был научным руководителем дипломной работы Андрея Дмитриевича Сахарова, будущего великого физика и правозащитника. А.А. Власов оценил силу своего дипломника и уговаривал того остаться в Университете для подготовки к профессорскому званию.

Статья с резкой критикой работ А.А. Власова была подписана четырьмя выдающимися физиками – В.Л. Гинзбургом, Л.Д. Ландау, А.М. Леонтовичем и В.А. Фоком. Но я думаю, что написана она была в основном Виталием Лазаревичем. Остальные авторы ни до, ни после не писали ничего в таком полемическом стиле.

Причина публикации, по-моему, лежит не в чисто научной стороне дела, а в плохих отношениях, которые в то время установились между университетскими физиками и их коллегами из Академии Наук.

Здесь уместно сделать короткое отступление. Мудрый человек Всеволод Васильевич Антонов-Романовский, работавший в ФИАНе со дня основания, рассказал мне поучительную байку о том, как образовалось научное сообщество. Однажды Бог создал человека, у которого не было ни одного недостатка, одни достоинства. Бог дал ему имя Ученый. Когда об этом узнал дьявол, он в ответ создал человека, у которого не было ни одного достоинства, только недостатки, и назвал его Коллега. Вот так и возникло научное сообщество. Первоначально оно состояло из двух человек, а потом ученые и коллеги умножились в числе.

Возвращаясь к конфликту между университетскими и академическими физиками, могу сказать, что конфликт

этот был одинаково не нужен и одинаково вреден и тем и другим. Почему же, тем не менее, он существовал? Потому что был выгоден кому-то в Отделе науки Центрального Комитета КПСС. Разделяй и властвуй – этот управленческий прием широко применялся во всех областях деятельности, в том числе и в науке.

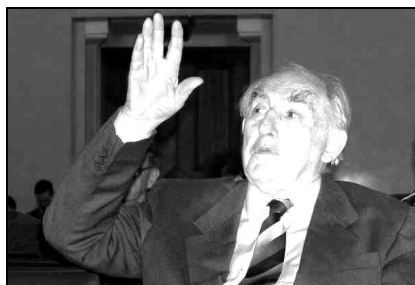
По моим наблюдениям, А.А. Власов в этом противостоянии активной роли не играл – доносов не писал, громких заявлений не делал, занимался наукой. Возможно, были попытки со стороны университетских физиков сделать Власова главой в конфликте с физиками из Академии, но сам Власов на это не пошел. Физиков можно делить по месту работы, но сама наука физика такому разделению не подвержена.

Статья четырех авторов была написана с враждебных позиций, в столь же разгромном стиле, как и упомянутые выше статьи ВЛ против Кессениха и Королева. Профессору Власову она принесла много вреда.

ВЛ был темпераментным человеком. Я не сомневаюсь в том, что всех, кого он подвергал резкой критике, он считал плохими людьми, а свою борьбу с ними – борьбой со злом. В ряде случаев для этого были все основания, но бывало и так, что темперамент приводил его к необоснованной резкости. Но я не помню, чтобы ВЛ, посчитав кого-то плохим человеком, впоследствии изменил свое отношение к нему и свое мнение о нем к лучшему.

Я вспоминаю, как возникла очень острая дискуссия в научной периодике между В.Л. Гинзбургом и С.И. Пекаром. Соломон Исаакович Пекар (фамилия произносится с ударением на втором слого – Пекáр, но Виталий Лазаревич в пылу дискуссии произносил эту фамилию с ударением на первом слого, и она звучала как «Пéкарь»), действительный член Академии Наук Украинской ССР, был известен своими работами по физике твердого тела. Где-то в середине 60-х годов он приехал в Москву и сделал доклад на семинаре Теоретического отдела ФИАН о распространении волн в средах с пространственной дисперсией. С.И. Пекар был человеком плотного телосложения, выше среднего роста, двигался и говорил не торопясь. Я его видел в первый раз,

мне показалось, что ведет он себя с важностью. Тема доклада интересовала Виталия Лазаревича, он по ходу дела задал несколько вопросов и, кроме того, сделал несколько замечаний, перебивая докладчика. В Теоретическом отделе это было в порядке вещей. Можно было и задавать вопросы и делать замечания в любом месте доклада. Пекар против этого не протестовал, но вел себя, на мой взгляд, очень необычно. Когда ВЛ делал какое-либо замечание, Пекар замолкал и терпеливо выслушивал до конца. А после того, как ВЛ замолкал, Пекар продолжал свой доклад с того места, на котором он был прерван, как будто никакого замечания и не было высказано. Так же точно Пекар реагировал не только на замечания, но и на вопросы, которые задавал ВЛ. Пекар молча выслушивал вопрос, а когда ВЛ умолкал в ожидании ответа, он продолжал свой доклад с того места, на котором доклад был прерван. Почему он так себя вел, я не знаю. Может быть, там, где Пекар работал, было не принято перебивать докладчика. А возможно, С.И. Пекар опасался, что вопросы и замечания могут его сбить, и он тогда что-то упустит в своем рассказе. Так или иначе, на все или почти все высказывания ВЛ реакция докладчика оказалась практически нулевой. Такое поведение докладчика очень не понравилось Виталию Лазаревичу.



После семинара ВЛ спросил:

– Ну, как вам Пекар?

Я ответил, что доклад был интересный, но для меня оказалась непривычной реакция докладчика на вопросы и замечания. И тогда, совершенно неожиданно для меня, ВЛ сказал:

– Он плохой человек. И потом, через несколько минут, повторил эти слова.

Позднее ВЛ начал спор с Пекаром в печати по разным деталям теории сред с пространственной дисперсией. Это была не только научная дискуссия, а, по крайней мере частично, борьба с «плохим человеком». Надо сказать, Пекар не оставлял без ответа возражения ВЛ, и высказанные им соображения показывали, что он дело понимает. Мне кажется, что эта дискуссия принесла авторам больше вреда, чем пользы, причем еще Гинзбургу она принесла больше вреда, чем Пекару.

Насколько я знаю, дискуссия закончилась примирением, по крайней мере, формальным. В то время ВЛ и Владимир Моисеевич Агранович писали книгу «Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии». Книга получилась полезной, она может служить введением в теорию пространственной дисперсии, которая в те годы возникла и развивалась. Кстати сказать, С.И. Пекар внес немалый вклад в развитие теории пространственной дисперсии.

Я думаю, Володя Агранович приложил в то время старания к тому, чтобы спор с Пекаром окончился миром. Но я также думаю, что ВЛ до конца дней все-таки, как говорят в Одессе, держал Пекара за «плохого человека».

Плохие отношения сложились у ВЛ с Юрием Абрамовичем Гольфандом, математиком и теоретиком, открывшим важный раздел квантовой теории поля – суперсимметрию. Гольфанд был взят в Теоретический отдел как математик, для обеспечения вычислительных работ. Однако, он быстро овладел кругом идей квантовой электродинамики и вообще квантовой теории поля и стал известен как физик-теоретик. Но ВЛ не считал его физиком и, что гораздо хуже, зачислил в разряд плохих людей. Я Юрия Абрамовича Гольфанда достаточно знаю и могу сказать, что плохим человеком он ни в каком смысле не был. Характер у него был трудный, в чем-то тяжелый, но ни в каких неблагоприятных делах его упрекнуть нельзя, даже не придет в голову. С В.Л. Гинзбургом у Ю.А. Гольфанда

сложилась и окрепла взаимная неприязнь, которую они оба и не скрывали. Для Гольфанда это повлекло за собой тяжелые последствия. ВЛ тогда заведовал Теоретическим отделом. Гольфанд был уволен из Теоретического отдела по сокращению штатов и семь лет после этого не мог найти работу. Это увольнение не получило одобрения со стороны значительной части научного сообщества. И советские и иностранные физики выражали по этому поводу свое недоумение и неодобрение. Но мнение ВЛ о том, что Гольфанд – плохой человек, со временем не слабело, а только крепло. У поэта и философа Игоря Губермана есть такое четверостишие:

Мы порой жестоко судим
Наших близких и родных.
Надо жить, прощая людям
Наше мнение о них.

Губерман в этом четверостишии говорит даже не о том, что людям надо прощать какие-то грехи. Может быть, и грехов-то никаких нет. А надо прощать наше мнение. ВЛ, как кажется, не прощал людям свое о них мнение.

Где-то во второй половине 70-х годов я стал изучать работы Хевисайда по электродинамике. Оливер Хевисайд (1850-1925) – знаменитый английский математик и физик. Он не имел университетского образования, да и школьное его образование было неполным. Все свои знания он получил самостоятельно. Это не помешало ему создать новые разделы математики, в частности, операционное исчисление и векторный анализ, а также внести важные вклады в целый ряд разделов науки об электричестве. Изучая его работы, я был буквально потрясен количеством и значением полученных им результатов, из которых многие при его жизни не получили признания, а потом были прочно забыты. Я также получил представление об условиях его жизни и об удивительных особенностях характера.

То, что я узнал, я стал всем рассказывать. В частности, рассказал о работах Хевисайда на семинаре ВЛ. Рассказывал также историкам науки. И один из слушателей,

профессор Б.Г. Кузнецов, философ и историк науки, сказал мне:

– Напишите о нем книгу.

Сначала этот совет показался мне невыполнимым. Но потом я стал собирать материал, дополняющий то, что уже мне было известно. А потом начал писать. Думал при этом так: изложу то, что я узнал об этом замечательном человеке, Оливере Хевисайде. А что в результате получится – короткая статья, или большая статья, или книга – не буду загадывать.

Работа уже подходила к концу, когда ВЛ встретил меня в коридоре и сказал:

– Что-то вы в последнее время бездельничаете.

Я говорю:

– Я не бездельничаю, я книгу написал.

– Дайте почитать.

У меня уже все написанное было напечатано на машинке, я допечатал остаток и отнес все Виталию Лазаревичу.

Через несколько дней он мне вернул рукопись, сказал, что ему понравилось и спросил, где я собираюсь ее издавать. Я об этом еще не успел подумать, так ему и ответил. Он посоветовал:

– В Издательстве Академии Наук выпускается научно-биографическая серия. Обратитесь туда.

Я собрался выполнить совет ВЛ, но не успел этого сделать. Примерно через неделю после нашего разговора ВЛ сказал мне:

– Я встретил академика А.Л. Яншина, он председатель редакционного совета в научно-биографической серии. Я ему похвалил вашу рукопись и сказал, что ее надо печатать. Он в ответ сказал, что если я соглашусь быть ответственным редактором вашей книги, они ее быстро напечатают. Я согласен быть ответственным редактором, а вы как?

Я с радостью согласился и сказал спасибо. Иметь такого редактора – это большая честь для любого автора.

Книга вскоре пошла в редакционную подготовку, а ВЛ уехал в отпуск.

Через несколько дней я получил от него письмо. Он писал:

«Боря, вы будете смеяться, но я начал свой отпуск с того, что написал предисловие к вашей книге».

В конверт было вложено написанное от руки предисловие ответственного редактора. Тамара Ильинична Филатова, референт Виталия Лазаревича, напечатала предисловие на пишущей машинке, и я отвез его в издательство. Предисловие вошло в книгу без изменений.

Вот так ВЛ работал и так «отдыхал»! Отдыхом для него была перемена рода работы.

В 2003 г. Виталию Лазаревичу вместе с А.А. Абрикосовым и Энтони Леггетом была присуждена Нобелевская премия за исследования по физике низких температур. Что касается Виталия Лазаревича, то из немалого числа опубликованных им статей по сверхпроводимости и сверхтекучести, которые во многом определили развитие этой области знания, одна статья, написанная совместно с Л.Д. Ландау, представляется наиболее важной. В этой статье была сформулирована полуфеноменологическая теория сверхпроводимости. Статья была опубликована более чем за полвека до того дня, как ее автор, точнее говоря, один из ее авторов, был удостоен Нобелевской премии. И эта работа полностью сохранила свое значение до наших дней. Признания со стороны Нобелевского комитета пришлось ждать более пятидесяти лет. Когда Ландау и Гинзбург писали эту статью, Виталию Лазаревичу было за тридцать (тридцать четыре года). А Нобелевскую премию он получил, когда ему было восемьдесят семь лет. По этому поводу ВЛ шутил, что каждый может получить Нобелевскую премию, надо только дожить.

К тому времени, когда была присуждена Нобелевская премия, здоровье ВЛ пошатнулось. Он был исключительно здоровый, крепкий, даже мощный человек. Я помню, где-то в середине пятидесятых годов прошлого века молодые теоретики принесли в отдел свинцовый брусок квадратного сечения длиной в несколько десятков

сантиметров. Квадрат в поперечном сечении бруска имел сторону порядка десяти сантиметров. Из таких брусков выкладывали защиту от радиоактивных излучений. Брусок этот весил от тридцати до сорока килограмм. У нас этот брусок использовался для упражнений и для состязаний – кто сколько раз поднимет его одной рукой. И вот, один раз, когда соревнования проходили в нашей комнате, из своего кабинета выглянул Виталий Лазаревич, зашел в нашу комнату, поглядел, как теоретики с натугой выжимали эту свинцовую тяжесть, и сказал:

– Дайте попробовать.

Ему передали брусок, и он стал с легкостью «качать» – раз за разом поднимать этот тяжелый параллелепипед. Он превзошел всех участников, и на лице его не выразилось никакого напряжения. Помахав этой чушкой достаточно долго, он сказал:

– Надоело!

Передал брусок следующему участнику соревнований и вернулся в свой кабинет.

Он был физически крепким и здоровым человеком. Это и позволяло ему нагружать на себя огромное количество дел и в течение многих лет вести напряженную работу – научную и организационную. Но постепенно здоровье его стало слабеть, подкрадывались недомогания. Мы об этом не имели представления, но могли бы догадаться и задуматься, когда в 2001 году ВЛ закрыл работу своего знаменитого семинара. Он тогда высказался в том духе, что не хочет дойти до такого состояния, когда будет вести свой семинар, не понимая, что он делает. Но на самом деле интеллектуальную свою мощь он сохранил в полной мере, ему только не хватало уже физических сил.

Болезнь развивалась, и в начале 2005 года у ВЛ отнялись ноги. Он попал в больницу, началось длительное и тяжелое лечение. Но не так тяжела была для Виталия Лазаревича сама болезнь, как связанная с ней невозможность поддерживать прежний темп работы. Это его настолько угнетало, что он даже обдумывал возможность добровольного ухода из жизни и даже написал письмо по этому поводу. ВЛ считал, что нужно принять закон, который

бы определял добровольный уход из жизни. Письмо это помещено на сайте журнала «Успехи Физических Наук». Оно, насколько я знаю, не вызвало никакого обсуждения. И хорошо, что не вызвало. Вопрос о добровольном уходе из жизни, конечно, надо обсуждать, но нельзя его привязывать к судьбе одного отдельного человека, да еще такого, как ВЛ. Виталий Лазаревич, конечно, продолжал работать и на больничной койке. Его усилиями был создан новый отдел в ФИАНе – Отдел высокотемпературной сверхпроводимости. Исследования в этом направлении очень важны и в случае успеха приведут к перевороту во многих областях техники и промышленности.



На приеме, который Нина Ивановна и Виталий Лазаревич устроили для ФИАНовцев по возвращении из Стокгольма (где В.Л. получил Нобелевскую премию). Виталий Лазаревич немного устал, но в прекрасном настроении. И Нина Ивановна тоже

Как ответственный редактор журнала «Успехи Физических Наук», Виталий Лазаревич и во время болезни просматривал все статьи, направляемые в печать, В каждом случае он определял, кому послать поступившую статью на отзыв, а потом, получив отзыв, давал рекомендации для редакционной коллегии и для автора – печатать, не печатать,

переделать... Заведующая редакцией Мария Сергеевна Аксентьева была частой гостьей и в больнице и дома.



На этой фотографии с того же приема я исполняю песню «Товарищ Гинзбург, Вы – большой ученый», написанную несколько десятков лет назад. Микрофон держит Юлий Брук. Рядом с нами сидит Владимир Яковлевич (или просто Володя) Файнберг, сотрудник нашего Теоретического отдела, член-корреспондент Академии Наук

Из сотрудников отдела регулярно приходила к Виталию Лазаревичу его референтка Светлана Васильевна Волкова. Она приносила Виталию Лазаревичу распечатки рукописей, взятых в предыдущий визит, и забирала очередную рукописную продукцию. Виталий Лазаревич работал и в больнице и дома, разумеется, не в прежнем темпе, но так, что Светке работы хватало. Из сотрудников Теоретического отдела чаще других навещали Виталия Лазаревича три человека: Ю.М. Брук, И.И. Ройзен и Е.А. Андриюшин. Незадолго до своей кончины Виталий Лазаревич возложил на Брука и Ройзена заботы о своих бумагах, о своем архиве.

В.Л. всегда проявлял интерес к событиям общественной жизни. В последние годы жизни этот интерес еще возрос. Он систематически и последовательно отстаивал право людей на свободу совести. Он признавал, что любой человек волен верить или не верить в Бога (сам он был убежденным атеистом), но считал, что вопрос этот должен для себя решать зрелый человек, и потому возражал

против преподавания закона Божьего в школе. Взгляды свои ВЛ выражал публично, в статьях и беседах по радио и телевидению. На него было много нападок со стороны религиозных фанатиков.

Не раз ВЛ выражал гласный протест против того, что ряд научных работников были арестованы и осуждены по ни на чем не основанным обвинениям в выдаче государственной тайны. Он был согласен с академиком Юрием Алексеевичем Рыжовым и другими правозащитниками в том, что основной причиной преследования было сотрудничество с зарубежной наукой. Никакой государственной тайны при этом не разглашалось, да и некоторые арестованные и осужденные ученые даже не имели доступа и допуска к секретной информации. Им нечего было разглашать. В частности, ВЛ выступил в защиту Игоря Сутягина, обвиненного в разглашении секретной информации. Сутягина судили закрытым судом. В беседе с корреспондентом радио ВЛ сказал, что, во-первых, Сутягин не имел доступа к закрытой информации, а, во-вторых, непонятно, почему его судят закрытым судом. Если он действительно выдал какой-то секрет, то теперь это уже не секрет, зачем же устраивать закрытые заседания?

Несколько лет назад искусствовед А.В. Ерофеев и правозащитник Ю.В. Самодуров организовали выставку «Запретное искусство». Некоторые экспонаты этой выставки вызвали возмущение религиозных фанатиков. Ерофеева и Самодурова обвинили в возбуждении ненависти по религиозному признаку. Началось судебное следствие, а за ним суд. ВЛ в связи с этим обнародовал заявление, в котором высказал мнение, что суд над организаторами художественной выставки есть возвращение инквизиции.

Из приведенного краткого перечисления можно заключить, что в этот период жизни Виталия Лазаревича, можно было, обращаясь к нему, сказать те самые слова, которые он сам несколькими десятилетиями ранее сказал Андрею Дмитриевичу Сахарову («...когда вас не спрашивают, вы то и дело выступаете с разными заявлениями»). Что делать, все мы люди. А человек – существо общественное.

Кстати говоря, 21 мая 2006 года исполнилось восемьдесят пять лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Уже несколько лет подряд в день 21 мая люди приходят на лужайку перед Сахаровским музеем в Москве. В этот день проводится Сахаровская маевка. На маевке выступают исполнители – музыканты, певцы, поэты. И всегда предоставляется слово нескольким участникам, которые лично знали Андрея Дмитриевича, дружили с ним, сотрудничали в правозащитной или в научной деятельности. В 2006 году Совет Сахаровского музея обратился к Виталию Лазаревичу Гинзбургу с просьбой выступить на маевке. Мы понимали, что прийти он не сможет, он в это время находился в больнице. Но если бы он согласился что-то сказать, мы бы смогли это записать на магнитофон или даже на видеокамеру и показать участникам Сахаровской маевки.

С такой просьбой я позвонил Виталию Лазаревичу. Он охотно согласился, только попросил немного времени для того, чтобы обдумать текст. Через час или полтора он мне перезвонил и продиктовал свое обращение к участникам маевки. Я здесь приведу этот короткий текст:

«Мне ни разу до сих пор не приходилось выступать на собраниях, посвященных юбилеям Андрея Дмитриевича, и я решил на этот раз выступить, ибо для меня это последняя возможность. Дело в том, что мне идет 90-й год, и я уже полтора года лежу в больнице, так что в 2011 году, когда будет отмечаться 90-летие Андрея Дмитриевича, я заведомо не смогу присутствовать.

Мы с Андреем Дмитриевичем работали вместе с 1945 года, когда он поступил в ФИАН. Друзьями мы не были, но наши отношения в целом всегда были нормальными. В частности, я был заведующим Теоретическим Отделом в период Горьковской ссылки АД. Я отказывался подписывать направленные против него письма (не подписал ни одного), то же самое относится и ко всему Отделу. И мы помогали ему, как могли, но я, конечно, обращаюсь к этому собранию не с целью упоминать о каких-то наших заслугах, и, вообще, на этот счет возможны разные мнения. Моя цель состоит в том, чтобы на фоне различного рода безобразий, свидетелями которых мы

являемся, подчеркнуть, как нам сейчас недостает Сахарова. Его роль могла бы быть очень большой. То, что он сделал, никогда не будет забыто.

С наилучшими пожеланиями, Ваш В. Гинзбург».

Да, к большому сожалению, недостает нам Сахарова.

Виталий Лазаревич Гинзбург скончался 8 ноября 2009 года. И теперь нам недостает и Гинзбурга.



Василий Демидович

В.М. Тихомиров

Введение



дея о проведении бесед с сотрудниками нашего факультета, много лет на нём проработавших, в которых они поделились бы своими воспоминаниями, принадлежала исполняющему обязанности декана Мехмата МГУ, профессору Владимиру Николаевичу Чубарикову. В связи с этим от его имени в марте 2007 года ко мне (и, насколько мне известно, к другим мехматам) обратился Олег Владимирович Попов с предложением провести несколько таких интервью. Я охотно на это согласился, так как историко-математическая тематика меня всегда интересовала. Вскоре Сергей Евгеньевич Касаткин вручил мне небольшой цифровой диктофон, по-быстрому пояснив, как им надо пользоваться.

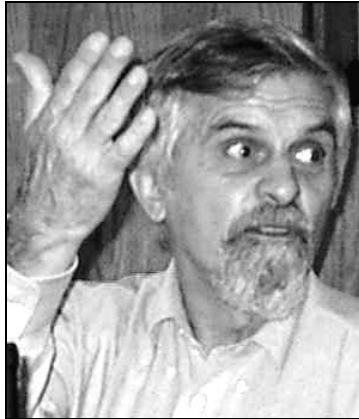
Прежде всего, я составил список «мехматских аксакалов» возраста не менее семидесяти лет. Отобрав из списка несколько кандидатур, и получив от них согласие на интервью со мной, я решил, что вопросы интервью следует заранее сообщать собеседникам. Так я и поступал.

Конечно, большинство вопросов у меня получились идентичными (скажем, я всех просил рассказать немного о своей семье, о том, как происходило их поступление на Мехмат МГУ, о первых их факультетских лекторах, о том, как они выбирали своего научного руководителя и др.), но всё же некоторые из них я постарался сделать «индивидуальными». При формулировании таких индивидуальных вопросов мне, отчасти, помогли рассказы отца о мехматской жизни, слышанные мною ещё в далёкие школьные годы и сейчас «всплывавшие» в моей памяти. При всём своём пиетете и благодарности к взрастившему его нашему факультету (он поступил в аспирантуру Научно-исследовательского института математики и механики МГУ в 1932 году, т.е. за год до организации в университете самого

механико-математического факультета, а с 1935 года, до самой своей кончины в 1977 году, бессменно работал на кафедре математического анализа Мехмата МГУ), отец, если считал нужным что-нибудь о нём поведать в семье, рассказывал честно и без прикрас.

Отвечать на вопросы интервью я предлагал своим собеседникам на выбор: либо устно (непосредственно на диктофон), либо в письменном виде. После расшифровки диктофонных записей (компьютерную помощь в этом деле мне оказали, прежде всего, мехматские студенты под руководством О.В.Попова, его дочь Александра, а также мой сын Константин) я передавал их распечатки самим интервьюированным для окончательного согласования текста. Кроме того я просил всех своих собеседников написать, в качестве приложения к интервью, какие-нибудь дополнительные воспоминания, касающиеся мехматской жизни. Естественно, что переданные мне воспоминания я приложил к данному изданию.

В результате всего этого и был создан выпуск, посвящаемый 75-летию Мехмата МГУ.



Первым к кому я обратился с просьбой дать мне интервью, был заведующий кафедрой общих проблем управления (сотрудником которой и я являюсь), профессор Владимир Михайлович Тихомиров. Просмотрев предлагаемые мною вопросы, он охотно согласился на них ответить «сразу на диктофон». Беседа наша происходила у него дома, причём в два приёма, по времени занимавших каждый раз примерно час с небольшим.

Ниже следует «расшифровка» интервью Владимира Михайловича.

Д.: Добрый день, Владимир Михайлович. Мне очень приятно вас интервьюировать, ведь я у вас учился. Мне хочется немножко узнать о вас, о вашей молодости. Но если какие-то из моих вопросов покажутся вам неудобными, то мы их просто пропустим, без комментариев. Начнем нашу беседу?

Т.: Давайте.

Д.: Расскажите, пожалуйста, немного о себе и о своей семье. Когда и где вы родились, как звали ваших родителей и чем они занимались, в частности, кто-нибудь из них был ли связан с математикой? Были ли у вас братья и сестры, если да, то кем они стали по профессии? Рано ли у вас пробудился интерес к математике? В каком году вы окончили школу и с медалью ли вы ее окончили?

Т.: Я родился в 1934 году 22 ноября в Москве. Я москвич в третьем поколении: семья моего дедушки по маминой линии оказалась в Москве в конце 19 века, бабушка приехала в Москву из Тульской губернии в начале XX века, мама родилась в Москве. Отец приехал в Москву из Краснодара в начале тридцатых годов. Отец мой Михаил Николаевич Тихомиров, мать – Людмила Юльевна Тихомирова. Оба были врачами, причём, что называется, санитарными врачами. Это было изобретение наркома Семашко: он организовал санитарный факультет, и кончившие его занимались санитарным благоустройством городов, водоснабжением, экологией, организацией здравоохранения. Собственно говоря, в этом и состояла работа мамы и отца. Родных братьев у меня нет. Вообще говоря, семья распалась в начале войны, и я воспитывался дедушкой и бабушкой. У меня был брат по отцу, звали его Миша. Он был значительно моложе меня – 1949 года рождения, от второго брака отца. К сожалению, он уже умер. Я очень скорблю по нему.

Связан с математикой был лишь мой дедушка, Юлий Осипович Гурвиц. Он был известным московским учителем математики. Однако с творческой математикой он связан не был. Насчет интереса к математике вопрос сложный...

Особого интереса у меня не было. Но у меня был очень близкий друг Леонид Романович Волевич, к сожалению, недавно умерший, и это очень горестная для меня потеря... Он-то действительно увлекся математикой и, в каком-то смысле, меня в это немножко втягивал.

Я окончил школу в 1952 году с золотой медалью. Тогда было принято хорошо учиться, и я, как и все мои друзья, учился хорошо. Вот собственно и ответ на первый ваш вопрос.

Д.: Итак, вы решили поступать на Мехмат МГУ. Вы сразу после школы решили поступать туда? Расскажите, как это происходило. Помните ли вы, кто принимал у вас устный экзамен по математике, и трудным ли он вам показался? Какие еще экзамены вам пришлось сдавать при поступлении на Мехмат МГУ, и были ли они трудными для вас?

Т.: Тогда не было экзаменов для медалистов, и потому я должен был поступать по собеседованию. Первым прошёл собеседование Леонид Романович Волевич, кажется, 6 июля, а я – где-то числа восьмого, чуть попозже. Собеседование проводили двое, из которых я помню только одного – Евгения Николаевича Берёзкина с отделения механики. Они мне задавали какие-то очень простые вопросы. Я отвечал. А потом мимо нашей группы, прошёл Анатолий Леонтьевич Павленко. Впоследствии не раз пересекались наши жизненные тропы на факультете, но это случилось потом.

Павленко задал мне вопрос, на который я не ответил, вернее, ответил с подсказкой. Вопрос был простенький, конечно: он написал формулу суммы арифметической прогрессии, как функции натурального аргумента и попросил меня восстановить саму арифметическую прогрессию. И надо было подставить $n = 1$ в первый член, $n = 2$ во второй член и найти разность прогрессии. Но вопрос был не школьный. Я затруднился, некоторое время думал, мне чуть-чуть подсказали, тогда я, конечно, сообразил. Но я был уверен, что не поступил на Мехмат МГУ. Я тогда раза три ходил узнавать, поступили или не поступили дети знакомых моей мамы и мои друзья. И во всех случаях

ответы были отрицательные: в университет не брали по разным соображениям, в частности, по анкетным. Я считал, что плохо отвечал, и думал, что не поступил. В школе я обычно отвечал хорошо, а здесь, как мне показалось, слабо. И когда я пришел в приёмную комиссию, там была такая Случайновская (примеч. Д.: речь идёт о старшем лаборанте кафедры аэромеханики Мехмата МГУ Зое Петровне Случайновской (1915-1991)). Это была очень милая женщина, с которой я потом был дружески связан. У неё была прекрасная память. И только я вошёл, чтобы узнать, принят или нет, она сразу, не глядя в бумаги, сказала, что я принят. А я был очень мрачно настроен. Угрюмо, со сведенными бровями, я сказал: «Наверное, вы ошибаетесь». Она весело сказала: «Я никогда не ошибаюсь! Ну, давайте посмотрим». Открыла огромную, неслыханных размеров тетрадь, развернула её мне и показала, что я действительно принят.

Как оказалось, это был одно из самых счастливых мгновений моей жизни. Я был счастлив не столько потому, что осуществилась моя мечта, а потому, что не принёс огорчения дедушке своему, который угасал – он уже был неизлечимо болен. Счастливых моментов не так много у каждого человека. И у меня среди них – то мгновение, когда я прочитал, что «принят без предоставления общежития».

Так я поступил на Мехмат МГУ и никаких экзаменов мне сдавать не пришлось. Не знаю, что было бы, если бы меня не приняли – пошёл бы я сдавать экзамены или нет. Может быть, поступил бы куда-нибудь в другое место – я был готов к этому...

Д.: Итак, вы стали первокурсником Мехмата МГУ. Вы не помните, кто были у вас лекторы по математическому анализу, по алгебре, по аналитической геометрии? Про ЭВМ не спрашиваю, наверное, тогда об этой дисциплине даже никто не слышал.

Т.: Безусловно, даже такого словосочетания – ЭВМ – тогда не было вообще. Но что-то вроде основ программирования в самом конце нашего обучения нам читал Михаил Романович Шура-Бура. А на первых курсах ничего такого не было.

Лев Абрамович Тумаркин, с которым я потом подружился, читал нам курс математического анализа. До сих пор иногда звоню его дочерям, к которым я очень тепло отношусь. Я бывал у него дома, и вообще, со Львом Абрамовичем я потом поддерживал тесные дружеские отношения...

Алгебру нам читал Александр Геннадьевич Курош. С ним у меня тоже потом установились хорошие отношения. Многим я обязан и Зое Михайловне Кишкине, замечательной преподавательнице – она была женой Александра Геннадиевича. Но и с самим Александром Геннадьевичем мы много общались. В частности, когда мы стали уже коллегами, не редко обсуждали вопросы, связанные с преподаванием.

Лектором по аналитической геометрии был Павел Сергеевич Александров. С ним я также потом много общался благодаря тому, что он был ближайшим другом моего учителя Андрея Николаевича Колмогорова. Я не раз бывал в Комаровке и неисчислимо много раз беседовал с Павлом Сергеевичем на всевозможные темы – и об искусстве, и о математике, и о прошлом, и о жизни – и еще Бог весть о чём.

Каждый из этих трёх лекторов принимал у меня один раз экзамен: и Лев Абрамович, и Александр Геннадьевич, и Павел Сергеевич ...

Д.: Очень интересно, потому что у меня был тот же набор лекторов. Лев Абрамович Тумаркин тоже читал у нас математический анализ, Александр Геннадьевич Курош – алгебру, Павел Сергеевич Александров – аналитическую геометрию. А об ЭВМ мы уже много говорили. Во всяком случае мы знали, что на старших курсах те люди, которые специализируются по программированию, получают повышенную стипендию.

Но, впрочем, оставим эту тему, и у меня следующий вопрос. Легко ли вы влились в студенческую атмосферу Мехмата МГУ? Можете ли вы привести пример того, что вас удивило в факультетской жизни и что сразу пришлось вам по душе?

Т.: Ну, в студенческую атмосферу я влился легко. Я должен вам сказать, что у меня был замечательный курс. Я многое знаю про мехматские курсы, но мне кажется, что наш курс был, в каком-то смысле, беспрецедентным по той дружбе, которая нас связывала в молодости и связывает до сегодняшнего дня. Фактически, почти всех своих сокурсников я воспринимаю как братьев и сестер, рад встрече с каждым из них, с большой теплотой пожимаю им руки и прижимаю к сердцу каждый раз, когда нам приходится встретиться. Причём это произошло мгновенно, просто сразу.

Из числа людей, которые стали моими близкими друзьями, я могу назвать многих. Но в первую очередь я упомяну о Юлиане Борисовиче Радвогине, который очень быстро стал большим другом Лёни Волевича. По окончании МГУ Лёня с Юлианом стали вместе работать в Отделении прикладной математики (тогда так назывался Институт прикладной математики) и проработали они там в одной комнате всю жизнь. Так вот я, ввиду того, что очень дружил с Леонидом Романовичем, очень сдружился и с Юлианом Борисовичем. И это была наша тесная дружеская компания, которая приносила мне много радости. А так... многих друзей я мог бы назвать. Иных уж нет с нами, но о всех я всегда вспоминаю с глубокой скорбью... Таких, которые уехали из страны навсегда, на нашем курсе было совсем немного. А те, кто покинули нашу страну, постоянно приезжают сюда – мы встречаемся и радуемся этому.

Теперь то, что меня удивило на Мехмате МГУ. Я всегда вспоминаю одно и то же – первый день, когда я переступил порог Московского Государственного Университета, будучи принятым на него официально. Я и в школьные годы ходил в МГУ на различные кружки, но по своей инициативе. А здесь, впервые, я получил на домашний адрес открытку уже с персональным приглашением явиться 31 августа 1952 года в Коммунистическую аудиторию МГУ. Туда я и явился. Там было собрание, посвящённое нашему приёму в Московский Государственный университет, за день до начала учебного года. Так вот что меня поразило – речь Владимира Васильевича Голубева. В тот день он сдавал

свои деканские полномочия новому декану – Юрию Николаевичу Работнову.

Голубев выступал на том собрании первым со своей речью, а затем передал слово Работнову. И я впервые услышал русскую речь культурного человека. Потом я еще много её слышал на нашем факультете – из уст Павла Сергеевича, Андрея Николаевича, некоторых других. А до того – и в школе, и в газетах и всюду вокруг – был слышен другой, казённый, язык. И меня поразило это отличие. И ещё – некоторые оттенки мысли. Так, Владимир Васильевич сказал, что в его годы в Москве было два университета: один – Московский Университет, а второй – Малый театр. Это было для меня удивительно, потому что я считал, что Малый театр – уже отжившая русская культура. После этого я пересмотрел свою точку зрения и осознал, что Малый театр – это великий театр, хранитель очень многих традиций настоящей русской культуры. Но тогда сама идея, что человек, помимо математики, должен воспринимать гуманитарную культуру, посещать театры, концертные залы, читать произведения художественной литературы прошлого и настоящего, произвела на меня колоссальное впечатление... Это пришло ко мне, это было мною принято, это стало для меня обязательным, без этого нельзя было существовать... Я вошёл именно после поступления в Университет в мир культурной Москвы, и это стало одним из самых прекрасных влияний на меня Мехмата МГУ.

Д.: А как прошла ваша первая сессия? Были ли трудности у вас и ваших сокурсников при сдаче зачетов и экзаменов? Например, я поступил на Мехмат МГУ в 1960 году, и после первого семестра с нашего курса – а общее число студентов на потоках механиков и математиков было тогда, если я правильно помню, 425 человек – отчислили чуть ли не сотню «хвостистов». А пополнение пришло за счет лучших студентов вечернего Мехмата МГУ, тогда еще функционировавшего (кажется, его закрыли в 1964 году). А как у вас было?

Т.: Ну, тут два вопроса. Первый вопрос – был ли отсев. У нас был неслыханно большой курс, по сравнению с тем, что было раньше. У меня такое впечатление, что

раньше на механико-математический факультет, который включал в себя три отделения – отделение математики, отделение механики и отделение астрономии – принимали до нас человек 200 (а может быть даже и меньше). А у нас было уже 375 человек. Но потом астрономы ушли на физический факультет. И получилось, что нас осталось лишь 350 человек. Это и был наш «отсев».

Было ли трудно? Я быстро осознал, что попал в замечательное учебное заведение, и считал, что должен хорошо учиться. И я действительно старался.

Было ещё одно обстоятельство, которое мне очень помогло. Наш курс был собранием людей со всех концов России – и с севера, и с запада, и с востока, чуть ли не с Дальнего Востока. Тогда было большое искушение приехать в Москву, в новое здание, только что отстроенное. Все туда рвались. И в МГУ приехала масса людей издалека.

Приведу пример двоих, ставших моими большими друзьями – сейчас, к сожалению, их уже нет. Один – из Коми, из глухой деревни, второй – из Казахстана, из детского дома. Конечно, им было трудно, их ошаршила совершенно новая, не школьная математика, которую стали преподавать на первом курсе. Они не были в моей группе, не я им помогал. Но я видел, как они старались учиться, и им многие старались помочь. Они были и остались навсегда замечательными людьми. Первый стал ректором Сыктывкарского университета, второй – профессором, заведующим кафедрой Казахского государственного университета.

А в моей группе был Миша Шерстнёв. Он был слепой – тогда было много таких на факультете. Он, как и Витушкин, потерял зрение при мальчишеских выходках с взрывами снарядов. И конечно, ему было безумно трудно. Так вот я ездил к нему в общежитие для слепых на 1-ю Мещанскую улицу (сейчас она называется Проспектом Мира). И по несколько часов перед каждым экзаменом объяснял ему всё существенное в курсе. Были еще девочки, которые тоже были беспомощными, и просили меня, чтобы я с ними позанимался ... Всё это очень помогало мне и в

моей собственной учёбе. И предметы первого курса я до сих пор помню очень хорошо.

Д.: А обучение тогда было еще платным? Получали ли вы стипендию?

Т.: Насчет обучения я помню довольно смутно, но, кажется, оно было бесплатным, либо плата была символической. Стипендию я получал. Стипендия была на первом курсе 290 рублей в месяц. Для сравнения, это было сопоставимо с пенсией по старости. Мама моя, с которой я остался после смерти бабушки, получала порядка 750 рублей, дедушка получал порядка 3000 рублей. Это давало возможность не думать о деньгах. И я, и мама, и ещё племянница бабушкина, которую дедушка растил, как и меня (она была старше меня на 10 лет, сейчас её, к сожалению, уже нет) – каждый из нас, приходя домой, приводил с собой своих друзей. И всех бабушка кормила. Но это стало абсолютно невозможным, когда бабушки не стало. Денег сразу стало не хватать. Мы по-прежнему приглашали гостей, но кормить чем-то, кроме чая, мы уже не могли. И, скажем, пальто, которое мне купила бабушка, когда я был в седьмом классе, я доносил до четвертого курса университета, хотя я вырос из него, и рукава были чуть ли не по локоть. Но никакой возможности купить новое пальто у меня не было... Стипендия в 290 рублей – это было и много – на эти деньги жили старики, и мало.

Д.: Вы с первого курса стали посещать спецкурсы и спецсеминары? Много ли их тогда было на мехмате? Чей-нибудь спецкурс и спецсеминар вам особенно запомнился?

Т.: Я с первого курса начал посещать спецсеминар, который вёл Евгений Борисович Дынкин и которого я причисляю к своим учителям. Пожалуй, после Андрея Николаевича Колмогорова, как учителя, я вспоминаю именно его.

Семинаров на Мехмате МГУ была бездна. Но для первого курса семинаров было немного, и одним из них был семинар Евгения Борисовича. Были еще семинары, которые вели наши преподаватели по алгебре и аналитической геометрии, два замечательных человека – Игорь Владимирович Проскуряков и Алексей Серапионович

Пархоменко, кстати, оба слепые. Они вели семинары по элементарной алгебре и элементарной геометрии. Правда, я на них не ходил. А семинаров было огромное количество. Даже не было необходимости как-то их оформлять – просто совершенно посторонние люди вывешивали объявление, никого не спросив, а в объявлении была дата проведения и программа занятий. Потом стало необходимо это всё как-то оформлять, регистрировать, а тогда это всё было не обязательно.

Из семинаров, в которых я принимал участие, ни один не сравнится с семинаром Колмогорова, который я стал посещать на пятом курсе, если не считать семинара Гельфанда, быть может, самого великого семинара за всю историю Мехмата МГУ, охватывающего « всю математику ». Но гельфандовский семинар я посещал очень небольшое время, потом перестал. А так, самым замечательным семинаром для меня был колмогоровский семинар.

Д.: Интересно, что и Игорь Владимирович Проскуряков и Алексей Серапионович Пархоменко тоже были моими учителями.

Расскажите, курсовая работа в то время уже писалась на 2 курсе? Под чьим руководством вы её выполняли? И помните ли вы её название?

Т.: Ну конечно, я помню, такие вещи не забываются. Курсовые работы действительно начинались со второго курса. И моим руководителем на 2 курсе стал Евгений Борисович Дынкин.

Курсовую работу он мне дал по спинорной алгебре. Она у меня получилась несколько реферативной, и я не был ею удовлетворен. Где-то у меня валяется тетрадка с нею.

Вообще общение с Евгением Борисовичем привело меня потом к какому-то подавленному состоянию – он давал мне задачи, даже формулировки которых я толком не понимал. Они были глубоко продвинутыми, но казались (и кажутся мне сейчас) частными задачами из теории представлений групп. Быстро освоить всё это я не смог, и потому у меня с Евгением Борисовичем как-то всё « не сложилось ».

На 4 курсе я писал курсовую работу уже под руководством Юрия Васильевича Прохорова, перейдя на кафедру теории вероятностей. Юрий Васильевич тоже дал мне свою задачку. Я старался, но результатов, снова, было немного. И я подошёл к концу 4 курса с очень печальными итогами.

Д.: А как тогда производился выбор кафедр? Были ли агитационные встречи со студентами?

Т.: Ничего такого я не помню. Я просто подошёл к Юрию Васильевичу Прохорову – он был нашим лектором – и сказал, что хочу писать работу под его руководством. Он дал мне некую тему, честно говоря, пустяковую, для разгона. Я же провозился с нею год, что-то такое написал и был собою недоволен. Но с Юрием Васильевичем сохранил дружеские отношения до сих пор. Он меня однажды даже приглашал к себе на дачу ... В целом, я не предполагал, что стану заниматься научной работой, никогда не думал, что останусь в Университете – никаких таких мечтаний у меня не было. И потому я не воспринимал так уж трагично то, что у меня ничего не получается.

Д.: Ну вот вашим научным руководителем стал Андрей Николаевич Колмогоров. Как это произошло? Регулярно ли вы с ним встречались или вы, как это сейчас бывает, надолго исчезали из его поля зрения? Сердился ли он на это?

Т.: Это произошло совершенно случайно, не я был инициатором этого. На 3 курсе я был секретарем комсомольской организации и потому встречался с Андреем Николаевичем по разным делам. В частности, когда над одним из моих сокурсников нависла угроза отчисления, то я пришел к Андрею Николаевичу и стал защищать своего друга (мы с ним дружим до сих пор). Мне удалось убедить Андрея Николаевича в том, что не надо его отчислять, хотя приказ уже был заготовлен. Так мы пообщались впервые.

Потом была пара ситуаций, когда мы с Андреем Николаевичем оказывались рядом, во время каких-то заседаний, ну и обменивались какими-то репликами. А потом вдруг в апреле 1956 года ко мне подошёл сам Андрей Николаевич и сказал, что у него сейчас очень много лишней

энергии, и спросил, не соглашусь ли я стать его учеником. Я был потрясен, совсем этого не ожидал: Андрей Николаевич был кумиром моим, студентов Мехмата моего поколения, великим авторитетом в науке, и о том, чтобы пойти к нему в ученики, и мечтать не приходилось. Я сказал, что у меня уже есть научный руководитель, Прохоров, а он ответил, что с ним уже договорился. Мне ничего не оставалось делать, кроме как попытаться начать с ним работать.

Наш первый научный разговор произошел в мае. Я очень хорошо помню, что это была весна, не такая ранняя, как сейчас. Уже цвела сирень, было необыкновенное многоцветие, зелень. И вот я приехал к нему на дачу. Были распахнуты все двери комаровского дома. Я гулял по саду, заходил в открытые двери дома. Никого. И вдруг я услышал стук пишущей машинки на втором этаже. Я понял, что Андрей Николаевич был там, и поднялся к нему. Он спросил, чем я занимался. Я рассказал про прохоровскую задачу. Андрей Николаевич секунду-другую послушал, все понял и предложил мне свои задачи, которые по формулировке были простые и понятные. Я довольно быстро с ними справился ... Так я стал колмогоровским учеником.

Последующие задачи я уже брал из его семинара, в котором участвовал, где Колмогоров «рассеивал» задачи с неслышанной щедростью. Когда я решал задачу, я приезжал в Комаровку и мы её обсуждали или я выступал на семинаре. Роль Андрея Николаевича во всей моей жизни, как и в жизни всех его учеников, которых я знал, состояла в выборе направления и в благословении.

В аспирантские годы я много бывал в Комаровке: Андрей Николаевич задумал писать совместную со мной большую статью для Успехов по «эпсилон-энтропии».

Д.: А когда вы испытали радость первого творческого успеха? Когда ваши исследования были рекомендованы к печати? Вы были ещё студентом, да?

Т.: Ну, первый творческий успех – незабываемый успех – я испытал ещё на первом курсе, на семинаре Дынкина.

Евгений Борисович ставил задачи на семинаре. Там нас было несколько участников. И первым среди нас был Лёва Серёгин: о дальнейшей его судьбе я ничего не знаю, куда-то он пропал, а тогда это был очень яркий студент, который очень живо на всё реагировал. Так вот однажды Евгений Борисович поставил перед нами такую задачу (вполне тривиальную, давно известную, которая потом где только мне не попадалась): доказать, что если имеется бесконечное число точек на плоскости, и никакие три из них не лежат на одной прямой, то можно для любого n найти выпуклый n -угольник с вершинами в этих точках. Я несколько раз принимался рассказывать решение этой задачи, но Евгений Борисович подлавливал меня на ошибках. Я делал всё новые и новые шаги. И, наконец, Дынкин признал, что я доказал верно. Я, на самом деле, сомневаюсь, что это было так. Думаю, что Дынкину просто надоело, и он сказал, что всё правильно. Но я испытал действительно эйфорическое чувство, которое потом испытывал только, решая задачи Андрея Николаевича.

А на первом году аспирантуры я действительно придумал нечто интересное. Появилась моя заметка в Докладах Академии Наук (я написал две, но одну я позже забрал из редакции, мне вторая не показалась значительной).

Д.: Вы закончили Мехмат МГУ в декабре 1957 года, ведь вы учились пять с половиной лет? После окончания вас сразу рекомендовали в аспирантуру? Были ли трудности при получении такой рекомендации? В частности, были ли у вас тройки, и занимались ли вы общественной работой?

Т.: Ну, во-первых, мы учились пять лет. Поэтому закончили мы в мае, а в июне сдавали государственные экзамены. А с поступлением у меня были проблемы, но не из-за оценок – четверок у меня не было, только по военному делу, которая не вошла в диплом. Лучше меня на нашем курсе училось всего несколько человек. Во-первых, это была девочка, у которой не было военного дела, а во-вторых, мой очень хороший друг – он погиб в горах, когда ему было двадцать пять лет, Витя Леонов. У него и по военному делу была пятёрка. Так что, в отношении оценок никаких

вопросов не было. Да и общественной работой я занимался, был комсомольским секретарём курса.

Затруднение было в другом. Мне предлагали комсомольское повышение, но я отказался с некоторым даже скандалом. Мне предлагали «войти в вузком», но я уже занимался с Андреем Николаевичем, и категорически отказался. Поэтому на пятом курсе я никакой общественной работой уже не занимался. Но мы выпустили литературный бюллетень, где некоторые вещи были сочтены политически вредными...

Д.: Это в 1957 году?

Т.: ...Это случилось в 1956 году, на ноябрьские праздники. То были тяжкие времена – венгерские события. И в самый разгар этих событий на стене Мехмата МГУ появилась литературная газета, в редколлегию которой я входил. В этой газете, в частности, делался обзор только что вышедшей книги американского коммуниста Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». В нашей газете прямым текстом было сказано, что фамилия Сталина в книге Джона Рида нигде не появляется (что верно), и что Ленин считал эту книгу необходимой для всех, да и Крупская говорила так же. Так у нас было написано. Но это было сочтено грубейшей политической ошибкой, потому что человеком, который постоянно упоминался в книге, был Троцкий, а Троцкий считался злейшим врагом. Начался процесс исключений авторов этого бюллетеня из университета. Обсуждали и меня. Всем, кроме одного члена редколлегии, удалось этого миновать – до конца не знаю, как и почему это вышло. О нашем литературном бюллетене даже докладывалось на самый верх. Я сам читал, что нечто, связанное с нашим литературным бюллетенем – с этой газетой, выпущенной пятикурсниками Мехмата МГУ и посвящённой проблемам литературы в основном, а больше ни чему – обсуждалось на самом верху. Был некий человек, инструктор ЦК КПСС, который следил за нашими делами и подавал рапорты о событиях на самый верх. На одном из них внизу было написано: «Ознакомился. Л. Брежнев». Брежнев тогда не был ещё первым человеком в стране, но находился достаточно высоко, и то, что он

«ознакомливался» означало, что там, на самом верху, следили за нашей газетой и развитием событий.

И хотя я на факультете остался, вопрос о том, попаду ли я в аспирантуру, был спорным. Был такой Борис Михайлович Малышев с которым я был знаком по общественной линии. Так вот, ему было поручено поговорить со мной на предмет того, являюсь ли я врагом социализма или нет. Состоялся очень тяжкий разговор. Ожидавшегося глубокого раскаяния не последовало. Борис Михайлович всячески выражал свое сожаление, что я не проявил политической зрелости, но, по-видимому, высказался за то, чтобы мне разрешили поступать в аспирантуру...

Ко мне, в целом, тогда неплохо относились на факультете, хотя были люди, которые считали, что меня нельзя пускать в аспирантуру Мехмата МГУ. Была там какая-то дискуссия, и всё-таки, меня оставили на факультете.

Д.: Интересно. О Борисе Михайловиче Малышеве у меня несколько иное мнение. Я не ожидал, что он мог заступиться за студента в такой ситуации ... Но вернёмся к экзаменам в аспирантуру. Трудно ли было их сдать, и кто вас экзаменовал? Все ли у вас прошло гладко?

Т.: Это тоже вопрос интересный. Это действительно был полноценный экзамен. На нём присутствовала практически вся кафедра теории вероятностей, на которую я собирался, а именно: профессор Дынкин, доценты Севастьянов и Большев, ассистент Добрушин и, кроме того, представитель внешней кафедры – это был Фиников. Ну и конечно Андрей Николаевич Колмогоров, который над всем этим « нависал ». Он предлагал каждому экзаменатору задать свой вопрос, потом говорил что-то вроде: « Ой, это тривиально! » и заменял спрашиваемое на какой-то свой вопрос. Много было вопросов. Был вопрос Севастьянова, посвященный алгебре, был вопрос Дынкина, посвященный тоже алгебре, но на самом деле принципу сжимающих отображений, было несколько вопросов Андрея Николаевича, в частности, про альтернативу Фредгольма. Нечто о существовании решений в дифференциальных

уравнениях спросил Фиников, но Андрей Николаевич сказал, что это тривиально, и, вместо этого, попросил рассказать о существовании кратчайшей в метрическом пространстве. Я более-менее рассказал, каким-то образом я это знал. Причём когда я начал говорить о требовании существования хотя бы одной кривой конечной длины, то меня тут же спросили, могу ли я привести пример компакта, где такой кривой нет. На что я сказал, что это – нигде не дифференцируемая функция на плоскости ... Словом, с некоторыми подсказками я ответил на всё. Но когда я вышел, никакой ясности как я его сдал, у меня не было, ведь где-то я и путался. Тем не менее, все закончилось благополучно – в аспирантуру меня приняли.

Д.: В аспирантуре вы сразу начали заниматься поставленной задачей или сначала расслабились – ведь появилось свободное время, да и стипендия была уже приличная? Многие из моих сокурсников именно в аспирантский период занялись культурным самообразованием – посещением спектаклей, концертов, изучением иностранных языков, серьёзным увлечением шахматами и тому подобным. К тому же это было время устройства личной жизни – выйти замуж за аспиранта Мехмата МГУ считалось тогда для девушек вполне достойным вариантом.

Т.: Собственно говоря, никакой расслабленности у меня не было. Это действительно была необыкновенно насыщенная пора жизни. Андрей Николаевич с самого начала меня напутствовал, что такая пора не повторится никогда – эта свобода, юность, возможность увидеть огромное количество культурных ценностей и заниматься творческой деятельностью.

Так вышло, что первое время у меня не очень все выходило, как следует. Но нужно сказать, что моя дипломная работа и по тем, и по современным меркам была законченной кандидатской диссертацией. Сама она занимала свыше 100 страниц оригинального текста, в котором были только мои результаты. Но я всё равно переживал. Мне казалось, что всё не так хорошо, как должно быть в Московском Университете. Но вот, буквально совсем

недавно мне попалась выписка из протокола заседаний кафедры теории вероятностей. Про эту выписку я не знал или, может быть, забыл. Там написано о кандидатах на представление лучших дипломных работ. Постановили отметить следующие дипломные работы, которые являются законченными исследованиями, содержащими объективно ценные новые научные результаты. Далее по алфавиту перечисляются: Благовещенский – руководитель Добрушин, Гирсанов – Дынкин, Кузнецов – Большев, Розанов – Колмогоров, Серёгин – Дынкин, Тихомиров – Колмогоров, Фортус – Добрушин, Чистяков – Севастьянов. Довольно большое количество замечательных моих сокурсников не попало в этот список. Почему – я даже не представляю. В конце списка говорится, что работа Розанова уже получила одну из первых премий на конкурсе студенческих работ, и там же были отмечены премией научные исследования, вошедшие в работу Гирсанова. Поэтому Колмогоров предлагает поддержать на премирование, в первую очередь, работы Тихомирова и Серёгина. Повторю, что я об этом ничего никогда не слышал, и не знал, и очень переживал, что моя дипломная работа не соответствует высокому уровню Московского Университета. При защите было довольно много нареканий, потому что, естественно, были и опiski, и не везде были нужные цитирования. Я по этому поводу очень переживал.

Так или иначе, дипломная работа была позади, и я начал заниматься новой деятельностью. Были аспирантские экзамены, была довольно трудная программа аспирантских экзаменов, очень большая. В эту программу были включены 3 экзамена естественно-математического содержания: один – по обобщённым функциям, другой – по функциям многих комплексных переменных и третий – по физике. Здесь соединялись очень многие мои мечтания разных периодов времени. Я когда-то мечтал стать физиком, не имея на это никаких оснований, как потом выяснилось. Многими комплексными переменными я занимался и раньше, но решил расширить свой кругозор. Обобщёнными функциями мне предложил заняться Андрей Николаевич. Математических отчётов тоже было несколько. В частности,

поскольку мне хотелось изучить поперечники на римановых поверхностях, то я включил в один из своих отчетов теорию аналитических функций и римановы поверхности.

Должен сказать, что при сдаче аспирантских экзаменов я был удовлетворён собой не всегда.

Обобщенные функции я подготовил хорошо. Экзаменовал меня Костюченко. Присутствовал Андрей Николаевич, и он остался мною доволен...

А потом Андрей Николаевич надолго уехал во Францию, и сдавать два оставшихся экзамена я должен был в его отсутствие. И получилось так, что я не выучил как следует многие комплексные переменные. То есть, конечно, я что-то выучил, но это было совершенно не то, что я считал пониманием предмета. Но принимавшие у меня этот экзамен Борис Владимирович Шабат и Анатолий Иванович Маркушевич отнеслись ко мне снисходительно, поставив пятёрку. Впрочем я не совсем уверен, что сами экзаменаторы хорошо владели этой только что зарождавшейся теорией. Ведь тогда, в 1958 году, по ней литературы у нас практически не было, а то, что имелось, совершенно не соответствовало уровню, который был достигнут, например, во Франции в школе Бурбаки.

А потом был экзамен по физике ... Нужно сказать, что для мехматян моего поколения это был переломный исторический момент. Многие молодые ученые самого высокого ранга – и Новиков, и Арнольд, и Манин, и Кириллов, и Синай, и Добрушин, и Минлос, и Березин – в общем, все самые яркие математики моего поколения, стали заниматься и математической физикой, и статистической физикой и квантовой механикой. Они получали там выдающиеся результаты. Поэтому я сдавал физику своим друзьям – Феликсу Александровичу Березину и Роберту Адольфовичу Минлосу. Честно говоря, уровень моих знаний был низким: не было ни хороших книг, ни доступных статей по той физике, которую они поставили мне в качестве программы. Но что-то я усвоил, и они приняли мой экзамен.

Кроме естественно-математических экзаменов я должен был сдавать ещё экзамены по философии и по иностранному языку.

С языком никаких трудностей не было – нужно было представить какие-то переводы, с которыми я быстро справился.

Экзамен по философии был последним в моей жизни, и потому готовиться к нему мне страшно не хотелось! Но всё же я к нему готовился со своим сокурсником и коллегой по аспирантуре. У меня было довольно много книг – собрания сочинений Ленина, Маркса. Мы разложили на полу эти книжки, бегали, ползали, листали страницы. И вот, когда я уже пришёл на экзамен, какая-то милая девушка села недалеко от меня. Я её кое о чём спрашивал, она мне отвечала. А потом преподаватель, ведущий экзамен, вдруг обратился к этой девушке, которая была всего на пару лет старше меня: «Вот вы и примите у него экзамен». Отвечал я ей, на мой взгляд, позорно плохо. Но так как мы с ней подружились по ходу экзамена, то она мне поставила пятерку, несмотря на все недочёты и пробелы...

Таким образом, все мои аспирантские экзамены оказались сданными на пятёрки. Хотя это были худшие экзамены в моей жизни, кроме, пожалуй, экзамена по обобщённым функциям, к которому я действительно хорошо подготовился. По-видимому, я решил взять слишком высокую планку.

Д.: Как я понял, экзамен по физике у вас принимали математики?

Т.: Да-да. Экзамен по физике принимали Минлос и Березин. Они тогда уже стали крупными специалистами в этой области. Феликс Александрович Березин внес очень крупный вклад в современную физику. Мы были друзьями, долго сотрудничали с ним на одной кафедре, но, увы, о выдающемся вкладе Березина в физику я узнал только после его смерти. Вообще он был выдающимся человеком и замечательным учёным.

Ну а теперь немного о культуре. Это было время вхождения всех нас в мировую культуру после периода, когда всякие культурные связи были ограничены рамками существовавшего тогда режима. И вдруг хлынул к нам

поток величайших культурных достояний. Открылся музей импрессионистов. Прошла выставка картин Пикассо...

Я впервые тогда увидел произведения Родена, которые ранее видел только на иллюстрациях. Роден стал моим любимым скульптором: всякий раз, когда я, впоследствии, бывал в Париже, первым делом я посещал там музей Родена ... Я всегда мечтал увидеть творения и другого величайшего художника всех времён – Микеланджело, которого знал только по копиям в Пушкинском музее. Мы с Андреем Николаевичем даже задумывали прочитать для интерната лекцию об этих двух наших любимых скульпторах, в которой Андрей Николаевич должен был рассказывать о Микеланджело, а я – о Родене. Но эта лекция, к сожалению, не состоялась. А моя мечта – увидеть Микеланджело – осуществилась лишь много лет спустя.

Невероятной была и музыка, просто фантастическая. Гениальные композиторы – Прокофьев, Шостакович, Хачатурян – на мой взгляд, более крупных, чем они, в XX веке композиторов не было. И исполнители титанические – пианисты Нейгауз, Гилельс, Рихтер, Оборин, Софроницкий, Флиер, скрипачи Штерн, Менухин, Ойстрах, Коган...

Потряс меня первый Конкурс Чайковского: Третий концерт Рахманинова в исполнении Вана Клиберна (Вэна Клайберна, как его называют сейчас) так и остался вершиной того, что я когда-либо слышал. А какие были оркестры и дирижеры! Достаточно назвать Мравинского и Орманди ... Я стал завсегдатаем консерватории в тот период.

И литература, открывшаяся нам, тоже была потрясающей. В мои аспирантские годы Андрей Николаевич много обсуждал со мной романы Ремарка и Хемингуэя, появляющиеся переводы последних романов Томаса Манна («Доктора Фаустуса» и «Феликса Круля»), Мориака, Мартен дю Гара, Франсуазы Саган, Генриха Бёлля. Всех потрясли тогда солженицынский «Иван Денисович» и пастернаковский «Доктор Живаго». Очень было интересно обсуждать всё это с Колмогоровым, хотя во многом наши мнения расходились.

А поэзия! В 1956 году вышел сборник «День поэзии», в котором были помещены стихи Ахматовой,

Заболоцкого, Пастернака и Цветаевой. И все они вдруг предстали перед нами. И еще Окуджава, а потом Высоцкий...

А тут ещё кино – итальянское, французское, американское, немецкое, испанское, английское...

Размышляя о тех временах, я всегда вспоминаю своих друзей и подруг, с кем всё это смотрел и обсуждал. Особенно много в области культуры дало мне общение с моим сокурсником Димой Янковым. В частности, именно он как-то сводил меня в мастерскую Фалька...

Да, это действительно было потрясающее, неповторимое время...

А в отношении науки – первый год аспирантуры в этом смысле был не очень удачным. Но на второй год я не поехал в поход с товарищами, как это делал раньше, проторчал на даче и придумал несколько вещей, которые составили основу моей будущей деятельности на много лет.

Д.: С написанием кандидатской диссертации вы уложились в срок? Помните ли вы её тему?

Т.: Конечно, помню. В ней тоже была некая особенность. Дело в том, что это было время, когда можно было защищать диссертацию, не написав её. Я в начале 1960 года опубликовал обзорную статью в «Успехах». И тогда этого было достаточно – можно было просто предъявить несколько оттисков статьи в «Успехах» и диссертацию можно было не писать. По своим оттискам я и защищал свою диссертацию, естественно в срок – это было в середине октября 1960 года, в то время я уже был принят на работу в колмогоровскую лабораторию. Тогда, почему-то, было нельзя защищать диссертацию в совете, в котором проходила аспирантура, и я защищался в ИПМ (а территориально в Стекловском институте). Тема была «Поперечники множеств в функциональных пространствах».

Д.: А кто были вашими оппонентами? Защита произошла гладко или были какие-нибудь опасные моменты?

Т.: И то, и другое интересно.

Оппонентами моими были выдающиеся математики – Константин Иванович Бабенко и Израиль Моисеевич

Гельфанд. А внешний отзыв написал Сергей Михайлович Никольский, и выслушать его отзыв на защите (его самого я так тогда и не увидел) было для меня очень полезным.

Поясню, что само определение поперечников было дано в 1936 году Андреем Николаевичем. Потом появились две работы, которые были связаны с поперечниками, но само слово там так уж явно не фигурировало. Так что, с 1936 по 1960 годы не было работ на эту тему. И вот, появились две работы о поперечниках – моя и Константина Ивановича. Моя работа была связана с функциями одного переменного, а работа Константина Ивановича – с функциями многих переменных. Этим и было вызвано то, что Константина Ивановича избрали в качестве одного из оппонентов. Естественен был и выбор Стекловского института: там под влиянием Бернштейна и Колмогорова была сильная группа по теории приближений. Почему третьим оппонентом был предложен Гельфанд, мне не очень понятно.

Израиль Моисеевич был занят, но вдруг позвонил мне и пригласил к себе на дачу поговорить о работе. Это было незабываемое общение с одним из крупнейших математиков нашего времени. Разговор со мной позволил Гельфанду очень интересно выступить на защите. Отзыва к тому моменту он, по-моему, ещё не написал, и я его так никогда и не увидел.

В том, что Константин Иванович внимательно читал мою работу, я тоже не уверен. Но мы и с ним немножко пообщались. Он понял основную теорему, которую я доказал. Из неё, в частности, вытекал один его результат, доказанный им по-иному.

В наибольшей степени изучал мою работу Сергей Михайлович Никольский. Я потом воспользовался многими вещами, которые узнал из прочитанного его отзыва.

Но был довольно неприятный для меня момент. Состоял он в том, что один результат, которым я гордился, был доказан несколько раньше Марком Александровичем Красносельским в совместной статье с Марком Григорьевичем Крейном. Моя работа была опубликована, многие стали заниматься этой темой. И вот я получил от ученика Крейна, Александра Семёновича Маркуса, очень

любезное письмо о том, что в 1948 году, чуть ли не в журнале « Успехи математических наук», была статья, в которой скрытым образом был доказан мой результат. Мне было очень горько. Я даже не позвал никого из близких на свою защиту – мне казалось, что это может кончиться неудачей. Однако сама защита прошла вполне успешно. Я получил много комплиментов, в частности, от Израиля Моисеевича. С той поры Израиль Моисеевич очень тепло относился ко мне, мы много раз соприкасались в жизни, иногда спорили, но чаще были единомышленниками. С Константином Ивановичем у меня также завязалась дружба, которая продолжалась до последнего дня его жизни. Ну и с Сергеем Михайловичем у меня сохранились теплые отношения.

Д. После защиты вы стали преподавать. Возникали ли у вас трудности при проведении занятий, и много ли вам пришлось к ним готовиться?

Т.: Это сложный вопрос. Дело в том, что я стал преподавать, естественно, еще до защиты диссертации. Я работал в лаборатории кафедры теории вероятностей, хотя понимал в этой теории весьма мало. Правда, я ранее посещал спецкурс Андрея Николаевича. Поэтому, может быть, я и преувеличиваю, и что-то я, все-таки, усвоил. Но я должен был преподавать пятикурсникам, которые были лишь на год меня моложе. До защиты я преподавал в экономическо-статистическом вузе, а после – стал преподавать уже механикам на Мехмате МГУ. И до сих пор мы с ними здороваемся очень тепло. Конечно, там были задачки, которые они мне давали перед зачётом, и мне было очень трудно их решить сходу. Но, мне кажется, я справлялся. Во всяком случае не было ощущения какого-то провала.

Д.: А когда появился на факультет ваш собственный семинар? Быстро ли он оброс студентами, и легко ли вы находили к ним подход?

Т.: Дело в том, что я, после аспирантуры, проработал на Мехмате МГУ лишь один год, а затем уехал в Воронежский университет, где у меня появился свой

спецсеминар. Там были студенты, но я не сохранил с ними связь.

По возвращении в 1962 году на Мехмат МГУ у меня уже действительно появились свои ученики. В частности, появился ученик, который фактически стал моим первым аспирантом. Вернее, он был аспирантом моего приятеля, Виктора Александровича Волконского. Но Виктор Александрович, немного с ним проработав, понял, что того «тянет в другую сторону». И тогда он переложил руководство над ним на меня. Потом этот аспирант стал доктором наук. Но связь с ним у меня сейчас утратилась.

Одним из первых моих мехматских аспирантов был Лёша Левин, с которым я до сих пор поддерживаю связь. В этом году, будучи в Израиле, я встречался с ним. Мы сохранили добрые чувства друг к другу.

А потом началось нечто, можно сказать, неповторимое. Дело в том, что я начал читать лекции на инженерном потоке Мехмата МГУ.

Напомню, что в то время оказалось множество людей, которые по разным причинам, в основном в силу каких-то анкетных данных, не могли поступить на Мехмат МГУ, хотя и мечтали об этом. И поступали они в какие-нибудь более доступные, хотя и не интересные для них, технические вузы. А когда появился на Мехмате МГУ так называемый «инженерный поток», то туда хлынуло огромное количество очень талантливых людей, окончивших эти технические вузы, но не утративших своей любви к математике. Оттуда я долгое время и черпал своих студентов.

С первым из таких моих студентов у меня произошла неудача. Я ему дал задачу, за которую потом Филдсовскую медаль получил американец Чарльз Феферман. Эта задача ему не поддалась. Я стал менять ему тему, но он вскоре погиб в походе.

Потом были аспиранты с этого инженерного потока. Наиболее тесная дружба у меня установилась с Александром Давидовичем Иоффе. Были и другие.

Я до сих пор встречаюсь со своими дипломниками 1964-1965 годов. Некоторые из них стали специалистами в

своих областях. Два дипломника второго года – Миша Ольшанецкий и Володя Рогов – стали профессорами, причём Миша стал известным математическим физиком, лидером научной школы.

Д.: А в каком году вы защитили свою докторскую диссертацию? Как она называлась, и кто были ваши оппоненты?

Т.: Докторскую я защищал поздно, когда немалое число моих сокурсников и друзей уже были докторами. Я же защитил докторскую в 1970 году. Никто мне особенно защищать её не предлагал, а сам я относился к этому спокойно. Но потом стали на этом настаивать многие, особенно Сергей Борисович Стечкин. Оппонентами были Андрей Николаевич Колмогоров, Сергей Борисович Стечкин и Константин Иванович Бабенко.

Д.: И последний вопрос. Довольны ли вы тем, как сложилась ваша судьба?

Т.: В принципе, я не готовился быть профессором Московского университета, думал, может, буду где-то преподавать. Но о такой судьбе не думал. Но так получилось, что я остался в Университете. И мне очень хотелось соответствовать уровню. Насколько это вышло – судить не мне.

Что касается судьбы, то это для каждого нелёгкий вопрос. Я не верю в судьбу. Много моих знакомых с раннего детства знали, чем хотят заниматься, и так это у них и случалось. У многих же не сложилось то, к чему они стремились. Но всё это не про меня.

Никакого особого призвания до поступления в Университет я не чувствовал, и лишь там математика раскрылась передо мной своими очень красивыми сторонами. И ещё: меня всю жизнь окружали прекрасные люди, а я всегда старался хорошо исполнять свой долг...

Так что, в принципе, я ни о чем не сожалею и никогда не ропщу на свою судьбу.

Д.: Большое спасибо, что вы, несмотря на занятость, уделите внимание этому интервью.

В заключение разрешите пожелать вам крепкого здоровья и исполнение всех ваших замыслов. Я знаю, что вы человек неутомимый, и планов у вас всегда громадье.

Т.: Спасибо.

Май 2007 года



Элиэзер М. Рабинович

1. Второй закон термодинамики и человечество



втор рассматривает один из основных законов природы – второй закон термодинамики – и отвергает идею, что существование органической жизни и человечества противоречит этому закону.

К читателю 2010 года. В августе 2010 г. в нашей Гостевой возникла дискуссия о том, противоречит ли теория эволюции второму закону термодинамики. После некоторых колебаний я решил обратить внимание нашего Редактора на мою статью-рецензию на эту тему, напечатанную 42 года назад в «Новом мире», и спросил его, не думает ли он, что перепечатка статьи была бы актуальна. Евгений Михайлович согласился. Сразу возник вопрос, переделывать ли статью или печатать ее такой, какой она была сделана тогда, во времена «высокого» советизма. Я решил против переделки (хотя и добавил параграф о вечных двигателях и пример из оперы Верди), но счел, что предисловие, поясняющее ее возникновение, и несколько слов об авторах рецензируемых работ, необходимы.

История статьи такова. В течение нескольких лет я писал рецензии для раздела «Политика и наука»¹, которым заведовал Юрий Григорьевич Буртин. Обычно я находил и предлагал материалы для рецензирования, и этот случай не был исключением. Буртин, как правило, сам принимал мое предложение, но на сей раз он спросил разрешения А.Т. Твардовского, поскольку знал о его личном знакомстве с профессором Павлом Кондратьевичем Ощепковым² (1908-1992). Это был яркий и талантливый человек, один из отцов советской

¹ Э.М. Рабинович, Заметки о «Новом мире» Твардовского и о Твардовском, «Семь искусств», № 2(3), 2010; <http://7iskusstv.com/2010/Nomer2/ERabinovich1.php>.

² П.К. Ощепков, см. Википедию.

радиолокации и интроскопии. Десять лет жизни он провел в ГУЛАГе. Википедия сообщает, что сейчас основанный им институт «Спектр» – крупнейшая в мире организация по номенклатуре средств неразрушающего контроля.



Первая страница оригинальной статьи в «Новом мире»

В 1967 г. профессор Ощепков выпустил книгу воспоминаний, в которой писал о своей мечте найти способ концентрации рассеянной энергии. Мне трудно понять, почему такой высокообразованный человек, способный к созданию сложнейших практических систем, продемонстрировал совершенное непонимание второго закона термодинамики, находящегося в основе науки, и мне захотелось разобраться эту проблему, тем более что одновременно появилась и статья И.М. Забелина на похожую тему. Игорь Михайлович Забелин³ (1927-1986) – писатель-фантаст, журналист, географ. Ему более простительно неполное понимание термодинамики.

³ И.М. Забелин, см. Википедию.

Я прошу читателя быть снисходительным к предметам моей статьи и ко мне, ибо я чувствую некоторую неловкость, перепечатывая критику, на которую Павел Ощепков и Игорь Забелин уже не могут ответить. Мне неизвестна последующая эволюция взглядов профессора Ощепкова на термодинамику – вполне возможно, что за последующие четверть века своей жизни он и сам пришел к выводу о невыполнимости своей мечты. Далее моя статья содержит политическую критику его марксистского подхода к науке, и эта критика ни в коем случае не должна приниматься всерьез сегодня: человек писал свою книгу после десяти лет лагерей, хотел ее напечатать, так что у него не могло быть другого языка. Да и моя критика, естественно, была написана тем же марксистским языком. Пожалуйста, обращайтесь внимание только на то, что относится к термодинамике. В статье Игоря Забелина политики нет, есть только утверждение, что органическая жизнь противоречит термодинамике. Эти вопросы и рассматривает моя рецензия.

Второй закон термодинамики и человечество

(«Новый мир», 1968, № 5, стр. 193-197)

П.К. Ощепков. Жизнь и мечта. «Московский рабочий», М. 1967, 296 стр. Игорь Забелин. Человечество – для чего оно? «Москва», № 8, 1966.

Издательство «Московский рабочий» выпустило вторым изданием книгу заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, доктора технических наук П.К. Ощепкова «Жизнь и мечта».

Путь автора книги был сложным. Бывший беспризорник, воспитанник трудовой коммуны, П.К. Ощепков получил высшее образование, стал инженером-электриком, а затем и ученым. П.К. Ощепкову принадлежит инициатива работ по созданию в СССР радиолокации. Многие, даже крупные, ученые не верили в начале тридцатых годов в возможность обнаружения самолетов путем отражения радиоволн. П.К. Ощепков сумел преодолеть этот скептицизм. Его поддержали академики С.И. Вавилов, А.Н. Крылов, А.Ф. Иоффе, А.А. Лебедев, встречам с которыми в книге уделено много интересных

страниц. П.К. Ощепков приводит документы, из которых видно, что первые радиолокационные станции начали действовать в СССР в 1934 году, тогда как в США лишь в 1939 году был заключен первый контракт на постройку опытных станций обнаружения самолетов. Но, несмотря на это, в годы войны мы были вынуждены ввозить радиолокационные станции из-за границы. Обидно читать об этом, так же как и о том, что инициатор создания этих станций П.К. Ощепков несправедливо и надолго оказался оторванным от научной деятельности.

Невзгоды не сломили П.К. Ощепкова. В пятидесятых годах он начал разрабатывать свою вторую проблему – интроскопию, то есть проблему видения в непрозрачных средах. Сейчас уже созданы и применяются первые интроскопы, которым посвящена одна из лучших глав книги П.К. Ощепкова.

Но в книге рассказывается еще об одной мечте автора – найти способы концентрации рассеянной энергии. Эта часть книги представляет, на наш взгляд, наибольший интерес для читателя-неспециалиста. Вместе с тем она вызывает и серьезные возражения, так как автор излагает здесь свое неправильное понимание одного из важнейших законов природы – второго закона термодинамики.

Два начала термодинамики, среди прочего, говорят нам о невозможности вечных двигателей. Первый закон – закон сохранения энергии – говорит, что энергия изолированной физической системы сохраняется с течением времени. Это значит, что невозможен вечный двигатель первого рода, который производил бы работу без потребления энергии. Однако первый закон не исключает существования вечного двигателя второго рода, который не производил бы новую энергию, а повторно потреблял бы уже использованную энергию, оставшуюся в системе. Невозможность такого двигателя следует из второго закона термодинамики.

Как и все законы природы, этот закон – результат обобщения опыта. Его наиболее простая формулировка: «Теплота не может сама собой переходить от более холодного тела к более горячему». Например, горячий

чайник, внесенный в комнату, может отдавать комнате свое тепло, охлаждаясь при этом и нагревая комнату, однако отнять тепло от комнаты может лишь более холодная улица; сконцентрировать же это тепло вокруг остывшего чайника и тем самым вновь нагреть его уже невозможно. Тепловая энергия способна только рассеиваться, концентрироваться же самопроизвольно она не может. А так как в процессе работы любая форма энергии в конечном счете переходит в тепловую, то, рассеиваясь в пространстве, эта энергия перестает быть работоспособной и для нас теряется.

Это явление – результат беспорядочного движения молекул. Остывающий в комнате чайник – источник «нагрева»⁴ вблизи него молекул воздуха, которые затем расходятся по комнате. Конечно, не исключено, что какая-нибудь молекула с более высокой «температурой» в процессе своего случайного передвижения в какой-то момент времени сама собой вернется к уже остывшему чайнику. Возможно даже, что это сделают одновременно пять, десять, даже тысяча молекул. Но практически совершенно невероятно, чтобы в каком-либо малом пространстве (в данном случае – вокруг чайника) случайно собралось сразу около 10^{23} «горячих» молекул, которые необходимы для заметного повышения температуры.

Уже из этого элементарного примера видно, что разность температур в системе и возможность получения за счет этого работы связана с определенным порядком в расположении молекул – в нашем примере скоплением более «горячих» молекул вблизи чайника. Напротив, равномерность распределения температуры и энергии есть результат беспорядочного, чисто случайного расположения молекул. Для количественной оценки степени беспорядка вводится понятие «энтропии», которую здесь мы можем считать просто синонимом степени беспорядка. Чем выше энтропия, тем выше неупорядоченность системы. Поскольку, как мы видели на примере с комнатой,

⁴ В строгом смысле слова нужно говорить о скорости и ускорении молекул, а не об их температуре и нагреве. Мы пользуемся этими понятиями, чтобы не усложнять объяснение.

предоставленная сама себе, то есть изолированная, система стремится к наиболее вероятному, беспорядочному состоянию, то становится ясной более общая формулировка второго закона термодинамики: «Энтропия, то есть степень неупорядоченности, замкнутой системы стремится к максимуму».

И вот против этого закона природы, сформулированного Клаузиусом в 1850 году, П.К. Ощепков выступает уже много лет.

Прежде всего – а можно ли возражать против установленного закона природы? Можно, поскольку мы никогда не можем быть уверены, что от нашего внимания не ускользнула группа явлений, к которым этот закон неприменим. К настоящему времени известны и давно объяснены две области неприменимости второго закона термодинамики – микросистемы и Вселенная. Клаузиус пытался было распространить открытый им закон для изолированных систем на систему неограниченную, каковой является Вселенная, в связи с чем пришел к выводу о постоянном рассеянии энергии Вселенной и предстоящей ей «тепловой смерти». Ученые-материалисты (Ф. Энгельс, Л. Больцман и другие) убедительно показали необоснованность переноса второго закона термодинамики на Вселенную.

Однако на Земле закон рассеяния энергии действует неуклонно. П.К. Ощепков сам приводит интересные подсчеты, показывающие, что через несколько поколений человечество окажется перед угрозой энергетического голода вследствие истощения запасов полезных ископаемых. Поэтому было бы очень интересно узнать, какие научные аргументы выдвигаются им против закона рассеяния энергии, потому что эти аргументы одновременно послужили бы указанием на путь, пусть пока только теоретический, которым рассеянную энергию можно было бы вновь поставить на службу человечеству.

Таких аргументов в книге П.К. Ощепкова нет. Он приводит много фактических данных о концентрации энергии в природе, и у непосвященного читателя может создаться впечатление, что второй закон термодинамики –

не выведенный из опыта закон, а результат умствований кабинетных ученых. На самом же деле все приводимые П.К. Ощепковым примеры, кроме тех, которые относятся ко Вселенной в целом, можно легко объяснить с позиций классической термодинамики.

Например, он указывает на возникновение огромных температур при грозовом разряде, хотя температура Земли, ее атмосферы, испаренных молекул воды в грозовом облаке не превышает 25° Цельсия. В этом факте П.К. Ощепков видит пример концентрации рассеянной энергии в противовес запрету второго закона термодинамики. Но ведь этот закон запрещает такую концентрацию только в изолированных системах. Тучи, постоянно запаасающие энергию ветра и Солнца (для них это внешние источники), такими системами не являются. Содержащие в себе большой запас механической и электрической энергии, они при столкновении превращают ее в тепловую энергию, что сопровождается повышением температуры и нисколько не противоречит классической термодинамике.

В другом месте П.К. Ощепков ставит рядом две формулировки второго закона термодинамики: «Теплота не может переходить **сама собой** от более холодного тела к более горячему» (Клаузиус) и «Теплота не может переходить от холодного тела к теплому **без затраты работы**» (Карно). Затем он пишет: «Это далеко не одно и то же. По Клаузиусу следует, что все тела, предоставленные самим себе, стремятся к равновесию, к «тепловой смерти». Из формулировки Карно никак не следует, что переход тепла от холодного тела к теплому принципиально невозможен; в ней утверждается только то, что такие процессы сопровождаются затратой работы, то есть затратой энергии».

Даже непосвященный читатель может увидеть, что обе формулировки однозначны. Если речь идет о концентрации энергии в системе, получающей энергию извне, то зачем же копыа ломать? О такой возможности можно прочесть в любом учебнике физической химии. По этому принципу работает много приборов и машин, например домашний холодильник, который при помощи

подаваемой извне электроэнергии отнимает тепло от холодильной камеры и передает его в более теплую комнату (потрогайте решетку холодильника сзади и убедитесь, что она греется). О таких приборах рассказывает и П.К. Ощепков в интересной главе «Навстречу девятому валу», хотя его объяснения их работы зачастую несостоятельны.

Стремясь доказать ложность второго закона термодинамики, П.К. Ощепков то и дело отождествляет его с теорией «тепловой смерти» Вселенной, хотя такое отождествление совершенно неоправданно. При этом некоторые из аргументов П.К. Ощепкова неоспоримы уже не только с физической точки зрения. Например, он пишет:

«Существует постулат Клаузиуса, согласно которому теплота не может сама собой переходить от тел более холодных к телам более нагретым. Есть множество других теорий, призванных доказать деградацию энергии и невозможность ее обратной концентрации...

В природе обязательно должны иметь место процессы и обратного характера, то есть процессы концентрации энергии... Но где найти подтверждение своим мыслям? Будучи горячо убежден в том, что в основе всякого поиска лежит анализ, методология, я обратился прежде всего к классикам марксизма, основоположникам диалектического материализма...»

Избранный метод оказался плодотворным, и П.К. Ощепков нашел необходимую цитату из «Диалектики природы» Ф. Энгельса: «Мы приходим, таким образом, к выводу, что излученная в мировое пространство теплота должна иметь возможность каким-то путем, – путем, установление которого будет когда-то в будущем задачей естествознания, – превратиться в другую форму движения, в которой она сможет снова сосредоточиться и начать активно функционировать...»

«Но почему же, – спрашивает П.К. Ощепков, – указание Энгельса о том, что отыскание путей, ведущих к сосредоточению энергии, должно стать задачей естествознания, не выполнено, почему оно забыто? Почему? Тысяча раз – почему?» Ответ ясен: «Буржуазные идеологи –

от римского папы до современных идеалистов в науке – возвели эту сторону проявления сил природы (рассеяние энергии – Э.Р.) в некий мировой закон, чуть ли не равнозначный закону сохранения энергии. Проповедуется принцип деградации не только энергии, но и материи вообще».

Мы не знаем, какой римский папа и что именно говорил об этом законе, но без него невозможно представить себе стройное здание современной физики: его обоснованием служит атомистическая теория Больцмана, этот закон является одним из исходных принципов квантовой теории Планка. П.К. Ощепков не выдвигает возражений, достойных этих оппонентов, он не пытается создать новую физику, основанную на отрицании постулата Клаузиуса, как сделал, например, Лобачевский, который показал, что будет с геометрией, если отказаться от одного из постулатов Евклида. Несмотря на успехи современной физики, аналогичные попытки со стороны П.К. Ощепкова своей смелостью вызвали бы уважение и, весьма вероятно, были бы не бесплодны. Процесс творчества сложен, и история науки знает немало случаев, когда ложный или казавшийся ложным путь приводил к важнейшим открытиям. Однако приведенные высказывания П.К. Ощепкова близки к попытке заменить научные доводы в споре идеологическими обвинениями по адресу своих противников.

Что касается цитированного П.К. Ощепковым высказывания Ф. Энгельса, то в нем и в помине нет ощепковской нетерпимости. В этой фразе нет никаких директив естествознанию, она относится ко Вселенной в целом и связана с критикой Ф. Энгельсом идеи ее «тепловой смерти».

П.К. Ощепков утверждает, что постулат Клаузиуса «затормозил... развитие науки на целое столетие. Не утвердись этот постулат априорно, развитие науки, возможно, пошло бы по другому пути». Это место позволяет усомниться в том, насколько хорошо П.К. Ощепков знает историю вопроса. Постулат Клаузиуса не утвердился априорно. Против него упорно боролись физики так

называемой энергетической школы – Оствальд, Мах и другие. Они именно потому и оказались побежденными, что их точка зрения тормозила развитие науки, а постулат Клаузиуса оказался исключительно плодотворным и послужил стимулом к возникновению новых идей.

В своей книге П.К. Ощепков неоднократно обращается к общественному мнению: «Хорошо известно, что пока новая идея не завоеует масс, не станет достоянием общества, она не получит материальной силы; в лучшем случае она остается в мечтах, в фантазиях, а иногда и этого удела ей не предоставляют. Так происходит пока и с этой идеей» (имеется в виду идея концентрации рассеянной энергии в противовес второму закону термодинамики). Но ведь законы природы – не юридические законы, их судьба не может решаться голосованием. Критика законов природы должна основываться только на строгом научном анализе.

Как видит читатель, со многим в книге П.К. Ощепкова мы не можем согласиться, причем наши возражения относятся не только и не столько к существу научного спора, сколько к методам его ведения. Но мы были бы несправедливы, если бы не привели слова, которыми заканчивается книга: «Все, что здесь написано, написано правдиво, чистосердечно, а главное – со страстным желанием помочь человеку». Этой мыслью действительно окрашена вся книга, и сомневаться в ее искренности невозможно. Мы знаем, что в активе П.К. Ощепкова есть крупнейшие научно-технические достижения, и все это определяет общую оценку его книги.

До сих пор мы не касались вопроса об органической жизни в свете термодинамики. Этот вопрос поставлен уже в книге П.К. Ощепкова, но особенно много внимания ему уделил И.М. Забелин в статье, опубликованной журналом «Москва». В этой статье автор, сопоставив фактические данные о развитии человеческого общества и по-новому взглянув на них, пытается уяснить себе и читателю, для чего существует такое явление природы, как человечество. Статья читается с интересом, но и ее выводы основаны на неправильном понимании второго закона термодинамики. И П.К. Ощепков, и И.М. Забелин считают, что существование

органической жизни ему противоречит. «Живая биологическая ткань, эта высшая форма материи с ее функциями обмена, с непрерывным синтезом и распадом, – пишет П.К. Ощепков, – наглядное подтверждение закона концентрации и децентрации энергии в природе, так как синтез может происходить только при повышении энергетического потенциала, а распад при понижении его». И.М. Забелин как бы продолжает мысль П.К. Ощепкова; «Первый такой процесс, сразу же противопоставленный второму началу термодинамики, был обнаружен сравнительно быстро – это органическая жизнь, растительность в первую очередь, с ее способностью к фотосинтезу. Именно в растениях концентрируемое солнечное тепло вновь становится используемым, начинает активно функционировать...»

Читатель уже сам может понять, что ошибочность противопоставления этих процессов второму закону термодинамики заключается в забвении слов «сама собой» в его формулировке. Земля, органическая жизнь – не изолированные системы, и речь здесь идет об использовании теплоты, самопроизвольно переходящей от горячего тела (Солнца) к холодному {Земле). Развитие человеческой цивилизации – процесс, безусловно идущий с понижением энтропии. Он связан со все более увеличивающимся потреблением энергии, запасенной земной корой когда-то или притекающей сейчас от Солнца. Можно надеяться, что за счет солнечной энергии человечество в будущем сумеет разрешить свои энергетические трудности. Но энтропия Солнца при излучении повышается. Баланс энтропий станет яснее, если привести формулировку второго закона термодинамики, данную Планком: «В любом естественном процессе сумма энтропий всех тел, участвующих в процессе, возрастает».

Когда Солнце погаснет, то, в соответствии с термодинамикой, вероятно, наступит «тепловая смерть» солнечной системы, которую не следует путать с «тепловой смертью» Вселенной и которая не противоречит материалистическому мировоззрению. Ф. Энгельс писал: «Жизнь всегда мыслится в соотношении со своим

необходимым результатом, заключающимся в ней постоянно в зародыше, – смертью. Диалектическое понимание жизни именно к этому и сводится». Сейчас можно только фантазировать по поводу того, что тогда будет с человечеством. И.М. Забелин приводит следующее высказывание Норберта Винера: «Мы погружены в жизнь, где мир в целом подчиняется второму закону термодинамики: беспорядок увеличивается, а порядок уменьшается ... Мы в самом прямом смысле являемся терпящими кораблекрушение пассажирами на обреченной планете». О грустной перспективе для людей говорит и П.К. Ощепков. Этот пессимизм трудно понять. Питекантроп, которого еще никак нельзя считать человеком, жил всего около миллиона лет назад. Человеческая цивилизация насчитывает не более шести тысяч лет. А Солнце, по предположениям ученых, еще несколько миллиардов лет будет оставаться практически в таком же состоянии, как сейчас! Уж если говорить о грустной перспективе, то у каждого человека ость гораздо более реальная перспектива собственной смерти, но это не мешает ему жить и работать, хотя даже возраст ребенка, едва научившегося ходить, относительно куда более почтенен, чем возраст человечества.

Любопытно, что опера Верди «Аида» дает нам любопытный пример того, что будет с жизнью, помещенной в изолированную систему. Родомеса и Аиду не убивают, им не наносят никакого телесного повреждения, тем не менее, они казнены: замурованные в изолированном помещении, молодые здоровые люди умирают.

На основной вопрос своей статьи – для чего человечество? – И.М. Забелин отвечает так: «Цель человечества – противостоять энтропии, его назначение – избавить некий локальный участок мироздания от тепловой смерти или, по крайней мере, замедлить ее наступление... **«Человечество – это орган природы, ею же созданный для управления стихийными силами».** С термодинамической точки зрения этот ответ нельзя считать правильным. Понижение энтропии человечества дорого обходится остальной части природы, энтропия которой

повышается. Если, фантазируя, представить себе, что человечество сможет когда-нибудь заставить Солнце еще более интенсивно излучать свою энергию, то это приведет лишь к ускорению его остывания. Поэтому вряд ли природа (если ей приписывать разум, как это фактически делает И.М. Забелин) может быть заинтересована в антиэнтропийной деятельности человека. Это, во-первых. Во-вторых, «тепловая смерть» отдельных локальных систем вовсе не означает смерти природы в целом, да и вообще высокоорганизованная органическая жизнь, по-видимому, сравнительно редкое явление, и в огромном количестве миров природа обходится без антиэнтропийной деятельности этой жизни. Кстати, такая деятельность – отнюдь не монополия человечества, ее выполняет вся органическая жизнь.

Что касается самого вопроса И.М. Забелина, то он напомнил нам учение вольтеровского Панглоса⁵, который утверждал, что «все необходимо создано для наилучшей цели. Вот, заметьте, носы созданы для очков, потому у нас и очки. Ноги, очевидно, предназначены быть обуемыми ... Камни образовались, чтобы их тесать и чтобы из них строить замки... Свиньи созданы для съедения...». Ну, а человечество для чего?

В самом деле, вопрос о цели существования предмета имеет смысл лишь с точки зрения его служебной функции по отношению к другому предмету или явлению. Но с чьей точки зрения можно обсуждать вопрос «для чего человечество?». Если с точки зрения природы, то, приписывая ей целенаправленность при создании человечества, мы наделяем ее разумом и фактически отождествляем с Б-гом. Панглоса тоже мучил этот вопрос, и он спрашивал турецкого дервиша:

«– Учитель, мы пришли спросить вас, для чего создано такое странное животное, как человек?

– Куда ты лезешь? – сказал дервиш, – твое ли это дело?»

⁵ Вольтер, Кандид, «Философские повести и рассказы», т. I, стр. 136 и 263, “Academia”, М.-Л., 1931.

По-видимому, нет смысла отрывать человека от прочего органического мира. Как и у всей органической жизни, цель существования человечества в целом – сохранение вида и не более. Раз уж так получилось, что на Земле создались благоприятные условия для возникновения высокоорганизованной жизни, то она и стала развиваться, используя для этого все предоставленные ей энергетические возможности. Только для себя и выполняет человечество сложную антиэнтропийную деятельность, потому что такая деятельность составляет одну из сторон жизни. Следует подчеркнуть, однако, что хотя противоречия с термодинамикой здесь нет, попытки привлечь эту формальную науку для выяснения механизма возникновения жизни и предсказания судеб человечества вряд ли могут быть плодотворными.

Э. Рабинович, кандидат технических наук.



Андрей Пелипенко

Между природой и культурой

Главы из новой книги

(продолжение. Начало в № 9-2010)

2.3. Эволюционное значение межполушарной асимметрии мозга

2.3.1. Энцефализация



е будем сейчас касаться связей роста мозга с причинами и последствиями перехода предков человека к хищнической стратегии жизни и превращения их во всеядных существ с большой долей мясной пищи в рационе, хотя антропологи справедливо придают этому фактору большое значение. Пионером плотоядности часто считают *homo ergaster* (1,9(1,8) – 1, 43 (1,41) млн. лет назад, что, впрочем, не столь важно. Связь между добавлением в рацион мясной пищи и усилением энцефализации несомненна, но глубинные причины последней лежат далеко за пределами внешних экологических факторов и, в частности, структуры и режимов питания. Употребление мясной пищи может выступать одним из физиологических условий роста мозга, обстоятельством, опосредующим глобальную эволюционную тенденцию, но никак не её причиной.

Итак, не позднее 2,5 млн. лет назад на просторах африканских саванн обнаруживаются первые гоминиды (носители генов *Homo*) с древнейшими каменными артефактами (почему я намеренно избегаю слова «орудия», будет пояснено в дальнейшем) и значительно более крупным мозгом. Здесь наблюдается примечательная

развилка: у одной из ветвей линии *Paranthropus* (боковая ветвь австралопитеков), развились крупные и мощные челюсти, позволявшие пережёвывать жёсткую растительную пищу. (Впрочем, доказано, что *Paranthropus* был всеядным). Другие же ветви *Homo* пошли по пути укрупнения мозга и изготовления каменных артефактов. (Жевательные мышцы здесь не случайная деталь. Именно их существенное ослабление в результате мутации ок. 2,4 млн. лет назад привело к тому, что они перестали «сдерживать» череп, т.е. ограничивать возможности увеличения пространства для роста мозга.

В этом эпизоде, как впрочем, и в ряде других, наглядно проявляется **разветвление горизонтального и вертикального эволюционных векторов**: мы видим, как горизонтальный принцип морфологической специализации органов подступает к своим границам и в этой точке берёт начало вертикальное направление развития. (Впрочем, здесь уместнее говорить не о самом начале, а о продолжении, усилении тенденции). Линия *Paranthropus*, хотя и укладывается в общий «мейнстрим» укрупнения мозга, но представляет собой пока что обычный общебиологический путь приспособления морфологических признаков к экосреде: рост мозга здесь осуществляется более в абсолютном, чем в относительном выражении. Но даже и подчинённый пока общебиологической логике, абсолютный рост мозга в этой морфофизиологической конфигурации и в этих экологических условиях таил в себя скрытую «эволюционную провокацию». Её реализация на морфофизиологической основе гоминид привела к тому, что мозг стал не просто функциональным органом, а его резкое укрупнение – не просто обычным эволюционным ответом на вызовы среды. Начался очередной виток уплотнения, «сворачивания» макроэволюционного фронта вглубь всё более локализуемых физических структур, сопровождающийся нарастанием сложности и самостоятельности их носителей по отношению к внешней среде. (См. гл. 1 об уплотнении эволюционного фронта ГЭВ).

Риску предположить, что между «климатической мельницей» и резким укрупнением мозга, как впрочем, и другими аспектами антропогенеза, существует самая прямая и непосредственная связь. И хотя тенденция к цефализации проявлялась, разумеется, и ранее, приспособление к уплотнившимся климатическим ритмам потребовало *комплексного*, а не локального изменения жизненно важных программ. Локальные программные трансформации, вызванные изменением лишь некоторых средовых параметров, могли быть обеспечены обычными морфологическими изменениями отдельных органов. *Но изменение всего комплекса программ требовало полномасштабных системных изменений, которые могли быть осуществлены только на пути увеличения общего координационного центра – мозга.* Иначе говоря, климатическая мельница так изменила ритмы эволюционного процесса, что сделала невозможным для предков человека выживание путём локальных морфологических изменений, поставив его перед необходимостью коренным образом сменить стратегию встраивания в среду на стратегию приспособления среды под себя, возможность которой потенциально открывало укрупнение, а затем и структурная «переупаковка» мозга. Упираясь, всякий раз в границы внутривидовых изменений, процесс этот носил итерационный характер, а границы адаптивных возможностей, отмеряли и пределы жизнеспособности видов.

Так, инерционное наращивание массы мозгового вещества у неандертальцев, превосходивших по этому показателю кроманьонцев, в конечном счёте, обнаружил свою тупиковость¹. Впрочем, так называемых прогрессивных (атипичных) неандертальцев всё чаще относят к ранним популяциям неогатропов. Речевые зоны были, как предполагают, развиты слабее, конкретно-чувственное восприятие доминировало над слабо выраженной способностью к абстрагированию. *Выделение*

¹ См. *Pilbeam D. The evolution of a man.* London: Thames & Hudson, 1970.

нейронных структур, связанных со второй сигнальной системой в отдельный слой или блок, надстраивающийся над более древними структурами непосредственного чувственного восприятия², и опосредование их опыта в абстрактных представлениях – это генеральное направление эволюции, связывающее психофизиологическое и ментальное. Скачок мозговой структуризации от неандертальца к сапиенсу – это лишь начало процесса. Дальнейшие его этапы отмечают поворотные моменты становления различных типов ментальной конституции человеческого субъекта на протяжении всей его уже культурной истории.

Таким образом, малая специализированность, бывшая изначально скорее признаком слабости, примитивности и эволюционной бесперспективности в новых условиях оборачивается своей противоположностью: ничем до того не выдающиеся гоминиды оказываются в эволюционно выгодном положении. В дальнейшем мы не раз увидим, как «маргиналы» в ситуациях межсистемных переходов перемещаются с периферии системы на передний край развития и становятся главными действующими лицами эволюции.

Таким образом, путь энцефализации, особенно с момента резкого возрастания относительного роста мозга, демонстрирует принципиальную переориентацию эволюционного вектора с внутрисистемного направления (общая морфофизиологическая «заточка» всего организма под соответствующую нишу в биоценозе) на вертикальное.

² Согласно К. Уилберу, мозг имеет слоистую структуру: новообразования наслаиваются на более древние пласты. Каждый слой со своим специфическим набором программ и функций соответствует макроэтапам биологической эволюции. При этом нижние слои эпигенетически «прорастают» в верхние. При всех поправках на схематизм и известную метафоричность такой модели ей нельзя отказать в точном схватывании самой сути механизма эволюционного структурирования. Но самое главное в том, что этот механизм действует и в структурировании исторически (а не биологически) формируемых структурах ментальности. *К. Уилбер*. Проект Атман. М., 2004.

Постепенное сворачивание, ограничение, а затем, начиная с зашедшей в эволюционный тупик ветви *Paranthropus*, блокировка комплексных морфофизиологических изменений, направленных на адаптирующую специализацию, позволила уплотнить, сфокусировать фронт эволюционных трансформаций и локализовать его в области мозга, перенаправить «рассеянную» эволюционную энергию комплексных морфологических трансформаций на одно магистральное направление – энцефализацию. Теперь опережающий рост мозга уже не только «подтягивал» за собой «догоняющую» эволюцию всего организма³, но и кардинальным образом менял и корректировал саму её направленность, которая оказалась перенацелена от приспособления видовой конфигурации к среде к превращению отрицательного универсализма гоминид в положительный за счёт развития новых возможностей бурно растущего мозга. Таким образом, переориентация макроэволюционного вектора не могла не заблокировать развитие общеморфологических адаптационных изменений: на переднем крае эволюционного фронта они были уже не только неуместны, но и просто недопустимы. Ведь результирующий вектор разноуровневых эволюционных процессов не может идти одновременно в разных, несовместимых друг с другом направлениях, и прорыв в сторону нового системного качества возможен лишь при условии ограничения эволюционных вариаций в рамках

³ По мнению представителя эволюционной эпистемологии Г. Фоллмера, физическая эволюция часто протекает на буксире поведения. Поведение – «не вторичное, поверхностное явление, которое однозначно определяется морфологическими и физиологическими структурами. Его значение состоит в том, что оно представляет собой фактическое средство взаимодействия между физической организацией и окружающим миром». *Фоллмер Г.* эволюционная теория познания. Врождённые структуры познания в контексте биологии, психологии, лингвистики, философии и теории науки. М., 1998. С. 94. здесь, однако, остаётся добавить, что поведение для предков человека синкретически слитно когнитивностью и в известном смысле служит репрезентацией последнего.

прежнего направления. Потому-то необходимым условием взрывной энцефализации у гоминид стало замедление эволюционных реакций и понижение мутабельности на общеморфологическом уровне. Формирование же специализированных органов оказалось просто заблокированным, а морфофизиологические изменения, связанные с адаптацией к среде, сводились к всё более незначительной «ретуши». Ничего удивительно, что режим переориентации макроэволюционного вектора обернулся для гоминид комплексной разбалансировкой режимов, регулирующих жизненные процессы, и тяжелейшим болезненным кризом.

Остаётся добавить, что постепенное стягивание психических функций в мозг и отделение, таким образом, мышления от поведения – отличительная черта человека. У животных мозг представляет собой только координирующий, но не моделирующий центр. Животные «мыслят» всем телом, и психические функции неотделимы от моторно-мышечных действий. (У высших животных такое отделение лишь намечается). Но в антропогенезе происходит постепенная генерализация и «узурпация» психических функций бурно развивающимся мозгом, когда на смену нераздельности психического импульса и физического действия приходит «присвоенная» мозгом мысль. Этот процесс «перетягивания» и сосредоточения когнитивных функций в мозг продолжался и после завершения видовой эволюции сапиенсов; у разных рас соотношение ментальной и гаптической⁴ когнитивности незначительно, но варьируется. Надеюсь, это вполне невинное, а главное, совершенно объективное наблюдение не послужит поводом для обвинений в расизме.

И последнее об энцефализации. Здесь мы видим пример общеэволюционной закономерности, в силу которой, всякий инновативный феномен, в данном случае, ускоренно растущий мозг антропоидов, обнаруживает функции, напрямую не вытекающие из причин и

⁴ К гаптической системе перцепций относятся конечности, суставы, мышцы и поверхность кожи вкупе с соответствующими нейронными центрами мозга.

предпосылок его появления. И чем более диссистемным является феномен (а бурно развивающийся мозг антропоидов был именно таким), тем более явно он порождает не линейное направление своих функциональных экспликаций, а, своего рода, куст, пучок разнонаправленных интенций и соответствующих им потенциальных возможностей функциональной реализации. Так, изначально, укрупнение мозга было продиктовано чисто биологическими причинами, но по мере того, как протокультурные практики из побочного эффекта этого процесса стали оформляться в механизм эффективной психической самонастройки, комплекс новых возможностей оказался ориентирован именно в культурногенетическом направлении. Как бы не трактовать возникновение этих возможностей мозга: как нечто провиденциалистски предзаданное или как нечто случайное – в любом случае, из самого процесса роста мозга, они с необходимостью не вытекают, хотя и обуславливаются последним. Иными словами, сапиентизация не есть биологически предопределённое следствие энцефализации как таковой.

2.3.2. Церебральная асимметрия

Проблема межполушарной функциональной асимметрии (МФА) требует отдельного и несколько более подробного освещения. Тема эта, поднятая в последней трети прошлого века, в последнее время стала довольно модной, и мне бы не хотелось встраиваться в ряд авторов, развлекающих читателя вульгарными и размашистыми обобщениями и плоскими редукционистскими выводами. Однако обойтись парой фраз не удастся, поскольку МФА чрезвычайно важна не только в контексте анализа обстоятельств антропогенеза, но и в качестве глубинного фактора широкого ряда ключевых культурногенетических вопросов.

Симметрия как таковая выступает универсальным структурообразующим принципом, который обеспечивает *само полагание разрозненных феноменов в единую онтологическую модальность*, в которой, в свою очередь, осуществляется полагание и группировка любых

оппозиционно оформляемых различий. В космологических и биологических системах это симметричное полагание носит по отношению к материальным объектам характер *внешнего закона и универсальной упорядочивающей формулы*, в определённом смысле трансцендентной «физическому» материалу, хотя и проявляющейся как бы изнутри его самого. «Упаковываясь» в структуры человеческого мозга, принцип сочетания морфологической симметрии (в самом общем, разумеется, виде) и функциональной асимметрии становится правилом организации психики и конфигуративным принципом формирующейся человеческой ментальности. Таким образом, симметрично-асимметричные отношения, определяя сложнейшую диалектику человеческого сознания, оказываются связующим мостом между биосистемой и культурой, где их предметом выступают уже не только интериоризованные в культурное пространство объекты (образы) природного континуума, но и мир дискретных смысловых и артефактуальных феноменов.

Становясь принципом мышления, симметрия задает такую апперцепцию пространства (или плоскости как его модели), где изначально полагается определённая связь смысловых элементов, пребывающих в *единой онтологической модальности*. При этом важно, что симметричные отношения, вернее, сложная конфигурация симметрично-асимметричных отношений, воспроизводясь на уровне самой морфологии мозга и соответственно психических структур, априорны по отношению ко всякому культурно-смысловому опосредованию. Симметрично-асимметричные структурные отношения предшествуют любой семантике и никоим образом из неё не выводятся. Можно сказать, что акт смыслополагания начинается с бессознательного и до-семантического установления самих топологических зон, в котором затем оказываются симметрично размещены элементы семантической структуры. Отсюда берёт начало и конвертация фундаментального для любого эволюционного процесса принципа бинаризма в пространство культурного

смыслообразования⁵. «Поэтому можно представить себе, что двухполюсная система оппозиций, окрашенных эмоционально, «встроена в самую организацию головного мозга»⁶. Эта встроенность недвусмысленно указывает на то, что принцип бинаризма не есть условное эпистемологическое изобретение человеческого сознания и не продукт его развития на каком-либо этапе. Бинаризм имманентен Вселенной в целом: и микро- и макрокосму. Речь может идти не о периодах или ситуациях, когда этот принцип отсутствует вовсе, а о реконструкции истории его самообнаружения в структурах человеческой ментальности и, соответственно, культуры. Так, если эпоха ясных бинарных классификаций на основе новообретённых способностей мышления к абстрагированию, наступила лишь в верхнем палеолите, то из этого не следует, что до этого бинарных оппозиций не было вовсе. Впрочем, к вопросу о бинарном принципе мы будем возвращаться неоднократно.

Итак, принцип симметрии предустанавливает *ниши* для бинарного смыслополагания. Первичным импульсом для него выступает эмпирическая дискретность элементов той или иной пары. Далее: чем семантически конкретнее какой-либо из элементов оппозиции, тем определеннее его симметричное соотнесение с элементом-носителем противоположных (асимметричных) качеств, кои при симметричном единстве онтологии служат каналом вычленения противоположного элемента оппозиции, его семантизации и включения в смыслогенетические цепи.

⁵ «Отвечая на вопрос, поставленный... раньше, суть ли бинарные оппозиции только социально предопределённые особенности человеческой психики, или они могут быть наследственно детерминированы у человека, мы приходим в итоге всего сказанного к необходимости признать правильным второе предположение». (Алексеев В.П. Становление человека. М., 1984. С. 255.) Остаётся добавить, что эта «наследственность» простирается далеко за пределы ближайших предков на генеалогическом древе антропогенеза.

⁶ Иванов. Вяч. Вс. Чёт и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978. С. 107.

Симметричная разбивка смыслового пространства на сегменты и уровни вкупе с симметричным же зонированием каждого из этих уровней — первичное условие смыслополагания, преодолевающего хаотическую — с позиции «выпадающей» из природы формирующейся человеческой психики — гетерогенность среды. Здесь, впрочем, мы уже вступаем в сферу смыслогенеза, о котором речь пойдёт в гл. 4.

Благодаря интериоризации симметрично-асимметричной диалектики в пространство нейрофизиологической активности, и соответственно, когнитивных практик, человеческая ментальность приобретает *внутрисистемное напряжение, неравновесие*, а, следовательно, и способность (и необходимость) к *имманентному саморазвитию*⁷. Импульс к развитию системы как целого, таким образом, исходит изнутри системы, тогда как ответом на внешние вызовы среды можно объяснить только изменения в тех или иных локальных подсистемах. Тот же закон действует и в культурных системах, ибо их онтология в целом *гомоморфна* структуре ментальности, а микроуровень (ментальность субъекта) и макроуровень (культурная система) связаны между собой *фрактальными* отношениями.

⁷ В области психологии ещё К. Левин детально аргументировал, положение о том, что двигателем, причиной течения психических процессов не являются ни ассоциации, ни привычки, ни опыт, ни детерминирующая тенденция, ни свойственное раздражению притяжение к определенным реакциям, ни преобразования и новообразования целостной деятельности. «Связи, где бы и в какой форме они ни существовали, никогда не бывают причинами процессов, т. е. источником энергии», хотя и определяют в значительной мере форму этих процессов. Между тем, «при всяком психическом процессе необходим вопрос, откуда появилась причиннодействующая энергия». Последняя обусловлена «нажимом» воли или потребностей. Таким образом, причиной психических процессов является внутреннее напряжение психической системы». *K. Lewin. Vorsatz. Wille und Bedürfnis. Berlin 1926. P. 51.*

Итак, чтобы энцефализация стала двигателем эволюционного фронта, нужна внутренняя интрига, имманентный источник напряжения, без которого невозможно никакое развитие вообще. Таковой интригой и явилась МФА. Предполагают, что стимулом к её ускоренному развитию стали мутации (опять мутации! И не иначе как «случайные»!) Y- хромосом, имевшие место через некоторое время после разделения ветвей шимпанзе и человека. Первая из этих мутаций произошла у общего предка *Homo* и *Paranthropus*, а вторая – у *Homo erectus*, ибо именно у этого вида впервые явно обнаружены признаки церебральной асимметрии. (Неудивительно, впрочем, что таковые признаки, хотя и не столь явно выраженные, находят, или, по меньшей мере, предполагают также у австралопитеков).

Ещё до открытия Р. Сперри⁸ было замечено, что центры речи локализируются преимущественно в левом полушарии и даже закреплены в нём генетически, тогда как правое отвечает за целостно-образное восприятие. Впрочем, сейчас стало вполне очевидным, что концепция механического разделения функций между полушариями и абсолютизация левополушарного доминирования у современного человека – один из научных мифов прошлого века. Представления о голографическом устройстве мозга (К. Прибрам), функциональной диффузии, нейронный ансамблях, да и просто режимы интеграции работы гемисфер, осуществляемые посредством соединительных образований мозга (комиссур), разрушают упрощённо-механистическую картину МФА. К тому же, помимо право-левой асимметрии в эволюции мозга подспудно развивалась также и продольная асимметрия с аналогичными характеристиками: между передними и задними отделами мозга.

Исследования В.Л. Бианки показывают, что в процессе обработки полученных извне данных участвуют

⁸ *Sperry R.W. Cerebral Organization and Behavior // Science. 1961. Vol. 133. P. 13-22; Idem. Some General Aspects of Interhemispheric Integration // Interhemispheric Relation and Cerebral Dominance. Baltimore, 1962. P. 43-49.*

оба полушария. При этом варьируются как отношения доминирования, так и режимы обмена между ними⁹. Многолетние экспериментальные исследования свидетельствуют также о том, что полушарное доминирование меняется в зависимости от последовательности этапов того или иного вида деятельности, от времени суток и экологических условий¹⁰. Вместе с тем, можно с определённой констатировать, что морфологическая асимметрия нарастает в филогенетическом ряду и более выражена у человека, чем у антропоидов. И, разумеется, выражается она наиболее сильно в неокортикальных структурах: нижнелобной, нижнетеменной, верхневисочной.

Кроме того, здесь ни в коем случае не следует упускать из виду, что помимо сопоставления режимов функционирования гемисфер по отдельности исключительно важное значение имеют также и режимы их интеграции. И именно с ними, а не столько с развитием функций каждого полушария в отдельности и связано рождение сакраментального надприродного качества человеческого мозга. Не случайно связующая комиссура между гемисферами у человека уже, чем у его эволюционных предшественников. Это обстоятельство продуцирует, по меньшей мере, такие особенности, как существенно более высокий уровень внутреннего напряжения в психической системе, более выраженные формы МФА во всех их проявлениях, нарушение или разрушение интегративных психических связей, присущих животным, с компенсаторным усилением функциональной и энергетической нагрузки на сохраняющиеся каналы.

Иными словами, феномен человеческого мышления, который в дальнейшем будет раскрываться через концепцию смыслообразования, обязан своим рождением не только процессу развития гемисфер как таковых и даже не самому феномену МФА, сколько характеру межполушарного

⁹ Бианки В.Л. Асимметрия мозга животных. Л., 1985; Он же. Механизмы парного мозга. Л., 1989.

¹⁰ Бианки В. Л. Указ. соч. Эволюция парной функции мозговых полушарий. Л., 1967.

взаимодействия в контексте указанных обстоятельств. Иными словами, психические режимы, давшие начало мышлению в его собственно человеческом измерении (сделаем реверанс этологам), связаны с взаимодействием и структуризацией право- и левополушарных когнитивных паттернов, протекающих в процессе двусторонней, интегрирующей медиации между гемисферами. Эта необходимость в медиации, дабы не разрушить психическую систему в целом и при этом получить подпитку от общесистемного источника энергии, приходит в противоречие со стремлением гемисфер к обособлению и доминированию, что и создаёт в системе психики не просто болезненное напряжение, но пружину диалектического развития, диалектическую ситуацию, своего рода «неразвитую напряжённость принципа» (Гегель).

Здесь важно акцентировать тезис о том, что МФА оказывается локомотивом диалектического процесса становления человеческого мозга, «подтягивающего» за собой морфофизиологическую эволюцию всего организма.

Этот тезис отчасти перекликается с идеями Р. Сперри о том, что ум, будучи эмерджентным качеством организации мозга, оказывает «нисходящее» причинное воздействие на нейрофизиологические процессы более низких уровней, что позволяет внести в систему фактор телеологии. Причём такое нисходящее воздействие, направленное «поверх» «восходящих» физических связей и зависимостей, прослеживается уже на уровне простейших организмов

Таким образом, функциональное содержание межполушарной асимметрии раскрывается в гораздо более сложном и многообразно обусловленном виде, чем это предполагается постулатом о левополушарном доминировании¹¹ и чем может показаться в ходе

¹¹ Предельно радикально эта идея выражена у Дж. Эклса, который считал, что левое полушарие является доминирующим не только для языка, но и для концептуального мышления. Значение же правого полушария всячески принижалось и сводилось к роли автомата, выполняющего биологические программы. См. *Eccles*

наблюдений за его простыми внешними проявлениями. До недавнего времени господствовала точка зрения, согласно которой асимметрия в её моторном и сенсорном выражении присуща всем позвоночным животным, но межполушарная асимметрия филогенеза не имеет и «является основой психической деятельности человека, возможно морфо-функционально закреплённой со времён неандертальцев»¹². Что же касается животных, то у них она носит, скорее, стохастический характер. «Животное рождается с симметричными полушариями, но в процессе онтогенетического развития случайные явления окружающего мира, действующие неоднозначно на левое и правое полушария, могут приводить у функциональной асимметрии»¹³. Таким образом, у животных существует некий психофизиологический потенциал к асимметрии функций, но проявляется он главным образом под действием ситуативных внешних факторов или в результате целенаправленной обучающей деятельности человека, что объясняет, в частности, совершенно особое «человекоподобное» поведение домашних животных¹⁴. Впрочем, работы В.Л. Бианки и его коллег доказывают, что у большинства видов животных всё же существует

J.C. The brain and the unity conscious experience// 19-th Eddington memorial lecture. Cambridge. 1982.

¹² *Аршавский В.В.* Межполушарная асимметрия в системе поисковой активности. К проблеме адаптации человека в приполярных районах северо-востока СССР. Владивосток. 1988. С. 4, 5. У неандертальцев Сильвиева борозда, отделяющая височную долю от остальной коры, в левом полушарии более длинная, а в правом – сильнее изогнута вверх.

¹³ *Костандов Э.А.* Психофизиология сознания и бессознательного. С-Пб., 2004. С. 66.

¹⁴ К этому можно добавить и «ненаучное» объяснение: домашние животные, испытывая воздействие психической среды человека, напрямую считывают и усваивают психические матрицы человеческого поведения, реализовать которые, впрочем, без соответствующего потенциала МФА было бы весьма затруднительно.

индивидуальная межполушарная асимметрия, а у некоторых также и *видовая*¹⁵.

Установлено, что морфологическая асимметрия ЦНС свойственна певчим птицам¹⁶, и связано это, что характерно, с высокой интенсивностью и специализацией звуковой сигнальности. Примечательно и то, у животных левый мозг функционально связан с моторными функциями. Ещё в 70-х годах была выдвинута гипотеза, согласно которой моторные механизмы левого полушария стали базой для семиотико-символической и дискурсивной деятельности, поскольку были ориентированы на развитие некоторых специфических видов двигательной активности¹⁷, в том числе тонкой мышечной настройки губ, гортани и языка. Здесь, правда, встаёт проклятый вопрос о первопричине (если здесь её вообще правомерно искать): все эти настройки – порождение уже имевшихся изначально способностей левого мозга или сам левый мозг развивался за счёт обратных развивающих импульсов двигательных центров? Однако, в любом случае, важно, что пробуждение сукцессивно-дискретных когнитивных технологий левого полушария в антропогенезе связано с упомянутым стягиванием в мозг снятого (в гегелевском смысле) опыта моторной когнитивности, ибо именно она обретается в пространстве временных длительностей и каузальных зависимостей.

Независимо от того, можно ли считать межполушарную функциональную асимметрию мозга видовым отличием человека от животных, очевидно, что именно антропогенез шаг за шагом эксплицировал весь комплекс нейрофизиологических и соответственно

¹⁵ Среди человекообразных обезьян МФА совершенно точно зафиксирована у одного из видов горилл. *Groves C.P., Humphre N.K.* Asymmetry in gorilla skulls: evidence of lateralized brain function. *Nature*. 1973, № 244. P. 51-54.

¹⁶ Lateralization in the nervous system. Ed. by S.Harnad, R.W. Doty, New York, Academic Pres, 1977.

¹⁷ См. *Kimura D.* Special localization in right and left visual fields // *Comedian J. of Phychol.* 1969. V. 23. № 6; *Kimura D., Archibald J.* Motor Functions of the Left Hemisphere // *Brain*. 1974. V. 97.

когнитивных режимов и возможностей, связанных с этой асимметрией, переводя его из потенциального в актуальный план. При этом полемика когнитивных техник: «древних» правополушарных и пробуждающихся левополушарных, стала не только источником патологичности и сумеречности раннего сознания, но и источником его имманентного развития.

Архаичность и связанная с ней устойчивость нейродинамической базы правополушарной когнитивности и более позднее формирование левой косвенно подтверждается наблюдениями практикующих врачей-нейрофизиологов. Так, замечено, что правое полушарие легче и быстрее восстанавливается после различного рода поражений, а также, в случае такого рода поражений, болезненных изменения нередко распространяются и на левую гемисферу. Наоборот – практически никогда.

При этом чрезвычайно важно, что нарастающая в филогенетическом ряду активизация левой гемисферы и стягивание в ходе этого процесса моторной когнитивности в мозг отнюдь не была направлена на немедленное приобретение каких либо адаптационных преимуществ в русле горизонтальной эволюции: культурно-исторический опыт оказывает, что, по крайней мере, для базовых программ жизнеобеспечения наиболее адаптивно выигрышными выступают как раз не лево-, а правополушарные когнитивные режимы¹⁸. Иное дело, что постепенное вторжение левополушарных когнитивных практик меняет не только структуру, но и само содержание этих программ.

Итак, согласно В.П. Алексееву: «Нельзя, однако, не отметить важное обстоятельство, которое появляется, как только мы соприкасаемся с проблемой симметрии и

¹⁸ См. *Аршавский В.В.* особенности межполушарных взаимодействий у коренного и пришлого населения Северо-востока. Магадан. 1985. Ч. II; *Ротенберг В.С.* „*Аршавский В.В.* межполушарная асимметрия мозга и проблема интеграции культур // *Вопр. Философии.* 1984. № 4; *Свидерска Н.Я.* Осознаваемая и неосознаваемая информация в когнитивной деятельности // *Журн. Высшей нервной деятельности.* 1993. Т. 43. Вып. 2.

морфологии человека и его предков. Уже у ископаемых гоминид мы имеем доказательство тому, что на симметричную относительно продольной, или, как говорят анатомы, саггитальной, плоскости тела морфологическую структуру наложилась функциональная асимметрия, преимущественное использование в рабочих операциях правой руки и вообще противопоставление в рабочих процессах правой и левой половины тела... Возможно, появление подобной асимметрии связано с парной функцией мозговых полушарий и является следствием каких-то пока не вскрытых тенденций в эволюции мозга. Важно сказать, что роль этой парной функции особенно существенна в обеспечении пространственной ориентировки, а последнее обстоятельство имело особое значение в антропогенезе при усложнении способов охоты, освоения пещер под жилища, эксплуатации достаточно обширных территорий...»¹⁹ Здесь ключевое слово – «наложение». Именно здесь коренится рождение нового качества, построенного на *имманентной*, внутрисистемной диалектике симметрии и асимметрии и охватывающего цепь эволюционного движения по линии: физиология мозга – психика – ментальность – культурное сознание. Именно замыкание системы на себя, посредством интериоризации внутреннего симметрично-ассимметричного двигателя, и стало, как представляется, решающим фактором «выталкивания» из природы, сколь бы ни были важны другие сопутствующие и параллельные морфологические изменения. А всё, что касается пещер, территорий, способы охоты и прочее – это частные следствия, т.е. то, что мы видим уже «на выходе», в исторически обусловленных социокультурных практиках. Среди этих следствий не стоит пытаться выделять главные и второстепенные: их можно группировать в различных комбинациях в зависимости от направленности исследовательского интереса.

С доминантностью полушарного реагирования связана и тема *поисковой активности*, которую мы пока оставим в стороне, ибо она в своих надприродных

¹⁹ Там же, с. 253.

проявлениях располагается уже по ту сторону Рубикона под названием «смыслогенез». Потому и прямая связь особенностей межполушарного доминирования с конкретным исторически обусловленным поведением тех или иных этнокультурных групп²⁰ представляется методологически сомнительной: выпадают чрезвычайно важные опосредующие звенья. При этом идея обусловленности тех или иных культурных практик связанными с МФА когнитивными режимами, как правило, приобретает до вульгарности упрощённый и мифологизированный вид.

Универсальность симметрично-асимметричной организации порождает также искушение сформулировать в синергетическо-натурфилософском духе некую всеохватную формулу – этакую отмычку ко всему.

«Развивающаяся система постоянно стремится к устойчивости, выражающейся в симметрии формы, внутри которой и развивается её функциональная асимметрия, неизбежно приводящая к разрушению сложившейся морфологической симметрии (и тем самым устойчивости), по достижении чего система изменяет своё состояние на качественно новое, предопределяющее возникновение иной формы морфологической симметрии, внутри которой параллельно развивается и качественно новый уровень функциональной асимметрии»²¹.

Ах, если бы алгоритм эволюции систем был так прост! Если бы люди вели себя так же как газы, или, в крайнем случае, рептилии! Если бы ещё сами понятия симметрии и асимметрии не нуждались бы в более глубоком, надэмпирическом (не хочется говорить, философском) обосновании! Если бы АС не обладая диалектикой двойной субъектности в дихотомии человек – культура, не усложняла бы качественно все режимы

²⁰ См. *Ариавский*. Указ.: Популяционные механизмы формирования полиморфизма межполушарной асимметрии мозга человека //Мир психологии. 1999. № 1; *Ротенберг В.С., Ариавский В.В.* Межполушарная асимметрия мозга и проблема интеграции культур.// Вопросы философии. №4. 1984. С. 78– 86.

²¹ *Ершова Г.Г.* Указ. соч. С. 59.

самоструктуриации, переводя их в модус смыслообразования! Если бы необходимость введения в область анализа множества новых, не свойственных до-антропным системам параметров не сводила бы вышеозначенный закон симметрично-асимметричных отношений к самой общей и абстрактной, хотя и верной по сути формуле! Впрочем, некоторые выводимые из неё положения можно принять и «напрямую». Например, непосредственная связь между степенью выраженности функциональной асимметрии, скоростью протекания внутрисистемных процессов и с общим внутренним напряжением системы присутствует на любом уровне опосредования. К столь же очевидным, сколь и абстрактным следствиям можно отнести отмеченную психологами склонность человека к немотивированному, с точки зрения удовлетворения базовых жизненных программ, созданию конфликтных ситуаций²² (говоря синергетическим языком, неравновесия) и вообще ту самую пресловутую «открытость» человека с его стремлением выходить за любые предустановленные границы, и т. д. и т. п. Но главное – с феноменом МФА связан широчайший спектр программных трансформаций перехода от природного к социокультурному: от формирования языка и изготовления артефактов до порядка выстраивания постприродных режимов гендерных отношений.

Итак, при всех оговорках, можно считать установленным, что левое полушарие контролирует дискретизацию информационных потоков, поступающих из окружающего мира, способность к комбинированию смысловых элементов и соответственно заведует такими уже собственно культурными программами, как лингвистические, абстрактно-логические и математические, осуществляет операции по формализации и знакообразованию. Правое полушарие, в свою очередь, ведаёт образно-сенсорными и интуитивно-подсознательными функциями, организует пространственное восприятие и топографическую память.

²² Это явление обычно связывают с так называемой «нейро-адреналиновой наркоманией».

Чрезвычайно показательным, что такая «правополушарная» память неизменно уничтожается инкультурацией как атавизм докультурной по генезису универсальной эмпатической связи психики всякого живого существа с природным континуумом. Такого рода память присуща, как показывают исследования, «умственно отсталым или культурно недоразвитым детям... По мере взросления примитивного человека в культуру мы будем наблюдать спад этой памяти, уменьшение её, подобно тому, как мы наблюдаем это уменьшение по мере культурного развития ребёнка»²³. В этой связи осмелюсь высказать предположение, связанное с обнаружением многочисленных археологических свидетельств ритуальной трепанации черепа. Смысл этой практики заключался, среди прочего, и в бессознательном стремлении блокировать развитие и проявление левополушарных функций и, причём, отнюдь не только в целях лечения посттравматических расстройств. «...Трепанационная активность древних хирургов должна рассматриваться в неразрывном контексте с общими действиями магическо-терапевтического свойства, основанными на физиологически обусловленной потребности изменения сознания человека. По-видимому, разнообразные попытки изменения сознания сопровождали религиозную и магическую деятельность. ...Как наиболее радикальное средство трепанирование могло не только преследовать цель непосредственного лечения травмы, но и устранять «неправильное» поведение больного, или способствовать появлению новых свойств и качеств у здорового, но специально избранного по каким-то причинам человека.»²⁴ Ещё более очевидные выводы о ритуальном характере трепанаций вытекают из исследований южноамериканский и мезоамериканских культур.²⁵ Так, у

²³ *Выготский Л.С., Лурия А.Р.* Этюды по истории поведения. М., 1993. С. 85-87.

²⁴ *Медникова М.Б.* Трепанации у древних народов Евразии. М., 2001. С. 39-40.

²⁵ *Ершова Г.Г.* Древние майя: уйти, чтобы вернуться. М., 2000; *Древняя Америка: Полёт во времени и пространстве.* Северная Америка. Южная Америка. М.: Алетейа, 2002. В 2 т.

народности Паракас (Перу, I до н. э. – I тыс. н. э.) отмечается массовое (!) трепанирование черепов, причем практиковались такие приёмы как выпиливание квадратных или прямоугольных пластинок, высверливание дырочек по кругу, срезание кости и др. В некоторых случаях отверстия закрывались золотой пластинкой.

В правом полушарии преобладают функции, связанные не с аналитическим, а с синкретическим и впоследствии синтетическим восприятием. Это невербальные, слуховые, незнакомые визуальные, соматосенсорные и моторные сигналы, позволяющие воспринимать внешнюю реальность синкретично, целостно и симультанно, без разделения на составные элементы. И хотя на основе опытов с расщеплённым мозгом (Р. Сперри, Дж. Эклс и др.) утвердилась теория «переменной доминативности», согласно которой доминантные отношения меняются в зависимости от выполняемых функций, в общем виде можно утверждать что «... левое полушарие у людей специализируется на вербально-символических функциях, а правое – на пространственно-синтетических»²⁶. При этом правополушарное восприятие кучно: после целостного схватывания некоего гештальта концентрация почти спонтанно дрейфует с одного из элементов на другой. И, конечно же, особенно важно подчеркнуть, что более древние правополушарные функции ориентированы на адаптацию²⁷. Именно они служат психическим проводником программы вписания в среду, т. е. работают на горизонтальную эволюцию в природе, что, в свою очередь, согласуется с общей ориентацией правого полушария на удерживании психики в континууме когерентных связей. (Поэтому, в частности, ещё в 70-х гг. прошлого века, было замечено, что правополушарная

²⁶ Бианки В.Л. Асимметрия мозга животных. Л., 1985. С. 8.

²⁷ Так, например, замечено, что в экстремальных условиях среды наиболее успешно адаптируются те, у кого активизируется правополушарные когнитивные функции. Ильичёнок Р.Ю. Память и адаптация.. Новосибирск. 1979.

когнитивность соотносима с фрейдовской сферой подсознательного)²⁸.

Одним из известных, но явно недооцененных в своём значении аспектов МФА является то, что её эволюционная динамика неравномерна в гендерном отношении. У женщин МФА выражена в целом слабее, чем у мужчин. Об этом важнейшем не только для морфофизиологической, но и для культурной эволюции обстоятельстве, как правило, упоминается как-то уклончиво и вскользь. А между тем здесь мы сталкиваемся с одним из глубинных и, соответственно, фундаментальных факторов культурной эволюции. Благодаря менее выраженной асимметрии полушарных функций, женщина сохраняет «атавистическую» склонность к правополушарному доминированию, что отражается на широком комплексе социально-культурных ролей и функций. Женщина легче впадает в глубокий транс и вообще любого рода ИСС, вследствие чего, в условиях прогрессирующего левополушарного отпадения от природного психизма, она была способна «узурпировать» медиативные функции по налаживанию обратной связи первобытного коллектива с природным универсумом, т.е. более эффективно осуществлять ритуально-магические функции: колдовские, шаманские, знахарские. Впрочем, эти возможности актуализовались в полной мере лишь к эпохе неолита, и на то были свои причины.

Несомненно, и нарастающее размежевание поведенческих и социальных моделей по гендерному признаку также в немалой степени было простимулировано МФА, хотя и здесь имелся немалый природный «разбег». Ещё Б.К. Геодокяном была сформулирована концепция,

²⁸ «Определённые аспекты функционирования правого полушария соответствуют способу познания, которые психоаналитики называют первичным процессом – формой мышления, которую Фрейд отнёс к системе подсознания (бессознательного)». *Galin D. Implications for Psychiatry of Left and Right Cerebral Specialization // Archives of General Psychiatry. 1974. V. 31. P. 72-87. См. также Ротенберг В.С. Психологические аспекты внушения // Природа № 7. 1990. С. 87-88.*

согласно которой разделение полов в эволюции было связано с необходимостью сохранить стойкость морфофизиологических признаков вида и в то же время достаточно гибко реагировать на значительные изменения среды. Женский пол выступает у большинства видов в качестве «хранителя» признаков вида, а мужской осуществляет поисковую стратегию («пробные варианты») модификаций для новых признаков. Поэтому представители женского пола обладают большим диапазоном фенотипических вариантов генотипа, а мужские меньшим диапазоном, ибо на них и «работает» отбор. Этим и объясняется большая чувствительность особей мужского пола к неблагоприятным условиям среды. Однако даже если не принимать всерьёз доходящие до абсурда аргументы радикальных последователей М. Фуко, утверждающих, что гендерные различия задаются исключительно социокультурными факторами, очевидно, что изначальные «естественные» диспозиции могут существеннейшим образом корректироваться «надстроечными» культурными программами, а мост между ними перебрасывает, в частности, МФА.

И последнее, на чём необходимо остановиться в теме эволюционного значения МФА. Генезис человеческого сознания в его нейрофизиологическом аспекте начался не с внезапного и самопричинного развития левополушарной когнитивности, хотя к тому и были свои собственные эволюционные стимулы. Левополушарная когнитивность, как это ни парадоксально, в раннем антропогенезе, а возможно отчасти и позднее, играла компенсаторную роль. *Разбалансировка природных режимов и ритмов психосенсорной и моторной активности у ранних гоминид привела к тому, что диапазоны правополушарной рецепции сбились со своих природных настроек и стали принимать предельно расширенный диапазон психических паттернов.* (К этому положению ещё неоднократно придётся обращаться). Поэтому психика оказалась патологически перегружена «безразмерными», размытыми, расфокусированными гештальтами, далёкими от релевантности стандартно-инстинктивным программам

природного психизма, но зато максимально приближенных к прямому (т. е. минимально опосредованному) погружению в трансцендентные глубины имплицативного (запредельного) мира. То, что именно расплывчато-кучные рецептивные комплексы раскрывают психику для образов и сигналов имплицативного мира, достаточно очевидно: здесь отсутствует дискретизация целого и интенциональная фокусировка его элементов – психическая предпосылка формирования опосредующего кордона рефлектирующей самости, порождающее, в конечном счёте, субъективное Я. Вот почему активизация правополушарной когнитивности – это не толкло архаизация психики, направленная в сторону докультурных природных режимов, но и коридор, ведущий в глубины бессознательного.

Такое состояние было крайне болезненным и опасным. Не говоря уже о том, что запредельный мир «не любит» никого слишком глубоко в себя впускать. Единственным выходом, если говорить о потенциале психофизиологических изменений, было *компенсаторное наращивание левополушарных когнитивных функций*. Функции эти: фокусировка, дискретизация, локализация в пространственно-временных координатах, и фрагментирование исходных кучных и рыхлых единиц (гештальтов) правополушарной перцепции, комбинаторика и компоновка их элементов, стали, по мере бурного роста левой гемисферы, проявляться задолго до развития речи, надситауативной активности, сознательного оперирования артефактами и т.д. В результате «на выходе», в итоговых психических актах, которые ещё только начали преобразовываться в акты мышления, стереометрия когерентной доминанты правополушарной рецепции и когнитивности стала медленно, но неуклонно разбавляться «уплощённой» темпоральной каузальностью с их иерархическими и субординационными связями.

Сказанное важно и в контексте антипротиденциалистской аргументации эволюционного процесса. Левое полушарие развивалось не для того, чтобы через пару миллионов лет, люди смогли пользоваться развитой речью и письмом со всеми вытекающими из этого

прогрессивными последствиями. Изначально это развитие лишь компенсировало патологически (вследствие эволюционной болезни) возросшие возможности правополушарной перцептивности, с её вырвавшимися за отведённые природой рамки, почти безразмерными и диффузно размытыми гештальтами. Здесь уместно напомнить о двух важных для эволюционного процесса, обстоятельствах. Первое: пример проявления закона самоограничения (см. гл. 1). И второе: *дрейф функциональной доминанты*. Под эти терминам впредь будем понимать процесс, в силу которого, всякое существенное явление, структура или институт (если речь идёт об обществе) со временем имеет свойство менять свою основную функцию или их набор, при том, что прежние функции либо отмирают, либо присутствуют латентно, работая в фоновом (для ментальности человека – в бессознательном) режиме.

Подытожим. МФА – есть частное проявление универсального космологического принципа морфологической симметрии²⁹ и функциональной асимметрии, выступающего эволюционным законом и двигателем межсистемных переходов.

МФА в том виде, в каком она сформировалась у человека, определяет органический и неустрашимый дуализм самой человеческой сущности во всём многообразии её проявлений и, соответственно, столь же органический и фундаментальный дуализм культуры, как принципа надприродной системной самоорганизации. Таким образом, принцип дуализма, имеющий стержневое значение

²⁹ О морфологической симметрии здесь можно говорить, разумеется, лишь в самом общем виде: в строении коры левого и правого мозга найдены цитоархитектонические отличия. Так, у правой височно-теменная область, включающая и речевую зону, в левом полушарии оказывается в семь раз (в затылочной – в четыре раза) больше, чем в правом. Истоки этих различий восходят по меньшей мере к неандертальцам. Galaburda A. M., Le May L., Remper T.L., Geschwind N. Right – left asymmetries in the brain // Science, 1978. Vol. 199. № 4331. P. 852-856. Кроме того, правая лобная доля в девять раз больше левой

для смыслогенетической парадигмы, уже не может быть представлен как условная методологическая или эпистемологическая выдумка, а обретает объективные, выводимые за рамки спекулятивного философствования основания.

Отношения межполушарного доминирования помимо локальных уровней, где действует закон «переменного доминирования», выступают фактором, во многом определяющим макропроцессы исторического становления человеческой когнитивности – эволюции самой человеческой субъектности и, соответственно, культурно-цивилизационных конфигураций. Так, совершенно очевидно, что переход к логоцентризму, тесно связанный с феноменом Осевого времени (в наших терминах – Дуалистической революцией), отразил утверждение господства левополушарного типа когнитивности, тогда как современный закат логоцентризма знаменует набирающий силу «правополушарный реванш».

Прибавление

Поскольку правое полушарие заведует целостным симультанным восприятием и, соответственно, является носителем интуиции, то именно оно и обеспечивает психике устойчивый контакт с имплицитивным миром когерентных со-осуществлений. Ведь интуиция есть не что иное, как прямое считывание некоего предсуществующего в когерентном/имплицитивном мире события, минуя линейно-дискретные и сукцессивно-каузальные когнитивные процедуры.

Напомню, что мир свёрнутого (имплицитивного) порядка, соотносимый в нашем дискурсе с когерентной модальностью существования, в культурном сознании определяется как мир *трансцендентный, запредельный* и т.п. У животных погружение в когерентный мир происходило совершенно органично и спонтанно. Более того, животная психика вообще постоянно пребывает в нём, так сказать, в фоновом режиме. У предков человека, в силу пробуждения атипичной для животных формы проявления

левополушарной активности,³⁰ эти «вхождения» стали давать сбои и рассогласовываться. Чрезвычайно показательно, что по данным нейрофизиологии (опыты Э. Ньюберга), именно верхняя задняя часть теменной доли в левом полушарии оказалась ответственной за выстраивание рефлектирующего кордона между внутренним миром переживающего я и миром внешним. Развитие этой психической перегородки в левом полушарии и стало причиной «выключения» психики гоминид от всеобщности природных психических «флюидов» и, в конечном, счёте, их выпадения из природного универсума и психического замыкания на себя, со всеми вытекающими из этого последствиями. (Собственно, совокупность этих последствий и стала причиной возникновения культуры). Впрочем, замыкание было предопределено и самим столкновением право- и левополушарных когнитивных паттернов. И уже по другую сторону смыслогенеза, на территории культуры, раннее сознание вынуждено было ошупью искать обратный путь в мир текучих и диффузных когерентных соответствий. И чем более усиливались левополушарные когнитивные техники, тем хуже это получалось. Потому и стала вырождаться самая древняя и самая эффективная «животная» магия³¹ нижнего и среднего палеолита: испорченное, разбалансированное сознание, утрачивая способность вчувствования во внутреннюю когеренцию между вещами, цепляется за их внешнее, ассоциативное сходство. (См. гл. 3.) И хотя чувство действительного родства субстанций угасало медленно (в этом отношении и современный первобытный человек даст сто очков вперёд человеку культуры Модерна), но связь по существу всё же неуклонно заменилась связью по форме, т.е. по аналогии, ошибочно принимаемой за тождество. И на территории культурного сознания, в отличие от животной

³⁰ Именно в левом полушарии на протяжении периода формирования неокортекса происходило большее число мутаций.

³¹ Выражение «животная магия» может показаться парадоксальным. Здесь имеется в виду древнейшая магия, не прибегающая ни к каким культурным инструментам и опосредованиям.

психики, расплывчатость, нечёткость границ правополушарных паттернов всё более стала продуцировать не спонтанный дрейф в континуум всеобщей когерентности, а пучки ассоциаций и коннотивные поля. Очевидно, уже эректусы искали обратный путь погружения в когерентность посредством установления вторичных симпатических связей между внешне (или, всё-таки внутренне?) родственными субстанциями с их пересекающимися смысловыми полями. Так, охра начинает выступать магическим коррелятом крови, каменные рубила – магической имитацией отсутствующих у человека функциональных органов животных: когтей, клыков и т.п.

Импульс к трансцендированию – этот *perpetuum mobile* культурных механизмов смыслообразования, неизбывная экзистенциальная потребность человека, коренным образом отличающая его от животного, – тоже результат гемисферной дихотомии – столкновения и соперничества право- и левополушарных паттернов. И хотя феномен трансцендирования со всей его культурной семантикой, включая и «автоматическую» регенерацию имманентизируемых метафизических идеалов, не сводится, конечно же, к прямым проекциям эволюционного психического травматизма, но, тем не менее, несёт его в своей основе.

2.4. Диалектика морфофизиологической культурной эволюции

Чтобы обосновать вывод о том, что ранний культурогенез был ответом не столько на вызовы среды, сколько на вызовы болезни антропогенеза, неизбежной при вертикальном эволюционном выталкивании из биосистемы, зададимся вопросом: можно ли сказать, что в области вертикального межсистемного перехода антропогенеза нисходящая линия морфофизиологической эволюции и восходящая линия раннего культурогенеза существуют независимо друг от друга, наподобие того, как биология и история культуры разводятся по разным научным департаментам? никоим образом. Ранний культурогенез протекает не в отрыве от морфофизиологической и

психической эволюции, не где-то рядом с ней или на её фоне. Генезис культуры оказывается не «сопутствующим явлением», или побочным следствием антропогенеза, а его внутренним фактором, придающим *межсистемной переходности* диалектические черты.

Речь идёт не о плавном сопряжении или «вытекании» культурной эволюции из природной, по принципу эстафеты, а о *бисистемной диалектике* взаимодействия нисходящей (биологической) и восходящей (культурной) линий развития. Это значит, что, говоря о ранних формах культуры, мы не вправе отрывать их от содержания и динамики морфофизиологических изменений и, трактуя культуру как нечто изначально самопричинное и самодовлеющее, рассматривать её просто как некий новый способ решения биологических задач, которые по каким-то не вполне понятным причинам, вдруг перестали решаться прежним биологическим образом.

Картина антропологической эволюции во многом ещё неясна³² но в любом случае она давно ушла от наивной схемы «выстраивания в затылок»: фамногенетическая модель наглядно показывает длительное сосуществование стадияльно разных видов с присущими им археологическими культурами. Однако, не упуская из вида всей сложности картины этого сосуществования, представляется возможным проследить внутреннюю диалектику сколь угодно размытой, но «генеральной» линии.

Опережающее развитие мозга в условиях пониженной мутагенности и замедления эволюционных реакций «подтягивало» за собой комплекс морфофизиологических изменений, что и составляло ключевую «интригу» нисходящей (биологической)

³² Например, период между 1 200 000 тыс. и 900 000 тыс. лет назад ввиду скудности находок представляет собой своего рода провал – «тёмные века» антропогенеза. Впрочем, немалые проблемы несут в себе и другие эпохи. К тому же большой совестью антропологии остаются так называемые «аномальные находки». Многие из них при всём желании не удаётся объявить фальшивками, и потому обсуждать их в академической науке считается неприличным.

эволюционной линии. Приблизительно до среднеступенчатой эпохи господство этой нисходящей линии заключалось в том, что прото- и раннекультурные практики не оказывали никакого (или почти никакого) встречного воздействия на ход морфофизиологических изменений. Изначально культура представляет собой точечные очаги поражения, деформации природных функций и регулятивов, а её ранние феномены – не более чем полуспонтанные реакции на проявления эволюционных аномалий антропогенеза. Реакции эти содержательно абстрактны, предельно синкретичны и однотипны. (Вот чем, в частности, объясняется чрезвычайно близкое сходство номенклатур каменных артефактов нижнего палеолита, существенно разнесённых во времени и территориально и даже имеющих своими носителями разные биологические виды). Это свидетельствует о том, комплекс видовых морфофизиологических изменений, протекая в имманентном процессуально-темпоральном режиме, автоматически не вызывал прямых и синхронных изменений в культурных практиках. Последние были на этом этапе лишь общими и типичными для разных биологических видов реакциями на проявления эволюционной болезни.

Будучи изначально не более чем побочным эффектом бурного роста неокортекса, протокультурные практики выступали в роли стихийной корректирующей самонастройки витальных (прежде всего психических) процессов, разладившихся вследствие патогенности антропогенетического процесса и возникающих при этом дисфункций. Не имея изначально собственной эволюционной интриги, эти практики оказывались в своих темпорально-процессуальных режимах всецело (или близко к тому) подчинены направленности и динамике морфофизиологических изменений. Потому-то между эволюцией артефактов (главным образом, орудийных индустрий) и видовой эволюцией их носителей не наблюдается согласованности: и в нижнем, и в среднем палеолите носителями подчас до идентичности близких каменных индустрий выступают, как уже говорилось, разные виды. Причём, эволюция культурная на этом этапе

ещё отстаёт по темпам от эволюции биологической: носителями ашельской каменной индустрии могли быть как архантропы, так и, казалось бы, более «продвинутые» ранние палеоантропы.

Иными словами, в нижнем палеолите очаги протокультуры носят по отношению к «мейнстриму» видовой эволюции подчинённый и периферийный характер, а функция их связана, прежде всего, с компенсаторностью, т.е. поиском психической и, соответственно, поведенческой коррекции. В связи с подчинённым положением культурной эволюции по отношению к морфофизиологической темпы культурной динамики отстают от скорости видовой эволюционирования. Хотя вопрос о носителе первых артефактов олдувая до конца не прояснён, есть всё же основания считать, что этот носитель сформировался как вид прежде, чем стал изготавливать первые галечные артефакты. Дальше ситуация более ясна. Древнейшие останки эректусов датируются 1,9-1,8 млн. лет назад, а типичная для них каменная индустрия – ашельская – появляется не ранее 1,6 млн. лет назад. (Иногда датировку сдвигают до 1,7 млн. лет, но это по сути дела не меняет).³³ Такое отставание наблюдается и позднее: неандертальцы появились раньше, чем «закреплённая за ними» мустьерская культура. Но, что особенно важно: временная дистанция неуклонно сокращается. Культурная эволюция медленно, но верно высвобождается из сковывающей оболочки эволюции видовой и разворачивает свои имманентные, т.е. уже собственно культурные противоречия. Но пока оболочка видовой эволюции остаётся скрепляющим и сдерживающим контуром – имманентные противоречия культуры как саморазвивающегося образования, не могут вырваться на «оперативный простор». И потому темпы раннего культурогенеза остаются низкими, а сама форма существования культуры – точечно-синкретической.

³³ Нарочно привожу наиболее раннюю датировку, дабы показать, что указанное запаздывание «технологии по отношению к антропологии» наблюдается и в этом случае. Усреднённая датировка начала ашеля – 1,4-1,3 млн. лет.

Видовая эволюция опережала культурную и у ранних сапиенсов. Человек современного физического типа появился ещё ок. 195 тыс. лет назад³⁴, но как носители нового культурного качества сапиенсы проявили себя значительно (по меркам ускоряющихся процессов) позже. По-видимому, лишь к 70 тыс. лет назад – эпохе во многих отношениях примечательной³⁵, палеокультура, обретая имманентную эволюционную динамику, т.е. достаточный потенциал внутренних противоречий, стала ориентировать растущий мозг на направленное смыслообразование и обеспечение соответствующих когнитивных процессов и практик.

Эпоха ок. 70 тыс. лет назад стала одним из тех подспудных и почти не проявленных переломов, которые предопределяют последующие культурные революции. В данном случае – культурный взрыв ориньяка. Впрочем, устремлённость к ориньяку по прохождении точки перелома, кое-где всё же себя обнаруживает. Так, обнаруженная К. Хиншелвудом в Южной Африке пещера Болмбос, где впервые за пределами Европы обнаружены принадлежащие сапиенсам настенные росписи, датируется ок. 77 тыс. лет назад.

Прохождение точки перелома (ок. 70-60 тыс. лет назад) стало событием роковым для неандертальцев и триумфальным для сапиенов.

Если временной отрезок между *Homo heidelbergensis* и *Homo neanderthalensis*, можно считать своего рода «золотым веком» первобытности: точкой относительного равновесия нисходящей (морфофизиологической) и восходящей (культурной) эволюционных линий, то появление мустьерского подвида человека разумного³⁶

³⁴ Так, методом генетической реконструкции установлен возраст двух, найденных Р. Лики ещё в 1967 г. двух черепов ранних сапиенсов – ок. 200 тыс. лет.

³⁵ По данным генной эволюции (С. Оппенгеймер) Около 80 тыс. лет назад *Homo sapiens* вышел из Африки и около 70-60 тысяч лет назад расселился по миру.

³⁶ Ранними представителями современного подвида гоминид *Homo sapiens sapiens* принято считать потомков гипотетической

ознаменовало выход на «финишную прямую» завершения видовой эволюции. Шлейф морфофизиологических изменений с тех пор захватывает лишь подвидовой уровень.³⁷ Т.е. с этого периода доразвитие морфофизиологических черт человека не оказывает более существенного влияния на эволюцию культуры. Последняя детерминируется теперь факторами эволюции психической: переходного звена между морфофизиологией и ментальностью. Так, досубъектная диалектика морфологической симметрии и функциональной асимметрии на уровне природных форм обнаруживает себя в нейронных структурах мозга и вторичным образом кодируется в психических паттернах МФА. При этом, снимая в себе весь опыт предшествующей эволюции, она встраивается в организацию мозга, продуцирующего уже в виде ментальных практик смысловые ряды, организованные

протопопуляции «Евы», появившейся, по молекулярно-генетическим данным в диапазоне 166-249 тыс. лет назад в Африке. Молекулярные данные об «Адаме» более скудны и вследствие сложности исследования Y-хромосомы менее точны. Время его появления колеблется между 190 и 270 тыс. лет. См.: *Heйфaх A.A.* «Адам» и «Ева» // Знание – сила. 1997. № 7. А также, *Irish, Joel D.* Ancestral dental traits in resent Sub-Saharan Africans and the origins of modern humans // *Journal of Human Evolution*, V. 34 №1, January, 1998.

³⁷ Так, расообразование, по мнению большинства авторов – это подвидовой уровень эволюции *homo sapiens sapiens* и, добавим, полностью укладывающийся в горизонтальное направление адаптационного доразвития. Впрочем, расообразование одной лишь адаптацией не объясняется (а, быть может, и вовсе не объясняется): его причины нередко усматривают в «растаскивании» разных частей генофонда ранних популяций сапиенсов в процессе их миграции из Африки. Т.е. расообразование – это результат так называемых малых выборов. (Концепции, возводящие начала расообразование к эпохе эрктусов менее убедительны). При этом, говоря о «завершающих штрихах» эволюции наших непосредственных предков, нельзя приуменьшать, и, тем более, вовсе упускать из виду эволюционную дистанцию между ранними сапиенсами с их, как уверяют археологи, современным физическим типом, и *Homo sapiens sapiens*.

по принципу двухполюсной системы субъективно переживаемых и ценностно окрашенных оппозиций.

Таким образом, с указанного периода можно говорить об относительном выравнивании темпов биологической и культурной эволюции, а затем – о начале выраженного и нарастающего встречного воздействия культурных факторов на затухающую и всё более корректируемую последними эволюцию видовую, несколько позднее – и подвидовую. Вырвавшись из «упаковки» биопроцессов, но продолжая, тем не менее, в значительной степени от них зависеть, динамика культурного развития выходит постепенно на доминирующие позиции, и встречное влияние её на ход морфофизиологических изменений преобразуется в общеэволюционную магистраль. При этом ускорение темпов культурной эволюции, начиная примерно с позднемустьерской эпохи, оказывается причиной нарастающего диалектического напряжения между восходящей и нисходящей линиями межсистемного перехода.

Пройдя в среднемустьерскую эпоху своеобразную точку равновесия, процесс переламеняется: теперь биологическое развитие корректируется и направляется имманентной логикой культурогенеза, и запаздывание морфофизиологических изменений по отношению к культурной эволюции, т.е. ситуация, обратная той, что наблюдалась в нижнем палеолите, оказывается причиной исчерпания потенциала жизнеспособности видов. Впечатляющим проявлением корректировки инерционных биоэволюционных процессов под задачи становящейся культуры может служить переориентация количественного увеличения мозгового вещества у неандертальцев на его структурную «переупаковку» у кроманьонцев, возымевшей хорошо известные эволюционные последствия.

Отметим, что ускорение темпов культурной эволюции не может быть обусловлено какой-либо одной или даже главной причиной, каковой обычно считают прогрессию информационных взаимодействий. Эта причина, если и оказывалась главной, то не в раннем культурогенезе, когда живущие рядом популяции могли на протяжении

долгих тысячелетий не иметь между собой никаких контактов. Ускорение культурной эволюции задаётся имманентно нарастающей динамикой всего комплекса внутрикультурных противоречий, основанной на присущей становящемуся культурному сознанию бинарной поляризации смыслов. А динамизация информационных взаимодействий, тесно связанная в раннем культурогенезе с демографическими и миграционными процессами, это не более чем один из внешних планов выражения этого комплекса и его последствий.

Означенная точка перелома тенденций фиксирует момент, с которого можно наблюдать обратное (встречное) влияние раннекультурных практик на генотип. И влияние это, лавинообразно нарастая, привело, в конечном итоге к верхнепалеолитической революции.

Вопрос о возможности кодирования культурного опыта в генах стал, в некотором смысле, камнем преткновения. Одни авторы говорят о таком кодировании как о само собой разумеющемся факте, другие с той же уверенностью указывают на его недоказанность. Дело, как всегда в таких случаях, в парадигматике и методологии. Чтобы не уходить в сторону, оставим пока этот вопрос в стороне.

Если же рассмотреть весь период диалектического взаимодействия морфофизиологической и культурной эволюции как целое, то в нём можно выделить две точки (точнее, эпохи), соответствующие пикам эволюционной болезни. Первая связана с миром хабилисов и их родственников на кусте эволюции: кениантропов, которым, как уже говорилось, возможно, и принадлежит честь совершения первой технологической революции³⁸, и *Номо*

³⁸ Древнейшие «орудия» (из дальнейших рассуждений станет понятно, почему я беру это слово в кавычки) относятся к 2,63-2,58 млн. а 2,3 млн. лет назад. *Kenyanthropus rudolfensis* уже создавал типичную для олдувая каменную индустрию. Иногда возраст первых артефактов удревяют до 3 млн. лет, и тогда возникает предположение, что они появились раньше, чем первые представители рода *Номо*. В этом случае, носителем первых артефактов гипотетически выступает австралопитек *гархи* (*A.*

ergaster. Именно в этот период масштаб морфофизиологических изменений достиг такого уровня, когда самонастройка и корректировка жизненных процессов в рамках одного лишь видового кода оказалась недостаточной или вовсе невозможной. С подобной проблемой в той или иной мере сталкивались ещё приматы, а затем австралопитеки. Но в наибольшей степени пострадал от комплексных последствий неотенических изменений и выпадения из «нормального» русла горизонтального эволюционирования именно хабилис (2,6-3,5 млн. лет назад). Это странное существо. Парадоксальным образом сочетающее в себе «прогрессивные» и «регрессивные» черты, ярко иллюстрирует противоборство вертикальных и горизонтальных направлений ГЭВ. Имея вес мозга в 500-650 гр, что существенно больше, чем у типичных австралопитеков, хабилис, соответственно, производил на свет более «головастых» детёнышей. Это, в русле развития неотенического комплекса, усиливало половой диморфизм: самки имели более широкие бёдра, чем самцы. При этом, у хабилиса прослеживаются признаки начала «переупаковки» мозгового вещества: «атавистическая» затылочная часть уменьшается в пользу «человеческих» долей мозга – лобной, теменной и височной. Продолжается, начатая ещё у ардипитеков, редукция клыков и утончение слоя зубной эмали. Отмечается расширение ногтевых фаланг, что указывает на развитие пальцевых подушечек и, соответственно, кинестетического аппарата. Однако, наряду с этими и некоторыми другими признаками вертикальной эволюции, у хабилиса присутствуют и признаки горизонтального эволюционирования. Так в его анатомии (в частности, в строении кисти), наряду с более совершенной формой бипедализма, прослеживаются черты приспособления к лазанию по деревьям. И это притом, что первый палец стопы хабилиса не был отведён в сторону, а так же, как у современного человека, располагался вместе с

garhi). Этот вопрос, однако, более существенен для физической антропологии, нежели для культурной. Вполне вероятно, что создателями первых каменных артефактов были сразу несколько видов.

другими пальцами, что указывает на то, что нога его была полностью приспособлена только к двуногому передвижению. Несмотря на расширение по сравнению с австралопитеками черепа в подглазничной и теменно-затылочной части, лицо (?) хабилиса с надглазничными валиками, плоским носом и выступающими вперёд челюстями, ещё очень архаично, а мозг, несмотря на намечающееся поле Брока, имеет округлый эндокран и не имеет точек роста. Таким образом, *Homo habilis* – главный герой протокультурной эпохи – наиболее впечатляющее воплощение кричащих противоречий разнонаправленности ГЭВ и потому, главная жертва эволюционной болезни.

Такое эволюционное «приключение», несомненно, привело бы к вымиранию³⁹, не только отдельных видов, как это собственно и происходило, но и всех гоминид вообще, если бы не ряд их морфологических особенностей. Особенности эти, не будучи эволюционно прогрессивными на более раннем этапе, именно теперь обнаружили свою востребованность. И главное, «на пике болезни» прогрессирующая в контексте бурного роста неокортекса межполушарная асимметрия мозга позволила использовать все эти морфофизиологические особенности, переориентировав их если еще не на собственно культурный, то, по крайней мере, уже не совсем природный путь развития

Второй пик болезни – позднемустьерская эпоха с её главным героем – неандертальцем. Именно ему выпало пасть жертвой завершения системного перехода, когда раннекультурные практики вырвались из оболочки морфофизиологической эволюции и стали подчинять себе последнюю. Т.е. разрозненные протокультурные программы стали динамично складываться в единую взаимосвязанную систему. Полностью завершить этот процесс, оставаясь в

³⁹ По подсчётам антропологов, среди костей хабилисов 73 % принадлежат особям, не достигшим зрелого возраста. Для сравнения, у австралопитека африканского этот процент не превышает 35, у жившего несколько позднее австралопитека массивного – уже 60,5 %. Динамика болезни налицо. И причины её отнюдь не в одном лишь давлении среды.

границах своего биологического вида, неандерталец, вероятно не смог: видимо, остановка ставшего непродуктивным простого наращивания массы мозга и его более плотное и экономное переструктурирование обозначило предельные эволюционные границы. Неандерталец должен был уйти, и вытеснение его кроманьонцем совершенно закономерно. Взрыв манипулятивной активности неандертальца – ответ психики на вызов второго пика антропологической болезни. Усложнение психики опережает её интеграцию (сбалансированность и согласованность режимов). Отсюда невротичность, повышенная флуктуационность и мутагенность манипуляционных процессов. И как результат – взрывное расширение артефактуального арсенала. Драма неандертальца, таким образом, заключалась в критическом опережении культурной эволюционной линии, с присущими ей вызовами и противоречиями, линии морфофизиологической, уже почти полностью свёрнутой до процессов оформления нейрофизиологической и функциональной системы мозга.

Факт указанного опережения подтверждается признанием того, что некоторые из наиболее ранних верхнепалеолитических культур, например, шательперронская (38-33 тыс. лет назад), были созданы неандертальцами. (Напомню, что до сравнительно недавнего времени, их участие в верхнепалеолитической революции не признавалось). Иногда «оправдание неандертальцев», у которых, как выяснилось, и с лобными долями было всё в порядке⁴⁰, что, впрочем, нельзя считать окончательно доказанным, доходит и до постановки проблемы об «авторстве» ориньяка. Будь этот вопрос решён в пользу неандертальцев, и вышеприведённая модель диалектической динамики культурной и морфофизиологической эволюции

⁴⁰ Мнения специалистов на этот счёт расходятся. Обобщая широкий археолого-аналитический материал, можно всё же прийти к выводу о том, что, по крайней мере, классический неандерталец в той или иной степени, уступал кроманьонцу по развитию лобных долей и связанных с ними психических функций.

получила бы дополнительный аргумент, каковых, впрочем, и так достаточно.

Осталось добавить, что, говоря о раннем культурогенезе, я сознательно избегаю апелляций и привязок к так называемой «трудовой» теории. Забегая вперёд, хочу сразу признаться, что я решительно отвергаю всякого рода трудовые теории, основанные на грубой модернизации позитивистских мифов XIX в. и вызванной ими устойчивой психологической инерции. Утверждаю, пока чисто постулативно, что изготовление первых артефактов, будучи по своей когнитивной основе, по меньшей мере, полубессознательным, а по своим функциям – в высшей степени синкретичным, лишь в минимальной степени служило утилитарным и прикладным целям. Не труд и не производство были главными побудительными мотивами создания первого поколения вещей, а также прото-языковых морфем и иных артефактов, связанных единой в единый синкретический комплекс в раннем культурогенезе. Однако подробнее к этой теме обратимся позднее.

Итак, подытожим. Характер переходности в эпоху антропогенеза и раннего культурогенеза определяется двойной диалектикой бисистемных процессов: с одной стороны, противоречивым взаимодействием эволюционных режимов биологической и протокультурной сфер и, с другой – имманентными противоречиями, развивающимися по мере становления и эмансипации самой культурной сферы как таковой. При этом доминанта в определении итоговой равнодействующей этой двойной диалектики смещается от первого ко второму и завершается с переходом биологической эволюции в фоновый режим инерционного доразвития. Тогда темпорально-ритмический отрыв культурной эволюции от биологической достигает такого масштаба, что последняя перестает оказывать на первую какое-либо заметное воздействие, как не оказывают, к примеру, прямого влияния процессы образования галактик на ход видообразования в биосистеме Земли. В верхнем палеолите происходит завершение видовой эволюции человека. Дальнейшие морфофизиологические изменения,

спускаясь на подвидовой уровень (расообразование), переходят в фазу инерционного доразвития, тогда как остриё эволюционного вектора смещается в более узкую область психофизиологии, а затем в ещё более узкую сферу ментальности и протекает теперь в пространстве типологий ментальных конституций и соответствующих им социокультурных практик и конфигураций. Культура освобождается от сдерживающих детерминант видовой эволюции, что вызывает небывалый культурный взрыв верхнего палеолита. Так культура из антисистемы – вертикально-эволюционной оппозиции биосистеме – превращается в систему и вступает в фазу имманентного развития, в режиме всё более ослабевающей зависимости от материнской системы – природы. (Впрочем, в полном смысле системного уровня культура достигает не ранее конца неолитической эпохи. До этого времени она лишь *система-в себе*, но уже система!)

Означенная бисистемная переходность определяет и временную длительность раннего культуригенеза, и его периодизацию, и его кризис и завершение, и эволюционные итоги – становление мифоритуальной системы и начало человеческой истории. Уже не естественные законы, включая и закон естественного отбора в его «чистых» природных формах, играют здесь главную роль (хотя, разумеется, ещё и не отмирают полностью)⁴¹, а становящаяся культура движет, организует и корректирует

⁴¹ Согласно некоторым концепциям, процесс становления индивидуального самосознания, относимый к эпохе ранней государственности, сопровождался перестройкой работы головного мозга. См. напр. *Дж. Джейнс*. Реферат книги в сб.: *Цивилизация и общественное развитие человека*. М., 1989. С. 146-159. При явном радикализме такого рода концепций, их всё же нельзя игнорировать и упускать из внимания процесс «латентных» физиологических и психофизиологических изменений, сопровождающих ход истории. А связь этих изменений с историческими фазами структурирования ментальной сферы – отдельный и никем, по сути, не изученный вопрос.

финал биологической эволюции. Так больное животное
начинает выздоравливать.



Эстер Пастернак

В немыслимо высоком бытии

А. Бродскому
*«Хвалу и клевету
 приемли равнодушно...»*
 А.С. Пушкин



ез тайного восхищения гляжу я в лицо другу. Насколько явна любовь моя, настолько явно признание. Стихи его я любила невымысленной и долгой любовью. Любила в нем все то, чем одарил Б-г.

Помню его страстную отвлеченность от всего, что **не поэзия**, от всего, что не Пушкин.

Я пришла в один из совершенных осенних вечеров, откровенно немея, не смея выдумать ни тени предстоящего счастья, ни возгласа, ни запятой от будущих воспоминаний.

Музыкальный слух предпочтителен – мать преподаватель сольфеджио в консерватории. В танце – движение оторванности от – чего-то? Кого-то?

Музыка сама и есть слух – на слух. Он же зрительно музыкален. Так музыкально ночное созвездие, заполнившее собой небосвод! Так всегда зрительно музыкальна осень.

*Рояль голубые ребра
 Выпячивает и прячет,
 Когда ты на них пальцы
 Свои сумасшедшие тратишь,*

*Когда ты играешь в море
 С телом близкого берега,
 И словно сквозь слезы, кони*

*От лунного света белые...
Пусть пианист пальцы ломает,
И пусть лодка
На горизонте тает,
Как звук голубой, плотный...*

*Но только ведь это эхо
Знакомую учит арию
В тихом своем аквариуме
Из скорлупы ореха.*

Руки его образны. Длинные, нервные пальцы обыгрывают белизну листа до красноты в глазах. Преданным материалом может стать и куст сирени, и шиповник, надувший щеки, и звездное кольцо. Хлебом мастерства – совершенство. Ибо только, и вовеки, творчество – божественный акт.

За его спиной – Иерусалим, в его профиле – сотни и тысячи молящихся у Храмовой стены!

Снег клубится, отрывается развернутым, санным, белой шерсти, шарфом. Поленья в изразцовой печи, головешки постукивают уютно, полязгивают, поскрипывают огненными голенищами, осыпаются ягодами оголенных искр. Крепкий чай с мороза особенно вкусен, перехватывает дыхание от невыразимого счастья и неподъемной боли, и кажется, что жизнь только начинается вот сейчас, здесь, вот так удивительно просто.

Такие встречи кончались (никогда не кончались) чудом прикосновений к душе, к слову, к началу начал.

В немыслимо высоком бытии свершалось преодоление, совершалось наитие. Работа бесспорно единственная и прекрасная. Как следствие: совершенная гармония в переводе, в написанных стихах, в читке вслух Пушкина.

Окно настезь открыто. Стрекочет пишущая машинка.

В глубине комнаты высокий письменный стол, а над ним и на стенах, – офорты Ф. Гойи, полки с книгами, пластинками, художественными альбомами.

Дом начинается прямо на улице. Улица утопает в зелени. Дерево, растущее напротив окна, иногда так расцветает, что не видно дороги.

Летний послеобеденный полумрак. Запах знойной пыли. Теплый воск тишины. Единственная лампочка, облизывая губы, мигает над столом. Собственное отражение в оконном стекле. Занавесь резко рванула вперед и бестолково прижалась к окну. Звонок в знакомую, до шербинки, дверь.

Обмороженные пальцы ветвей. Вкус ледяного яблока. Недавно серые, облачка, быстрыми ящерками юркнули за дверь лиловой тучи, закрывшей полнеба.

Зябкий воздух, крылом медленной птицы, загребает меня, как горячие каштаны, всей пятерней – всю в жару безумного восторга.

*Трава занесена снегами молодыми,
Истошным декабрем и беличьей пургой
Снежинками молвы, холодными и злыми,
И деревянной хрупкою корой.*

*Уйду под потолок воспоминаний, боли,
Когда затмит глаза дурман лесных невзгод,
Где надо мной листва двойная, будто кровля,
А островок вдали – зовущий древний плот!*

*Простая тишина, где кажется, до срока
Закончилась метель, и воздух занесен
Сюда на крыльях птиц, за золотым порогом
Оставивших полярный сон.*

Такси останавливается. Прыгаем прямо в сугроб. Колокольчик застужено теряет голос. Дверь распахивается и нас встречает... Лорка!

«Ну вот, как хорошо, как замечательно, что приехали!.. Я вам сейчас прочту...»

Всю ночь Лорка перемежался с Вальехо, всю ночь Вивальди восхищался Шопеном и музыка, собираясь в клубок разноцветных лент, исчезала в свободном пространстве рифмами вольного перевода.

Опилки тьмы, белая косоворотка утра, соломенные ресницы дня. Все возвращается на круги своя. Наша духовная жизнь – аноним, ведающий, что творит. Наша биография похожа на бабочку-однодневку, прикорнувшую на моем плече, пока мы выпиваем и закусываем под сентиментальное шипение иглы на пластинке, в который раз прощаясь перед отъездом в Израиль.

«Есть три эпохи у воспоминаний»...
А.А.

Прошло более десяти лет, когда в один из ноябрьских дней в телефонной трубке раздался глуховатый мужской голос: «Это говорит А.Б., помните еще такого?»

В Иерусалиме было прохладно и ветрено. В маленьком ресторанчике просидели за полночь, не замечая, как идет время. Говорили, пили вино, говорили... как когда-то...

В Израиле продолжалась твоя командировка. На море ездили в Кейсарию, где волны, ударяясь о скалы, отползали на песок обиженными щенками.

На острове «Шазэль» не кончались стихи, перемежаясь с музыкой, а музыка располагала к воспоминаниям. Зима была засушливой. По-летнему звонкие цикады падали на паутинное полотно засохших роз. Полная луна взвешивала легкое серебро ночи на весах голубой травы, листья которой отрывались в гербарий Уолта Уитмена. Приглушенные звуки Моцарта не мешали сну египетских цапель, а дразнящий запах кофе вынуждал утомленных сов обнажать желтый зрачок.

Прошло почти двадцать лет. В один из декабрьских дней в Иерусалиме я купила книгу. С темной обложки удивленно глядел на мир веснушчатый мальчик.

Повзрослев, этот мальчик, когда-то давным-давно, был моим другом.

Неисповедимы и хороши пути твои, Господи!

*В царстве моря и голубей
Прикорнули тени друзей,*

*Так кончается оттепель чувств –
Одиночеством наизусть.*



Генрих Нейгауз мл.

Интервью с Михаилом Лидским



Н: Прошло почти восемь лет со времени публикаций наших взаимных вопросов и ответов¹.

МЛ: Ух ты!..

ГН: Кажется, небольшой срок, а как много изменилось... Да и сами мы изменились. Уже нет дурацких подколов, юмора, только нам понятных взаимных шуточек. Я осознаю, что происходит со мной: я элементарно старею. А ты? Давит ли на тебя «груз прожитых лет»?

МЛ: А я, думаешь, молодею? Время, понимаешь ли, – вперед! И труды, и потери, и новости, и врачи... Как назло, чем дальше в лес, тем больше работы, и думаешь: сейчас бы только начинать... И локти кусаешь, и задний ум крепчает, да только время гонит лошадей. Возникает стойкая иллюзия, что гонит все скорее (автор этого стихотворения до моих лет не дожил – видимо, поэтому написал «и дремля едем до ночлега»). Хочется отдохнуть, привести себя в порядок – куда там... Мысли, понимаешь, всякие.

ГН: Твой весьма богатый репертуар сформировался, все-таки, уже в далеком прошлом. Насколько сейчас тебе труднее учить новые произведения? Или такой вопрос для тебя вообще не актуален?

МЛ: В сезоне 2009-2010 я играл четыре большие сольные программы (одна из них с оркестром). Из этих

¹ См: <http://berkovich-zametki.com/Nomer25/Neuhaus1.htm> и <http://berkovich-zametki.com/Nomer26/Lidsky1.htm>

программ две наполовину новые, т. е. получается как бы одна совсем новая программа (прошлым летом я играл вновь выученные вещи в концертах как одну программу). И концерт новый выучил – Моцарта KV 449.

Но в целом я, конечно, сейчас больше играю выученное прежде. Это началось с 32-х сонат Бетховена: я учил их мало-помалу двадцать лет, играл в концертах, а три года назад стал играть циклом. Сыграл этот цикл в разных городах шесть раз (можно сказать, что и семь, так как были еще разрозненные концерты, в сумме образующие полный цикл). И уже чувствую, что надо бы снова, хотя прошли только два года. Но не так просто организовать такую длинную серию концертов...

Кажется, началось «взрослое» концертное репертуарное освоение, то есть работа над репертуаром, первоначально освоенным ранее. В прошлые годы я учил две-три новые программы в сезон (время от времени включая в них ранее игранное, впрочем). А потом понял, что это уже становится верхоглядством: надо возвращаться к пройденному – так сказать, работать скорее интенсивно, нежели экстенсивно. Это, пожалуй, более высокий уровень задач. Но и большой репертуар мне необходим. Прежде всего, потому что каждое новое сочинение – ценнейший опыт (своего рода учебник), а еще потому, что я, так уж сложилось, регулярно выступаю с сольными концертами примерно в десяти городах, причем в иных последние годы у меня абонементы (несколько концертов в сезоне), – программы надо чаще обновлять.

Стало ли труднее учить новое? Пожалуй, да, хотя, к счастью, пока не сильно. В юности я легко читал с листа – сейчас, кажется, я этот навык подрастерял.

Но у меня еще столько работы над старым... Впрочем, и на новое зарюсь. Как все успеть?.. Бывает, слушаю что-нибудь – в записи, или хоть в консерватории у студентов – и думаю: это мне уже не сыграть, и то я уже не успею выучить... Причем иногда кажется, что нужно прерваться, «исчезнуть» хоть на время. Обстоятельства не позволяют. Сложно это все...

ГН: Расскажи немного о том, как у тебя происходит работа над новыми сочинениями. В

принципе, они должны быть на слуху. Как ты работаешь над ними с самого начала? Что делаешь в первую очередь: играешь (например) всю сонату-фантазию Шуберта от начала до конца, охватывая все целое, разбираешь ли по частям, просматриваешь только глазами, или сразу начинаешь учить трудные места вроде терцовых пассажей в финале? Как обстоит дело с аппликатурой?



Михаил Викторович Лидский

МЛ: G-dur'ную сонату Шуберта я учил лет шестнадцать назад, и как это происходило, я уже позабыл. Помню, что учил тогда две большие сонаты: эту и a-moll'ную op. 42 – играл такую программу. Это были первые шубертовские сонаты, которые я играл, и вообще – чуть ли не первая вполне самостоятельная работа.

Как правило, в начале работы над произведением я имею о нем слуховое представление, причем достаточно продуманное. Собственно, само начало работы над вещью – следствие некоего сформировавшегося у меня замысла. Другое дело, что в процессе изучения замысел часто меняется.

Обычно я начинаю играть целиком, стремясь «охватить». Потом играю медленно и певуче – целиком или

по разделам формы. Стараюсь, как учил Л.В. Николаев, «впеть» музыку в пальцы. Именно в процессе этого «впевания» устанавливается аппликатура, да и многое в музыке проясняется по-новому. Специально учу особо трудные места, конечно.

Собственно, певучесть звука есть для меня критерий качества работы пианиста. Певучий, способный к протяженности звук можно изменять по тембру, по штриху – почти безгранично. А если звук не тянется, то с ним мало что сделать можно, а главное, мне кажется, что такой звук и не мыслится по-настоящему... Следовательно, здесь и есть основная мера, первооснова пианистического профессионализма. Затем идет легато как умение «чисто» связать звуки. Потом все остальное...

Особое значение имеет для меня прояснение «временной картины»: пульсация – некое дирижерское восприятие. Через это «устаканивается» форма, соотношения частей, темпы... Сама структура тоже очень для меня важна. Более того, и технические трудности упрощаются, проясняясь. Попасть на одну ноту, как правило, нетрудно. Потом еще на одну. И т.д. Обычно сложный пассаж можно разложить на подгруппы, в которых содержится не более трех нот. Затем – синтез: стараюсь больше играть в концертном плане, причем не только одну вещь, но и всю программу. Так сказать, испытываю в условиях, приближенных к боевым. Потом снова медленно и непременно по нотам – «работа над ошибками». Потом опять в концертном плане – как правило, уже не получается, потому что новые данные меняют сложившуюся картину: требуется их анализ и соответствующая «адаптация». Наконец, опять «прогоняю» программу. И снова начинается «рабочий цикл». Так без конца...

ГН: А когда ты записывал Мясковского – ведь далеко не все сонаты были тебе ранее знакомы? Как ты работаешь с совершенно новыми для тебя текстами? С теми, которые не «на слуху»?

МЛ: Ой, не говори. Мне кажется, звукозапись вкуче со всей жизнью несколько меня развратили: все можно послушать и составить представление о вещи. С другой

стороны, иногда слуховое представление мешает, сбивает с толку... Записи сонат Мясковского (равно как и всех его оркестровых сочинений – это огромный массив) в исполнении других музыкантов ведь есть, но они, по правде сказать, оставляют желать лучшего: мне, во всяком случае, мало что удалось из них понять. Сам я работал над сонатами так же, как и над всем остальным, но... Переписывать надо, короче говоря.

Это такая... особенная музыка. Очень специфический стиль: вроде и много в нем знакомого, а самое главное, некая сердцевина – до того тонка и своеобразна, что переворачивает представление о знакомом, и вот уже понимаешь, что обознался: это вовсе не то, что казалось на первый взгляд. Много разных стилистических «масок», а эта самая сердцевина едина (в этом смысле, можно говорить о сходстве Мясковского и Стравинского, но именно в этом смысле). Большая Первая соната (близкая по языку и Глазунову, и Листу, и Скрябину, но весьма своеобразная по форме: начинается с фуги), знаменитая Вторая (пожалуй, наиболее листианская), затем Третья, которая, мне кажется, даст фору Бергу, огромная Четвертая с ее сугубо оригинальной сложной драматургией (какая там «проблема финала»!), помимо сложности фактуры, потом разнообразные пьесы второго военного времени (вершина зрелости композитора) – два новых квази-сонатных опуса, 57-й и 58-й, и изысканнейшие переделки двух юношеских сонат – и, наконец, чудесные поздние вещи, совсем в новой манере... Можно подумать, разные люди писали. Но нет: один огромный мастер и очень тонкий, глубокий человек. Поэтому так трудно найти к этой музыке подход, несмотря на внешнее сходство с той или иной знакомой «моделью».

Успеть бы мне сделать приличную запись. И еще надо бы написать к сонатам Мясковского исполнительский комментарий (наподобие гольденвейзеровского к сонатам Бетховена – при всех моих скромных возможностях). Ведь литературы на сей предмет почти нет, а работ такого рода, как замышляю я, нет совсем (я, по крайней мере, не нашел). Мясковский – это мой «долг».

Странное дело: у меня столько дел, «долгов» – думаю с ужасом, как «расплатиться», возможно ли...

А вот, кстати, прямо сейчас свалилась на меня срочная работа (ох, как не люблю этот жанр!): Шестая соната Фейнберга. О музыке Фейнберга я имею представление довольно смутное – обработки, авторская запись Второго концерта, несколько случайных исполнений в консерватории, ноты, книги... Приходится спешно наверстывать. Похоже, очень большой композитор, причем именно композитор в первую очередь. Сам Фейнберг, судя по сказанному на праздновании его 70-летия², имел о себе именно такое представление.

Видимо, в лице Фейнберга мы имеем дело с типом композитора-пианиста, ярчайшими представителями которого (если говорить об увековеченных аудиозаписью) являются Рахманинов и Бузони (пожалуй, еще Метнер, но он не систематически играл других авторов). Для такого артиста исполнительство есть как бы продолжение композиторства: чужую музыку играет, как свою, – не по злой воле, конечно, а потому, что «не может иначе». А сочиняет он словно на клавиатуре рояля: сознание такого композитора неотделимо от сознания пианиста. Признаюсь, что до сих пор, слушая многие фейнберговские записи, я, при всем восхищении их очевидными достоинствами, испытывал чувство некоторой неполноты, недосказанности – чего-то очень важного не понимал. А теперь, похоже, начинаю лучше понимать, причем не только Фейнберга-пианиста, но и Фейнберга как музыкального писателя.

Фортепианная фактура Фейнберга «удобна», пианистична (хотя и очень характерна специфическими приемами, представляющими особые трудности), а о фактуре Мясковского я так не сказал бы (там очень долго приспособливаться нужно).

О Фейнберге я вспомнил, потому что это тоже большая terra incognita (ряд записей, впрочем, существуют уже), которой надо бы заняться. А когда, когда?..

² См.: Бунин В., Самуил Евгеньевич Фейнберг. М.: Музыка, 1999. С. 115-116.

ГН: Какими редакциями ты обычно пользуешься? Или предпочитаешь Urtext?

МЛ: Предпочитаю Urtext, но и редакции больших музыкантов не игнорирую. Почему не узнать мнение, допустим, Шнабеля или Бюлова об исполнении сонаты Бетховена, или не прочесть, *что* пишут о ней Гольденвейзер, Эдвин Фишер или твой дед? С проф. Троппом мы проходили бетховенские сонаты (кажется, девять прошли) по редакции Шнабеля. При всех ее огромных достоинствах, она не лишена некоторого субъективизма. К примеру, Шнабель весьма вольно обходился с бетховенскими лигами, причем почти «не оставляя следов» (только предупредил в кратком предисловии), – просто менял их. У меня, кстати, была мысль: вот бы переиздать, скажем, шнабелевскую редакцию, критически выверив ее: ясно обозначив, где – автор и где – редакторские предложения (нечто похожее делал покойный Н.А. Копчевский с «Хаммерклавиром» и «Диабелли» в редакции Бюлова). Позже я пристрастился к Urtext’у, а еще стал внимательно читать Гольденвейзера – во многом антипода Шнабеля. Вот, собственно, основные источники, по которым я работаю над бетховенскими сонатами. Недавно прочел, что Оборин давал студентам редакции Шнабеля и Гольденвейзера «для критического освоения» (всегда радуюсь, находя авторитетное подтверждение своим находкам). В редакции Шнабеля очень ценны, помимо прочего, римские цифры, обозначающие границы построений (не только в Бетховене, но и в скрипичных сонатах Брамса, отредактированных Шнабелем совместно с Карлом Флешем). Насколько я мог заметить, этому вопросу редко уделяют должное внимание, – а мне он представляется очень важным.

А сколько ценнейших, плодотворнейших указаний делает великий Бузони в своих редакциях Баха и Листа! Ведь это все равно как получить урок – у такого-то мастера!

Urtext – понятие растяжимое... Вот, например, редакторы уртекстов Шумана из знаменитого издательства “Henle” среди первоисточников не считают издание Клары Шуман: только шумановский автограф, проверенная

автором копия и прижизненное издание. Формально они, может, и правы. Но ведь Клара Шуман проходила эту музыку с автором (издательское уведомление гласит, что ее редакции выполнены не только по рукописям, но и “nach persoенlicher ueberlieferung”³) – мало ли известно позднейших авторских изменений, не попавших в издания... А сколько бывает ошибок, описок, опечаток, не замеченных композитором при правке гранок, досок или что там у них было... Клара Шуман лучше всех знала музыку мужа и, всего вероятнее, больше всех ее любила: если она что-то (довольно многое) меняла в своей редакции, то уж наверное, что называется, не просто так (не говоря о том, что она сама была большим музыкантом). Она могла, как и всякий, ошибаться; она была человеком и музыкантом своего времени, но попросту сбрасывать ее со счетов едва ли разумно. Вследствие отсечения редакции Клары Шуман, картина, даваемая изданием “Henle”, представляется мне неполной.

А Шопен? Он, как известно, печатал свои сочинения минимум дважды – во Франции и в Германии, – и каждый раз держал корректуру: разночтений немало, хотя все они авторизованы. А потом карандашом вписывал в уже напечатанные ноты ученикам новые варианты. Затем его, по-современному говоря, ассистент Микули издал собрание сочинений Шопена с «новостями». Все это исходит от автора. И где Urtext?..

ГН: Для тебя существует такое понятие, как «художественный образ произведения»? Или сама музыка говорит больше любых слов (это моя точка зрения)? Если «да», – приведи конкретные примеры.

МЛ: Ну, еще твой дед, как известно, писал, что художественный образ – не что иное, как сама музыка. Образ музыкального произведения – это представление имярека о данной музыке. Чем оно полнее и глубже, тем, по-видимому, лучше для дела. Форма этого представления, видимо, может быть различной. Ассоциации, как мне кажется, – нечто скорее интимное. Думаю, они могут

³ На основе сведений, полученных лично от автора (нем.).

возникнуть у любого; другое дело, как к ним относиться. Иногда, как следует из общеизвестного опыта, ими можно расшевелить воображение не только самого музыканта, но и его ученика. Иной раз – слушателя (вспомним юдинские комментарии).

Что касается меня, то я не исключение, хотя замечаю, что иногда со временем эти самые образы в моем сознании меняются. В этом, в частности, вижу подтверждение сказанного далеко не одним тобою: музыка «говорит» больше любых слов, она шире, больше, глубже, тоньше наших представлений о ней. И ставить представление, ассоциативный образ «впереди» самой музыки – телегу впереди лошади – на мой взгляд, глубокая ошибка, приводящая к выхолащиванию музыки, ее деградации до уровня иллюстративного, «прикладного».

Вот, кстати, и Гилельс в интервью 1972 г., с которым меня ознакомила проф. Е.Н. Федорович, говорит об образе, но ничего о немусыкальных ассоциациях или идеях – только самое общее: например, что Моцарт был трагической фигурой и что в венской музыке немецкое соединяется со славянским⁴. В другом интервью (1980 г.)⁵ он говорит, что «живет в полете воображения», представляя себя рядом с композитором и его жизнью; но опять же – ничего о конкретной образности. А Ведерников в ответ на вопрос, в чем вкус творчества, сказал: «В музыкальных идеях»⁶. Да мы, помнится, обсуждали эту тему с тобой – сколько бишь лет назад...

ГН: Тем не менее, вспомни, сколько лет у моего деда присутствовал один и тот же образ в *es-moll*’ной прелюдии Баха: «кипарисы на итальянском кладбище». Об этом писали и Ведерников, и Крайнев, то есть пианисты совершенно разных поколений. Хотя мне, например, ясно, что это насквозь молитвенная музыка...

МЛ: Да, конечно. И не только это.

⁴ “Man muß ein Bild haben...” Emil Gilels im Gespräch von Ingo Harden. Fonoforum, Oktober 1972.

⁵ «Recorded Sound», No. 80, July 1981.

⁶ Анатолий Ведерников. Статьи, воспоминания. – М.: Композитор, 2002. – С. 69.

Кстати, и Гилельс, я вспомнил, говорил В.М. Воскобойникову о поэмке в первой части Второй сонаты Шостаковича и о трупах, падающих на улицах блокадного Ленинграда, – в Largo⁷. Всяко бывает. Наверняка многое зависит от конкретной музыки, ее стиля...

Сложно гадать о сознании твоего деда – могу лишь заметить, что большинство этих образов предназначались ученикам; другой вопрос, как он сам – как артист – к ним относился, как сам их трактовал и как они влияли на его игру. Но как бы ни влияли, а играл он – все знают как. Победителя не судят. Наверное, в его ассоциациях преобладало не собственно музыкальное, а скорее живописное, театральное, литературное: он вообще, видимо, чувствовал очень полно; очень чувственно воспринимал искусство, – насколько я могу себе представить, разумеется... А ученики, как известно, реагировали по-разному...

ГН: Сколько времени у тебя занимает выучивание произведения наизусть? Точнее: примерно сколько раз тебе надо его проиграть, чтобы текст вошел и в пальцы и в голову?

МЛ: Это зависит от произведения: его сложности, насколько оно на слуху и т.п. Мне обычно не удается «выучить текст», а потом над ним работать (именно такой метод, сколько я успел заметить, практикуется в учебных заведениях): не понятый, хотя бы в первом приближении, текст мне очень трудно запомнить. Процесс выучивания на память и собственно работа идут у меня параллельно, как правило. Даже и собственно техническая работа почти отсутствует: не выходит то, чему не найдено верное место. И если где-то что-то сбивается, то высок риск обрушения всей конструкции. Страшно сбиться с пульса, с дирижерского жеста...

ГН: Ты составляешь какой-нибудь конкретный план занятий перед тем, как подойти к инструменту?

⁷ Воскобойников Валерий. О самом любимом и дорогом. О самых любимых и дорогих // Нейгауз Г.Г. Доклады и выступления. Беседы. Открытые уроки. Воспоминания о Г.Г. Нейгаузе – М.: Дека-ВС. 2008. С. 380.

МЛ: Да. Поскольку времени всегда не хватает, приходится натиску стихии противопоставлять волю к порядку. Другое дело, что иногда план меняется под воздействием практического результата – не все можно предусмотреть...

ГН: Ты волнуешься на сцене? В чем это выражается? Бывал ли у тебя когда-нибудь тремор рук или боязнь забыть текст?

МЛ: Волнуюсь очень сильно. Не на сцене, а до выхода. На сцене уже не до того: важна максимальная собранность, устойчивость. Мне очень важно помногу играть программу – «обыгрывать», как говорится. Боязнь забыть всегда при мне – другое дело, что когда играешь соло, это не очень опасно: можно «залить», выпутаться мало-мальски незаметно... Иногда кажется, что стремление «разобраться» в композиции мешает (ср. притчу о сороконожке): с другой стороны, «неразжеванная» музыка плохо укладывается в памяти...

Вот, кстати, пример – недавно случившийся со мной трагикомический казус в 1-ой части Концерта Шумана, который знает если не каждая собака, то через одну. Как известно, для шумановского письма характерно «замазывание швов» – стремление максимально «размыть» грани между построениями (ярчайший пример – гениальное Adagio из C-dur'ной симфонии). В разработке 1-й части Концерта (эпизод Appassionato) есть нечто подобное, а еще и транспозиция в секвенции такая, что реплики на одних и тех же нотах в разных звеньях имеют разные продолжения. Вот я, интуитивно следуя за экспрессивной кантиленой, и «захлебнулся» – спутал. А финал того же Концерта?.. Многочисленные трансляционные записи свидетельствуют о «блужданиях» в нем самых больших знаменитостей. И именно в местах наподобие только что описанного.

Тремор рук у меня пока, к счастью, не бывало.

ГН: Как ты относишься к публике? Всегда ли у тебя с ней налаживается контакт? Бывают ли моменты, когда она тебе мешает?

МЛ: Какова публика ни есть, а играть надо...

В разных местах публика бывает различная. Ее так или иначе приучают к тому или иному типу музицирования... Иногда попадаешь в ложное положение: допустим, фестиваль, куда людей завлекают рекламой «тусовки», – сами по себе эти люди на концерты не ходят, музыкой не интересуются, не знают ее... Если при этом они элементарно не приучены прилично себя вести (не ходить по залу во время исполнения, не разговаривать и т.п.), то сосредоточиться бывает особенно трудно. Но если сосредоточиться удастся (обычно это пропорционально проработанности программы), то пресловутый контакт либо устанавливается сам собой, либо становится как-то ненужным: все на своем месте...

Вообще же я очень благодарен слушателям. Есть люди, которые ходят на мои концерты уже не один десяток лет, – тут просто нет слов...

ГН: Держишь ли ты в репертуаре («в пальцах») что-нибудь легкое, «попсовое», то, что любому понятно? Как вообще ты относишься к подобной популярной музыке (типа 7-го вальса)? Помнится, начинал ты чуть ли не с “Ludus tonalis”, сразу заявив о себе, как об исполнителе очень серьезной, недоступной для рядового слушателя музыки.

МЛ: Cis-moll'ный вальс не играл, но, скажем, предыдущий Des-dur'ный («Минутка») играл и даже записывал... И As-dur'ный полонез. И Второй концерт Рахманинова много раз играл... И «Музыкальные моменты» Шуберта... (Не говоря о «Лунной» и «Аппассионате».) Специально ничего такого «не держу» – я и на бис-то, как правило, не играю. Трудно даже объяснить, почему. Вернее всего, подготовка программы занимает все мое существо – не до жиру. И потом, программа все же представляет собой мало-мальски стройную форму, а тут еще что-то как бы лишнее (а может, и не «как бы»...). Бывает, отвлекают даже аплодисменты между номерами программы: иногда удается играть так, что и не аплодируют, а сидят тихо, – это мне нравится.

Так называемые популярные вещи замечательны тем, что у публики к ним особое отношение: с одной

стороны, как ни сыграй, вроде должен быть успех, а с другой, если что-то непривычное сделаешь, это может вызвать непредсказуемую реакцию – вплоть до протеста. А кроме того, и в моих ушах они иной раз навязают: создается своего рода инерция, лень идти вглубь. Но себя-то не обманешь – чувствуешь, что дело нечисто, а найти выход бывает по-особому нелегко...

ГН: Как ты проводишь день перед концертом (если концерт вечером)? Много занимаешься или больше отдыхаешь? Проигрываешь ли всю программу?

МЛ: Да, как правило, проигрываю программу целиком: провожу «последние испытания». Впрочем, на гастролях, когда концерты день за днем, случается иначе. Но играть перед концертом «медленно и певуче», сколько я заметил, вредно: потом оказываешься скован. Позже я прочел у Фейнберга объяснение: так легко заучить неверные движения. Верные или неверные, но, видимо, не те, которые нужны в концерте. Поэтому последние разы перед сценой играю в концертном плане.

Отдыхать обычно нет времени. Занимаюсь много – все стараюсь успеть что-то.

ГН: География твоих концертов сильно расширилась?

МЛ: Пожалуй, несколько сузилась в последнее время. Видимо, произошла следующая метаморфоза: по мере «интенсификации» концертирования (когда я стал давать абонементные циклы), некоторые гастролы, не носящие систематического характера, отпали. Просто потому, что основная работа поглощает все время и силы. Таким образом резко сократилось количество выступлений с оркестром, к примеру, хотя у меня в репертуаре больше тридцати названий. Боюсь, я потерял соответствующий навык – надо восстанавливать...

Я никогда не был особенным любителем путешествий. Помимо прочего, в поездке бывает трудно сосредоточиться на исполняемой музыке: многое отвлекает. С другой стороны, гастролы «проветривают», что тоже ценно...

ГН: Как ты снимаешь стресс после гастролей?

МЛ: Никак особенно не снимаю... Яблоками, разве что. Это, наверное, плохо, но у меня нет времени бездействовать: семья и все такое. Как старая лошадь во второй главе «Пиквикского клуба»: не распрягают – вот и не падает. На сколько этого хватит, не знаю, но разумной альтернативы на сей момент не вижу.

Я очень люблю бывать в лесу, куда меня в детстве водил еще покойный отец (неподалеку, с одной стороны, от нашего дома, а с другой – от кладбища, где он теперь похоронен). Теперь хожу туда со старшим сыном (младший ходить еще не научился), иной раз с племянниками и другими родственниками. Но это очень редко случается. А вскоре там вообще должны построить новое шоссе Москва–Петербург; хотя, может быть, дороги моему сердцу места и сохранятся...

Летом, как правило, находится месяц вне «забега»; проводить время на даче очень отраднo, но всегда находятся либо консерваторские дела (перерыв в концертах часто выпадает на июнь – период экзаменов), или накапливаются дела домашние, да и основная работа все время поджимает. Попробуй расслабься и получи удовольствие, когда впереди, скажем, листовский цикл, как у меня в сезоне 2010-11... Или когда по Вашему, сэр, указанию, надлежит играть концерт в память твоего отца, да еще Шопена?.. Среди ночи вскочишь заниматься-то...

ГН: Занимался ли ты когда-нибудь спортом (говорят, это помогает снимать стресс)?

МЛ: Систематически – никогда. Бывало, в молодости играл во всякие игры, но уже давным-давно забросил. Вратарем, говорят, был надежным: всю площадь ворот занимал.

Со спортом у меня сложные отношения: склоняюсь к крайне реакционному мнению, что профессиональный спорт надлежит либо запретить, либо приравнять к игорным заведениям и публичным домам (налоги и т.п.). С физкультурой это дело связано, по-моему, не сильно, зато с моральной (да и физической) деградацией, преступностью, коррупцией, огромными деньгами, оскотиневшими толпами – на мой взгляд, весьма. Не понимаю, каким образом честь

родины защищают те, кто выше или дальше прыгнет, быстрее добежит, забьет больше голов или что-нибудь подальше зашвырнет. Анекдот про советского метателя молота знаешь? «Эх, дали бы мне еще и серп...» Казалось бы, все знают, что состязание, стремление к превосходству – чувства, что называется, так себе. Один мудрый человек сказал, что незачем быть первым, надо просто быть самим собой, т. е., как это ни неожиданно может прозвучать, единственным... (Пер Гюнт, опять же.)

ГН: Ты уже давно преподаешь в консерватории. Это не мешает концертной работе? Вообще: ты любишь преподавать?

МЛ: Я бы не сказал, что мешает – преподаю раз в неделю, по воскресеньям, полностью отдавая этот день преподаванию (у меня полставки). Разве что в сессию возникают сложности... Приятность педагогики в большой мере зависит от обучаемого студента, а выбирать мне особо не приходится. В целом, могу сказать, что ощущаю от преподавания пользу – возможность повысить мою квалификацию за счет расширения кругозора, изучения музыки как бы под другим углом зрения, контактов с коллегами: уровень Московской консерватории все же высок... Да и среди студентов хорошие попадают. Может быть, впрочем, я плохой педагог – в том смысле, что не вожу студентов на помочах (вроде как взрослые уже...) и «прейстрегермахерством»⁸, понятно, не занимаюсь (думаю, я и не способен к нему), – но преподавание как таковое воспринимаю скорее позитивно. Некая общность в деле...

ГН: За это время ты записал несколько дисков: с Шопеном, Шуманом, Рахманиновым... Ты любишь записываться? Доволен качеством записи?

МЛ: Скажу так: диски, записанные в последние годы (изданные «Wakabayashi-kobou» – Шопен, этюды Листа «живьем», Шуман/Рахманинов, Мендельсон/Шопен «живьем»), кажутся мне, в целом, лучше, чем выходившие в свое время на «Деноне» (об издании некоторых моих ранних записей я, говоря по правде, сожалею).

⁸ Preisstraegermacher – делатель лауреатов (нем.).

Запись ценна возможностью послушать себя со стороны, глубже проанализировать свою игру. Для меня здесь процесс едва ли не более важен, чем результат. Вообще же концерт и студийная запись соотносятся, по моему, приблизительно как театр и кино. Это вещи хоть и близкие, но разные.

ГН: Вот, кстати, и пример: этюды Листа. Многие из них носят программный характер, это видно даже по названиям («Пейзаж», «Блуждающие огни», «Мазепа», «Вечерние гармонии», «Метель» etc.). Пытался ли ты как-то ассоциировать эти названия с самой музыкой? Хотелось ли донести до слушателей листовскую ассоциативную идею?

МЛ: Ну, какое-то направление поиску эти названия дают – во всяком случае, я не могу повторить за М.И. Гринберг, что листовские названия мне мешают. В то же время, они появились только в третьей редакции, как известно; а два этюда из двенадцати так без названий и остались. Да и все равно: ассоциации – дело тонкое, индивидуальное, интимное. Пейзажей на свете бесконечно много, и метели бывают самые разные, видения тоже; и сколько ни получай дополнительных сведений из внемузыкальных источников, музыку они не объяснят... Любые слова применительно к музыке, на мой взгляд, очень и очень условны. Мне кажется, если играть музыкально хорошо, то и объяснять ничего не надо...

ГН: Тебя уже как-то обозвали «пианистом-диссидентом»⁹. (Я даже не знаю, как относиться к подобному определению: это комплимент или ругань?) Вообще-то сейчас каждый «диссидирует» («диссидентствует»?) как может, лишь бы выпендриться...

МЛ: Надеюсь, хоть к этой категории ты меня не причисляешь...

ГН: Причислял бы – не стал бы спрашивать...

⁹ Хитрук А.Ф. Одиннадцать взглядов на фортепианное искусство. М.: Классика – XXI, 2007. С. 276.

Насколько я понял, все сводилось к твоим излишне замедленным темпам.

МЛ: Это позднейшая версия. Раньше А.Ф. Хитрук (это он меня так обозвал) писал, что я играю, наоборот, слишком быстро¹⁰. И так было.

ГН: Я слышал достаточно много твоих записей; первый Мефисто-вальс Листа был записан действительно в крайне медленном темпе. При том, что чисто пианистическими недостатками ты, вроде, отнюдь не страдаешь... У тебя никогда не возникало желание что-то вербально объяснить публике, как-то прокомментировать свою интерпретацию? Насколько я тебя знаю, ты не склонен «заигрывать» с публикой, но, может быть, иногда это просто необходимо?

МЛ: Диск с «Мефисто-» и «Забытыми» пьесами Листа (1995)¹¹ – как раз из тех случаев, которых лучше не было бы, как мне сейчас представляется.

Что касается первого Мефисто-вальса, то дело обстояло примерно так. Когда я играл его в классе проф. Троппа (на первом курсе – мне было лет девятнадцать), то играл в привычных темпах, вроде даже и попадал на нужные клавиши в большинстве случаев, но и профессор, и другие понимающие слушатели были мною недовольны, да и сам я тоже: оставалось ощущение «неправоты». Вот, кстати, опять пример программной музыки: чертовщина – это же не шутки, тем паче для набожного Листа. Но я не мог ничего понять – Ленау¹² проходил мимо меня, да и многое в самой музыке тоже. Даже запись Горовица, играющего весьма небыстро, хотя и впечатлила меня очень, но видимой практической пользы не принесла. Тогда же мой друг Рувим Островский, ныне известный прекрасный музыкант, пианист, доцент МГК, обратил мое внимание на то, что размер-то 3/8 и, соответственно, каждая восьмая должна иметь определенный вес... Заронились сомнения, но вскоре я

¹⁰ «Русская музыкальная газета», № 2, 1992.

¹¹ СОСО – 78802 (DENON)

¹² Как известно, Первый Мефисто-вальс Листа – один из «Двух эпизодов из «Фауста» Ленау».

оставил эту пьесу и не возвращался к ней лет шесть – до времен уже самостоятельной работы, когда я придумал программу из «Мефисто-» и «Забытых», играл ее в концертах и записал.



Надо сказать, что поздние пьесы этой группы явились для меня откровением: я понятия не имел, что Лист мог так писать, – почти атонально (скорее, модально). И сама музыка произвела очень сильное впечатление. И «забытые», и «Мефисто-» начали сплетаться в некую единую трагическую коллизию (это, наверное, – тот самый художественный образ, говорить о котором подробно мне, однако, не хотелось бы). Вот это меня здорово встряхнуло – я стал смотреть другими глазами и на первый Мефистовальс, вспомнил и про 3/8, и педаль листовскую стал стараться выполнять, и штрихи... Выяснилось, что нужно брать темп гораздо медленнее привычного, иначе все это не звучит. Зато при небыстром темпе становятся на место и

эпизоды *rapido*, и шелестящие *presto*, и подчеркнутое *rosso meno mosso* второй темы: форма (кстати: ведь скорее сонатная, чем трехчастная – это не всегда замечают) становится стройнее, да и вся композиция – как мне кажется, куда более осмысленной, глубокой. Мне не хватило ума и опыта сообразить, что $3/8$ – все же не $3/4$. Уже потом я заметил, что второй и четвертый мефисто-вальсы не случайно написаны на $6/8$, а третий – и вовсе на $12/8$ (т.е. дыхание широкое, не дробное)...

Может быть, и композитору не всегда легко найти способ записи, адекватный его музыке. Вспомним простодушное поручение Шопена приятелю: перепиши, мол, мою Тарантеллу – посмотри, какой размер у Россини и поставь тот же¹³. У Шопена, кстати, в разных изданиях одна пьеса может идти то на $4/4$, то *alla breve* (Fis-dur'ный экспромт, например). Или – начало Полонеза-фантазии: в одном варианте восьмые, в другом – четверти. Но все это я узнал и понял потом...

Наконец, запись. (Вернее, не наконец, а слишком рано; задний ум у меня крепчает, как уже отмечалось.) Совестно сказать, но мне несколько задурил голову юноша из звукозаписывающей команды: он слышал эту программу в концерте и сказал, что, мол, в концерте я играл медленнее, чем сыграл первый раз в студии, – что было неправдой. А кроме того, запись с ее ненатурально «близким» и подробным звучанием обнаружила множество пианистических «корявостей». Все это вынудило меня к еще более медленным темпам. Проще говоря, у меня не получилось.

Есть еще запись с концерта – она в интернете долго висела (чуть ли не до сих пор висит) – кажется, она не столь неуклюжа, и все же, и все же...

Объяснять это публике? Надо попробовать сыграть получше, а объяснять... Впрочем, ты спросил – я и рассказал.

¹³ См. письмо Шопена Юльяну Фонтане от 20 или 27 июня 1841 г. // Шопен Ф. Письма. – М.: Музыка, 1989. С. 443

Вообще же, проблема темпов и, шире, музыкального времени, сложна. Решают ее разные люди по-разному. Помнишь, как Софроницкий сказал в разговоре с Клиберном? Если плохо, то уж лучше побыстрее!¹⁴ Тосканини брал, как правило, относительно быстрые темпы, а Клемперер – медленные. Из пианистов Гофман играл скорее, а Гилельс – медленнее; причем оба были сильнейшими виртуозами. С годами, кажется, что-то мне становится понятнее; здесь не должно быть прямолинейных решений... Но как же это все трудно! То ли дело – критиковать.

В юности я играл, наоборот, в ускоренных темпах. Где-то у меня валяется пленка с Третьей сонатой Прокофьева, записанной лет тринадцати: минут пять идет. Причем пианистически вроде корректно. А когда я оканчивал школу (в восемнадцать лет), в программе были «Диабелли» Бетховена¹⁵ (авантюрное предприятие), – тоже очень быстро играл. К сожалению, получаемые мною педагогические указания не шли дальше «не гони» и «яснее». А дело было в неадекватном восприятии времени и, соответственно, смещении «фокуса» звучания всей фактуры. Это теперь я понимаю, что главную партию сонаты Прокофьева я играл в ритме быстрого марша на 4/4, пренебрегая авторскими 12/8 (и, соответственно, значительной частью музыки), а побочную – *alla breve* при авторских 4/4; вальс Диабелли – сугубо «на раз», а первую вариацию, идущую на 4/4, – опять же, *alla breve* (если не на 4/2, беря два такта за один). Но это теперь. ...Мне приходится немало трудиться в этой области: в консерватории меня дирижером дразнят. Не скажу, чтобы это меня сильно огорчало – твой дед, как известно, изрек: «Каждый музыкант должен быть прежде всего дирижером»¹⁶.

¹⁴ См.: Ширяева Н.Г. В последние годы // Воспоминания о Софроницком. М.: Советский композитор, 1982. С. 402.

¹⁵ Тридцать три вариации на вальс Диабелли, опус 120.

¹⁶ См.: Рихтер Е.Р. В 29-ом классе. // Генрих Нейгауз. Воспоминания, письма, материалы. – М.: Имидж, 1992. С. 367.

Вероятно, замедленный темп Первого мефисто-вальса и некоторые другие случаи были своего рода эффектом маятника. Конечно же, темпы связаны и со звукоизвлечением, так называемыми вопросами пианизма... Как и с отношением к полифоничности ткани, пониманием баланса голосов, пластов фактуры. То, что, мысля «одноголосно», играют часто быстро и бестолково, – банальность. Но у меня бывал и крен в другую сторону: склонность уравнивать голоса. Все должно быть ясно, но должна сохраняться и довольно сложная иерархия элементов. Скажем, на портрете работы большого мастера пуговица остается пуговицей, хотя и ясно различимой, а лицо – лицом.

А диссидентство... «Четвертую прозу», поди, все читали... Если кто не читал, пусть прочтет – про ворованный воздух и то, что ему противоположно. Или – у Блока: искусство versus «то, что называется не так».

ГН: Сейчас возникает много вопросов по поводу того, кто был чьим учеником. Так называемые поиски «исторической правды» (о которой подробнее поговорим позже).

МЛ: Непременно поговорим – я сам участвую в этих поисках. Они касаются далеко не только упомянутого тобою вопроса...

ГН: Представь, что ты войдешь в анналы постсоветского пианизма. И начнут выяснять: чьим же ты был учеником на самом деле? Так чьим учеником ты мог бы себя назвать?

МЛ: Анналы меня не особо волнуют...

ГН: Они никого не волнуют, поскольку создаются, как правило, уже после смерти.

МЛ: ...Я полтора десятка лет обучался в классе проф. В.М. Троппа – в школе и в институте. Это соответствует исторической правде. Соответствует ей и то, что наши личные отношения давно разладились и прекратились. По мере моего взросления выяснилось, что, судя по всему, пути у нас разные – это касается как музыки, так и более широкого круга жизненных проблем. Бывает...

Подробнее говорить публично мне едва ли стоит – тем более, работа каждого из нас на виду, если кому интересно.

Другое дело, вопрос в общем виде. Доходит до абсурда. Откроем именной указатель к так называемой «Второй книге» твоего деда, составленной Я.И. Мильштейном¹⁷. Мало того, что все когда-либо учившиеся у Г.Г. Нейгауза, в том числе бывшие к моменту публикации уже людьми в возрасте и знаменитыми (а иных уже и в живых не было) – Гилельс, Рихтер, Зак, Гроссман, Гутман, Ведерников., – фигурируют как «ученики» (их отношение к главному герою следовало, конечно, обозначить, хотя, вероятно, поделикатнее – например: «учился у Нейгауза там-то тогда-то»). Но, скажем, «Корто... – ученик Э. Декомба и Л. Дьемера», «Левин... – ученик В. Сафонова», «Гофман... – ученик М. Мошковского и А. Рубинштейна», «Игумнов... – ученик Н. Зверева, А. Зилоти и П. Пабста», «Зилоти... – ученик Н. Рубинштейна и Ф. Листа», «Софроницкий – ученик А. Лебедевой-Гецевич, А. Михаловского и Л. Николаева», «Юдина – ученица В. Дроздова и Л. Николаева». Впрочем, ученичество отмечено не во всех случаях – уловить закономерность мне не удалось. Речь идет не только о пианистах: «Ойстрах... – ученик П. Столярского», «Коган... – ученик А. Ямпольского», «Мравинский... – ученик А. Гаука». Наконец, «Сен-Санс... – ученик К. Стамати, Ф. Бенуа, Н. Ребера и Ф. Галеви» и даже «Скарлатти Доменико... – сын и ученик А. Скарлатти» (статья о Моцарте почему-то обошлась без его отца и учителя)... «Дети, в школу собирайтесь!»

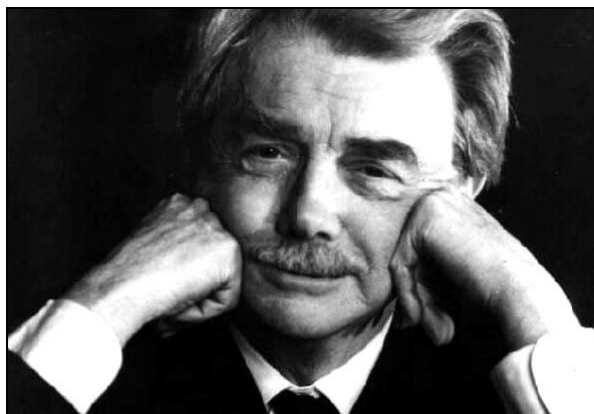
Смех смехом, а проблема налицо. О ней содержательно пишет проф. Г.Б. Гордон в известной книге о Гилельсе¹⁸ (он недавно выпустил еще одну, но я не читал ее пока¹⁹), и у меня в реферате ей уделено внимание²⁰. О работе

¹⁷ Нейгауз Г.Г. Размышления. Воспоминания. Дневники. Избранные статьи. Письма к родителям. М.: Советский композитор, 1975.

¹⁸ Здесь и далее имеется в виду книга: Гордон Г., Эмиль Гилельс (за гранью мифа). – М.: Классика-XXI, 2007.

¹⁹ Гордон Г. Эмиль Гилельс и другие. – Екатеринбург, 2010.

педагога я знаю не понаслышке. Считаю, что такое явление, как школа, конечно же, существует – преимственность одних явлений и автономность других, мера проявления того и другого, традиция... С другой стороны, невозможно отрицать: ученик может реализовать свои способности под руководством разных учителей (а то и вовсе самостоятельно – если говорить о самых сильных дарованиях), а роль педагога в становлении того или иного артиста всегда остается вспомогательной. По-моему, хороший педагог должен оставаться в тени; иначе он не педагог, а, скорее, дрессировщик или, в лучшем случае, тренер. А в худшем – Карабас Барабас: когда педагог на учениках (особенно на детях!) делает карьеру себе, – это, по-моему, совсем скверно, просто ужасно.



Генрих Густавович Нейгауз

«Гипертрофия» учителя – не чисто советский феномен, как можно было бы подумать (хотя для «коллективистской» и «патерналистской» системы он органичен, и, вероятно, поэтому у нас это явление приобрело особый размах). Тут есть глубоко антипатичная мне подоплека – коммерческая, – а она интернациональна. Качество педагогической работы меряется успехами

²⁰ См.: Лидский М.В. Гилельс, непокоренный // Волгоград-фортепиано-2008. – Волгоград, 2008.

учеников, в т.ч. на конкурсах. Но зависимость достижений ученика от работы педагога вовсе не проста, а что до конкурсов, то тут просто зеленая улица для разного рода коррупции – это уже стало общим местом. Не столько в аспекте уголовного права (с этой-то точки зрения в большинстве случаев не придерешься, как я понимаю), – страшно сужаются и искажаются (т. е. портятся, коррумпируются) критерии качества работы. А публика конкурсная... Что-то ужасное, честное слово. Вася играет недостаточно светло, а Петя – недостаточно темно. Васе руки обломаем, Пете голову оторвем. Кто не согласен, – в окно выкинем. Мане не хватило выдержки, а Тане – диафрагмы. Возвышающее воздействие великой музыки, однозначно...

Я не готов рассуждать о феномене музыкальных конкурсов как таковом: в конце концов, мой личный опыт в этой сфере мизерный. Но сейчас поток выражений ужаса от творящегося на конкурсах столь силен, что и без меня хватит. Э.Г. Гилельс, обеспечивший, в сущности, авторитет конкурсу им. Чайковского (и не только ему), еще в начале 80-х годов отказался даже обсуждать эту тему, сказав, что конкурсы выродились²¹. Мне кажется, практика последующих лет подтвердила правоту великого музыканта. Несколько месяцев назад вышло интервью с Э.К. Вирсаладзе – она весьма эмоционально критикует новейшие «конкурсные веяния». Я с почтением и симпатией отношусь к Элисо Константиновне, но ловлю себя на том, что хотя и согласен с ее оценками, общая моя реакция скорее равнодушна, если не злорадна. Лет десять назад я, быть может, еще возмущался бы, а теперь... Вы этого хотели? Извольте откусать. Нынешние конкурсы устраиваются не для того, чтобы привлечь внимание к тому или иному композитору или, на худой конец, ради престижа государства, а ради выгоды организаторов. Поэтому, мне кажется, практически бессмысленны ухищрения вроде запрета членам жюри выставлять своих учеников – не

²¹ Баренбойм Л. Эмиль Гилельс. – М.: Советский композитор, 1990. С. 149

мытьем, так катаньем основная цель конкурса (выгода организаторов) достигается. Как говорит Э.К., «приехали в Африку, в джунгли, поздравляю!» Но для меня это не столько гипербола, сколько довольно банальный факт.

И вот – приходит в консерваторию лауреат конкурса имени тети Мани (излюбленный образ твоего деда, как известно): мажор от минора с трудом отличает. Я не шучу: один такой принес мне Первый концерт Прокофьева, который до того играл публично (чуть ли не с оркестром), – главная партия в репризе-каденции начиналась на басу «ми» вместо «до». Наставник этого несчастного (по словам студента, сей наш коллега «энергетику ценит больше компетентности» – по-моему, очень красноречиво, во всех смыслах), получает не пожизненную дисквалификацию, а почетное звание, надбавку к зарплате и восхищение мировой общественности. А сколько таких концертируют – помню одного триумфатора: он пассакалью называл фугой, и из-за рояля шла соответственная ахиня, – их берут в оборот концертные агентства, часто связанные с организаторами конкурсов, – да об этом тебе Андрей Гаврилов рассказывал.

Как-то на собрании в консерватории старая дама-профессор восхищенно вспоминала давнее выступление некоего лауреата: «Это была замечательная педагогическая работа. Так, как он сыграл на 2-м туре, он, по-моему, больше никогда не играл». Но велика ли действительная цена такой педагогической работе, – если «больше никогда»? Музыкант-то получился неважный – «незрячий» (выражение Юдиной), неспособный к самостоятельному творчеству. Это же «дрессура», «накачивание», очковтирательство, «липа». Публика получает «драйв», судьи ставят очки за «дрессировку» и... все думают, что так и надо. (Не все, конечно).

Я в последние годы проникся особой симпатией к Леониду Владимировичу Николаеву (к его наследию, разумеется): возникает необычайно обаятельный образ прекрасного музыканта. Умного, пронизательного, знающего, глубоко порядочного, скромного – властителя дум, как прекрасно написал о нем Н.Е. Перельман, бывший

ученик. В почти афористических воспоминаниях Перельмана о Николаеве есть фраза, по обыкновению очень меткая: «Ничего не может быть невыносимее посредственности, начиненной чужой "мудростью"? Да и мудрость ли это?»²² Конечно же, не мудрость, а фальшивка, дающая возможность пускать пыль в глаза.

Можно, конечно, возразить, что польза от этой «возгонки» все равно есть, что для студента это бесценный опыт – он «прыгает выше головы», – и что таким образом создается школа, передается культура и т.д. Но я все же полагаю, что с учетом распространения, который этот метод получил, вреда от него больше, чем пользы: происходит *подмена*. Я ведь отлично помню выступление, которым восхищалась г-жа профессор: и в самом деле, все было очень хорошо продуманно, отработанно, качественно, с большим «жаром» (благо пианистические данные студента это легко позволяли), но явно «вторично» – воспроизведение клише, изготовленного педагогом, с неизбежным в таких случаях упрощением, уходом от сложных проблем (последние, так уж заведено, на этом уровне не решаются: там требуется органика – «до полной гибели всерьез», когда не до кн. Марьи Алексеевны из жюри); и все это – ради внешнего успеха, каковой и последовал. А концертные агентства рекламируют такой товар как искусство высшей марки... Об этом феномене писал историк пианизма Л.А. Баренбойм (вот, кстати, фигура в истории нашего дела, достойная большого внимания!) еще после 1-го Конкурса им. Чайковского (см. его статью «После конкурса»²³) – хотя тогда, кажется, был все же иной уровень, нежели сейчас... И не только Баренбойм – также и Г.М. Коган²⁴.

²² Перельман Н.Е. Властитель дум // Л.В. Николаев: Статьи и воспоминания современников: письма: к 100-летию со дня рождения. – Л.: Советский композитор, Ленинградское отделение, 1979. С. 141.

²³ Баренбойм Л.А. После конкурса // «Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства». Л.: Музыка, 1969.

²⁴ Коган Г.М. Вопросы пианизма. – М.: Сов. композитор, 1968. – С. 322-323.

Даже в российских официальных документах (например, в положении о присвоении ученых званий) прямо говорится, что, например, доцентом можно стать, подготовив не менее двух лауреатов. Только что упоминавшийся Баренбойм давным-давно писал: «Педагогический "самопоказ" в большинстве случаев вызван не их (педагогов) тщеславием, а требованиями, которые им предъявляются... Количество, цифра – вот критерий оценок».²⁵ Позволю себе уточнить: этот критерий стимулирует педагогическое тщеславие. «Конкурсомания» возбуждает тщеславие и в учениках, корежит юношескую психику. Насколько я знаю, в детских музыкальных школах этот процесс уже принял почти катастрофический характер. Стало быть, можно говорить ни о чем ином, как о совращении малых сих – со всеми вытекающими последствиями. В других странах, насколько я знаю, – схожая система.

Создается порочный круг. Ученик приходит учиться, а педагог, ради карьерного роста и увеличения доходов (бывает, и ученик нуждается), готовит его на «выставку-продажу» (конкурс). Какой ценой, мало кого волнует – проблемой «дрессуры» обычно пренебрегают. В жюри сидят такие же педагоги – сегодня ты, завтра я – свои люди сочтутся (из недавнего интервью В. Виардо: «...председатель жюри при всех кричал мне и еще одному члену жюри: “Я больше не приглашу вас на свой конкурс, потому что вы не голосовали, как я хотел”»²⁶). Педагогу победителя делается реклама, благодаря которой к нему идут новые ученики, – и все начинается сначала. Выйти из этого круга непросто: приходится делать трудный выбор, подчас отказываясь от карьерного продвижения и роста доходов. И ведь все это надо понимать, а кто это может в юном возрасте, да еще если родители, так сказать, не вполне морально устойчивы...

²⁵ Баренбойм Л.А. О музыкальном воспитании и обучении. // «За полвека/Очерки. Статьи. Материалы». – Л. 1989. С. 188.

²⁶ Владимир Виардо: «Исполнитель – это ко-композитор». // Журнал «PianoФорум», N1, 2010.

ГН: Я, собственно, спрашивал про тебя, а не про конкурсы. Чьим учеником ты мог бы себя назвать?

МЛ: Да я же ответил: в школе и институте обучался в классе проф. Троппа. Кстати, считаю одним из главных его достоинств то, что он прививал ученикам вкус к фонографическому наследию. А концерты – я ведь застал еще хорошие концерты... Про то, что меня ребенком много водили слушать твоего отца, ты знаешь. Водили и на Рихтера. На Гилельса не водили: я рос в нейгаузовской сфере влияния – один раз ходил по собственной инициативе. Помню несколько концертов Ведерникова, Огдона, Черкасского... На концерты Бошняковича много ходил уже в студенческие годы. А книги какие я читал... Это никуда не девается, не умирает. Деда твоего прочел вдоль и поперек. Еще – Прокофьева: «Автобиографию» и переписку с Мясковским. Воспоминания о Софроницком, однотомник о Гринберг (сделанный покойным А.Г. Ингером). Вот учебники! Ну и пластинки, конечно, – в первую очередь. Софроницкий, наверное, – главный мой «учитель». Все это всегда при мне.

Можно подумать, учатся только в классе по специальности... Тот, кто не учится при любой возможности, – по-моему, просто глуп. Уже потом, когда я концерттировать начал, – очень многому научился в работе с аккомпанирующими дирижерами, например (тому самому, о чем я говорил, отвечая на вопрос о темпах). Собственно, дирижерское восприятие музыки особенно ценно, поскольку не опосредовано инструментом (точнее, опосредовано, но в минимальной степени: насколько я понимаю, мануальная техника дирижера гораздо менее «обременительна», чем техника инструменталиста или певца). Теперь я и представить себе не могу, как можно играть на рояле, не думая о пульсации, размере и т. п.

Конечно, концертный опыт ничем не заменишь – всем учителям учитель. Также опыт работы в студиях звукозаписи, хотя это, по-моему, дело какое-то «подозрительное», особенно с учетом нынешней высокоразвитой звукорежиссерской (и монтажерской)

«химии». Но, вне всякого сомнения, опыт очень ценный – некая музыкальная патолого-анатомия.

Играя в ансамбле, тоже слышишь музыку иначе, чем играя соло, – это очень поучительно (помимо встречи с музыкантом-партнером, у которого почти всегда найдется, что перенять или, по крайней мере, эта встреча натолкнет на полезные размышления). Кстати, нельзя не упомянуть мою школьную учительницу по ансамблю Н.Ю. Заварзину, в прошлом ученицу Юдиной, – с Натальей Юрьевной я очень дружу уже скоро тридцать лет. И в институте у меня был хороший педагог по камерному – И.А. Чернявский, бывший ученик Зака...

Затем, когда я сам преподавать начал: безусловно, я многому научился у Э.К. Вирсаладзе, работая ассистентом этого большого мастера. А сейчас, на кафедре В.К. Мержанова – шутка ли, музыкант с таким опытом! И первую мою учительницу надо упомянуть – М.И. Маршак (я учился у нее до 3-го класса школы): она уже тридцать лет в Америке живет (там называется Marina Young) – мы переписываемся. Недавно, кстати, получил несколько записей с ее концертов – прекрасные. Приходилось мне заниматься в институте с Н.А. Антоновой – целый семестр, пока проф. Тропп отсутствовал; а раньше, когда я в школе учился, его несколько раз заменяла супруга – Т.А. Зеликман. Как-то в поездке (в школьные годы) меня «пасла» А.П. Кантор, другой раз – В.В. Полунина. Когда мы в юности играли дуэтом с Б. Березовским, нас слушала И.С. Родзевич, а позже – чуть не забыл! – А.И. Сац, недавно безвременно скончавшийся, и Э.К. Вирсаладзе. Пока еще я всех помню – иной раз кажется, что помню слишком многое. «Он слишком много знал»...

Еще я помню несколько открытых уроков Т.Д. Гутмана и по одному – Н.Е. Перельмана и В.В. Нильсена; это было *крайне* поучительно!

ГН: Стало быть, и официально и неофициально ты считаешься и являешься учеником профессора Троппа, и от него не отрекаешься.

МЛ: Бывшим учеником. Что было, то было. Не думаю, что пожизненно обязан соглашаться со всеми словами и делами профессора, но отречься мне не от чего.

ГН: Ну не стану же, например, я перечислять всех профессоров, у которых брал уроки на мастер-классах! И никто не станет. Согласен?

МЛ: Не вполне. В старину, например, композиторы учились, просто переписывая ноты, – можно сказать, что Бах учился у Вивальди, хотя лично они вроде не встречались.

ГН: ...И по записям, нас потрясавшим, – тоже абсурдно. Этак и Фуртвенглера можно причислить к своим учителям...

МЛ: Разумеется, можно! Я бы для себя отметил Клемперера – быть может, в первую очередь. И кстати: общение с проф.проф. Г.Б. Гордоном и И.В. Никоновичем также было для меня очень ценным и поучительным. Также и с проф. Д.А. Башкировым – пусть мы не так много общались, но моральная поддержка Дмитрия Александровича немало мне помогла.

...Этот самый вопрос – кто у кого учился – представляется мне, с одной стороны, не самым важным и не всегда уместным (особенно когда речь идет о людях немолодых), а с другой стороны, не таким простым, если разбираться глубоко. Степень воздействия педагога на ученика может быть различной, и качество педагогической работы, разумеется, тоже. По-разному складываются обстоятельства. Мой случай осложнен еще и личным конфликтом. «Ощущение учителя» – на мой взгляд, нечто скорее внутреннее, субъективное. Распространенная концепция «учитель=родитель» представляется мне адекватной отнюдь не всегда. Сердцу не прикажешь; стричь всех под одну гребенку – глупо и... неверно. В данном вопросе я, так сказать, примыкаю к Аристотелю – или кто на самом деле говорил, что истина дороже...

ГН: Вот ты говоришь: «на Гилельса не водили – я рос в нейгаузовской сфере влияния». У тебя-то какая была сфера? Твой (ныне покойный) отец был одно время зятем моего деда. Пусть недолго...

МЛ: Ну как... Тринадцать лет – с 1951 года.

ГН: Но, насколько я знаю, он был самостоятельно мыслящим человеком. Профессору Троппу тоже очень нравится книга Гордона, он сам мне об этом говорил (надеюсь, это не воспримется как сплетня?). Моя покойная тетка Милица Генриховна тоже, вроде бы, ничего против Гилельса не имела, и вообще хотела, чтобы «фиалки на тротуаре росли». Так что это была за «сфера»?

МЛ: Отец мой, кстати сказать, всегда говорил о Гилельсе с глубоким почтением, и если и не водил меня на его концерты, то разве по занятости. И пластинки Гилельса у нас дома были. Но на концерты Рихтера и твоего отца мне билеты перепали через ту же Милицу Генриховну (у меня отношения с ней были как с близкой родственницей, несмотря на отсутствие кровного родства), а на Гилельса – нет. Воспоминания Милицы Генриховны²⁷ трогательны, но она не объясняет читателю, *чем* был вызван большой перерыв (как я понимаю, около пятнадцати лет) в ее посещениях концертов Гилельса и почему «закрытый» Эмиль Григорьевич ее расцеловал, а потом еще и В.М. Воскобойникову рассказывал о ее приходе как о большом событии. По контексту, однако, ясно: после кончины твоего отца она пришла мириться.

Как относился к Гилельсу Станислав Генрихович, ты написал сам (<http://berkovich-zametki.com/2009/Zametki/Nomer5/Neuhaus1.php>; его сестра, в общем, выдерживала линию. Это касалось не только Гилельса. Помню, я, будучи подростком, принес ей в подарок на день рождения пластинку Г.Р. Гинзбурга (шедевральные записи: «Норма», «Свадьба Фигаро»²⁸...) – она отвергла ее со словами: «Папа не любил». Хорошо, что у меня была еще с собой пластинка Софроницкого... До меня доходили глупые и пошлые разговоры про мифическое

²⁷ Нейгауз М.Г., Эмиль Гилельс и семья Г.Г. Нейгауза // Нейгауз Г.Г., Доклады и выступления. Беседы. Открытые уроки. Воспоминания о Г.Г. Нейгаузе – М.: Дека-ВС. 2008.

²⁸ Имеются в виду парафразы Листа на указанные оперы Беллини и Моцарта.

«одесское бескультурье» Гилельса – впрочем, сама М.Г. их не поддерживала. Помню, как она читала мне (я уже студентом был, если не ошибаюсь) по телефону письмо Рихтера, в котором тот писал о Гилельсе (кажется, в ответ на ее вопрос): «Считаю его прекрасным пианистом и музыкантом с очень большим самомнением». По-моему, я запомнил слово в слово. Где теперь это письмо, не знаю. Там еще было про то, как «плохо» Гилельс обошелся с Генрихом Густавовичем. Вообще, мнение Рихтера по разным вопросам (в т.ч. касающимся меня самого) Милица Генриховна считала необходимым до моего сведения довести. Кроме того, я рано стал читать книги твоего деда – про «неправильное воспитание», «великолепную плоть» и «нехватку духа» (это о Гилельсе, если кто не знает)...



Станислав Генрихович Нейгауз

Став «матриархом», Милица Генриховна сделала ряд шагов в ином направлении. Знаю, например, что именно она уговорила Н.Л. Дорлиак снять пассаж о роковом письме Гилельса твоему деду из второго издания ее воспоминаний о Генрихе Густавовиче (в известном сборнике²⁹); но первое-то издание состоялось: вылетело – не поймаешь. А вскоре

²⁹ Первое издание см.: Генрих Нейгауз. Воспоминания, письма, материалы. – М.: Имидж, 1992. См. с. 83

подросла и книга Монсенжона³⁰, бестселлер (последнее переиздание имело место только что)...

Что касается проф. Троппа, то и он Гилельса не культивировал (впрочем, и Рихтера не особо). Впрочем, вспоминая, как однажды он сказал мне, что у Гилельса надо учиться выровненности пианизма. Над Ведерниковым было принято посмеиваться: сухарь, мол, и вообще – на голове стоит (покойный Анатолий Иванович, как известно, занимался йогой). Видимо, дело не только в «нейгаузовской сфере влияния», но и в чем-то более глубоком и широком. Время... Жизнь... Хотя жизнь «действует» через «помощников», как известно.

ГН: Вот видишь, сам говоришь: «Дело не только в «нейгаузовской сфере влияния». А то деда уже обозвали «игроком на руку Кремля»... «Вы играете слишком ярко. Но ничего. Жизнь вас научит, а мы ей поможем». Эти слова профессора Доренского, сказанные покойному ныне Андрею Никольскому при заваливании его на отборе к конкурсу Чайковского, переживут века...

А что означает «снять пассаж»? То есть – грубо, но прямо: значит ли это, что Нина Львовна откровенно лгала?

МЛ: Чтобы ставить вопрос так, надо, как минимум, иметь перед глазами соответствующие документы: пока не опубликован, насколько я знаю, ни один. Могу сказать, однако, что вижу веские основания сомневаться в точности сообщенных супругой Рихтера сведений, компрометирующих Гилельса.

До выхода «юбилейного» сборника материалов о Г.Г. Нейгаузе (и воспоминаний Н.Л. Дорлиак в нем) история с последним письмом Гилельса твоему деду в печати не фигурировала. М.Г. Нейгауз и ее сыновья считали (я обсуждал с ними эту тему не раз), что поскольку Генрих Густавович показал письмо Гилельса сразу по получении лишь сыну (твоему отцу) и супругам Рихтер (у которых жил тогда), а впоследствии не говорил о нем, – значит, он не

³⁰ Монсенжон Б. Рихтер С. Диалоги. Дневники. – М.: Классика-XXI, 2002 (далее – Монсенжон).

желал огласки. Соответственно, его вдова Сильвия Федоровна уничтожила гилельсовское письмо при сдаче бумаг Г.Г. Нейгауза в архив. Гилельс тоже никогда на эту тему публично не высказывался. Немногочисленные частные, доверительные разговоры, насколько можно судить, были (например, между Гилельсом и Мержановым³¹), но, повторяю, не в печати. Следовательно, и отправитель, и адресат, хотели оставить это дело между собой. Во всяком случае, твой дед до конца дней называл Гилельса в числе своих лучших учеников, и в книгах и статьях о нем (хоть в том же «юбилейном» сборнике) за Гилельсом неизменно сохранялось «почетное второе место». И в книге Баренбойма³², построенной на беседах Гилельса с автором, есть целая глава о Г.Г. Нейгаузе: ясно сказано, что отношения были сложны, но роль Нейгауза-педагога в жизни Гилельса (как известно, Гилельс учился у твоего деда, по современному говоря, в аспирантуре) сомнению не подвергается. (В 1964 году Гилельс поместил в «Советской музыке» статью к 20-летию гибели проф. Б.М. Рейнгалда³³, назвав последнюю своим истинным музыкальным воспитателем – ведь именно у Рейнгалда Гилельс прошел полный консерваторский курс в Одессе. О Нейгаузе там нет ни слова, но это, на мой взгляд, отнюдь не дает оснований для каких-либо претензий к автору.)

Поэтому, а также потому, что в момент публикации воспоминаний Н.Л. Дорлиак Гилельса уже не было в живых, Милица Генриховна попросила Нину Львовну этот пассаж снять, каковая просьба была исполнена. Но поздно. Огласка состоялась. Стали появляться другие публикации по теме: «заговорил» Мержанов, вышла книга Монсенжона-Рихтера, воспоминания Башкирова с публикацией переписки твоего

³¹ См.: Воскобойников В. О самом любимом и дорогом. О самых любимых и дорогих // Волгоград-фортепиано-2004. Петрозаводск, 2005. С.196 и Беседы Арама Гуцяна с профессором В.К. Мержановым // Волгоград-фортепиано-2008. Волгоград, 2008.

³² Баренбойм Л. Эмиль Гилельс. – М.: Советский композитор, 1990.

³³ Гилельс Э. О моем педагоге // «Советская музыка», 1964. - № 10.

деда с Гольденвейзером³⁴, книга Гордона и др... Они дают серьезные основания полагать, что покойные Нина Львовна и Святослав Теофилович (у Монсенжона) изложили события весьма тенденциозно: мол, «неблагодарный Гилельс» ни с того ни с сего «отрекся» (мне, признаться, непонятен этот термин в данном случае) от Г.Г. Нейгауза, написав грубое и оскорбительное письмо старому больному профессору, который, как сказано у Монсенжона, вскоре умер от потрясения (еще у Монсенжона говорится, что Гилельс написал по данному вопросу нечто «в газетах» – это-то уж явная клевета). Такая версия, прямо скажу, мало похожа на правду, зато, на мой взгляд, похожа на умышленную посмертную дискредитацию Гилельса.

ГН: Мы с тобой являемся участниками одного музыкального интернет-форума...

МЛ: Давай уж тогда назовем его – «Музыка ветра и роз». А то читатель может подумать о другом форуме... Основатель нашего форума – Gtn (Петр), музыкант из Владимира. Среди участников – пианисты Андрей Гаврилов, Дина Угорская, Сергей Главатских; из немусыкантов – известный ученый-лингвист и публицист Ревекка Марковна Фрумкина и еще целый ряд хороших людей. Домогающихся внимания анонимных сетевых прилипал просим не беспокоиться: эта категория вычищается безусловно. Форум у нас маленький, тихий...

ГН: ...Естественно, я слежу за твоими программами. Заметил, что ты почти перестал играть Баха. Почему?

МЛ: Случайно. Уже сколько лет мечтаю выучить «Французскую увертюру»! Все руки не доходят – времени нужно много.

ГН: Сейчас в среде пианистов вновь поднялся идиотский вопрос: надо ли играть Баха с педалью или без педали? (Типа: «ты за красных или за белых»?) Что бы ты мог ответить, не ссылаясь на всем известные источники?

³⁴ См.: Воспоминания о Г.Г. Нейгаузе. – М.: Классика-XXI, 2002. – С. 204-205

МЛ: Ну, каков вопрос, таков и ответ. Это зависит от фактуры. Важен результат: если полифония ясна, то и на здоровье. Вон Рихтер в 1991 году играл сюиты Баха – одно из очень сильных моих впечатлений! – он брал довольно много педали...

Что до моей скромной особы, то я предпочитаю чистые тембры, но, скажем, в «Хроматической фантазии», в «Симфонии» из с-moll'ной Партиты или в той же «Французской увертюре» (имею в виду собственно увертюру) совсем без педали вряд ли обойтись можно.

Доктринерство в музыке вообще мало уместно, мне кажется... Вот, кстати, свежайший опыт. На экзамене играют D-dur'ную фугу из 1-го тома ХТК. Как известно, через всю фугу проходит пунктирный ритм: восьмая с точкой и шестнадцатая. Началась тема: шестнадцатая почти стала тридцать второй. Очнувшись от дремы, спрашиваю коллегу, что бы это значило.

– «Французский ритм», – живо ответил он. – Об этом во всех трактатах написано.

Пристыженный, я пожал плечами и вновь погрузился в сонные мечтанья.

Нет, я, конечно, знаю, что старинная традиция учит исполнять пунктиры достаточно вольно: иногда приближать к триолям, иногда – укорачивать. Но в рассматриваемом примере приходится играть строго (к чему призывает и Муджеллини в своей редакции), потому что иначе получается разноречивой с другими голосами – прежде всего, в интермедиях. Если же, во избежание разноречия по вертикали, играть в разных случаях сильно по-разному (так делал тот студент), нарушается идея сочинения (ostinato), единство формы; казалось бы, необходимость выдерживать ostinato и есть здесь мера свободы...

ГН: Ходишь ли ты на концерты других пианистов? Продолжаешь ли слушать чужие записи? Или сейчас тебе это только мешает?

МЛ: На концерты хожу все меньше. Не так просто сказать, с чем это связано. То, что занятость возрастает, – очевидно, как и то, что нарастает усталость. Но что-то меня и не особо тянет на нынешние концерты...

Записи слушаю. Но опять же преимущественно старые. Возможно, я костенею. Но нынешняя музыкальная жизнь, поскольку я участвую в ней сам и что-то читаю, как-то мало вдохновляет... Такое впечатление, будто играют не артисты, а уполномоченные концертных агентств, звукозаписывающих фирм или еще чьи-то. Собственно, не очень ясно, кто чьим агентом является. Да тебе Гаврилов рассказывал, если сам не знаешь... Ловлю себя на том, что знаки официального признания и карьерный успех кажутся все более подозрительными, – как при советской власти. Если дают «сэра», «грэмми» или премию «Триумф», – похоже, дело дрянь.

Нет, конечно, я бы чаще ходил в концерты, если бы не был так занят...

ГН: Как у тебя происходит выбор программы? Ты сам решаешь, что и в каком порядке играть, или тебе заказывают концертные агентства?

МЛ: Как правило, решаю сам. У меня и агента-то нет. Были – на заре туманной юности, да уж лет пятнадцать как нет. Не гожусь я агентам. Иной раз удивляюсь, как до сих пор по миру не пошел. Как-то пронесило – вроде бы, я даже успел что-то сделать. Впрочем, по миру пойти никогда не поздно: обстоятельства часто напоминают мне об этом.

Программы больших циклов согласовываю, прежде всего, с продюсерским отделом ММДМ – остальные уж как захотят: на всех программ не напасешься – их же учить надо... Считаю нужным выразить признательность Дому музыки и лично его президенту В.Т. Спивакову за уже длительное сотрудничество и доброе отношение, тем более для меня ценное, что к музыкальным единомышленникам Владимира Теодоровича я, говоря в целом, не могу себя отнести.

Выбор программы обычно происходит так, что одно произведение «тянет» за собой другие. «Две придут сами – третью приведут» (ой, как неловко цитировать такие вещи применительно к себе!..).

Бывают, конечно, заказные работы, но преимущественно в сфере камерной музыки или с оркестром.

ГН: По поводу камерной музыки: мне очень понравился ваш дуэт с твоей женой, Олей Макаровой. Вы играли «Six Épigrapbes Antiques» Дебюсси... Кстати, ты всегда придираешься к названиям? Это, с твоей точки зрения, является своего рода «ключом» к интерпретации?

МЛ: Ну, я все-таки сын переводчицы... В какой-то мере является, хотя, как нетрудно догадаться, хорошо перевести название – это одно, а хорошо сыграть вещь – совсем другое... Надо сказать, что хороший перевод названия «Six Épigrapbes Antiques» мне до сих пор не удалось придумать. Наиболее распространен прямолинейный вариант «Шесть античных эпитафий». Он имеет тот недостаток, что слово «античный» трактуется скорее расширительно (учитывая тематику цикла), да и «эпитафия» – хотя формально и верно, но в современном русском обиходе это чаще нечто, предпосылаемое тексту, а не просто надпись. «Он знал довольно по-латыни, чтоб эпитафии разбирать» – это было давно... «Шесть древних надписей»? «Шесть античных надписей»? Не знаю... Вот когда переводят название равелевского «Menuet antique» как «Античный менуэт» вместо «Старинный...», – это явная чепуха, потому что в античности менуэт не танцевали. Эпитет имеет, кажется, еще и побочное значение «чудаковатый» – ср. «Печерские антики» Лескова. Или пример иного рода: один из шумановских маршей ор. 76 в оригинале называется «Lager-Szene» – если по-русски назвать его «Лагерной сценой» или даже «Сценой в лагере», возникнут, как это называлось у товарищей, ненужные ассоциации; стало быть, «Сцена на привале». Иногда тянет вернуться к старой традиции, до сих пор распространенной в Европе: вообще не переводить названия, пользоваться оригинальными, – но это вряд ли реалистично. Словесная бессмыслица как-то раздражает.

Кстати, и в музыке я последнее время становлюсь все более чувствителен к «правильной декламации» (выражение Гольденвейзера). Когда путаюсь в форме (даже на уровне тактов), все из рук вон. Бывает, бьюсь лбом об стенку долго – у меня так вышло с первым номером из

прокофьевского диптиха «Вещи в себе» ор. 45. Он написан довольно заковыристо именно на уровне структурных «мелочей» (у Прокофьева был в то время период «борьбы с квадратом»). Вот я и запутался, а «распутался» лишь совсем недавно, через много лет после начала работы над этими пьесами... «Вещи в себе» исполняются редко, хотя музыка замечательная, тонкая (И.В. Никонович говорил мне в интервью, что этими пьесами восхищался Софроницкий, играл их – правда, не на эстраде³⁵).

Прокофьев заграничного периода как-то по-особому дорог мне. Мне кажется, это очень важный этап эволюции его стиля, без учета которого невозможно адекватно воспринять поздние вещи. Часто слышишь, будто поздний Прокофьев выдохся, сломался под гнетом советской власти и стал писать упрощенно. По-моему, это не так, а если и так, то в очень малой мере. Даже такое сугубо заказное сочинение, как кантата «Расцветай, могучий край», я нахожу совершенно гениальным (только бы слов тов. Долматовского не слышать). И многие черты позднего прокофьевского стиля связаны, как мне представляется, с сочинениями «парижской» поры: к примеру, в Девятой сонате немало от «Вещей в себе» (гармония, модуляции, да и фортепианная фактура, пожалуй...). Под конец жизни Прокофьев, как известно, много внимания уделял новым редакциям опусов заграничного периода – Четвертая симфония, Пятая соната, виолончельный концерт... Мне кажется, это говорит о созвучности Прокофьева позднего и Прокофьева «парижского». Переработки Второй симфонии и сонатин ор. 54 были, как известно, включены в список его сочинений, но осуществить эти замыслы, как и целый ряд новых, он уже не успел.

Я, надо сказать, сам пытался сделать переложение Второй симфонии на два рояля. Мы даже пробовали играть его с Сергеем Главатских, но пришлось снять: не получилось. Это – еще один мой долг... Чтобы мало-мальски адекватно передать такую партитуру на двух

³⁵ См.: И.В. Никонович отвечает на вопросы М.В. Лидского // «Волгоград – фортепиано – 2000». – Волгоград: Л.Б.Ф., 2000. С. 132.

фортепиано, надо, прежде всего, глубоко прочувствовать фактуру, отринув при этом ее оркестровую специфику (множество орнаментов, фонов...) – как бы написать эту музыку заново: ни больше, ни меньше... Признаться, я не слышал по-настоящему удовлетворительного исполнения этой вещи в оркестре; не знаю, возможно ли таковое... Отчасти поэтому я взялся за транскрипцию, но пока безуспешно. Вообще же, как всякий может видеть, транскрипции снова выходят на авансцену. А помнишь, как твой дед приложил Бузони (об этом Гордон пишет³⁶)? Мол, преимущество Рихтера перед ним – «хотя бы» в том, что Рихтер не играет транскрипций; транскрипции, дескать, – «не настоящее»³⁷. Tempora mutantur... (Я, правда, пардон, тоже почти не играю переложений...)

ГН: В вашем дуэте с Олей мне понравились и звукоизвлечение, и динамика, и идеальная «сыгранность» дуэта. Долго ли вы работали над этим произведением? Какие еще сочинения вы играли? Вообще: расскажи, как вы работаете вдвоем.

МЛ: У меня плохой характер – это все знают. Мы играем вместе редко – отчасти этому причиной обстоятельства домашние, довольно сложные... Этот цикл Дебюсси мы играли еще в середине 90-ых. Кроме них, играли D-dur'ную (вторую) сонату Моцарта, равелевскую «Матушку-гусыню», «Французский дивертисмент» Шуберта (его даже записали, но, по-моему, неудачно), несколько «Славянских танцев» Дворжака, шумановский ор. 109 (Ball-Szenen), а еще монографическую бетховенскую программу с Grosse Fuge в конце... Да, еще ор. 58 Метнера на 2-х роялях.

ГН: Сколько лет вы играете вдвоем?

МЛ: Лет пятнадцать уже, но нерегулярно. Да ты сам с Олей поговори...

ГН: Оля не хочет откликаться. Но я никак не могу понять, как она выдержала эту идиотскую советскую мясорубку. С одной стороны – Бетховен,

³⁶ Гордон Г. Импровизация на заданную тему // «Волгоград-фортепиано-2000». Цит. изд. С. 179.

³⁷ См. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1958. С. 158.

мазурки Шопена, с другой – отставные полковники, преподававшие нам НВП³⁸.

МЛ: Да, она стесняется, да и шутка ли – двое детей на руках, из которых один грудной, да еще работа, и еще много забот... Ей не впервой выдерживать.

Кстати, наш военрук полковник Тушев немало научил меня (хотя в те времена его уроки воспринимались преимущественно как анекдот, конечно). Хорошо помню, как, протопав строевым шагом из конца в конец небольшого коридора, услышал характерный громкий голос: «Молодец, такой-то! Хорошо поработал: твердая "тройка"!» Я очень смеялся, но потом оценил урок: как трудно бывает заработать хотя бы «тройку».

ГН: Давай перейдем к твоим поискам исторической правды. И вообще к публицистике. Что такое «историческая правда»? Многие воспринимают это, как «достоверные сплетни» типа «кто сколько и чего пил, кто принимал наркотики, какова была сексуальная ориентация, количество любовниц (или любовников)» и прочая чушь. Кстати, подобным копанием в чужом белье прославился и печально известный Соломон Волков, которого ты пытался всенародно опровергать.

МЛ: Ты забыл еще внебрачных детей...

Это очень большой и сложный вопрос. Я не историк и не публицист. То, что я иногда пишу, впрямую относится к моей профессии...

Что касается исторической правды, то на мой взгляд, следует, прежде всего, показать актуальность проблемы (известную трактовку этого предмета т. Сталиным предлагаю вынести за пределы рассмотрения). Говорят: зачем ворошить прошлое, к чему «загробные схватки» (слова одного именитого музыковеда) и т.д. в таком роде. Вновь подчеркну (я говорил об этом в интервью проф. Р.М. Фрумкиной), что установление исторической правды кажется мне важным не только как самоцель

³⁸ НВП – начальная военная подготовка, обязательный предмет в советских средних школах.

(предмет истории) и не только в моральном плане (признание истинных заслуг, опровержение клеветы и т.п.), но и с точки зрения профессионально-музыкантской. Собственно, последнее есть практический аспект двух первых вопросов. История (приходится говорить банальности) – это опыт, т.е., если угодно, развертка явления на практике и во времени. Музыка изобрели не сегодня и даже не вчера: полноценное понимание предмета невозможно без мало-мальски адекватного представления о нем в исторической ретроспективе.



Мария Вениаминовна Юдина

Если помнишь, Юдина начала цикл лекций о романтизме с воздаяния должного усопшим коллегам: «Если мы действительно являемся людьми искусства и людьми культуры, – что прежде всего на нас лежит? *Память* о тех, кто был с нами и до нас»³⁹. Это, в сущности, и есть культура. Когда историческая память нарушается, культура и «ее

³⁹Юдина М.В. Романтизм Истоки и параллели // Лучи божественной любви. – М.;СПб.: Университетская книга, 1999. – С. 267.

люди» исчезают, и приходит то, что мы часто имеем возможность наблюдать.

Все знают, сколь сильна пропаганда (особенно в нынешнем, т.н. информационном обществе) и сколь многое определяется коммерческим спросом (в свою очередь, определяющимся, в большой мере, той же пропагандой – рекламой). К примеру, мало кто купит диск музыканта, имя которого неизвестно, – соответственно, мало кто такой диск напечатает. Спрашивается, а почему такой-то музыкант не известен? Может быть, он недостаточно хорош? Ведь, по распространенной ныне логике (назовем ее вульгарно-рыночной), все, что хорошо, должно хорошо продаваться (так сказать, продажность как главный критерий качества и, соответственно, главное устремление «товаропроизводителя»; традиция учит работать на совесть, но тут явно другие песни).

Прошлой зимой я давал концерт в «наукограде», многие жители которого кормятся работой на заводе прохладительных напитков. Оказывается, стоимость рекламной аннотации к лимонаду (пара абзацев) измеряется четырехзначными числами. Так до недавнего времени зарабатывали на жизнь люди, обладающие редкостными знаниями и навыками.

А известный дирижер Дмитрий Лисс рассказал такой анекдот.

Новый русский звонит приятелю.

– Братан, купи слона.

– Зачем он мне?

– Ну, во-первых, это очень круто. Во-вторых, я тебе дешевле отдам. В-третьих, сэкономить на охране. В-четвертых, игрушка детям.

Сторговались. Через неделю – звонок в обратном направлении.

– Слушай, что ты мне впарил?! Клиенты боятся зайти, семья взаперти дрожит от страха, сад вытоптан, деревья изъедены и поломаны, соседи скандалят, дикие убытки...

– Ну, братан, с таким настроением ты слона не продашь...

Не все, однако, главной целью жизни ставят «продать слона»: для многих такая линия поведения морально неприемлема, как неприемлемо, к примеру, покупать «Кока-колу» и перепродавать в жару втридорога (с этого, как известно, начинал знаменитый американский финансист Уоррен Баффет; сейчас он, пожилой миллиардер, одалживает дочери 20 долларов под расписку – это я прочел в каком-то самолетном журнале: здесь, если угодно, налицо межцивилизационный конфликт).

Вот, например, пианист Симон Барер (1896–1951), в свое время ученик Есиповой и твоего двоюродного прадеда Ф.М. Блуменфельда. Полузабытое имя – повсюду. Вдобавок, такие советские критики, как Городинский и Рабинович, избрали его примером «пустого виртуозничанья», иной раз высказываясь совершенно хамски⁴⁰ (вероятно, отчасти потому, что Барер сделал ноги из молодой советской республики). В то же время, Рахманинов называл его гением, Глазунов говорил о нем: «Правой рукой – Лист, левой – Рубинштейн»; высоко отзывались о Барере Горовиц, Томас Бичем, Годовский... Он немало концертировал в Европе и США, имел большой успех, рано умер (практически на сцене, во время концерта – от инсульта). Его записи иногда появляются как исторические раритеты... Некоторые я знаю – есть совершенно исключительные: восхищайся да на ус наматывай! А отчего такая судьба? Известно, что Барер подолгу болел. А кроме того, он, по свидетельству сына, «не был похож на других великих музыкантов, он всегда был самим собой. У него не было спонсоров и хорошего импресарио. У него никогда за всю жизнь не было даже собственного инструмента». Бывает и так. Вот – история, добрым молодцам урок.

А реклама нередко пропагандирует ценности, я бы сказал, не присущие порядочному человеку в традиционном понимании – в частности, грамотному музыканту (обобщая искания множества мыслителей, Шуман афористически сформулировал: «Законы морали – те же, что и законы

⁴⁰ См.: Городинский В. Воспитание Эмиля / Советское искусство. – 17 февраля 1934 г.; Рабинович Д. Портреты пианистов. – М.: Советский композитор, 1970. С. 10.

искусства»). Яркий пример – случай английского дирижера сэра Роджера Норрингтона, рассмотренный мною в статье «Вслед юбилею Моцарта». Сей мэтр выставляет себя большим знатоком истории (он же аутентист – «НПР»!⁴¹), в то время как мне выпало сомнительное удовольствие уличить его в историческом обмане. Норрингтон заявлял, что применяет «точно тот состав, который подразумевали Моцарт и Шуман: восемь первых скрипок», когда как из писем Моцарта и Шумана известно совсем иное (подробнее см. в моей статье)⁴². Впрочем, такая честь выпала не только мне и не только в отношении истории как таковой.



Г.Г. Нейгауз и А. Рубинштейн

По Норрингтону, хорошее исполнение музыки достижимо путем следования набору достаточно простых правил – например: «Симфонию Гайдна можно научить играть за три часа. Может, даже за два. Для этого не надо заниматься пять лет и сидеть на йогуртовой диете. Но есть определенные вещи, которые важны: темпы, рассадка, фразировка. Это не так сложно, но это надо знать. Ведь когда вы садитесь за руль, вы должны знать, что красный

⁴¹ НПР – Historically informed performance practice (исполнительство на основе исторической информированности – англ.).

⁴² Лидский М.В., Вслед юбилею Моцарта. // Волгоград-фортепиано-2008. – Волгоград, 2008.

[свет] означает «стоп». Иначе – катастрофа». Раз, два – и готово. «Мы и кухарку каждую научим...» – даром, что маэстро рекомедуется как музыкальный большевик. Я недавно слушал запись Шестой симфонии Чайковского под его управлением: не могу сказать, чтобы это было плохо, потому что поставленные задачи, по-видимому, выполнены, но в том и дело, что сами задачи очень примитивны, вульгарны. Я бы сказал, с большим привкусом цинизма. Большевик и есть – играют ли струнные с вибрацией или без таковой (отрицание *vibrato* струнных – один из «пунктиков» сэра Роджера). И еще: метроном. «Зачем играть слишком быстро или слишком медленно, если там точно указан темп?» – риторически вопрошает г. Норрингтон, рассуждая о симфониях Бетховена. Как это раньше никто не догадался, надо же...

ГН: «Все гениальное – просто. Будь проще – и народ к тебе потянется».

МЛ: ...Народ-таки тянется. Вот как реагировал на это эпохальное открытие Г.Н. Рождественский: «Искусство не в состоянии противиться антиискусству (*sic!* – МЛ). ...Вышла запись всех симфоний Бетховена в Лондоне, дирижер Норрингтон. И запись этих симфоний имела самый большой коммерческий успех, пластинки были проданы мгновенно, так как в аннотации к пластинкам было написано, что это – единственно верное исполнение Бетховена: нигде нет ни на один “миллиграмм” отклонений от указанных автором темпов. Это правда. Бетховен ставит метроном, и все исполнения Норрингтона пунктуальнейшим образом соответствуют этому метроному. Но если ценность исполнения в математической выверенности, то на записи этих симфоний дирижер может не приходиться. Он включает электрический метроном со вспышкой, который не стучит и никому не мешает, – и оркестр играет по вспышке. А крупнейшие профессиональные журналы, такие, как «Граммофон» и «Диапазон», пишут, что исполнение Норрингтона – более верное по отношению к Бетховену, чем исполнение Фуртвенглера, Бруно Вальтера, Клемперера. И доказывают – да тут и доказывать нечего: Клемперер отклоняется от указанного Бетховеном метронома в течение

I части 5-й симфонии шестнадцать раз. Все. Значит, он не соперник. И для подавляющего большинства людей, которые покупают пластинки, для обывателя, – это является критерием. Хотя в действительности это самая настоящая *подмена критерия*» (курсив мой. – МЛ)⁴³.

Эта «туфта» (поди, штука посильнее, чем пресс-релиз о лимонаде!) рассчитана на неосведомленных лиц с плохим вкусом, не знакомых, помимо прочего, с практикой применения метронома Бетховеном и историей метронома вообще. (Из дневника Рихтера: «Никогда не надо верить метрономным обозначениям»⁴⁴; это, я бы сказал, – другая крайность, но показательная для «амплитуды» проблемы.) «Антиискусство» зиждется, в большой мере, на невежестве – поэтому и возможна подмена критерия, о которой говорит Геннадий Николаевич. Люди не знают историю искусства, не знают самое искусство: не понимают толком, что это вообще такое, как это бывает(-ло?!), чем это может быть.

Приходит ко мне студент с бетховенской сонатой ор. 53 (т. н. «Авророй»). Натурально, окончил музыкальную школу, потом училище. За роялем несет нечто несусветное. Останавливаю: спрашиваю, в чем, собственно, дело. «Я чувствую, что здесь железная дорога, – слышу в ответ, – а мне сказали, что рассвет, и я не понимаю, как быть». (Помнишь, ты спрашивал про художественный образ? Вот, пожалуйста...) Выдавливаю из себя разъяснение: мол, для начала корректно сыграйте написанное в нотах, а там видно будет – железная, проселочная, канатная, рассвет или закат. «А разве музыка – не средство?» – спрашивает юноша, проучившийся музыке больше десятка лет. И попробуй ему с ходу объясни, что такое музыка... Еще пример из моей практики. «Может быть, то, что я говорю, и неправильно, – доверительно сообщает студентка, – но таково мое мнение». Вопрос, какой смысл иметь неправильное мнение, поставил ее в тупик. Во многих головах нынче, говоря классическими словами, разруха. И с историей дела, ее знанием это связано напрямую.

⁴³ Геннадий Рождественский: «Дирижирование – хитрая вещь» // газета «Смена» от 31.08.2001.

⁴⁴ Монсенжон. С. 155.

Забавную сценку описывает проф. Г.Б. Гордон в книге о Гилельсе: девочки-школьницы пришли *по заданию педагога* в магазин за записью Второго концерта Бетховена в исполнении «только Рихтера», отродясь этот концерт не игравшего. Когда им сообщили о последнем факте, подружки в ужасе бросились вон – «этого не могло быть, потому что не могло быть никогда», земля ушла из-под ног. Так их учили: вся музыка покоится в черепе Рихтера⁴⁵ (и почему все-таки в черепе, а не в голове? какое, я бы сказал, неожиданное скальпирование...), любой пианист рядом с Рихтером – что Надсон рядом с Пушкиным, самое высокое – самое доступное, и проч. и проч. Ты уж прости, что приходится возвращаться к эмоциональным высказываниям твоего великого деда. Впрочем, другие не отставали – вспомним легендарную сентенцию великого Светланова про рихтеровское прочтение музыки как «единственно верное». Если кто забыл, учение у нас тогда тоже было единственно верное (обо всем этом пишет проф. Гордон). Вот еще характерная цитата (уже, так сказать, по прочтении классиков): «*В отличие от других пианистов* (курсив мой. – МЛ), Рихтер умел раствориться в исполняемой им музыке. В ней в полной мере раскрывалась его гениальность». (<http://www.classic-music.ru/richter.html>).

Такие представления размножались гигантской пропагандистской машиной десятки лет, промывая (вернее, засоряя) множество мозгов – создавая в них разруху. Для того чтобы в отечественную печать попали материалы, в которых говорилось, что бывали и другие пианисты не хуже (а в чем-то, *horribile dictu*, и лучше; впрочем, выстраивание больших артистов по ранжиру – нонсенс, но тогда «выделение» Рихтера и замалчивание других тем более дико), что отнюдь не вся музыка исполнялась Рихтером (это и невозможно, да и не нужно, наверное), что разговоры о «растворении в исполняемой музыке», да еще «в отличие от других пианистов», сильно отдают профанацией, что «доступность», «театрализация», «спецэффекты» и т.п. вовсе не всегда идут музыке на пользу, наконец, чтобы

⁴⁵ <http://www.sviatoslavrichter.ru/articles.php?show=33>

появились рассказы о самом Святославе Теофиловиче вне контуров его «виртуального двойника», – понадобились долгие годы и крах советской власти.

Одним из первых об опасности этой тенденции сказал в уже упоминавшейся статье «После конкурса» Л.А. Баренбойм. Когда Ван Клиберн сыграл Фантазию Шопена не по-нейгаузовски, Рихтер критиковал его в «Советской культуре» (почему-то эту статью не спешат перепечатывать): Клиберн-де играет себя, а не автора⁴⁶. В качестве автора подразумевался, видимо, Генрих Густавович (или сам Святослав Теофилович?) – ссылки Рихтера на такое понятие, как чувство стиля, в данном случае едва ли убедительны. Между тем, сам Г.Г. Нейгауз, судя по его статье, отнесся к трактовке Клиберна благосклонно⁴⁷. Баренбойм – чуть ли не единственный, кто в те годы отважился печатно возразить Рихтеру (и твоему деду, кстати, тоже – в рецензии на первое издание его книги – автор в ответ весьма агрессивно обругал рецензента, но «мимо»: это доказал проф. Г.Б. Гордон⁴⁸), – указал, среди прочего, что исполнение Клиберна имеет сходство с концепцией Антона Рубинштейна (насколько о последней можно судить по сохранившимся свидетельствам). Но нет: то «не Шопен», зато Шопен (как и всякий другой автор) в интерпретации Святослава Теофиловича – истина в первой и последней инстанции, наивысшая степень верности автору, эталон, объективность. Надо только смотреть в ноты – всего делов...

⁴⁶ Рихтер С. Радостные впечатления // «Советская культура», 15 апреля 1958 г.

⁴⁷ См.: Нейгауз Г.Г. Мои впечатления // Размышления. Воспоминания. Дневники. Избранные статьи. Письма к родителям. М.: Советский композитор, 1983. С. 217.

⁴⁸ См.: Баренбойм Л. После конкурса // Сов. музыка, 1958. – № 7; Баренбойм Л. Книга Г. Нейгауза и принципы его школы // Сов. музыка, 1959. – № 5; Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры (предисловие ко второму изданию), – М., 1962; Гордон Г. Импровизация на заданную тему // «Волгоград-фортепиано-2000». – Волгоград: Л.Б.Ф., 2000.

Юдина перед смертью продиктовала нечто вроде музыкального завещания (за ней записывал, по иронии судьбы, не кто иной, как Соломон Волков, в то время сотрудник журнала «Советская музыка»), показав порочность и пагубность этой концепции (на первый взгляд, «сверхскромной», а не поверку – крайне дерзновенной: претензия на конгениальность великому композитору; эпитет «горделивое» использован не случайно). «Претендуют на безусловность прочувствованного, продуманного и высказанного, но таковой нам не дано, – говорит Юдина. – Горделивое осознание такой безусловности есть фикция, и оно ничего общего с реальностью не имеет и иметь не может»⁴⁹. Но Юдина – это «своеобразно», «спорно», ей «не все удастся в равной мере». Последнее, впрочем, не о Юдиной – это из предисловия Я.И. Мильштейна к сборнику воспоминаний о Софроницком⁵⁰. Только Рихтеру удастся все и в равной мере, а именно безмерно: по Мильштейну, «никакая похвала не кажется достаточной, когда оцениваешь игру Рихтера»⁵¹... Кстати, Рихтер, при общей положительной оценке, упрекал Юдину в... недостаточной честности по отношению к исполняемому⁵².

ГН: Кажется, для Рихтера существовал единственный образец «честности в искусстве» – Наталья Григорьевна Гутман...⁵³.

МЛ: М-да. Прекрасная виолончелистка, кто бы спорил, но... Вряд ли было бы разумно ожидать от Рихтера полного согласия с Юдиной, однако необходимость выбирать выражения это едва ли упраздняет.

...Кому как не россиянам знать, что искаженная история отзывается уродством в настоящем?.. Хорошо

⁴⁹ Юдина М.В. Мысли о музыкальном исполнительстве // Лучи божественной любви. – М.;СПб.: Университетская книга, 1999. – С. 297.

⁵⁰ Воспоминания о Софроницком. – М., 1982. С. 3.

⁵¹ Мильштейн Я., На вершинах искусства // «Советская музыка», 1968, № 1.

⁵² Монсенжон. С. 56.

⁵³ Монсенжон. С. 257.

написал А.С. Церетели: «История мстит. Воззрите на музыкальную жизнь сегодня, попытайтесь найти в ней что-либо значительное – вне навязанных телевидением штампов. ...Нельзя не видеть главного: в отсутствие серьезной критики именно телевидение берет на себя роль пропагандиста, учителя и проповедника того, что считает музыкой. Только музыка ли это? И не сокрыто ли ее лицо в том самом тумане?» (имеются в виду систематические искажения истории музыки)⁵⁴ На мой взгляд, лучше поставить вопрос шире: дело не только в том, что современная критика свелась, по существу, к рекламе/антирекламе и как таковая почти утратила свойства музыкального профессионализма, – оный профессионализм практически по всему миру, «на всех фронтах», включая и критику, и музыкальное образование, и концертную работу, и аудио-видеоиндустрию, вытесняется коммерчески ориентированным суррогатом, ширпотребом, говоря по-русски.

В качестве примера можно было бы сослаться на тот же казус Норрингтона (английский коллега рассказывал, что среди его соотечественников-музыкантов применительно к деятельности сэра Роджера бытует поговорка «rogered music»; здесь, я извиняюсь, непереводаемая игра слов – на мой взгляд, точная и остроумная: не все, стало быть, еще потеряно.), но это еще далеко не худший вариант. Идем в интернет, открываем филармоническую афишу... В самых крупных городах еще туда-сюда, а в основном – джаз, фольклор, эстрада... Из так называемой академической музыки – «Композиторы и их любовники», «Учителя и их друзья», «Классик-гоп-стоп-хит-коктейль», «Дуэт трех козлов», «Молодые таланты и старые бездарности» – все в таком роде. А нормальные-то концерты где?.. Их очень мало. Музыка как таковая будто сгинула.

Понятно, что это не может не быть вызвано различными причинами, но неадекватность знаний, в том числе исторических, явно в числе этих причин. Музыкае надо

⁵⁴ Церетели А.С. «Должно быть больше тумана...» // Волгоград-фортепиано-2008. – Петрозаводск, 2005.

учить, как учат, скажем, литературе: прежде всего, на классических образцах – для этого, вроде как, филармонии существуют... Денег нет? Жаль, конечно, но, по моему опыту, главная проблема не в этом. «Разруха в головах». Приедешь иной раз в райцентр, в музыкальную школу (филармоний там не бывает), – будут слушать два часа с разинутыми ртами и взрослые, и дети; причем не танго Пьяцоллы, а, скажем, «Крейслериану» Шумана. Понимай, как знаешь. По-моему, им еще просто не успели испортить вкус ширпотребом и задурить головы демагогией. Находятся люди, которым музыка нужна и нужно, чтобы ее слушали. Spiritus, как говорится, flat ubi vult.

ГН: Однако, к вопросу об «исторической правде»...

МЛ: Да вот это все и есть вопрос об исторической правде – в самой, так сказать, прикладной его части. Знание истории предмета есть неотъемлемая часть понятия о нем самом. История – это не столько прошлое, сколько настоящее или, если угодно, вечное. Вечности заложники у времени в плену – нас ради. Отбыв плен у времени, возвращаются в вечность.

Впрочем, перехожу к собственно прошлому. Известны слова философа Витгенштейна (брата искалеченного на войне пианиста, для которого написаны леворучные концерты Равеля, Прокофьева и Рихарда Штрауса): «Факт – это то, чему случилось быть». Но это и без философа вроде понятно... Разумеется, историки выработали некие критерии достоверности, но важны не только сами факты, но и их трактовка, уместность обнародования... «De mortuis aut bene aut nihil» – хорошо бы, да мало реалистично, как показывает практика: исторические фигуры часто вызывают споры – одно и то же может быть для кого-то bene, а для кого-то male. Кроме того, я считаю принципиально важным, *кто* сообщает о том или ином событии: непосредственный ли свидетель или говорящий с чужих слов. И еще – *как*: в каком тоне, с какой целью... Знаменитый историк Зайончковский говорил (по памяти цитирую): «Физик может быть подлецом, а историк – нет». В том смысле, что подлец – уже не историк.

Получается, что историческая правда, как и многие ее частности (например, обсуждавшийся нами Urtext), – это *проблема*, т.е. нечто, в каждом случае требующее *решения*.

...О Соломоне Волкове я малость устал говорить. Изученные мною его книги как раз не удовлетворяют основным критериям историчности. Знаменитый опус под названием «Testimony», преподнесенный как воспоминания Шостаковича и за прошедшие после опубликования в переводах на иностранные языки тридцать с небольшим лет так и не изданный по-русски, практически не имеет атрибутов авторизации; зато энергичные возражения И.А. Шостакович и Б.И. Тищенко, как и множественные точные совпадения с другими опубликованными текстами (и Шостаковича, и других авторов), дают, на мой взгляд, достаточно оснований для того, чтобы смотреть на «Testimony» не как на мемуары, а как на некую компиляцию. «История культуры Санкт-Петербурга...» содержит много недостоверной (и просто неверной) информации. Поскольку автор книги в журнальном интервью назвал ее «историей мифа о городе»⁵⁵, то вообще непонятно, причем здесь историческая правда. Но речь вроде как идет о реальных, исторических людях и их делах...

На примере Гумилева видно, что Волкова прежде всего интересуют сальные аспекты жизни, а прославившая этого человека поэзия – где-то по боку (нет ни «Капитанов», ни «Жирафа», ни «Волшебной скрипки»...). И, конечно, сюжет про «наркомана» Софроницкого (Р.В. Софроницкая-Коган назвала его «бессовестным враньем»⁵⁶). Доказательств, или хотя бы веских аргументов, – никаких. Живы люди, близко знавшие Софроницкого, – хоть бы один подтвердил. Нет, гневно оспаривают. Сплетня такая, по-видимому, действительно ходила, но... как бы это сказать помягче...

ГН: А не надо помягче.

⁵⁵ «Петербургский миф Соломона Волкова» // Журнал "Чайка", № 5, 2001.

⁵⁶ См. открытое письмо Р.В. Коган С.М. Волкову // «Новое русское слово», 15 июня 2001 г.

МЛ: ...То, что память о великих людях коммерчески эксплуатируется таким образом, – на мой взгляд, мерзость. Это «попса», профанация, «жанр эртертейнмента», «продажа слона» – то самое, от чего наступает разруха в головах: люди верят, делают выводы.... Я очень удовлетворен тем, что редакция словаря Гроува по настоянию Вивианы Софроницкой эту распространившуюся с руки (какой, уточнять не стану) Волкова дрянь из статьи о Софроницком изъяла. (<http://musica.4bb.ru/viewtopic.php?id=124&p=4>) Шутка ли сказать, не жалели места – и в аннотациях к дискам мелькала все та же фраза из «Testimony» про «alcohol and drug abuse»!⁵⁷ Прочие книги Волкова мне знакомы поверхностно, поэтому говорить о них не буду.



Владимир Владимирович Софроницкий

Вообще же частная жизнь, разумеется, может иметь историческое значение – примеров масса.

Когда бы не Елена,
Что Троя вам, ахейские мужи?

⁵⁷ Злоупотребление алкоголем и наркотиками – англ.

И даже такой вдвойне щекотливый аспект, как сексуальная ориентация. В сравнительно недавно изданных дневниках Прокофьев немало пишет о Дягилеве и его «мальчиках» – как их личные отношения влияли на то, например, кто будет либреттистом «Блудного сына», как складывались отношения либреттиста и композитора, – там до суда доходило!

Или – совсем свежий пример. Вышло наиболее полное собрание писем твоего деда (подготовленное, насколько я знаю, с участием покойной Милицы Генриховны). Помимо прочего, там упоминается кампания по борьбе с консерваторскими гомосексуалистами (1959 г.), поломавшая немало судеб музыкантов, в том числе крупных⁵⁸. А я еще слышал по телевизору отставного полковника КГБ Любимова, рассказывавшего, как его ведомство использовало консерваторскую профессию для вербовки иностранных дипломатов с соответствующими наклонностями. То есть, люди ходили, с одной стороны, под уголовной статьей (на всякий случай напоминаю, что за мужеложство в СССР полагалась тюрьма), а с другой – под соответствующим «колпаком». Можно ли впредь замалчивать эту ситуацию?! Разумеется, необходим такт: ни одна фамилия не должна быть названа без согласия ближайших родственников, пока те живы. Но ведь все равно тайное становится явным: комментатор писем прав, говоря, что эта история знаменита, – она обрастает слухами, сплетнями... Дефицит надежной информации тому только способствует. Упоминает эту историю и Юдина (в опубликованном ныне письме к Бахтину)⁵⁹. А вот цитата из совсем недавнего интервью известнейшего профессора МГК: «Консерватория переживала трудные времена. По определенным причинам были вынуждены уйти...» – и следуют три знаменитые фамилии. Ссылку не даю умышленно – по определенным причинам...

Еще примеры из той же книги. Полностью приведены письма твоего деда к твоей бабушке времен

⁵⁸ Нейгауз Г.Г. Письма. – М.: Дека-ВС. 2009. С. 557-558.

⁵⁹ См.: Юдина М.В. Лучи божественной любви. – М.;СПб.: Университетская книга, 1999. – С. 387.

ухода последней к Пастернаку. Это – документы большой драматической силы. Вероятно, решение печатать их – правильно, особенно потому что этот сюжет стал предметом множественных таблоидных спекуляций. Кроме того, в нескольких письмах твой дед пишет о пожизненном несчастье своего сына, твоего отца – еще бы он об этом не писал... И в ряде мемуаров эта тема затрагивается – например, у Воскобойникова: «Писать о Стасике и не говорить о его болезни, слабости, трагедии – почти не имеет смысла. Без нее он был бы другим человеком, играл бы больше, наверное, еще лучше, уверенней... Но и без этой болезни – был бы не Стасик. А я его любил и люблю, каким он был»⁶⁰. Мне кажется, безусловно. Ты согласен?

ГН: С Воскобойниковым? Нет, не согласен. И согласия родственников не было.

МЛ: Последнего я не знал... Жаль, что так вышло.

Так или иначе, совсем другое дело, когда эту деликатную тему затрагивают люди, не бывшие близкими с твоим отцом, да еще в нравоучительном тоне. С пониманием отношусь к тому, как вы с Гавриловым приложили проф. Н.А. Петрова за его телеинтервью с А. Карауловым (к сожалению, мне не удается найти его в Интернете и дать ссылку: передача уже довольно давняя, но, уверен, памятная многим). Уважаю пианистические достижения Николая Арнольдовича, признателен ему за высокую оценку моей работы, однако считаю, что публичные выступления вроде вышеупомянутого не делают чести никому. Другое дело, что и Гаврилову выразиться, на мой взгляд, следовало поаккуратнее: его слова выглядят как насмешка над физическим недостатком, хотя явно имелась в виду претензия морального порядка (ср. известное стихотворение Пастернака⁶¹). К тому же, ваш читатель может попросту не знать, за что именно вы ругаете Петрова.

⁶⁰ См.: Воскобойников В., О самом любимом и дорогом. О самых любимых и дорогих // Нейгауз. Цит. изд., с. 416.

⁶¹ Стихотворение «Куль личности забрызган грязью» (1956), где есть такие строки:

И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,

По-моему, надо было сказать хотя бы в сноске и о телепередаче с Карауловым, и о событиях 2004 года, когда Гаврилов дал пару интервью⁶², где, что называется, нестандартно (и, прямо скажем, не особо почтительно) говорил о Рихтере. Андрей возвращался к этой теме не раз (и в вашем разговоре немало об этом), но наиболее емко и ясно, как мне кажется, его позиция выражена в интервью украинской газете «Зеркало недели»: «Дело в том, что Рихтер – человек-маска. И в маске он проходил всю свою жизнь. Рихтера никто не знает, даже те, кто, казалось бы, знал его близко. Он раскрывался перед очень малым количеством людей. Это был совершенно другой человек – шекспировских трагедий. Это была смесь Гамлета-мстителя с королем Лиром – в той же степени накала, возвышенности и страстей. Рихтер был очень опасен – причем до такой степени, что последствия могли стать фатальными». Андрей Гаврилов, как известно, довольно долго и тесно общался с покойным Святославом Теофиловичем. На мой взгляд, здесь есть этическая проблема, но именно и опять же *проблема*, т.е. вопрос сложный, а не *однозначный*. Гаврилова, пожалуй, найдется, за что критиковать и о чем с ним поспорить, – никто не обязан всем нравиться, – но проф. Петров⁶³ и покойный ныне проф. В.А. Берлинский⁶⁴, высоко чтимый мною мастер, «в лучших традициях» выступили с «гневом и возмущением», отнюдь не постеснявшись ни в выражениях, ни в переходах на личность, ни во вторжениях в частную жизнь оппонента. Проф. Берлинский (он хотя бы много сотрудничал с Рихтером, чего нельзя сказать о

Фотографические группы

Одних свиноподобных рож.

⁶² См: Не стреляйте в пианиста! // «Московский комсомолец» // <http://www.mk.ru/editions/atmosphere/article/2004/05/01/114364-ne-strelyayte-v-pianista.html> и Андрей Гаврилов: «В СССР я был обычным карбонарий – держал фигу в кармане и плевал на правительство» // «Известия» от 02.02.04 // <http://www.izvestia.ru/person/article43772/>.

⁶³ Николай Петров: «Это бесстыдный стриптиз» //

⁶⁴ «Стреляйте в пианистов» //

<http://www.izvestia.ru/culture/article44065/?print>

проф. Петрове) вовсе предложил в Гаврилова стрелять. А возражения по существу если и были, то несущественные и неточные. Неужели такие ответы достойны, могут быть убедительны и восприниматься как серьезная дискуссия?.. (Выступления проф. проф. Петрова и Берлинского я резко критиковал – как, впрочем, и давнее интервью Гаврилова – сразу по их появлении в газете, поэтому теперь на сей счет моральных затруднений не испытываю).

Ты, кстати, сам скажи – ты ведь тоже знал Рихтера (я-то шапочно): то, что говорит о нем Гаврилов, на твой взгляд, соответствует исторической правде?

ГН: Думаю, да. Хотя я тоже был с ним знаком особенно близко. Просто не хотел сближаться с теми, кто «правил бал». На меня он производил немного отталкивающее впечатление. Был способен на мелочность, но был способен и на какое-то добро. В отношении интерпретации – раньше он был мне предельно чужд. Я тогда был весьма наивен, и не знал, что мои сгоряча ляпнутые где-то слова «тиражируются» сплетниками. Сейчас я все чаще слушаю его записи, многое мне начинают нравиться. От некоторых записей я просто в восторге.

Но в целом, наверное, соответствует. Моей задачей было «разговорить» Андрея, а не выставлять свое мнение. Сейчас я тоже пытаюсь донести до читателя *твои* мысли, а не свое мнение (которое имеет право быть прямо противоположным). К сожалению, это не всегда удается.

МЛ: Вот и мне кажется, что скорее соответствует. Во всяком случае, соответствует опубликованным документальным источникам. А что не соответствует лакированному псевдожитию, – что ж теперь поделаешь... «Тьмы низких истин нам дороже...»

Когда один из рихтеровских историографов В.Н. Чемберджи «на голубом глазу» сообщает читателю, что свою книгу («...В тот момент, когда он проходил мимо, нам попросту было страшно, страшно оттого, что вблизи проходил человек, представляющий собой легенду двадцатого века, недостижимый и далекий, как небожитель,

гений, живущий среди нас, позволяющий иногда послушать себя, погрузиться в его космический мир, вновь и вновь являющий свои запредельные, сверхчеловеческие силы служителя Музыки»⁶⁵ – это из первого издания, вышедшего при жизни Рихтера; в таких тонах выдержан весь опус) она *перед публикацией читала Святославу Теофиловичу вслух и получила его одобрение* («Рихтер одобрил рукопись и на первой ее странице написал: “Хочу, чтобы было так. Спасибо. Святослав Рихтер”»), а другие книги, как сообщает та же Валентина Николаевна абзацем выше, Рихтер отверг (интересно, что это были за книги), и *их наборы были рассыпаны* (откуда бы у пианиста такие полномочия?..), – как не вспомнить слова Гаврилова о Рихтере как о «великом имиджмейкере»?

Когда читаешь дневники Рихтера, которые он сам передал Б. Монсенжону для публикации (А.С. Церетели справедливо заметил, что «в таком случае всё, что окажется не соответствующим правде, не сможет быть истолковано как случайная погрешность текста, не предназначенного для посторонних глаз»⁶⁶), и видишь циничную остроту (?) по поводу страшной смерти известного многим редактора с фирмы «Мелодия» или такую, например, запись об опере Кшенека «Джонни наигрывает» (в интернет-варианте моей рецензии этой цитаты нет): «...В тридцать втором году [? – МЛ] ее насильно выключили из репертуара (как расовую дискриминацию [?! – если кто не знает, главным героем оперы Кшенека является чернокожий. – МЛ] – конечно, еврей Геббельс [?! – МЛ] постарался...)»⁶⁷, – как, опять же, не вспомнить суждение Гаврилова о Рихтере-человеке?.. Или – когда Рихтер повествует о краже хрустального креста с могилы Скрябина (1925), называя разграбление могилы «чисто русским обычаем»⁶⁸...

⁶⁵ Чемберджи В., «В путешествии со Святославом Рихтером». – М., 1993. С. 8.

⁶⁶ Церетели А.С. «Должно быть больше тумана...» // Волгоград-фортепиано-2004. – Петрозаводск, 2005. С. 211.

⁶⁷ Монсенжон. С. 412.

⁶⁸ Монсенжон. С. 232.

Когда читаешь резкие слова Рихтера («жуткий тип» и т.п.) о прославленном дирижере К.И. Элиасберге⁶⁹ (помимо прочего, блокаднике: именно он провел ленинградскую премьеру Седьмой симфонии Шостаковича в августе 1942 г.), которому «вменяется» всего-навсего банальная реплика на репетиции (мол, повторяйте пассаж дома, а не при оркестре), – как не вспомнить слова В.К. Мержанова о нетерпимости Рихтера к критике?⁷⁰ Кстати, замечание М.И. Гринберг о рихтеровском исполнении сонаты Листа («как на китайском языке») Святослав Теофилович не преминул вспомнить через несколько десятилетий (см. книгу В.Н. Чемберджи; даже Н.Л. Дорлиак в воспоминаниях о Гринберг припомнила ей «афронт»⁷¹). Между прочим, именно этой чертой рихтеровского характера В.К. Мержанов объясняет прекращение дуэта Рихтер–Ведерников. (Вообще, по мнению Виктора Карповича, Рихтер сыграл в жизни Ведерникова отрицательную роль⁷²).

В мемуарном разделе книги Монсенжона–Рихтера просто живого места нет: грубое искажение семейной драмы Прокофьева, клевета и сплетни о Гилельсе, небылицы о Ведерникове и о твоём деде Генрихе Густавовиче (и, разумеется, ни слова о роли Гилельса в его спасении в 1941-44 гг.), десятки других несуразностей и, я бы сказал, уязвимых мест... Когда читаешь рассказ о конкурсе 1945 г. – мол, жюри не хотело давать Святославу Теофиловичу 1 премию из-за его немецкого происхождения и понадобилось заступничество Молотова (?!), – в то время как сам же Рихтер пишет (и целый ряд авторитетных свидетелей подтверждают), что неудачно играл в последнем туре 1-й концерт Чайковского, а основной его конкурент Мержанов (он, в конце концов, разделил с Рихтером 1 премию),

⁶⁹ Монсенжон. С. 54.

⁷⁰ Беседы Арама Гушяна с проф. В.К. Мержановым // Волгоград-фортепиано-2008. – Волгоград, 2008. С. 102-103.

⁷¹ См.: Мария Гринберг. Статьи. Воспоминания. Материалы. Сост. и лит. ред. А.Г. Ингера. – М.: Сов. композитор, 1987. С. 65.

⁷² Цит. изд.

напротив, превосходно исполнил 3-й концерт Рахманинова⁷³, – просто теряешься в догадках...

Помню, еще в школе мы с ребятами смеялись над навязшей в зубах аннотацией к пластинкам: «...В 1937 году Рихтер переезжает в Москву и поступает в консерваторию в класс профессора Г.Г. Нейгауза. Уже отдельные выступления Рихтера на студенческих вечерах (в частности, исполнение Фантазии до мажор Шуберта, Сонаты си минор Листа и особенно Прелюдий Дебюсси) показали, что в его лице растет пианист необычайного размаха. С 1940 годов Рихтер безраздельно посвятил себя пианистическому искусству, неустанно совершенствуя свое мастерство. В 1947 году Рихтер блестяще заканчивает консерваторию...» С каких пор в консерватории учатся десять лет и по окончании попадают на мраморную доску – при том, что ни в армии во время войны (как многие его соученики – в их числе Мержанов), ни в ссылке (как множество советских немцев – среди них знаменитый впоследствии пианист Рудольф Керер и проф. Е.Р. Рихтер), ни даже в эвакуации Рихтер не был? Милица Генриховна пишет, что столь долгое обучение в консерватории было вызвано несдачей экзаменов по марксизму. Но это мало что объясняет, на мой взгляд. В *те* годы, с *такой* анкетой безнаказанно «шутить» с *той* кафедрой?.. Как известно, Г.Г. Нейгауз, учитель и главный покровитель Рихтера, в 1941-44 гг. был в тюрьме и ссылке...

Кстати, книга Монсенжона-Рихтера – наглядная иллюстрация, я бы сказал, условной реалистичности принципа «*de mortuis aut bene aut nihil*»: покойникам раздаются оплеухи направо и налево. Люди читают, прежде всего, именно эту книгу, так как Рихтер пользуется огромной популярностью, имя Монсенжона тоже авторитетно, да и жанр, прямо скажем, не скучный. Читают и принимают за чистую монету, чему уже есть подтверждения в разноязыкой печати (не говоря об Интернете). Так что же – применять названный принцип к Рихтеру, оставив других опороченными?.. Гилельс чуть ли не убил Г.Г. Нейгауза, – а не спас ему жизнь, рискуя своей?

⁷³ Монсенжон. С. 59-60.

Сам Генрих Густавович сидел на Лубянке всего два месяца (на самом деле девять), а потом, сумев обаять НКВДистов, преспокойно уехал в эвакуацию? Прокофьев был негодяем, – а не зарегистрировал брак, длившийся к тому времени семь лет (только *после* этого его первую жену арестовали)? Родители Ведерникова бросили его в Китае (ничего похожего не было)? Не говоря о «мелочах», вроде того, что Мравинский-де отказался играть Двенадцатую симфонию Шостаковича, хотя именно он был ее первым и многократным исполнителем (отказался он от Тринадцатой).

А как понимать дневниковую запись от 23 декабря 1978 г. (Святославу Теофиловичу 63, он активно концертирует), в которой Рихтер вдохновенно пишет о часто исполнявшейся им с Ойстрахом скрипичной Сонате f-moll Прокофьева (соч. 1939-1946 гг.; упомянута премьера в 1946 г.), прибавляя: «посвящена Ойстраху к 60-летию»⁷⁴? Разумеется, к 60-летию Ойстраха (1968) написана Соната Шостаковича, а не Прокофьева, и Давид Федорович со Святославом Теофиловичем были ее, сонаты Шостаковича, первыми исполнителями (сонату Прокофьева Ойстрах впервые играл с Обориным). И в каком свете предстает Рихтер?..

Почему все это попало в печать, куда смотрел Монсенжон, о чем думали душеприказчики Рихтера и издатели книги, – я не знаю. Может быть, Рихтер не всегда отвечал за свои слова; может быть, имели место множественные недоразумения при записи/переводе/редактуры; возможно, и то и другое, или что-то еще... В рецензии я эти предположения высказал, но меня никто не поддержал (за исключением Милицы Генриховны – это теперь могут засвидетельствовать ее сыновья). Никто из близких Святослава Теофиловича, из именующих себя членами «банды Рихтера» публично не поставил под сомнение аутентичность его слов в книге Монсенжона. Получается, что Рихтер действительно в здравом уме и твердой памяти так думал и чувствовал – «Рихтер как он есть» (название мемуарного раздела

⁷⁴ Монсенжон. С. 205-206.

книги)?!.. Все довольны?! Кстати, мне не известно, чтобы кто-либо из этих дам и господ публично оспорил и Гаврилова (реплики проф. проф. Петрова и Берлинского все же не в счет...).

ГН: «Банда Рихтера»?!

МЛ: А это такой юмор у проф. проф. Н.Г. Гутман и Ю.А. Башмета (последний, как известно, руководит нынче «Декабрьскими вечерами»). Насколько я знаю, предложений стрелять в Наталью Григорьевну и Юрия Абрамовича не поступало; спасибо и на том.

Воспользуюсь-ка я случаем и представлю читателю новое *bon mot* проф. Башмета. Я ведь телевизор редко смотрю, но на гастролях, когда из-за разницы во времени не сплю, иной раз случается. В новостях – репортаж об открытии фестиваля в Сочи, посвященного предстоящей в 2014 г. Олимпиаде. Маэстро, только что из Ванкувера с открытия Олимпиады-2010, выступил в ансамбле с некоей вполне кабаретной певицей, от чего публикум испытал, естественно, «драйв». А затем Юрий Абрамович говорил о сходстве музыкантов и спортсменов: по его мнению, и те, и другие суть *олигархи духа*. Думаю, греха против истины здесь нет, – если только не подразумевать всех музыкантов и слово «олигарх» понимать в узком, современном смысле. Накануне в сходных обстоятельствах я смотрел трансляцию другого концерта сочинского фестиваля – когда олигарх духа широким ауфтактом дал вступление прихлопам публики под музыку увертюры к «Кармен» (играли скрипичную парафразу Ваксмана, солист Репин), я все же ящик выключил. Потом удивляемся, что во время концертов в зале телефоны звонят. Десять лет назад мне самому довелось участвовать в аналогичном действе: и тогда фиговым листком (пантомимой актера Ярмольника под «Карнавал животных» Сен-Санса) слегка прикрывалась очевидная неподготовленность программы – отменно плохо мы играли, практически не репетируя (ввиду недоступности маэстро Башмета и его оркестра, разумеется).

ГН: Из «бандитов» – в «олигархи»?

МЛ: ...Такое впечатление, что сохранение доброй памяти о Рихтере этих господ не особенно заботит – было

бы «камлание». Вполне солидаризируюсь с проф. Г.Б. Гордоном, назвавшим фразу из статьи В.Н. Чемберджи о Рихтере как о единственном Учителе со времен Льва Толстого «вызывающей бестактностью»⁷⁵. Там у Валентины Николаевны еще дальше не слабо: «Пока жил Святослав Теофилович, незыблемы были точки отсчета на шкале жизненных и музыкальных ценностей. В двух шагах подстерегало чувство стыда, которого страшились даже те, кто не так уж высоко ценил моральные установления, но, зная, что они все же существуют, в душе побаивались не считаться с ними. Но уж для тех, кто никогда о них не забывал, словно бездна разверзлась (когда Рихтера не стало. – МЛ.)». Эти, я бы сказал, маловысокохудожественные словеса написаны через год после выхода книги Монсенжона (по-французски) – со всеми ее, так сказать, странностями. Трудно представить, чтобы автору приведенных цитат последняя не была известна: цитируемая статья – реклама фильма «Рихтер непокоренный», сделанного Монсенжоном на том же материале. Хороши, однако, «незыблемые точки» у «никогда не забывающей о моральных установлениях» г-жи Чемберджи (хотя не вполне понятно, кого подразумевают ее безличные конструкции)!..

И неужели Святослав Рихтер, столь кинематографично «себе не нравящийся» (если кто не знает, на этой ноте заканчивается фильм Монсенжона), действительно *хотел*, чтобы в книгах и статьях о нем было *так* – пошло, неверно по существу и... с «незыблемыми точками» (у проф. Гордона, пожалуй, лучший подбор эпитетов: «крикливыми красками, выпренно, с безвкусными преувеличениями»⁷⁶)?

Торгует чувством тот, что перед светом
Всю душу выставляет напоказ.
(Шекспир, Сонет СII, пер. С.Я. Маршака)
В оригинале, кстати, еще «актуальнее»:

⁷⁵ Гордон Г.Б. Импровизация на заданную тему // Волгоград-фортепиано-2000. – Волгоград, 2000. С. 186.

⁷⁶ Гордон Г., Эмиль Гилельс (за гранью мифа). – М.: Классика-XXI, 2007. С. 255.

That love is merchandized, whose rich esteeming,
The owner's tongue doth publish every where.

Разумеется, в книге Валентины Николаевны ценного материала немало, но немало и «пены». Рассказы Гаврилова тоже очень ценны. Просто задачи у этих авторов явно разные, да и Рихтер, вернее всего, поворачивался к каждому из них разными своими сторонами.

Объективных оснований для нападков на Гаврилова (не имею в виду нормальную критику, дискуссию по существу вопросов) я не вижу. Другое дело – поводы субъективные: они явно налицо у «профессиональных рихтеристов». Вот уж кто ждать себя не заставляет и в методах не стесняется.

Дневники Рихтера издавал ведь не только Монсенжон: в 2007 г. они вышли отдельной книгой, подготовленной ГМИИ им. Пушкина⁷⁷. Когда я об этом узнал, то понадеялся, что разрешится недоумение от монсенжоновской публикации: как-никак, крупнейший музей – с их-то опытом научной работы. Ан нет. Положим, текст подготовлен тщательнее, чем у Монсенжона, хотя ошибок немало и в издании ГМИИ (список замеченных мною – по требованию). Дневники (их, кстати, дневниками не очень-то правильно называть – большинство записей явно сделаны *a posteriori*, что подтверждает и автор комментариев М.П. Пряшникова, – скорее, это некие фрагментарные воспоминания) откомментированы, но, по моему, достаточно поверхностно и тенденциозно. А зверски убитый вроде как за предпочтение одной записи другой редактор, равно как и борющийся с расовой дискриминацией в опере Кшенека «еврей Геббельс», и «чисто русский обычай» грабить могилы остались без каких-либо разъяснений. Шестидесятилетие Ойстраха из заметки об *f-moll'*ной сонате Прокофьева почему-то исчезло, но комментатор молчит. Зато не молчит он в связи с рассказом о праздновании у Рихтера дня рождения Г.Г. Нейгауза в 1971 г.: «Все ученики Генриха

⁷⁷ Рихтер С. «О музыке». М.: Памятники исторической мысли, 2007.

Густавовича... были приглашены (разумеется, кроме Эмиля Гилельса)» – в комментарии приведен упоминавшийся мною фрагмент воспоминаний Н.Л. Дорлиак, изъятый при переиздании автором по просьбе М.Г. Нейгауз⁷⁸.

Директор Музея И.А. Антонова пишет в предисловии, будто русское издание дневников Рихтера в версии Монсенжона – «перевод на русский язык»; ей вторит и М.П. Пряшникова. Но как тогда объяснить почти полное текстуальное совпадение с опубликованным ГМИИ оригиналом (за вычетом чисто редакционных поправок и, видимо, нескольких купюр, раскрытых в музейной книге)? Кто сумел так перевести (дважды – с русского и обратно на русский)? «Я хочу видеть этого человека». О. Пичугин, значащийся как переводчик мемуарного раздела книги Монсенжона с французского, умудрился перевернуть даже цитату из давно напечатанного русского источника (воспоминания Рихтера о Прокофьеве⁷⁹). Эта позиция И.А. Антоновой и М.П. Пряшниковой представляется мне крайне слабой – в плане научной добросовестности и этичности по отношению к коллегам.

Научным консультантом музейного тома значится А.Ф. Хитрук. В его вступительной статье – «гнездо гения», легендарный череп (правда, автор все же заменил его головой, начав цитату сразу с младенца и рафаэлевской мадонны: это сравнение было бы кощунственным, на мой взгляд, когда бы не было так смешно) и прочее в таком роде. По Хитруку, в критических суждениях Рихтера «нет ни грамма мелочности, ни грамма ревности, зависти и всех тех достаточно распространенных слабостей, которыми грешит любая профессиональная среда». Всем все ясно? Ни грамма. Гилельс был плохой. Элиасберг был плохой. Ведерников – тоже (здесь, впрочем, комментатор пишет, что отношения не были просты). Они – «среда». А Рихтер – «над»: у него нет слабостей (собственно, конструкция привычная – еще Баренбойм указывал на «не всегда тактичные

⁷⁸ Рихтер С. «О музыке». С. 22 и 472.

⁷⁹ Ср.: Монсежон, с. 65 и 67.

сопоставления»⁸⁰ в книге Г.Г. Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры»). Бенедетти Микеланджели недостаточно любил музыку. Горовиц – недалекий. У знаменитого дирижера, названного Рихтером по имени и фамилии, – неподходящая физиономия. О другом замечательном дирижере некто сказал, что он гаденький (имена и фамилии – к услугам читателя). «Рихтер судит всех (sic! – МЛ) как бы *высшим* судом, и, надо сказать, оценки его, за редкими исключениями, оказываются абсолютно точны», – авторитетно апробирует рихтеровские высказывания А.Ф. Хитрук («перлов» в его статье много – обо всех не скажешь...).

Но вот «появляется» Гаврилов, и оказывается, что... не без изъяна *высший* суд-то. «Случалось, конечно, – продолжает научный консультант, – когда Рихтер ошибался, например, он не предугадал последующей (печальной) эволюции А. Гаврилова, свидетелями которой мы сегодня являемся». Какова легкость «суждения о *высшем* суде»! И неужели эволюция Гаврилова печальнее эволюции олигарха духа или иных «верных рихтеровцев»? Во всяком случае, мне не известно, чтобы Андрей призывал в кого-либо стрелять, а для деятеля культуры это, на мой взгляд, своего рода «акмэ» (вспоминаю знаменитое выступление Шолохова и отповедь Л.К. Чуковской). Дело вкуса, конечно. Знаю, у меня абстрактный гуманизм: не хочется отвечать А.Ф. Хитруку «партийным критиком» на «пианиста-диссидента» – я с ним давно знаком и отношусь к нему с симпатией. Но было бы все же недурно, чтобы гг. писатели помнили, что и о них могут иной раз что-нибудь написать...

Попал Гаврилов и в нелепый, двусмысленный, отменно бестактный комментарий М.П. Пряшниковой: «А. Гаврилов, сын ученицы Г.Г. Нейгауза Н.М. Егисерян (согласно официальному сайту пианиста, «А.М. Егиссерян». – МЛ) и ученик Л. Наумова, появился в окружении Рихтера в 1978 г. Посещение Рихтером его концерта в Большом зале Консерватории – свидетельство определенного увлечения

⁸⁰ Баренбойм Л.А. Книга Г. Нейгауза и принципы его школы. (По поводу книги «Об искусстве фортепианной игры»). «Советская музыка», 1959, № 5.

молодым многообещающим музыкантом. На протяжении многих лет Гаврилов был постоянным и желанным гостем в доме Рихтера и даже репетировал у него»⁸¹. Вот ведь в какое положение ставят себя творящие кумира!.. Гаврилов теперь «не наш», поэтому непременно надо «разъяснить»: у Рихтера-де возникло «определенное увлечение». Какая, однако же, талантливая медвежья услуга – и охота лезть в душу к покойнику! Пошел человек на «неправильный» концерт – ай-ай-ай! О многочисленных совместных выступлениях Рихтера и Гаврилова лучше не упомянуть, а проверить, как звали покойную маму Андрея, – фу, какие мелочи: еще возиться с мамашами всяких отщепенцев. «До жути знакомо»... Даже и «алгоритм» оговорки – «Владимир Ильич очень любил детей, но своих иметь не мог, так как был профессиональным революционером» (вот, ты спрашивал о роли интимных подробностей в истории...).



Г. Нейгауз, В. Крайнев, Л. Наумов

Напрашивается вывод: право на «высший суд» создатели книги относят не столько даже к покойному Святославу Теофиловичу, сколько к себе самим. Если кто идет вразрез с «линией партии», будь то хоть сам Рихтер, –

⁸¹ Рихтер С. «О музыке». С. 506-507.

его необходимо «по-товарищески» поправить: мол, «ошибка», «определенное увлечение». Так «промываются» мозги (см. выше о разрухе в головах). Мне бы казалось, что лозунг очень любившего детей профессионального революционера «долой литераторов беспартийных!» неприемлем для мало-мальски порядочного человека и несовместим с понятием «профессионализм», но это, конечно, – позиция гнилого интеллигента. Кстати, мне весьма антипатично, и когда иные «гилельсисты» поднимают на щит вульгарные и некомпетентные сочинения Надежды Кожевниковой. Еще в школе говорили: «Эх, был бы ты коллективистом – цены бы тебе не было»...

...Перед Андреем Гавриловым я хочу извиниться. Обсуждая в интернете его интервью 2004 г. и ответы проф. проф. Петрова и Берлинского, я назвал высказывания Андрея хлестаковщиной. Это неверно; полагаю, и ряд других сильных выражений той поры мне надлежит взять назад. Экстравертная манера Гаврилова мне несколько чужда (хотя, лучше узнав Андрея, я стал относиться к ней более лояльно), как и многое в тематике его рассказов: у меня другие вкусы и несколько другие интересы. На мой взгляд, у Андрея эмоциональный образ порой «подтапливает» смысл «размашистых» высказываний (например, когда в интервью тебе говорится о Гилельсе, – в ходе обсуждения на форуме выяснилось, что имелось в виду не совсем то, что реально сказано); некоторые формулировки оставляют желать лучшего (в том числе, в плане их этичности), но Гаврилов – и в этом его кардинальное отличие от Хлестакова – явно «не ищет выгод»: не врет и не заискивает, а говорит то, что думает, и так, как чувствует, за что и «огребает» по полной стоимости. К этому я не могу не отнестись с уважением. Как и к тому, что, имея все возможности сделаться «олигархом духа», то есть коммерческой знаменитостью: главой или хотя бы видным членом влиятельной банды, собирателем платиновых дисков, золотых граммофонов, пальмовых ветвей, нефритовых фондюшниц, терракотовых летающих мыльниц и проч., – Андрей Гаврилов все это отверг и идет своим путем.

Надо сказать, что и музыкальным единомышленником Андрея я не могу себя назвать. Но невозможно отрицать в нем очень большой талант, который одним из первых оценил по достоинству покойный Святослав Теофилович. Недавнее исполнение Гавриловым и «Виртуозами Москвы» Концерта d-moll Моцарта (в записи слушал) считаю серьезным достижением – по ясности и стройности целого, пианистической пластике – и рад поздравить маэстро. Суждения такого человека о музыке ценны «при любой погоде», кто бы и как к ним ни относился. Талант – «это страшная сила»... Даже когда Андрей в телерепортаже наигрывает Реквием Моцарта, сидя нога на ногу, слышно, *как* у него звучит рояль... Вот, собственно, самая что ни на есть историческая правда.

ГН: Ты еще про внебрачных детей хотел сказать. Или раздумал?

МЛ: Ах, да! Как же я упустил такую интересную тему. Но тут я мало что могу сказать. Установление отцовства/материнства, в отличие от многого в жизни, – с точки зрения критерия, дело простое, процедура четко формализованная. Пока и поскольку она не соблюдена, вопрос, даже и безотносительно к исторической правде, относится к области сплетен. Это к тов. Волкову С.М. и целому ряду других тов. тов. Охота пуще неволи... Желательно только, чтобы сплетники помнили, что и у них есть (или были) родители, и мало ли что в их жизни случилось...

Вот, кажется, по проблеме исторической правды у меня, на данный момент, все. Простых решений, как видим, нету. Могу лишь в очередной раз процитировать твоего деда: «*Что* определяет *как*, хотя в последнем счете *как* определяет *что*».⁸² Ну как не примазаться к ученикам Генриха Густавовича...

ГН: Ты читал комментарии к нашему с Андреем разговору. Что ты об этом думаешь? Стоит ли вообще публиковаться в таком «интерактивном» виртуальном

⁸² Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М. 1958. С. 6.

журнале? Ведь большинство хамских постов (включая весьма ненормативную лексику) так и не убраны.

МЛ: Читал, и даже написал туда разок шутки ради – когда негодяй-аноним обвинил вас с Андреем (кажется, и меня заодно) в трусости, – это был уже просто «прикол». Диву даюсь, как возбуждается от гавриловских интервью «сетевая шпана» (твой копирайт). Не иначе, у них «определенное увлечение»...

ГН: А может, новое психическое заболевание. Типа «гаврилофобии».

МЛ: ...Ну, конечно, если быть последовательным до конца, то не стоит печататься в изданиях, где хамят, – тем более, анонимщики исподтишка. Но... ведь других-то нет, как говорится в уже цитировавшейся книге (или почти нет). Недавно прочел в блоге известного тележурналиста Владимира Соловьева: «Интернет стал территорией, на которой сбываются мечты бездарных завистников... Измазать грязью ими воспринимается как стать равными». Возражать не приходится, но если следовать этой логике, то надлежит умолкнуть. Это, что называется, вариант. Сдается мне, именно этого и добиваются хамы-анонимщики (в свое время я придумал термин «народные публицисты») и те, кто использует их как «массовку». Бывает еще (надеюсь, это не есть доктрина г. Берковича), хозяева культивируют хамство ради привлечения соответствующей публики и, через это, накрутки счетчика/повышения цены на рекламу; но уж в таком случае вариантов для меня нет – и самого меня нет. Важна позиция издателя.

В конце концов, если кто-то желает прославиться хамством и/или глупостью, подлостью, злобой, выставить напоказ ту или иную собственную фобию и т. п., – отчего не предоставить такую возможность?.. Плохо только, что данный круг авторов выступает под ненастоящими именами, вследствие чего получаемая слава несколько рассеивается. Хорошо бы, так сказать, родители имели возможность гордиться детьми, а дети – родителями. В то же время, оскорбления, наносимые народными публицистами людям с именами и фамилиями, рассеиваются, пожалуй, с меньшей

скоростью, да и «осадок остается» (в поисковиках, например).

Интернет – дело юное. Думаю, постепенно все придет в норму. А норма – в том, что анонимки писать неприлично, переходить в полемике на личности также (вдвойне – когда пишет аноним), разговаривать надо вежливо и т. д. Довод, что, мол, ценность высказывания определяется исключительно его содержанием и потому авторство несущественно, представляется мне очевидно несостоятельным: смотря о чем речь, смотря кем определяется, смотря для кого несущественно... Это в математике, насколько я знаю, все подчинено строгой имманентной логике, но едва ли вся жизнь описывается математически, а даже если и вся, то уж точно не всегда в границах разумного практического применения. Когда болевают, обращаются к врачу, а не, скажем, к инкунабуловеду, хотя не исключено, что и последний может правильно поставить диагноз и назначить лечение... Памятен также классический совет некоему сапожнику судить не выше сапога.

Разумеется, в огромном числе случаев ценность суждения зависит не только от его непосредственного смысла, но и от того, *кому* оно принадлежит: как высказываемое соотносится с другими суждениями того же автора, заслуживает ли автор доверия, какое отношение имеет к предмету и проч., и проч. И какая может быть логика в оценочных суждениях (уж не говорю о перевернутых фактах) – например, «у тебя вся спина белая» или «такой-то – плохой», – когда проверить их практически невозможно?.. Это тем более важно в областях, где мало места однозначным толкованиям. В частности, когда речь идет о музыке. О человеке с музыкальным образованием известно, что ему приходилось сдавать экзамены по сольфеджио и музлитературе, – можно приблизительно представить себе, *что* он способен расслышать и *что* из музыки знает. Ненадежный критерий, но все-таки... Кроме того, профессионал дает в залог свою деловую репутацию.

Те, кто пишет гадости, прячась за бесконечно меняющимися nicknames, пользуются анонимностью для

того, чтобы безнаказанно хамить, распускать сплетни... В интерактивных передачах по радио и телевидению давно уже регистрируют номера телефонов звонящих. Думаю, это разумно: подлинное имя автора должно быть известно хотя бы редакции. Всякий должен отвечать за свои слова. Анонимщик же ни за что не отвечает и ничем не рискует. Так быть, с моей точки зрения, не должно. Участники дискуссий должны быть в равных условиях.

У нас на форуме соответствующий контингент, как уже было сказано, вычищается, – но нам не нужно размещать рекламу (та, что висит, – от владельца площадки), как не нужен нам форум ради форума... Остается лишь пожелать всем сайтам как можно скорее сделаться независимыми от, так сказать, неформатных авторов.



Йеѓуда Векслер

После спектакля



ы вышли в промозглую тьму и остановились. Моросил мелкий дождик, фонари расплывались тусклыми желтыми пятнами, толпа обтекала нас двумя потоками и рассеивалась в тумане, мимо нас в обе стороны пробегали лакеи, раздавались возгласы, подзывающие кареты знати... Однако все это казалось лишь какой-то бездарной декорацией, заслонившей от нас истинный мир, в котором мы находились только что. Контраст был слишком велик, чтобы сознание сразу могло уяснить себе столь резкий переход. Поэтому все охотно согласилось, когда Йозеф предложил зайти к нему посидеть за чашкой кофе. Жил он совсем недалеко, меньше двух кварталов, и мы решили не брать экипаж, а пройтись пешком.

В ушах у меня все еще стояли звуки оркестра: жуткие удары tutti, леденящие душу тромбоны Страшного Суда, трепет вторых скрипок... Постепенно, постепенно они отступали вдаль, и вызвать в себе прежнее ощущение становилось все труднее. Я был занят одним собой, поэтому память не сохранила ничего о пути в сыром мраке, под налетающими порывами пронизывающего ветра. Лишь когда мы расселись в кабинете-библиотеке Йозефа, на столике появился кипящий кофейник, разливший в воздухе теплый аромат, и наш гостеприимный хозяин достал из погребца сигары, ликеры и коньяк, я почувствовал, что словно проснулся или очнулся.

Наша холостяцкая компания состояла из семи человек, волей судеб занесенных к нам в Будапешт («холостяцкая» – за одним исключением: самый старший из

нас, доктор Воллини, два года назад овдовел). Развалившись в хозяйском кресле и небрежно заложив ногу за ногу, уже пускал к потолку колечки дыма Людвиг, весьма импозантный в своем военном мундире, – корреспондент венской газеты и к тому же обладатель прекрасного баса; у стола отдавали должное коньяку наши два «близнеца» – Жоржик из Лондона и Джордж из Тулузы; держа в одной руке чашечку остывающего кофе, а в другой – какую-то толстую книгу, спиной к нам застыл у стеллажа наш эрудит Лео («Уже приклеился», – недовольно пробурчал Жоржик), а доктор сидел на диване с рюмкой ликера.

(Чувствую, что должен сделать тут маленькое отступление, чтобы объяснить непонятность, возникшую, конечно, у вас, когда я упомянул «близнецов». Мы прозвали так их в шутку, имея в виду единственное, в чем они были сходны: их профессию адвоката; на самом же деле трудно было бы найти еще одну пару людей, столь непохожих друг на друга. Судьба по какой-то странной иронии наградила их одинаковыми именами, однако мы прозвали англичанина Джорджа Жоржиком за его соответствие трафаретному представлению о французе – малого роста, чрезвычайно подвижного и несдержанного на язык, а грузного и усатого провансальца Жоржа – Джорджем за то, что своей чопорностью он мог поспорить с любым бриттом).

Но я забыл упомянуть нашего хозяина, Йозефа, – потому что, как полагается истинному амфитриону, он не сразу занял место в нашем кругу, а сначала позаботился о том, чтобы после «чашечки кофе» последовало достойное нас угощение.

– Никогда бы не подумал, что этот новый капельмейстер способен воскресить такого мертвеца, как наш Придворный театр, – произнес Йозеф, присев, наконец, у стола на первый попавшийся стул.

– И какого мертвеца! – откликнулся Жоржик. – Протухшего и провонявшего!

– Я бы сказал – скорее высохшего как мумия, – внес исправление Джордж.

– Ну, это лишь до поры до времени, – ответил доктор, рассматривая на свет колер своего

ликера. – По слухам, граф Гёза Зичи...

– ...Наш однорукий Лист... – вставил Жоржик.

– ...Пишет новую оперу. И вот когда он захочет порадовать нас ею...

– Вот тогда коса и найдет на камень, – ухмыльнулся Людвиг.

– Да, ты ведь, кажется, был ангажирован новым директором, – припомнил я, – почему же мы так и не удостоились услышать тебя со сцены?

– Потому что моя карьера закончилась сразу, как только началась.

– Ну-ка, ну-ка, расскажите нам об этом, молодой человек, – подал свой голос Лео. – Я не сомневаюсь в поучительности вашей истории.

– Да уж куда больше, – рассмеялся Людвиг, – я получил очень хороший щелчок по носу...

– И поделом тебе, – подмигнул Жоржик, – не суй его, куда не нужно.

– Ну, рассказывай, рассказывай же! – закричали мы наперебой.

– Сейчас, только раскурю новую сигару. Сигары у тебя, Йозеф, превосходные, поистине высший сорт.

Я подозреваю, что он просто хотел еще немного подогреть наше нетерпение: Людвиг всегда был склонен к некоторой театральности. Когда церемония раскуривания сигары закончилась, он уселся еще удобнее и начал:

– Вы помните, что предыдущий интендант предоставил только что появившемуся у нас новому директору полную свободу...

– К истинному благу Придворной оперы, – опять не удержался Жоржик.

– Mon cher, – не без досады обратился к нему Людвиг, – сдержи, пожалуйста, свой язычок, а то я не буду рассказывать. Но на этот раз я тебя прощу, потому что ты прав: в этом фон Беницки действительно показал себя великим администратором. Так вот, услышав, что новый директор заинтересован в открытии новых талантов, я попросил аудиенции и немедленно был допущен пред его лик. Чтобы пустить немного пыли в глаза, я заявил, что хочу

спеть арию Зорастро, и добавил с глубоким чувством собственного достоинства: «В Es, а не в E-dur». И представьте себе, он проаккомпанировал мне всю арию на полтона ниже наизусть, даже не поставив ноты на рояль! Только время от времени он сверкал на меня стеклами своих очков, а когда я эффектно закончил на es большой октавы, он подпрыгнул и закричал: «Вы ангажированы!»

– Что же произошло с твоим ангажементом? – не утерпел Жоржик, но на этот раз мы вместе так дружно шикнули на него, что он осекся.

– Well, – обиженно сказал он, – я замолчу, но если захотите, чтобы я что-то сказал, вам придется просить меня...

– Ладно, мы переживем это, – нетерпеливо ответил ему Джордж, – пожалуйста, Людвиг, продолжай!

– Через месяц я должен был выступить в «Вольном стрелке» на том берегу, на сцене «Театра в крепости». Естественно, я очень волновался, а тут он еще уселся в первом ряду, блестя своими очками и, по своему обыкновению, гримасничая в знак одобрения или неодобрения буквально каждого такта. В решающий момент он уставился на меня своими горящими глазницами, и я пришел в такое замешательство, что если бы не хладнокровие и сноровка Эркеля, спектакль провалился бы. После этого я знал, что моя театральная карьера завершена, и не ошибся: уже на завтра утром нарочный принес мне письмо о том, что мой ангажемент аннулирован и контракт со мной разорван. Естественно, мне было обидно. Но несмотря на это, мы с Малером остались друзьями: при встречах очень мило раскланиваемся, а он – время от времени даже приветствует меня дружескими восклицаниями.

– Ну, теперь ты просто обязан отослать в Вену рецензию о его спектакле, – сказал я.

– Не премину, – ответил Людвиг и окутался облаком ароматного дыма.

– Я думаю, такого «Дона Джованни» свет не видал с тех пор, как им дирижировал сам Моцарт, – вернулся Йозеф к начатой теме.

– Ну, Моцарт сам был порядочным дон-жуаном, – вдруг брякнул Жоржик.

– Не смей так говорить! – взорвался Джордж. – Моцарт – бог! Моцарт – это само солнце!

– Но и боги снисходили к смертным красавицам, – сказал Людвиг, прищурив один глаз.

– Ты просто циник!

– Правда, я читал записки, которые оставлял Моцарт своей жене, когда рано утром уходил на работу, и его письма к ней, – примирительным тоном сказал я. – Из них видно, как он нежно и внимательно относился к ней. Я не верю, чтобы муж, так любивший свою жену, был дон-жуаном.

– А Энн Сторейс? – не без ехидства спросил Людвиг.

– В мемуарах О’Келли...

– О’Келли? Ну конечно, ведь он женился на Энн!

– Моцарт был совершенством, как его музыка!

– Не спорьте, – прервал нас Йозеф, – давайте-ка лучше спросим Лео.

Но Лео не обращал на нас никакого внимания, погружившись в изучение уже нового тома.

– Лео, а Лео! – начали мы звать к нему на разные голоса. – Ну оторвись уже от своего фолианта! Скажи, изменял Моцарт своей жене?

– Что за глупый вопрос? – перевел тот на нас недоуменный взгляд. – Это всё, что вам интересно узнать о Моцарте?

– Я утверждаю, – заявил Людвиг, – что художник не может изобразить то, чего не знает. Не нарисует же живописец то, что он никогда не видел! Так и композитор способен передавать только те чувства, которые хоть раз испытал.

– Значит, по-твоему, – напустился на него Джордж, – Дидро занимался лесбиянством, Шекспир узурпировал трон и задушил свою жену, Шиллер – был разбойником, а Расин – женой, влюбленной в своего пасынка?!

– А фантастика? – не утерпел Жоржик.

– Фантастика – это необычная комбинация обычных элементов.

– Безусловно, – сказал я, – художник должен изображать лишь то, что хорошо знает, иначе получается неестественность. Однако это вовсе не означает, что всё он обязан совершить буквально: достаточно, если он найдет в своей душе какие-то аналогии тем чувствам, которые хочет изобразить. Очень большая ошибка – отождествлять художника с его персонажами.

– А почему бы все-таки не отождествить Моцарта с Зорастро? – проронил доктор.

– Моцарт был человеком, а не богом, – высказал свое мнение Йозеф, – и ничто человеческое не было ему чуждо. А, как вы знаете, в театре многое, слишком многое считается дозволенным. Поэтому нельзя исключить...

– И все-таки я, тем не менее, продолжаю настаивать на своей точке зрения, – заявил я. – От чтения писем Моцарта у меня сложилось твердое убеждение, что в жизни он был примерным семьянином. Он вырос в дружной, сплоченной семье и получил хорошее воспитание, заложившее в нем крепкие нравственные устои. Он сам об этом писал отцу, и естественно, что в собственной семейной жизни стремился к тому же идеалу.

– Kinderlein, – напомнил доктор.

– Совершенно верно! – обрадовался Джордж. – Вершина «Па-па-па-па»! Не мог бы дон-жуан так восторженно мечтать о «детюшках», «усладе родителей»!

– Мещанство, – поморщился Людвиг.

– Что ж, – ответил я, – если нормальная семейная жизнь – это мещанство, то, значит, самый симпатичный персонаж «Волшебной флейты» воспевает мещанство.

– Ну вот, Габор уже объявил Моцарта мещанином!

– И я тоже не верю, что Моцарт изменял жене, – заявил Лео.

– А она ему? – нарочито небрежно проронил Людвиг.

– Вокруг Моцарта навечно столько гнусных легенд! – вздохнул Йозеф.

– И все-таки нет дыма без огня, – заметил Людвиг.

– А дымовая завеса? – возразил Лео.

– Вот-вот! – подхватил Джордж. – Все эти грязные выдумки – настоящая дымовая завеса: грязь, вонь, копоть – только чтобы запятнать истину!

– Идеалист! – насмешливо улыбнулся Людвиг. – Ты точно знаешь, что такое истина?

– Почему же великого человека хотят опорочить?

– Из зависти, из-за желания избавиться от конкурента, – ответил Йозеф. – Вы же знаете, что сказал после его смерти кто-то из ведущих венских композиторов...

– По слухам, Сальери... – опять не сдержался Жоржик.

– «... Жаль, конечно, такого великого гения, но благо нам, что он мертв. Потому что проживи он подольше, никто нам не дал и кусочка хлеба за наши композиции».

– Но вот про Гайдна гадостей никто не рассказывал! – возразил Людвиг.

– Гайдн не был опасным конкурентом. После того, как молодой Эстергази распустил свой оркестр, Гайдну он назначил вполне приличную пенсию, и тот смог жить в Вене спокойно и без особых забот.

– Все дело в том, по-моему, – сказал Лео, – что Гайдн не стремился блеснуть в оперном жанре. Поэтому он не имел дела со всей этой кухней: примадоннами и примадонами, либреттистами и импресарио...

– Со всеми неотъемлемыми от театра *chiaro ed obscuro*, – подсказал я.

– Да, светом и тенью закулисной жизни. Следовательно, Гайдн не лишал никого из своих коллег, пишущих для театра, их «кусочка хлеба», и потому-то никакие дразги его не коснулись.

– Гайдн был очень доброжелательным ко всем, очень верующим человеком, который даже не помышлял о том, чтобы нарушить существующие порядки, – поддержал его Йозеф. – Гайдн тянул на себе весь груз музыкальных увеселений Эстергази, прилежно писал любую музыку, которую тому вздумается услышать, тщательно исполнял любые указания хозяина, счастливый милостью, оказанной ему Богом, и

убежденный в разумности прав земной власти...

– Вот он и заслужил спокойную старость, – заключил доктор.

– ...А Моцарт – он все делал вопреки: вопреки воле отца порвал с зальцбургским сюзереном, вопреки воле отца женился на Констанце, вопреки установлениям своего века стал свободным художником, не желающим довольствоваться местом между лакеями и поварами...

– Художником, для которого жизнь и творчество были неразделимы, для которого собственное человеческое достоинство полностью совпадало с его достоинством музыканта... – добавил Лео.

– ...Которое он также отстаивал наперекор всем!

– Так что Бетховен потом шел уже по проторенной дорожке!.. – опять подал реплику доктор.

– ... Как после премьеры «Похищения» он ответил императору... Тот, вообще-то доброжелательно к нему относившийся, процедил: «Слишком прекрасно для наших ушей и ужасно много нот, дорогой Моцарт», но композитор твердо ответил: «В точности столько, ваше величество, сколько нужно».

– А после представления «Дона Джованни», – добавил Лео, – состоялся такой разговор: «Эта опера божественна, может быть, еще прекрасней ‘Фигаро’, но не по зубам моим венцам», – сказал Йозеф Второй, обращаясь к да Понте, а ответил Моцарт: «Предоставим им время разжевать».

– Это было распространенное мнение о музыке Моцарта: слишком уж много, мол, в ней красот: они утомляют душу, ни одну из них невозможно удержать в памяти... О «Доне Джованни» писали, что эта опера слишком сложна, искусственна, а оркестр – перегруженный...

– Это, наверное, про тромбоны при появлении Командора!

– ...А про квартеты, посвященные Гайдну, – что, мол, это блюдо настолько переперчено, что ни одно горло не выдержит!

– В самом деле, – заметил Людвиг, – при всем моем преклонении перед Моцартом, в этих квартетах есть такие места... Например, в финале ля-мажорного... Я бы назвал их абстрактными – наподобие последних сочинений Бетховена. И эти резкие сдвиги тональности... А уж вступление к до-мажорному...

– Наверное, так писали в шестнадцатом веке! – воскликнул Жоржик.

– А может быть – будут писать в двадцатом? – невозмутимо ответил доктор.

– Я думаю, – продолжал Йозеф, – что еще в большей степени, чем новизна музыкального языка, отпугивало смутное ощущение, что под этими красотами скрывается нечто ужасающее, превосходящее любые возможности искусства... И не только искусства: нечто такое, что человек вообще не способен выразить каким бы то ни было образом...

– Ну, ты преувеличиваешь! – запротестовал Джордж.
– Конечно, Гофман очень красиво писал о демоничности «Дона Джованни», но распространять это на всего Моцарта!..

– Положим, не на всего. Я готов исключить написанное до Вены... Хотя – ты знаешь первую соль-минорную симфонию – которую Моцарт написал в 1773 году?

– Первую? Я и не знал, что их две!

– По правде говоря, я и сам слышал ее только один раз – в детстве, когда после празднования столетия Моцарта еще несколько лет в концерты включали его малоизвестные произведения. Тогда она меня потрясла и напугала... Уже намного позже я изучил ее по нотам. А ты ее знаешь, Лео?

– Только по партитуре.

– Что это за симфония, Йозеф? – спросил Людвиг.
– Ты можешь дать нам о ней какое-то представление?

– Попытаюсь. Ее содержание у меня прочно ассоциируется с определенными событиями в жизни Моцарта, хотя и происшедшими намного позже. Но это лишь для того, чтобы дать этой музыке какое-то образное

воплощение. Я не знаю, что было толчком к ее созданию, но уверен, что какое-то трагическое переживание, о котором я не нашел никакого упоминания.

– К 1774 году относится первая влюбленность Моцарта, – сказал Лео, – но я ни в одной биографии не видел, чтобы уже тогда она была связана с каким-то несчастьем. А ты уверен, что эта симфония написана в 1773-м?

– Так мне помнится. Возможно, конечно, что хронология здесь слегка перепутана. Во всяком случае, самое начало первой части, ее первый четырехтакт с его синкопами-всхлипами, для меня – словно сообщение о какой-то невозвратимой потере... Совершенно как начало того письма, в котором Моцарт сообщает верному другу семьи, патеру Буллингеру, о смерти матери: «Мамы больше нет!». Это – как эпитафия ко всей симфонии, а потом начинается рассказ о том, как это произошло. Взрыв негодования, протест – и резиньяция; новый взрыв, еще более отчаянный, – и начинается борьба скрипок с басами, как с неумолимым грозным противником. Как будто поочередно замахиваются кулаками и наносят дробящий удар... Вторая тема – словно все время пытается вспорхнуть в воздух, мечется, трепещет крылами, но каждый раз вдруг сникает, а басы повторяют: «Все напрасно!». Особенно это страшно в репризе, где все уже идет в одном соль-миноре...

– Самой трагической тональности у Моцарта, – заметил Лео.

– ...А самый конец первой части – это словно внезапное исчезновение злых духов, окончивших свое ужасное дело.

Вторая часть – тоже диалог, но это уже нежные вздохи Керубино...

– И тональность Керубино – Es-dur...

– ...А перед второй темой – то, что можно встретить только у Моцарта: момент «звучащей тишины», а потом вспархивает прелестная мелодия – словно появление чарующего женского образа. Я понимаю это как объяснение второй темы первой части: вот, мол, как

это было в прошлом... Лукавые, чуть насмешливые поклоны...

«Третья часть – нечто, вероятно, до тех пор неслыханное: трагический менуэт!

– Как в другой соль-минорной?

– Только здесь – опять диалог грозных басов, «голоса Рока», и трепетных скрипок. Trio – словно воспоминание о какой-то галантной сцене на балу...

«Финал у меня совершенно определенно ассоциируется с тем моментом, когда Моцарт узнал, что его первая настоящая любовь, Алоизия, ему изменила: он тогда дал выход своему горю в яростной площадной ругани. Так и здесь: высокие ноты fortissimo у валторн – это хриплые вопли, смешанные с рыданиями... Поворот в мажор – но какой это страшный мажор! Слово торжество злых сил – басы, поддержанные валторнами, бьют, проклинают... А затем – сплошной минор, и Coda финала заканчивается теми же нисходящими трезвучиями в переключке скрипок и басов, что и первая часть: круг замкнулся...

«Недаром Леопольд Моцарт хотел ее спрятать, чтобы она осталась никому не известной: он ясно почувствовал, какой это яростный протест против всех ограничений, священных для XVIII века, настолько она выходит за рамки того времени своим трагизмом, своей обнаженной – я бы сказал: кровоточащей – скорбью! А ведь когда он написал ее, ему было всего лишь семнадцать лет!

«Как бы исполнил такую симфонию наш новый капельмейстер!» – мелькнуло у меня в голове, и тут же услышал слова Лео:

– По-настоящему жаль, что Малер не заведует также филармонией!

– Ну, дай Бог, чтобы хоть в опере он удержался подольше! – хмыкнул Людвиг.

– Но ты ничего не можешь поделать с тем, что вся остальная музыка Моцарта – воплощенная гармония, грация, несравненная прелесть рококо... Торжество оптимизма!.. – не унимался Джордж.

– Да, насчет оптимизма я согласен – но какого? Вовсе не телячье-ребяческого! Это оптимизм человека, отдающего себе полный отчет в том, сколько горя есть на земле, который готов к страданию, но, тем не менее, полностью покорен воле Бога в убеждении, что и страдание – высшее благо.

– Ты опять преувеличиваешь, – возразил Людвиг, – Моцарт был настолько мало религиозен, что умер без причастия: ни один священник не согласился пойти к нему, зная, что он масон, и считая его убежденным безбожником.

– Лео, – сказал Йозеф, – будь добр, подай мне крайнюю книгу с верхней полки слева от тебя.

Когда Лео исполнил просьбу, Йозеф продолжал:

– Это сборник писем Моцарта к отцу. Послушайте, что он писал из Парижа после смерти матери, когда он остался в совершенно один в этом городе – громадном, шумном, суетном и абсолютно равнодушном к судьбе молодого человека, который когда-то восхищал его как вундеркинд. «В тех горестных обстоятельствах утешился я тремя вещами, а именно: моей совершенной, полной доверия покорностью воле Бога; далее, картиной ее столь легкой и прекрасной смерти, при которой я представил себе, как в один миг она станет счастливой – насколько счастливей, чем она сейчас (так же, как и мы), – так что я пожелал себе в этот миг отправиться вместе с ней; из этого пожелания и из этого страстного устремления, наконец, сформировалось мое третье утешение: а именно, что она не навечно потеряна для нас, и мы станем друг подле друга счастливее, чем на этом свете, – только время это для нас неизвестно...» И далее, обратите внимание: «...Но это совершенно меня не страшит: когда Бог желает, тогда желаю я тоже».

– Какое величие духа!.. – вскричал потрясенный Жоржик.

– И какое поразительное присутствие духа! – откликнулся доктор.

– Слушайте еще. А это Моцарт написал отцу 4 апреля 1787 года, не зная, что оно окажется последним, –

уже 28 мая Леопольд Моцарт умрет. «Раз смерть (если принимать это буквально) есть истинная конечная цель нашей жизни, то за последнюю пару лет я так близко познакомился с этим истинно лучшим другом людей, что его образ уже не несет в себе для меня ничего страшного, но, право, много успокаивающего и утешающего! И я благодарю моего Бога, что Он мне даровал это счастье: создал для меня возможность научиться видеть в ней ключ (это слово подчеркнул Моцарт) к нашему истинному блаженству. Я никогда не ложусь в кровать, не обдумав, что, может быть (как бы молод я ни был), на следующий день меня не станет, – и ни один человек из всех, кто меня знает, не может сказать, чтобы я был угрюм в обращении или грустен; и за это блаженство я каждый день благодарю Творца моего и от всего сердца желаю того же каждому из моих близких».

– Да, вот это – истинный оптимизм, – задумчиво произнес доктор.

– И еще одна цитата, – сказал Йозеф, – тоже о Боге. 24 октября 1777 года, в возрасте 21 год, Моцарт написал отцу: «Бог всегда перед моими глазами, я сознаю Его власть, я боюсь Его гнева, но я сознаю также Его любовь, Его сострадание и милосердие к Своим созданиям. Он никогда не оставит тех, кто Ему служит; если что-то происходит по Его воле, то происходит также и по моей – следовательно, не может не быть».

– Лишь человек подлинно великий умеет так прятать свое величие от окружающих, чтобы оно совсем не было для них заметно, – сказал Лео после нескольких мгновений тишины. – Шурин Моцарта, Ланге, вспоминает, что именно в то время, когда в Моцарте рождались самые глубокие произведения, внешне он вел себя особенно необузданно: шутил, дурачился, нес всякий вздор.

– Дело в том, – пояснил Йозеф, – что процесс сочинения музыки у Моцарта был совершенно уникальным: он не делал никаких эскизов (в отличие, например, от Бетховена), все произведение вплоть до мельчайших деталей у него складывалось в голове – так что потом ему оставалось только сесть и записать. Это было не труднее, чем просто

переписать уже готовый текст, поэтому в это время он мог также заниматься посторонними вещами. Так родилась легенда о том, что, якобы, сочинение не требовало от Моцарта никакого труда, – он делал это так просто, как птичка поет. Но действительность было совершенно иной, как он писал в одном письме во время сочинения «Дона Джованни»: «Те, кто думают, что мое искусство сложилось так легко, глубоко заблуждаются: никто не потратил так много труда на изучение композиции, как я...» Но когда он успевал это делать? Никто не видел. Зато его чудачества, о которых упомянул Лео, были у всех на виду. Он мог импровизировать на клавесине так, что у всех дух захватывало, и немедленно – без всякого перехода – начать кувыркаться, как мальчишка, и мяукать...

– Да, это признак подлинно великого человека: до такой степени властвовать над своим величием, чтобы уметь надевать на него маску с диаметрально противоположным выражением. Я осмелюсь сказать, что такой человек подобен своему Творцу, Который тоже скрывает от нас Свое величие в делах этого мира, которые, конечно, для Него – ничтожнейшие пустячки.

– Bravo! – одобрил меня доктор. – Ваше здоровье, Габор!

– Недаром Гёте так восхищался «Волшебной флейтой» – даже ее либретто: все понятно, и для профанов – все забавно и интересно, но посвященные – видят, какие бездны, какие тут скрыты глубины...

– Но особенно в музыке, – ответил Йозеф, – во всей музыке Моцарта постоянно присутствует эта двойственность: слезы под маской смеха, внешняя очаровательность – и внутренняя глубокая скорбь. Ниссен, женившийся на овдовевшей Констанце, приводит в своей книге о Моцарте свидетельство одного из самых близких друзей композитора: «Это был глубоко несчастный, страдающий человек». И в своих письмах Моцарт не раз говорит о том, что жизнь его «более печальна, чем весела».

– Что же в его жизни было такого печального? – подал голос Джордж.

– Ты прочел хоть одну биографию Моцарта? – насмешливо спросил Жоржик. – Не знаешь, что он пережил и как он умер?

– Он умел подняться выше всего этого!

– А смерть детей? – не отставал Жоржик. – Ты не знаешь, что из шести остались в живых только двое? Остальные умирали во младенчестве!

– Некоторые, – обратился доктор к обоим «близнецам», – представляют себе этого «гения света и радости» таким, как его изображают, скажем, на музыкальных бонбоньерках: этаким амурчиком в жабо и в парике с косичкой... Или, еще хуже, невежественным вертопрахом, в которого Провидение по какому-то капризу вдохнуло музыкальный гений. А ведь он был, как мы только что слышали, художником, захваченным сознанием своего высшего предназначения и во всем послушным ему, чрезвычайно наблюдательным и проницательным, в самой высокой степени серьезно относившимся к проблемам своего искусства и умевшим превосходно формулировать свои идеи! Он даже мечтал написать книгу по теории музыки! И знаете ли вы, что Рохлиц, получивший свои сведения из первых рук, свидетельствует, что Моцарт был одним из образованнейших людей своего времени, превосходно знавший и древних, и современных авторов, глубоко интересовавшийся философией и читавший все новейшие сочинения? Что в кармане камзола у него всегда лежала какая-нибудь книга, и когда ему приходилось, например, ждать начала урока, он использовал каждую минуту для чтения?

– По-видимому, эту привычку привил ему отец, убежденный сторонник Просвещения! – вставил Йозеф.

– Но я нигде не читал, что после Моцарта осталась библиотека! – не уступал Джордж.

– Книги могли распродать, когда остро понадобились деньги, – предположил Лео.

– А про баронессу Вальдштеттен вы читали? – продолжал доктор.

– Это та самая, которая заступилась за Моцарта перед его отцом? Чей отзыв о Констанце заставил того

изменить свое отрицательное отношение к их женитьбе? – спросил я.

– Именно она. У нее была богатейшая библиотека, из которой Моцарт постоянно брал книги на прочтение. И попробуйте посмотреть на некоторые, наиболее серьезные, портреты Моцарта, закрыв аксессуары XVIII века: вас поразит энергия и мужество, которые излучает его лицо, оно – воплощение воли!..

– Но вы заметили, – подхватил я, – как по-разному выглядит Моцарт на своих портретах? Если им верить, это был истинный Протей! То беззаботный весельчак, то деловитый чиновник, то галантный кавалер, а то – просто жалкий замухрышка... По-моему, только на незаконченном портрете Ланге Моцарт – настоящий Моцарт: вот где приоткрывается его душа!

– Наверняка Ланге знал его лучше всех, когда-либо рисовавших его, – заметил Йозеф. – Но есть еще замечательный портрет кисти Грёза, написанный еще в 1776 году, когда Вольфгангу было только десять лет: милое детское личико с совершенно недетскими глазами, скорбно смотрящими в будущее...

– Как у младенца на руках мадонны Леонардо! – добавил Лео.

– А насколько противоречат друг другу отзывы современников о характере Моцарта!

– Несомненно, эти противоречия – те же самые, что и противоречия между портретами. Каждый из видевших и знавших Моцарта обращал внимание лишь на какую-то частность, не будучи способным постичь целое: насколько в его характере соединялось несоединимое.

– *In tristitia hilaris, in hilaritate tristis*, – заметил доктор.

– Что это значит? – спросил Людвиг.

– «В печали весел, в веселье печален», – перевел Лео. – Это не совсем точно; по-моему, Йозеф лучше определил духовную суть Моцарта: оптимизм, основа которого – безусловно, абсолютное подчинение Высшей Воле в убеждении, что все – это высшее добро. А я бы сказал так: это катарсис трагедии, преодоление страдания и

боли полным самоотречением во имя исполнения задачи, поставленной Всевышним.

– Меня уже долгое время привлекает к себе одна историческая параллель, – продолжал он, помолчав. – Может быть, в конце концов я напишу об этом: параллель между Моцартом и Марией-Антуанеттой...

– Вот уж удивил так удивил! – изумился я. – Какая есть связь между ними?

– Не торопись, – остановил меня Лео, – я сказал не «связь», а «параллель», и как раз хотел объяснить смысл этого. Но уже поздно, и все, конечно, очень устали...

– Нет, нет, Лео! – запротестовали мы. – Раз начал, так продолжай! Не откладывай на другой раз! Сегодня – самое подходящее время!

– Давай, давай, Лео, – подбодрил его Людвиг. – Ты всегда преподносишь нам какой-нибудь сюрприз, мы с нетерпением ждем рассказа о твоём открытии!

– Хорошо, – сказал Лео, – но постараюсь быть кратким, чтобы не испытывать вашего терпения.

“Их жизненные пути два раза пересеклись. Первый раз – в 1762 году, когда Леопольд Моцарт впервые привез своих чудо-детей, Вольфганга и его старшую сестру, в Вену. Они имели колоссальный успех и были приняты при дворе, и тут произошел забавный случай. Шестилетний Вольфганг, в парике, роскошном камзолчике и при крошечной шпаге, поскользнулся на дворцовом паркете и упал, а его пышный наряд мешал ему подняться. И тут к нему подбежала девочка, старше его всего на один год, и помогла ему встать на ноги. Это была принцесса Мария-Антуанетта. «Ты добрая, – похвалил ее Вольфганг, – когда я вырасту, я женюсь на тебе». Эта встреча – отправная точка в моей истории. Теперь посмотрим на основные вехи их жизненных путей.

“Следующие семь лет – годы становления личности обоих. С 1763 года по 1766 Моцарт-отец возит сына по всей Европе: Германия, Париж, Лондон; на обратном пути – Голландия, снова Париж, Швейцария. Вольфганг непрерывно занимается музыкой: знакомится с различными музыкальными стилями, овладевает техникой композиции,

учится играть на разных инструментах. Нет сомнения, что одновременно продолжается и его общее образование; точно об этом мне неизвестно, но можно судить по результатам... А Мария-Антуанетта – растет, как полагается принцессе, учась понемногу всему и не интересуясь ничем. Но ее мать, регентша Мария-Терезия, вынашивает далеко идущие планы: после двух столетий непрекращающихся войн в Европе должен, наконец, наступить мир, и лучшая его гарантия – пакт между извечными врагами, Бурбонами и Габсбургами, а, в свою очередь, гарантия неизменности его соблюдения – семейные узы, которыми следует связать эти королевские семьи.

– Планы Марии-Терезии были прекрасны, но они, видимо, не соответствовали тому, что решили на небесах, – заметил доктор. – В результате вместо союза и объединения возникло еще большее разъединение, вспыхнула еще большая ненависть, и начались войны невиданного размаха, захватившие всю Европу и даже Англию и Россию...

– Итак, – продолжал Лео, – в 1766 году начались переговоры о сватовстве Марии-Антуанетты за дофина Луи. Но дипломаты не были бы дипломатами, если немедленно не создали тысячи препятствий для этого...

– Если не воздвигать препятствия на ровном месте, чтобы затормозить исполнение даже самого прекрасного проекта, кто будет считаться с тобой? – подал голос Людвиг.

– И тут Мария-Терезия обращает внимание на то, что ее дочь, в сущности, совершенно не пригодна к тому, чтобы стать инструментом осуществления ее планов. Одиннадцатилетняя принцесса привыкла к тому, что все ее желания исполняются немедленно, без малейшего усилия с ее стороны. Ей доступно всё – и поэтому нет ничего, чего она желала бы по-настоящему, а если что-то и вызывает у нее желание постараться что-нибудь сделать, то оно очень скоро испаряется без следа. Она очень красива, но Мария-Терезия знает, что при французском дворе, в царстве метресс, умение держаться в обществе для женщины даже важнее, чем ее внешний облик. А Мария-Антуанетта не владеет толком французским языком: еще умея кое-как

поддержать светскую болтовню, она не знает, как правильно писать по-французски (как, впрочем, и по-немецки). И воспитание Марии-Антуанетты срочно форсируют, чтобы заполнить пробелы. В частности, не кто иной, как Глюк дает шаловливой лентяйке уроки игры на клавесине – но тоже без особого успеха; из Парижа выписывают знаменитого Новерра, чтобы он обучил Марию-Антуанетту танцам, любимым при французском дворе, а два актера французской труппы, гастролирующей в Вене, учат ее французскому: один – говорить без акцента (от которого, однако, она так и не избавилась), другой – французской просодии.

“Три года продолжается усиленная дипломатическая возня с целью расчистить путь к «свадьбе века», а для Вольфганга эти годы тоже имеют большое значение – как подготовка к достижению музыкальных высот. 1767 – неудачная поездка в Вену: Моцарты попали туда во время эпидемии оспы, которой заразились Вольфганг и Наннерль, отец срочно увез их в Ольмюц, где дети выздоровели. 1768 – первая относительно зрелая опера Вольфганга: «Бастьен и Бастьенна».

“1769 год – переломный для обоих, если можно так выразиться, наших героев. Наконец, все препятствия, мешающие браку французского дофина и австрийской принцессы, устранены, и гигантский караван – триста сорок лошадей! – отправляется через Верхнюю Австрию, Баварию и Эльзас во Францию. А Леопольд Моцарт везет сына в музыкальный центр мира – в Италию.

“В Страсбурге происходит первое знакомство Марии-Антуанетты с французским народом – в обстановке незабываемого для нее праздника. Отметим, что молодой священник, подводящий ее в алтарь в Страсбургском соборе, – не кто иной, как принц Луи Роан, будущий трагикомический герой «аферы с ожерельем».

“Однако в Париже, в день свадьбы, произошло нечто ужасное: ракеты фейерверка, вместо того, чтобы устремиться в небо, упали в толпу; началась дикая паника, при котором множество людей было задавлено насмерть, а очень многие получили ранения; вдобавок началась страшная гроза с молниями, громами и ужасным

ливнем... Все поняли это как знамение, предвещающее будущие несчастья.

“Успехи же Вольфганга Моцарта в Италии общеизвестны...

– Запись наизусть «Miserere», исполнявшегося единственно в Сикстинской капелле, орден «Золотой шпоры», прием в Болонскую музыкальную академию, бурный успех «Митридата»... – блеснул эрудицией Жоржик.

– Однако после первых триумфов – разочарования, – продолжал Лео. – Моцарт, только что вернувшись из триумфальной поездки по Италии, снова едет туда, получив почетный заказ, связанный с бракосочетанием австрийского эрцгерцога с моденской принцессой. Но когда он, в декабре 1771 года, возвращается в Зальцбург, умирает архиепископ, столь снисходительно относившийся к отлучкам своего капельмейстера, и на смену ему приходит Иероним Колоредо, сразу же вступивший в открытую войну с зальцбургским обществом вообще и с «засильем» немецких музыкантов при своем дворе в частности.

“Для Марии-Антунетты же день Нового, 1772 года – день поражения в ее «женской войне» против королевской любовницы, так называемой графини Дюбарри. Воспитанная в правилах строгого соблюдения рангов, «мадам дофина» упорно игнорировала присутствие этой «графини» в высшей степени сомнительного происхождения, пока это не вызвало сильнейшее неудовольствие короля. И тогда Мария-Терезия, крайне обеспокоенная этой угрозой ее планам установления стабильного мира в Европе, приложила все усилия для того, чтобы заставить дочь поступиться фамильной спесью. Первого января 1772 года Мария-Антуанетта, наконец, «заметила» Дюбарри и промолвила, даже прямо не глядя на нее, всего несколько слов: «Как много сегодня народу в Версале!..». Тем не менее, это было победой Дюбарри – победой низкого происхождения над высоким, и парадоксально, что совершилась она по воле короля и матери-императрицы! Но через тринадцать лет сама Мария-

Антуанетта будет вести себя в точности так же, как они, подпиливая сук, на котором сидит...

– Все-таки Дюбарри не дождалась от нее больше ни одного слова, – добавил Джордж, – до самой смерти!

– Колоредо не желал, чтобы Моцарты снова покидали Зальцбург, однако когда в 1774 году баварский курфюрст, страстный любитель музыки, заказал Вольфгангу «Мнимую садовницу», архиепископ не мог воспрепятствовать поездке композитора в Мюнхен. Премьера этой оперы в январе следующего года прошла с огромным успехом, после каждой арии в зале кричали *viva maestro*, а в печати появились восторженные отклики.

“У Марии-Антуанетты 1774 год – год решительного реванша за навязанное ей «унижение». Сначала – блестящий успех «Ифигении» ее бывшего учителя музыки, Глюка...

Лео на миг замолчал, сделав глоток остывшего кофе, и этим воспользовался Жоржик.

– Тут надо заметить, – поспешил сообщить он, – что со времен Луи XIV ко двору не допускали музыкантов не французов...

– А Люлли? – возразил Джордж.

– Именно итальянец Люлли и ввел этот обычай, чтобы избавиться от возможных конкурентов. Так что приглашение Глюка в Париж означало решительную ломку традиции...

– Ну, противники Глюка подняли на щит тоже иностранца – Пиччини, но сейчас нам незачем останавливаться на этом, – снова заговорил Лео. – Успех «Ифигении» был в значительной мере также успехом «мадам дофины», но то, что последовало за этим, затмило и его. Заболел и умер Луи XV, и дофин стал королем, а дофина – королевой. Мария-Терезия могла торжествовать: первый пункт ее политического плана осуществился блестяще – ее младшая дочь стала повелительницей могущественного государства.

“Первые два года царствования – это непрерывный праздник. Австрийский посол докладывает

в Вену: «Разнообразнейшие развлечения следуют один за другим с такой скоростью, что только с величайшим трудом удастся найти миг, чтобы переговорить с ее величеством о серьезных делах». Юная королева – идеал красоты, каждое ее слово превозносится как высшая мудрость, каждая ее причуда немедленно превращается в новую моду, ее один-единственный взгляд – подарок, ее улыбка – высшее счастье... Народ ее обожает, и каждый ее визит в Париж – триумф...

“А отношения Моцартов с новым архиепископом становятся все более напряженными – вплоть до того, что в августе 1777 года оба подают в отставку. Правда, чуть позже Леопольда Моцарта архиепископ снова принимает на свою службу, но Вольфганг Моцарт в сопровождении матери выезжает в Мюнхен: цель их путешествия – Париж. Однако туда они добираются только в марте следующего года, на целых четыре месяца задержавшись в Мангейме. Эти месяцы имели для Моцарта особое значение и как для музыканта, и как для личности. Как художник, он познакомился здесь с совершенно новым музыкальным стилем, что оказало огромное влияние на его творчество, а как человек – с семьей Веберов, сыгравшей решающее значение в его жизни. Первое по-настоящему глубокое чувство вспыхнуло у Моцарта к старшей дочери Веберов, Алоизии, которая была очень талантливой певицей. Поэтому, несмотря на непрерывные понукания отца, торопящего в Париж, из Мангейма Вольфганг с матерью выехали только в середине марта 1778 года.

“Снова жизненные пути Моцарта и Марии-Антуанетты пересеклись.

“Но теперь Мария-Антуанетта – уже не шаловливый ребенок и даже не та наивная пятнадцатилетняя девочка, какой она приехала во Францию. Ей уже двадцать три, она уже мать (правда, пока лишь дочери) и достигла расцвета своей красоты, став настоящей богиней рококо со всеми присущими этому стилю достоинствами и недостатками. «Когда она стоит, – записывает сухарь Горас Уолпол, – это статуя

Красоты, когда она двигается – это воплощенная Грация». Однако основа ее характера осталась прежней: ничем не заниматься всерьез, ни на чем надолго не останавливаться, слушать только вполуха, интересоваться лишь тем, что обещает скорое удовольствие. «Что она хочет от меня? – недоуменно спрашивает она австрийского посла, передающего ей послания императрицы-матери, крайне обеспокоенной легкомысленным поведением своей любимицы. – Неужели, чтобы я скучала?!» Несомненно богато одаренная, она не развила ни один из своих талантов. «Ее первое побуждение – всегда верное, и если бы только она на нем задерживалась, чуть-чуть размышления было бы достаточно, чтобы всегда все делать прекрасно», – так определил ее суть брат, будущий император Йозеф Второй.

“А у Моцарта, в отличие от первого приезда в Париж, на этот раз сплошные неудачи: ему заказывают музыку (в частности – сам Новерр), играют, но не платят за нее, а концертную симфонию для духовых инструментов не исполняют вообще. В значительной мере он сам виноват в этом: ему претит быть собственным импресарио, искать знакомства, заручаться протекциями и тому подобное. «Он слишком чистосердечен, его легко провести, – так отзывался о нем барон Гримм, бывший его покровителем в первый приезд и опять претендовавший на эту роль, – а здесь, чтобы пробиться, необходимы пронырливость, предприимчивость, даже подлость. Я предпочел бы, чтобы у него было вдвое меньше таланта, но зато вдвое больше ловкости». Не знаю, выступал ли Моцарт перед французским королевским двором, однако ему предложили весьма почетную должность версальского органиста с вполне приличным окладом в 2000 ливров в год, да еще с правом на шестимесячный отпуск ежегодно. Может быть, Мария-Антуанетта вспомнила свои детские впечатления от гениального сверстника и была не прочь взять к себе на службу еще одного соотечественника. Казалось бы, чего желать больше? Но Моцарт

отказался...

– Почему?

– По всей видимости, это – первое проявление желания самостоятельно строить свою жизнь для полной реализации своего дарования. Конечно, очень важную роль сыграло его разочарование музыкальной жизнью Парижа, его стремление к Алоизии, но, по-моему, не меньшее значение имело нежелание расставаться с надеждой на творческую независимость. Следовательно, дальнейшее пребывание в Париже уже не имело никакого смысла: вопреки указаниям отца Вольфганг не добыл здесь ни денег, ни славы. К тому же в Париже Моцарт пережил первую трагедию в своей жизни: смерть матери. Подчиняясь зову отца, он выезжает, однако отнюдь не торопится в Зальцбург, где его ждет лишь перспектива снова впрячься в ярмо службы у архиепископа. Он делает длинный крюк, заезжая в Мангейм, где его встречают исключительно тепло, однако возникшая было надежда зацепиться там быстро исчезает. К тому же Веберы, оказывается, за это время успели хорошо устроиться в Мюнхене, и Вольфганг выезжает туда – но лишь навстречу новой трагедии: чтобы узнать, что Алоизии он более нисколько не нужен. Еще один крах надежд! Ничего не остается, как вернуться в ненавистный Зальцбург. «Зальцбург не место для моего таланта! – писал он патеру Буллингеру. – Во-первых, здесь музыкантов не уважают, а во-вторых – здесь нечего слушать: нет ни театра, ни оперы!». Обратите внимание на эти две причины: достоинство Моцарта как музыканта и ясный отчет в характере своего призвания как оперного композитора. Тем не менее, в январе 1779 года ему не остается ничего другого, как подать «верноподданное и всепокорнейшее» заявление с просьбой зачислить его придворным органистом «его высокопреподобия» архиепископа зальцбургского.

“Посмотрим, что в это время происходит с Марией-Антуанеттой. У нее – также начинаются неприятности, однако с подлинно габсбургским высокомерием она их игнорирует. Ее новое увлечение –

перестройка Малого Трианона – в конечном счете обойдется Франции в гигантскую сумму, близкую к двум миллионам ливров, и принесет ей новое прозвище: «мадам Дефицит». Другое увлечение королевы – семья Полиньяков, которых она делает своими ближайшими друзьями, которые сколотят на этой дружбе колоссальное состояние и бессовестно оставят Марию-Антуанетту в час беды. Эта прихоть ежегодно стоит казне не менее полмиллиона ливров. «Беспримерно, – доносит австрийский посол в Вену, – чтобы за столь короткое время столь огромные суммы выплачивались одной-единственной семье!». Укоры и наставления, которыми полны письма Марии-Терезии, остаются совершенно безрезультатными. Итог: по всей стране начинают циркулировать колючие куплеты и брошюры о Марии-Антуанетте, сплетни об ее отношениях с Полиньяками, о ее ночных визитах в Париж, обвинения в том, что она является причиной всех бед народа; традиционная неприязнь к иностранцам постепенно вырастает во всенародную ненависть к «австриячке». Однако с легкомысленной улыбкой Мария-Антуанетта проходит мимо всех признаков возникающей опасности. Нужна будет настоящая буря, чтобы ее разбудить.

“1781 год знаменует собой решительный поворот в жизни Моцарта и также очень важное событие в жизни королевы Франции. Летом 1780 года из Мюнхена приходит новый заказ: на оперу «Идоменео», и архиепископ, не желая портить отношения с курфюрстом Баварии, вынужден отпустить Моцарта – но не более чем на шесть недель. Тем не менее, эти шесть недель превращаются в пять месяцев. «Идоменео» – первая его зрелая опера, и почитайте-ка его переписку с отцом о работе над ней: это совершенно необходимо для понимания принципов эстетики Моцарта и его взглядов на роль музыки в театре, а в частности – для того, чтобы составить верное представление о его личности как человека и художника...

“Я бы назвал всю жизнь Моцарта так, как он сам назвал «Дон Джованни»: *dramma giocosa*...

– Радостная драма...

– Да – слиянием диаметральных противоположностей, – и к тому же имеющей то же строение, что его излюбленная оперная форма: из двух актов. Так вот, второй акт этой *dramma giocosa* начинается премьерой «Идоменео» в январе 1781 года. После нее Моцарт еще остается на некоторое время в Мюнхене, надеясь получить там или какую-то постоянную должность или новый заказ, но в начале марта архиепископ Зальцбурга вызывает его в Вену. В действительности – это зов судьбы, но сначала нужно упомянуть об обстоятельствах, вынудивших архиепископа явиться в столицу и стать орудием Провидения, направившего жизнь Моцарта по новому руслу.

“В конце ноября предыдущего года Мария-Терезия заболела воспалением легких, от которого умерла. Два желания было у нее в последние месяцы жизни, одно из них не исполнилось, второе – исполнилось. Первое – дожить до того дня, когда Мария-Антуанетта произведет на свет наследника французского престола; это действительно произошло, но лишь через год после смерти Марии-Терезии. Второе – не увидеть, как ее любимейшая дочь пожнет плоды своего легкомыслия и своеволия; эта молитва благочестивой императрицы была услышана.

“Теперь Мария-Антуанетта, несмотря на искреннюю скорбь, почувствовала огромное облегчение: исчезли главные препятствия, мешавшие ей самозабвенно предаваться любым удовольствиям, которые она, как королева, желала доставить себе. Правда, старший брат продолжал слать ей длинные письма, тоже полные упреков и поучений, но для Марии-Антуанетты было куда легче отмахиваться от них, нежели от писем матери. И результат этого мы скоро увидим.

“Итак, причиной пребывания зальцбургского архиепископа в Вене и, следовательно, вызова туда Вольфганга Моцарта была коронация нового императора, Йозефа Второго. Очутившись там, Моцарт сразу же окунулся в музыкальную жизнь столицы и вызвал тем

самым сильнейшее раздражение своего сюзерена, что скоро привело к полному разрыву. Обстоятельства его хорошо известны, и я не буду на них останавливаться. Отмечу лишь самый важный, по-моему, момент. Отвечая отцу, пришедшему в отчаяние от «безумства» сына, Моцарт пишет: «Чтобы угодить Вам, несравненный мой отец, я готов пожертвовать и своим счастьем, и здоровьем, и жизнью, но моя честь – она для меня (как и для Вас) превыше всего». О какой чести говорит Моцарт? Безусловно, о художественной. Дворянином он не был, но, как также писал отцу, не стесняясь в выражениях, чести у него «не меньше, чем у какого-нибудь графа»: «Дворовый слуга или граф – коли он меня оскорбляет, он – сволочь», и грозился, что оскорбивший его обергофмейстер архиепископа дождется от него (извините меня за буквализм) «пинка в жопу и пары затрещин вдобавок». Ясно, что такая угроза человека из мещанского сословия дворянину – настоящее восстание против всех сословных предрассудков XVIII века. Что дает Моцарту силу для этого? Сознание, что он, как художник, имеет право претендовать на уважение не меньшее, чем то, которое создается знатностью происхождения.

– Так что, как уже отметил наш уважаемый доктор, когда Бетховен бросил князю Лихновскому: «Князей – множество, но Бетховен – один», он, в сущности, повторил Моцарта, – заметил Йозеф.

– А во Франции разворачивается борьба за постановку «Женитьбы Фигаро». Подстрекаемая своим окружением, фрондирующим против короля, Мария-Антуанетта носится с проектом постановки «Фигаро» в своем театре в Малом Трианоне вопреки официальному запрету. Вот вам новая параллель: Моцарт борется за свою художественную свободу, и победа приносит ему колоссальный творческий взлет; Мария-Антуанетта борется за свободу исполнять свои прихоти, не отдавая себе отчета в том, что, фактически, подрывает устои монархии, а победа – постановка «Фигаро» в 1784 году – лишь еще больше приблизит революцию.

“1782-й – год выдающегося события в истории немецкой оперы: премьеры «Похищения из сераля», а через две недели после этого сам Моцарт совершает «похищение» Констанцы из родительского дома и женится на ней.

“Начинается счастливый период его самостоятельной жизни – к величайшему сожалению, слишком короткий. В начале 1785 года Леопольд Моцарт навещает сына в Вене. Все увиденное и услышанное он описал в длинном письме к дочери, которая уже была замужем и покинула Зальцбург. У Вольфганга прекрасная квартира, очень хорошо обставленная, он очень прилично зарабатывает, а главное – вся Вена буквально носит его на руках. Леопольд подробно описывает, как люди «самого высокого ранга» считают необходимым для себя присутствовать на концертах его сына и как сам император после исполнения Вольфгангом нового клавирного концерта «со шляпой в руках отвесил ему поклон и крикнул: Браво, Моцарт!». Сам Леопольд в восторге от музыки сына, однако желает получить более объективный отзыв и потому спрашивает самого Гайдна, какого тот мнения о сочинениях Вольфганга. «Перед Богом и как честный человек я говорю вам, что Ваш сын – величайший композитор из всех, которых я знаю лично и по имени...» – получил он ответ, и обратите внимание на аргумент: «...Ибо он обладает безукоризненным вкусом и отменным знанием законов композиции».

– Да, вот лучшее определение, самый точный критерий, кого считать великим композитором, – заметил доктор.

– Какая замечательная дружба связывала Гайдна и Моцарта! – воскликнул Жоржик. – Они относились друг к другу нежнее, чем отец и сын!

– Да, – согласился Лео, – смотрите: к отцу Моцарт обращался в письмах на «Вы», а к Гайдну, в посвящении ему квартетов, – на «ты». «Сударь, – сказал он одному знаменитому тогда венскому композитору, критиковавшему сочинение Гайдна, – если бы нас с вами сплавили воедино, все равно получился бы далеко не

Гайдн!»

– «Никто из нас, – сказал он однажды, – не умеет всего, как Отец Гайдн: и шутить – и трогать душу, заставлять и смеяться – и плакать, и притом как одно, так и другое – одинаково хорошо», – процитировал Йозеф. – И когда Гайдн получил из Праги предложение написать оперу, он отказался в пользу Моцарта, объясняя, что «взял бы на себя слишком много, если бы попытался встать вровень с великим Моцартом», – именно так он и выразился. «Прага должна крепко держаться за этого ценного человека, – продолжал он, – но также и вознаградить его, так как без этого история великих гениев слишком печальна и не очень-то ободряет грядущие поколения на дальние устремления... Извините, – заканчивает он, – если я сошел с колеи: я слишком люблю этого человека». И уже много позже, уже в 1807 году, он расплакался, когда при нем вспомнили Моцарта. «Простите, – сказал он, вытирая глаза, – до конца моих дней я должен оплакивать моего Моцарта!..»

– Да, Гайдн был благороднейшим человеком, – заметил Людвиг. – Жаль только, что музыка его безнадежно устарела...

– Ты!.. – вспыхнул Жоржик. – Ты просто... the pure snob – простите, не знаю другого слова!

– Не беспокойтесь, – обратился доктор к Людвигу, и голос его прозвучал необычно резким оттенком, – музыка Гайдна переживет и нас с вами, и наших детей, и наших внуков!

– Но давайте вернемся к Марии-Антуанетте, – предложил Лео. – Для нее тоже 1781-1784 годы – самый счастливый период ее царствования. Наконец-то она произвела на свет наследника французского престола; ее влияние на короля – огромно, все ее желания мгновенно исполняются, как в годы детства; по своему желанию она возносит угодных ей людей на высшие должности, а неугодных – сваливает. Но постепенно вокруг нее образуется кольцо отчуждения: с одной стороны, французская знать, раздраженная пренебрежением «австриячки» к традициям французского двора,

отдаляется от нее; с другой стороны, презрение Марии-Антуанетты к «черни» и ее нуждам отталкивает от нее народ. В момент смертельной опасности это одиночество станет для нее гибельным.

“1785 год – кульминация упоения счастьем быть неограниченной повелительницей и грозное предзнаменование будущего: начало печально известного «дела об ожерелье королевы». История эта темная – возможно, также намеренно затемненная. В двух словах: в свое время Луи XV заказал чрезвычайно дорогое бриллиантовое кольцо, предназначенное Дюбарри, но не выкупил его; теперь ювелиры предложили его Марии-Антуанетте, но она даже не решилась попросить у мужа столь огромную сумму, так как Франция переживала финансовый кризис (из которого так и не вышла). Перед этим у королевы появилась новое увлечение: некая графиня де ла Мотт, претендовавшая на происхождение от королей династии Валуа. Мария-Антуанетта буквально влюбилась в нее и сделала ее своей ближайшей подругой. И вот эта де ла Мотт якобы от имени королевы сообщила ювелирам о решении приобрести кольцо, а что доверенным лицом Марии-Антуанетты в этой сделке – является принц-кардинал Роан: тот самый, который когда-то в Страсбурге вел ее к алтарю. Роан якобы от имени королевы купил кольцо за миллион шестьсот тысяч ливров: часть денег он уплатил наличными, а на остальное выдал векселя. Однако когда наступил срок первого платежа, ювелиры не получили ничего. После нескольких безуспешных попыток они подали в суд, в результате чего и принц-кардинал, и де ла Мотт, и граф Калиостро (снабжавший деньгами Роана) были задержаны. На следствии выяснилось, что Роану, по-видимому, влюбленному в королеву, его же любовница де ла Мотт устраивала свидания в версальском парке с женщиной, как две капли похожей на королеву. Была ли это двойница Марии-Антуанетты или она сама, или поочередно то та, то другая, до конца неизвестно. Выяснилось лишь одно: ожерелье присвоила де ла Мотт – но для себя или для королевы? Это тоже осталось

неясным. По приговору парижского парламента Роан и Калиостро были оправданы, а де ла Мотт подвергнута телесному наказанию, клеймению раскаленным железом как воровка и заключена в тюрьму. Но тут общественное мнение решительно стало на сторону этой авантюристки. Она была объявлена невинной жертвой, а настоящей воровкой – королева, воплощение порока, коварства и подлости...

– Извини, Лео, – прервал его Джордж. В его глазах, обычно немного сонных, с самого начала этой части рассказа горел подлинный интерес. – Та эпоха, годы перед самой революцией, меня всегда очень интересовала, и старался разузнать о ней побольше. О «деле с ожерельем» есть и совершенно другая точка зрения, полностью оправдывающая королеву. Очень многое из того, о чем ты сказал, известно из крайне ненадежного источника: «Мемуаров» де ла Мотт, полных самой откровенной лжи. Они были изданы в Лондоне, куда ей устроили побег из тюрьмы после публичного наказания. В частности, там развивается версия о том, что она, якобы, была очень близкой «подругой» королевы и бесстыдно указывает причину: лесбиянство. Именно эти «Мемуары» создали образ Марии-Антуанетты как чудовища разврата. Однако интересно, что, в частности, Наполеон придерживался совершенно иной точки зрения. Он писал: «Королева была невиновна, но чтобы публично доказать свою невиновность, она захотела, чтобы судьей стал парламент. А результатом стала всеобщая убежденность в ее виновности». Причиной этого была та ненависть, о которой ты сказал: и третье сословие, и высшая аристократия были одинаково заинтересованы в моральном осуждении королевы. Король же, который должен был утвердить приговор, как всегда, проявил свою бесхарактерность и неспособность к решительным действиям. Он должен был или помиловать де ла Мотт – что, безусловно, произвело бы очень хорошее впечатление, – или устроить ее казнь, кто осмеливался задеть честь королевы. Но, как всегда, он ограничился половинчатыми мерами и не достиг

никакого результата. Это и привело к тем последствиям, которые ты обрисовал.

“Между прочим, уже после революции вынашивали план устроить новый процесс, в котором де ла Мотт стала бы истицей, а Мария-Антуанетта – обвиняемой. Однако в 1791 де ла Мотт в приступе душевного расстройства выбросилась из окна и тем самым лишила мир зрелища гротескной юстиц-комедии, в финале которой мошенница де ла Мотт могла бы стать зрительницей, наблюдающей за казнью оклеветанной королевы...

– Спасибо, Жорж, – улыбнулся Лео. – Так или иначе, но комедия в стиле рококо, которой до сих пор была жизнь Марии-Антуанетты, на этом подошла к концу. Началась трагедия – но трагедия, сочетающая в себе черты и классической трагедии, и психологической драмы. Классической трагедии – потому что причиной гибели ее героини станет самопожертвование во имя королевской чести; психологической драмы – потому что в ходе ее героиня проявит новые, совершенно не свойственные ей до тех пор черты характера.

“Замечу, что в 1785 году и у Моцартов, и у Бурбонов родились вторые сыновья (первый сын Вольфганга и Констанцы прожил всего два месяца). У Моцарта – Карл-Томас, у Марии-Антуанетты – Луи: так никогда и не царствовавший Луи XVII.

“Итак, мы подошли к 1786 году – году написания «Фигаро», но прежде нужно упомянуть великие произведения, созданные Моцартом за предыдущие два-три года. Прежде всего – это шесть квартетов, посвященных Гайдну: нечто совершенно новое в этом жанре, отсюда идет прямая линия к квартетам Бетховена! Далее – поздние клавирные сонаты и целая серия клавирных концертов: одиннадцать концертов за два года! С точки зрения стиля – это в буквальном смысле слова открытие нового мира. Но я хотел бы задержаться на трех сочинениях для клавира: сонате с фантазией c-moll и двух концертах – d-moll и c-moll.

– Почему именно на них? – спросил Джордж.

– Из-за их содержания. И здесь все та же двойственность, о которой мы говорили: в самое счастливое, казалось бы, время – столь трагические сочинения. Это свидетельствует о каких-то глубоких внутренних переживаниях, может быть, о каких-то предчувствиях...

– Да, ты прав, – заговорил Йозеф. – В этой музыке уже слышится голос Рока, особенно в фантазии и сонате. Их первые темы – грозное вступление и трепетный ответ. Этот принцип строения темы станет излюбленным у Бетховена. И еще: ты забыл о соль-минорном фортепианном квартете, написанном в 1786-м, главная тема его первой части которого строится так же. Услышав только ее, без продолжения, наверняка скажешь: это, точно, Бетховен!

– А их медленные части! Хроматические ниспадания в Adagio c-moll-ной сонаты – словно бессильные вздохи-стоны от избытка наслаждения... И не могу не упомянуть о медленной части большого концерта C-Dur: вот где радость созерцания Красоты, вспышки страсти и мучительная скорбь сливаются воедино!

– Как это напоминает Бодлера! – вдруг подал голос Джордж. – Звучности, одновременно идеально-прекрасные и чувственные, таинственные шаги *pizzicato* и страстная мелодия...

Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent...

Когда я слышу такую музыку, мне представляется кладбище в разгаре лета: пышное цветение, легкий, ласковый ветерок, ароматы цветов, веселое пение птиц – и тут же, рядом, смерть... И, при виде этой красоты, сердце сжимается от боли...

– Жорж, ты сам поэт! И еще я хочу сказать о финалах этих минорных произведений: что-то подобное мы можем услышать лишь у романтиков. Это такая степень скорби, когда уже теряется ощущение реальности окружающего мира: он уже кажется фантасмагорической

вереницей стремительно пролетающих мимо теней...

– Таков же финал последней соль-минорной симфонии, и ре-минорного квартета...

– ...Особенно призрachen конец с-moll-ного концерта... И подумать только, что Моцарт закончил его перед самым «Фигаро»! А ведь его постановка – это величайший триумф Моцарта при его жизни... Однако и этот год тоже был омрачен: умер третий ребенок, прожив меньше месяца. И у Марии-Антуанетты в том же году тоже родился ребенок, четвертый и последний – дочь, тоже умершая через одиннадцать месяцев.

“Следующий год – на первый взгляд, продолжение триумфального 86-го: в его начале – гастроль в Праге, сопровождавшаяся беспрецедентным успехом; его завершение – «Дон Джованни», написанный для Праги и также имевший огромный успех, и производство Моцарта в должность придворного композитора. Но в ре-минорном вступлении к Пражской симфонии совершенно явственно звучат шаги Командора...

“Но 1787 год – также год смерти Леопольда Моцарта. Подобно Марии-Терезии, он не дождался осуществления своих предсказаний, которыми он (как она – свою дочь) в свое время старался заставить заняться за умом своего «непутевого» сына...

– Он предрекал ему смерть в нищете и безвестности... – проговорил Йозеф.

– ...В самом конце декабря – рождение дочери, прожившей всего полгода.

“В это самое время – где-то между «Фигаро» и «Доном Джованни» – как я сказал, происходит что-то, радикально меняющее и стиль, и содержание композиций Моцарта. С одной стороны, мелодии все более и более упрощаются, приближаясь к незамысловатой народной или даже детской песенке, становятся все более и более лиричными, напевными, но одновременно – его музыка преисполняется невыразимо острой и безысходной скорбью. Может быть, ключ к разгадке дают воспоминания Нимечка, что еще в Праге Моцарт

чувствовал себя очень плохо и все время принимал лекарства, а перед отъездом оттуда, прощаясь с друзьями, так страдал, что разрыдался – видимо, предчувствуя, что больше с ними не увидится. Нимечек предполагает, что уже тогда Моцарт носил в себе зародыши той болезни, от которой умер. 12 июля 1789 года – между прочим, за два дня до взятия Бастилии – Моцарт пишет душераздирающее письмо своему другу и товарищу по масонской ложе: Констанца очень тяжело переносит новую беременность, но нет денег послать ее на курорт, и Моцарт занимает у него пятьсот флоринов, а потом – еще пятьсот... «Боже! – пишет Моцарт, – я в таком положении, какого не пожелаю и злейшему врагу...» И далее – намек на какие-то странные и грозные обстоятельства: «...Если бы я не был уверен, что Вы знаете меня, знаете мои обстоятельства и мою невиновность (это слово подчеркнуто самим Моцартом), мое несчастное, в высшей степени печальное положение, я не решился бы вместо благодарности докучать Вам новыми просьбами...»

– О какой невиновности пишет Моцарт? – спросил пораженный Жоржик. – Его кто-то в чем-нибудь обвинял?

– Не знаю.

– А может быть, он имеет в виду свою невиновность перед Небесами? – с расстановкой произнес доктор.

– В начале июня 1789 года у Марии-Антуанетты умирает сын, – продолжал Лео, – и где-то в то же время она пишет следующие примечательные слова, свидетельствующие о важных изменениях в ее умонастроении: «Я дрожу от мысли, что это была я, которая ему позволила снова прийти. Моя судьба – приносить несчастье...»

– О ком идет речь в этом письме? Кому она «позволила прийти»? – спросил Людвиг.

– Неккеру, которого снова призвали на должность министра финансов. Я не знаю точно обстоятельств...

– Позволь мне, Лео, сказать об этом, – снова

прервал его Джордж.

Лео кивнул, и тот стал рассказывать:

– Кроме «дела об ожерелье», репутации Марии-Антуанетты была нанесен еще один страшный удар опубликованием финансового баланса королевства. Министр финансов Калонн был раздражен против двора, который все время ставил ему палки в колеса, не давая провести необходимые реформы и в то же самое время требуя исправления положения. И он вывел на свет божий факт, который все время замалчивался: за двенадцать лет своего правления Людовик XVI наделал долгов на один миллиард двести пятьдесят миллионов! На что же они ушли? – закричала вся Франция. «Афера с ожерельем» дала ответ: в то время как рабочие надрывались по десять часов в день, чтобы заработать пару су, в то время как земледельцы подыхали от голода, королева швыряла миллионы на приобретение бриллиантовых украшений, новых нарядов, на всевозможные развлечения, на строительство своего дворца... Стало также известно, что она послала своему брату, Йозефу Второму, на его военные нужды целых сто миллионов золотом! Вот тогда-то королева и была заклеймена прозвищем «мадам Дефицит». Необходимо было принять срочные меры для успокоения умов, и, за неимением другого выбора, призвали Неккера – человека, вдвойне ненавистного Марии-Антуанетте: как швейцарец-кальвинист (то есть «еретик») и как неумолимый сторонник резкого ограничения ее расходов. «Да здравствует король, да здравствует Неккер!» – гремело на улицах Парижа и даже в галереях Версаля, отдаваясь похоронным звоном в ушах королевы. И она предприняла все усилия, чтобы свалить нового министра: опять в ее глазах судьба монархии отступила назад перед желанием отстоять свое «королевское достоинство».

– А результатом, – сказал Лео, – было всеобщее требование созыва Генеральных Штатов, первое заседание которого открыл тот же Неккер весной 1789 года. А его отставка – была одним из поводов, по которым 14 июля народ взял штурмом Бастилию...

– Примчавшийся из Парижа герцог Льянкур настоял, чтобы спокойно почивавшего короля разбудили, и сообщил ему эту весть, – снова заговорил Джордж. – Заспанный король промямлил: «Но ведь это же бунт!»; «Нет, сир, – ответил вестник, – это революция!»

– Начинается следующий акт трагедии, – Лео продолжал свой рассказ. – Пока еще большинство народа не помышляет о свержении монархии, что стараются втолковать королевской чете вожди революции, занимающие умеренные позиции. Однако пока король и королева колеблются, не желая идти на уступки, народ, потеряв терпение, берет штурмом и Версаль. Только тогда король и королева вынуждены переселиться в Париж – «поближе к народу». Король старается изо всех сил оставаться в образе «отца народа», однако королева занимает непримиримую позицию: революция и каждый, кто с ней связаны, – враг. Поэтому она смертельно ненавидит маркиза Лафайета – «изменника», перешедшего на сторону народа, – и графа Мирабо, возглавляющего конституционную партию, – тех самых, которые в самом деле желали спасти монархию. А тем временем так называемые «друзья» королевы бегут из Франции, оставляя свою коронованную покровительницу на произвол судьбы. Понимая, что Мария-Антуанетта делает все, чтобы приблизить собственную гибель, смертельно больной Мирабо посылает ей записку, состоящую всего из трех слов: «Бежать, бежать, бежать!». Но королева оскорблена: как – ей бежать от взбунтовавшейся черни?! Когда же, в 1791 году, король и королева наконец решаются на бегство – уже слишком поздно, и оно превращается в очередную трагикомедию, безнадежно ухудшившую их положение.

– Обстоятельства этого бегства, – вставил Джордж, – необычайно интересны: любая попытка оказать им помощь проваливается. Воочию видно, что судьба – против Бурбонов.

– Когда королевскую семью насильно возвращают в Париж, никто уже не считает короля «отцом народа». Во дворце Тюильри они, фактически, находятся под

домашним арестом в ожидании своей участи.

“Но мы опять забежали вперед. Вернемся к 1788 году. Летом Моцарт написал одну за другой свои последние три симфонии. Как мне помнится, при его жизни они так и не были исполнены. Финал С-Дуг-ной – нечто еще не бывалое: синтез фуги и сонаты! Осенью он заканчивает еще один шедевр своей полифонии: струнное трио Es-Dug из шести частей, скромно названное им «Дивертисмент».

– Почему ты назвал его «шедевр полифонии»? – спросил Джордж. – В нем тоже есть fuga?

– В том-то и дело, что нет. Но голоса настолько самостоятельны, что, слушая их, вы не верите, что играют только три инструмента: звучит целый оркестр!

Йозеф подошел к стеллажу и взял партитуру «Волшебной флейты».

– Взгляните на любую страницу, – Йозеф раскрыл перед нами увертюру, – ведь это же чудо графики: какое изящество линий, какая соразмерность, какая четкость рисунка! Это просто сверхчеловеческое совершенство техники! Невольно приходит на ум, что при сочинении музыки Моцарта заботила также красота ее записи...

Лео сделал еще глоток и медленно проговорил:

– Последние годы жизни Моцарта – для меня полная загадка. Все, что я читал о них, полно противоречий. Одни современники вспоминают, что он был очень болен, другие – утверждают, что он чувствовал себя прекрасно. С одной стороны, исполняются его прежние оперы и он получает заказы на новые, в 1789 и 1790 годах он совершает поездки по Германии, с другой стороны – создается впечатление, что он живет в крайней нищете и безвестности. Он выступает при саксонском дворе, в Дрездене, в Берлине, в Лейпциге, во Франкфурте, по случаю коронации нового императора, Леопольда Второго, в Мюнхене перед баварским двором, весной 1791 года – и в Вене; а в некоторых книгах я читаю, что в эти годы никому не было дела до Моцарта и что его все забыли...

– В какой-то степени я могу объяснить это, –

сказал Йозеф. – Коронованный покровитель Моцарта, Йозеф Второй, умер. Новый император, Леопольд Второй, музыки не любил, и ему, конечно, сразу же принялась подражать венская знать. Потому-то Моцарт и был вынужден ехать в другие места. Концерты, которые он давал в Германии, имели успех, но почти не приносили денег: большая часть выручки шла на оплату музыкантов. Да и Моцарт, как я думаю, не столько стремился к заработку, сколько желал исполнить свою музыку как можно лучше. Известно, что он не удовлетворялся минимальным составом оркестра, но всегда стремился расширить его, желая добиться того звучания своих произведений, которое, он, видимо, мысленно слышал в процессе сочинения. Известно, что однажды на его «академии» в Вене в оркестре было сорок скрипок, десять альтов, восемь виолончелей и десять контрабасов и целых шесть фаготов! А в Лейпциге Моцарт играл вообще бесплатно...

Я тоже позволил себе высказать собственное мнение:

– Это, конечно, важно, но разгадку этой загадки, по-моему, следует искать в его последних сочинениях. Откуда эта безысходная скорбь, сменяющаяся наивной радостью – словно ребенок вдруг забывает о своих горестях, увидев что-то забавное? Ты, Лео, совершенно правильно отметил особую лиричность, задушевность его последних сочинений, но я бы еще добавил, что все они отличаются еще каким-то торжественным характером. Для меня нет сомнений в том, что Моцарт словно шествовал навстречу своей судьбе в полном сознании того, что неминуемо должно произойти: в абсолютной покорности и вместе с тем в радостной уверенности, что и это – благо. Такая музыка вряд ли могла понравиться его современникам – не говоря уж о том, насколько изменился его стиль в последние годы, как ты сам сказал. Если уж и раньше жаловались, что Моцарт предъявляет слишком большие требования к слушателям, то теперь, когда его музыка стала особенно полифоничной, с ее гармонической напряженностью, со сложностью

формы...

– Да, я читал в одной книжке, – перебил меня Жоржик, – что когда нотный издатель увещевал Моцарта «писать попроще» – а то, мол, никто не будет покупать его сочинения, – тот ответил: «Ну и наплевать! Значит, буду голодать!»

– И «*Così fan tutte*» тоже успеха не имела. Сам Йозеф Второй, подсказавший Моцарту этот сюжет, был разочарован: он рассчитывал на оперу *buffa*, а у Моцарта получилось совсем не смешно...

– ...А скорее страшно! – подхватил доктор. – У вас никогда не было ощущения, что в этой опере Моцарт намекает на такие глубины человеческого сознания, в которые никто не хочет заглядывать?

– А мне кажется, – сказал Жоржик, – что «*Così*» – это пародия на комическую оперу, и не смешна она из-за того, что уже никто не понимает ее намеков. Это как пародия, объект которой неизвестен. И никакой особенной глубины в ней я не вижу: ну, двое шалопаев решили испытать своих возлюбленных... В сущности, этот сюжет уже есть у Боккаччо!

– Правильно: если ждешь, что тебя будут только смешить, будешь разочарован, как Йозеф Второй. Но в том-то и дело, что каждая опера Моцарта – это открытие, это нечто неповторимое. Я осмелюсь сказать, что «*Così*» – самая утонченная из опер Моцарта. Средствами музыки он в ней выразил такие глубины психологии, к пониманию которых медицинская наука подошла лишь сейчас: что в сознании человека есть такие пласты, управлять которыми он не умеет. Судите сами: двое влюбленных, подстрекаемые их старшим другом – насмешливым циником, новым перевоплощением дона Джованни, – решаются на легкомысленный эксперимент: проверить глубину чувства своих возлюбленных тем, что каждый попытается обольстить чужую возлюбленную. Каждый из них абсолютно уверен в непоколебимости своего чувства и чувства своей любимой и почти уверен, что другая пара не устоит. Их подстрекает демон-искуситель дон Альфонсо, которому весело подыгрывает

служанка Деспина, настоящий чертенок в юбке. Перед нами три пары, которые олицетворяют шесть типов любви: Феррандо – любовь как упоительный сон, Гульельмо – беззаботное наслаждение, Фьордилиджи – гордая страсть, Дорабелла – воплощение непосредственности, быстро вспыхивающая, но также легко меняющая настроение; дон Альфонс вообще не верит в любовь, а Деспина – воплощение легкомысленности. Но в какой-то момент каждый из них начинает смутно ощущать, что играет с огнем. Вместо того чтобы обольстить чужую возлюбленную, обольщаться начинают сами Феррандо и Гульельмо: они с ужасом чувствуют, что влюбляются в любимую своего друга, а их возлюбленные – в своих обольстителей. Все персонажи словно догадываются, что есть некая сила, которая несоизмеримо сильнее всего человеческого: и чувств четырех любящих, и насмешливого ума дона Альфонсо, и фривольной женственности Деспины. И ощущение власти этой загадочной силы и бессилия перед ней человека порождает оттенок печали, который чувствуется все сильнее и сильнее даже в заведомо комических сценах. В конце концов, фактически, все признают свое поражение – в том числе и дон Альфонсо, предлагающий руку и сердце Деспине. А та – соглашается, тем самым признаваясь и в своем поражении...

“Эту силу древние называли Эросом в смысле стихии, властвующей над миром. В этом смысле «*Così fan tutte*» – панегирик всемогущей чувственности, невыразимо прекрасной и смертельно опасной...

– «Красота inferнальная и божественная» по изумительному выражению Бодлера! – вымолвил Джордж.

– ...Но я вижу, – продолжал доктор, – еще другой аспект философии этой оперы. Моцарт с печальной усмешкой показывает, к чему ведет вседозволенность. Если – даже в шутку – сбросить с себя ограничения этики, обычаев, религии наконец – все то, что романтики считают оковами для «свободного чувства», – то это

неизбежно ведет к несчастью, к разрушению личности и, далее, человеческого бытия вообще. И никакой здравый смысл не поможет спастись от этого. Счастливы персонажи Моцарта, что смогли вовремя остановиться!..

– И здесь, и в «Доне Джованни», и в концертах, и в других сочинениях Моцарта, особенно в последних, – сказал я, – мне все время слышится его смех. Это смех того, кто, пройдя через все человеческие страдания, совершив массу ошибок, свойственных человеку, познав его пороки и страсти, поднялся над всем этим и вырвался в вечность, в мир вечных ценностей, ценностей Божественных...

– Верно, Габор! – подхватил Лео. – А как смеется оркестр над донной Эльвирой: то якобы серьезно поддерживает ее патетику, то словно наблюдает над ней с лукавой усмешке, то, как бы не в силах сдержаться, просто рассыпается в хохоте...

– И даже над доном Джованни! Хотя Моцарт и восхищается им – вот, мол, какой силой может обладать человек! – но все же относится к нему с какой-то иронической насмешливостью... И при всем его сочувствии к донне Анне нет-нет да промелькнет в оркестре снисходительная усмешка. Заключительную же фугу-моралитэ я вижу так, как будто после окончания кукольного представления показываются все персонажи: смотрите, мол, они – не больше, чем куклы...

– И позади них вырастает тень самого Кукольника, – многозначительно закончил доктор.

– А трели, которыми Моцарт так любит заключать каданс, – разве не смех? – вступил в разговор Йозеф. – Чаше всего – веселый, иногда – насмешливый, даже ироничный, а когда – и горький...

– Да, и в особенности это относится к самому последнему, В-dur-ному концерту, который Моцарт написал в январе последнего года своей жизни. Первая тема – певучая фраза, полная глубокого чувства, и вдруг – дурашливая фанфара духовых; вторая тема – лукавая переключка скрипок и флейты, которая явно посмеивается над их чувствительностью, а третья – уже насмешка над

самим собой: глубокий задумчивый вздох – и хихикающие форшлагги...

– Ну, начался разговор ученых специалистов! – перебил меня Людвиг. – Это все равно что описывать вкус пирога: не лучше ли приготовить его и дать попробовать?

– Ты, в сущности, прав, – ответил я. – Но сказать мне хотелось вот что: я представляю себе, что Моцарт смотрел на своих персонажей так, как отец наблюдает над своими маленькими детьми. Для них самих их игры может быть источником огорчений, чуть ли не трагедией, но отец-то знает им истинную цену: ведь их игры – не больше, чем детские игры. Отец любит своих детей, им самим произведенных на свет, но ласково иронизирует над ними, а над собой подсмеивается – что любовь к ним заставляет его оставить свои взрослые дела и наблюдать за их пустячными занятиями...

– Это не то, что мы называем иронией, а Эйронея в античном смысле, – ответил доктор, – космический смех Творца над Его созданиями. Вы совершенно правы в вашем сравнении: Он любит их и ласково подсмеивается над тем, что они так серьезно относятся к своим пустячкам. Он-то знает дистанцию между Собою и ними, а они – не знают и воображают, что важнее их проблем на свете ничего нет... Но над Собой Он тоже посмеивается: за то, что так низко опускается из-за любви к тем, кого Сам и создал.

– Вот уж действительно доказательство того, что Всевышний сотворил человека по Своему образу и подобию: насколько творящий человек уподобляется своему Творцу! – то ли в шутку, то ли всерьез воскликнул Людвиг.

– А вы знаете, какой удивительный квинтет написал он весной того же 1791 года? – спросил Лео. – Уж чего стоит только его состав: флейта, гобой, альт, виолончель и стеклянная гармоника!..

– Ну, сейчас это неисполнимо: на стеклянной гармонике уже никто не играет, – заметил Людвиг.

– Можно заменить ее челестой или, на худой конец, арфой, но вообще-то ближе всего к стеклянной гармонике верхние регистры органа. Поистине, это

совершенно бесподобная музыка: небесная, божественная! Всего две части: Adagio и Rondo; как во вступлении к до-мажорному квартету свет рождается из тьмы: тихая радость – из бездны страдания... Поэзия недоговоренного – смутные предчувствия то ли любви, то ли смерти, легкие, мимолетно скользящие образы...

– Вообще в своих последних произведениях Моцарт выбирает необычные, особо красочные сочетания тембров, – опять подал реплику Йозеф. – Незадолго до того был изобретен новый инструмент: кларнет – и какую замечательную музыку Моцарт написал для него! Летом 1791 года он сочинил мотет «Ave verum» – невозможно представить себе более прекрасное выражение религиозного чувства! И вскоре после того «человек в черном» заказал ему «Requiem»...

– Так от чего же умер Моцарт? – полюбопытствовал Жоржик. – Об этом известно что-нибудь новое? Доктор, вы же родились в Вене...

– А ты думаешь, – язвительно спросил Джордж, – что достаточно родиться в Вене, чтобы узнать все венские тайны?

– Заключение о смерти Моцарта было написано со слов трех ведущих венских врачей, – ответил доктор. – Я когда-то видел его: там сказано, что причиной смерти было воспаление оболочки мозга – сейчас мы называем это менингитом, – и что тогда в Вене немало людей умерло от той же болезни, выразившейся в точно таких же симптомах.

– И можно верить этому? – спросил Людвиг.

– Как вам сказать, – ответил доктор. – Вот, с нами два юриста: пусть они выскажутся с юридической точки зрения.

– Конечно, – сказал Джордж, – если в ходе судебного разбирательства предъявят такой документ, он будет считаться имеющим безусловную силу.

– ...До тех пор, пока не будут предъявлены столь же убедительные доказательства чего-то иного, – добавил Жоржик.

– Но мы прервали интереснейший рассказ Лео, –

остановил Йозеф готовую вспыхнуть дискуссию, – давайте дослушаем до конца.

– Мне осталось досказать очень небольшое. После неудачного бегства в 1791 году, как я сказал, положение королевской семьи резко ухудшилось. Однако несчастья выявляют в характере Марии-Антуанетты новые черты: решительность, энергию, стойкость. Можно сказать, что теперь, во время заключения (пока еще символического) в Тюильри, весь ее жизненный и душевный уклад претерпевает радикальную перестройку. Ее будуар превращается в дипломатический кабинет, ее изящный столик в стиле рококо – в государственную канцелярию. Она пишет массу писем, каждое слово в которых тщательно обдумывает, она учится зашифровывать свои мысли в якобы ничего не выражающих фразах, она изучает способы изготовления и употребления симпатических чернил, изобретает различные способы обмана бдительности сторожей, чтобы сноситься с теми, кто еще на свободе, и со своими сторонниками за границей... И, наконец, полное великого значения изменение: она научилась ценить дружбу и выслушивать советы. Короче говоря, вот теперь оказывается, что Мария-Антуанетта – достойная наследница Марии-Терезии!

“Но к какой же цели направлена вся ее деятельность? Оказывается, лишь к одной: борьбе с революцией. Упрямо отказываясь понять, что против нее – вся Франция, она не помышляет о спасении ни себя, ни мужа, ни детей, но все силы напрягает в тщетной надежде повернуть время вспять, восстановить *ancien regime* в его полном объеме. Когда принцесса Гессен-Дармштадтская предлагает устроить побег из Тюильри, Мария-Антуанетта отвечает решительным отказом, считая предательством по отношению к своим детям лишить их надежды на восстановление их монархических прав. Она или не понимает, что, призывая интервенцию из-за границы, подвергает себя и свою семью смертельной опасности обвинения в государственной измене, или – если понимает – идет на самопожертвование во имя

химеры. Заканчивается этот этап 10 августа 1792 года, когда, зная о готовящемся нападении на Тюильри и имея значительные военные силы, с помощью которых можно было бы вырваться из Парижа и бежать за границу, королева, вместо этого, решает дать решительный бой революции... и терпит ужасное поражение.

– Опять воочию видно, что судьба против нее, – заговорил Джордж. – Происходит масса мелких недоразумений, в результате которых защитники Тюильри теряют все преимущества, и штурм дворца превращается в бойню. Можно восхищаться героизмом этой женщины, но это – бессмысленный героизм человека, отстаивающего заведомо ложные позиции и сражающегося с Роком.

– Но все же – возвышенный: как героизм дона Джованни, отвечающего «нет! нет! нет!!», когда Командор уже держит его за руку, – заметил Йозеф.

– 10 августа 1792 года – окончательное падение французской монархии...

– Примечательно, с каким ускорением события следуют друг за другом, – перебил его Джордж. – Извини, Лео, но мне очень хочется обратить на это ваше внимание: понадобились столетия, чтобы от абсолютной монархии прийти к Национальному собранию, два года – от Национального собрания прийти к конституции, два месяца – от конституции к окончательному свержению монархии, и только три дня – от штурма Тюильри до заключения королевской семьи в тюрьму.

– Да, теперь они в Тампле, сначала – вместе, но в декабре, в ходе процесса против короля, его отделяют от семьи. Лишь накануне казни 21 января 1793 года ему разрешили свидание. После этого ясно, что дни королевы сочтены. Ее и так смертельно ненавидела вся страна, а тут еще выяснилось, что даже из Тампля ей удавалось поддерживать связь с преданными ей «паладинами», предпринявшими несколько попыток освободить ее. В июле королеву разлучили с сыном, а 1 августа перевели в тюрьму Консьержери с гораздо более строгим режимом. 14 октября начался судебный процесс, в ходе которого ее

обвинили во всех мыслимых и немыслимых преступлениях – даже в растлении собственного сына! Он продолжался всего два дня! И в самый день казни ее постарались подвергнуть новым унижениям. Подобно Моцарту, она умерла без причастия, но по противоположной причине: к ней прислали священника-отступника, присягнувшего в верности Республике, и Мария-Антуанетта сама отвергла его последнее напутствие. Офицер, стороживший ее, не отвернулся, когда она хотела переодеться; ей отказали даже в том, что разрешили королю: подъехать к эшафоту в закрытой карете. Марию-Антуанетту 16 октября привезли на казнь связанной, в открытой телеге, как воровку! И вот тут, под градом оскорблений и поруганий ее элементарного достоинства, Мария-Антуанетта в полной мере выказала величие своей души. В последние часы своей жизни она сохраняла непостижимое спокойствие и присутствие духа.

“И последняя параллель. Вы знаете, что место захоронения Моцарта так и осталось неизвестным: когда, оправившись от болезни, Констанца пришла на кладбище, там оказался уже новый сторож, который не мог указать ей общую могилу, в которой похоронили ее мужа. Точно так же и место захоронения Марии-Антуанетты осталось неизвестным: ее тоже похоронили в общей могиле, и когда через несколько лет один немец прибыл в Париж и поинтересовался, где похоронена дочь Марии-Терезии, не нашлось никого, кто мог бы указать это место.

– Но все-таки ей повезло больше, чем Моцарту, – добавил Джордж. – Когда ее деверь, бывший граф Провансальский, в 1814 году короновался как Луи XVIII, он велел перекопать весь печально известный двор кладбищенской церкви Мадлен, обильно удобренный жертвами революционного террора, и в конце концов, по полуистлевшей детали одежды, удалось опознать останки Марии-Антуанетты. Их перенесли в специально построенный мавзолей.

– Однако заметьте, – завершил доктор, – что

местом захоронения своего брата и непосредственного предшественника на троне Франции он не поинтересовался.

– Твой рассказ, Лео, действительно весьма любопытен – но каков смысл его? – задал свой вопрос Жоржик.

– Суть моей параллели в сопоставлении двух людей, живших одновременно и прошедших очень сходный путь от блестящих успехов, громкой славы и всеобщего признания к трагической гибели в окружении или ненависти, или полного равнодушия. Оба приняли мученичество за верность своему предназначению: такого, каким каждый из них понимал его. А главное различие между ними – в том, какой выбор они сделали. Моцарт – правильный: быть покорным судьбе, Року или Богу – как бы вы ни назвали это – и радоваться, что удостоился исполнять Высшую Волю. Поэтому Моцарт, при всех своих страданиях, был на удивление душевно уравновешенным и испытывал глубокую радость от своей жизни. Он смог воплотить ее в гениальных творениях и вечно продолжает приносить радость. Мария-Антуанетта же сделала неправильный выбор, превыше всего поставив свою гордыню, свои удовольствия. За исключением последних часов своей жизни, когда она, наконец, покорилась неотвратимому, ее жизнь была борьбой против очевидного. И потому-то о ней навеки осталась память запятнанная, оскверненная: ее можно жалеть, можно даже восхищаться ею, но к этому неизбежно примешивается ужас и отвращение...

– Если бы только она захотела, Европа того времени управлялась бы тремя женщинами: австрийской императрицей, французской королевой и русской царицей, – заметил доктор, но Лео поспешил закончить:

– ...Оба они стали чуждыми своему времени, но по диаметрально противоположным причинам: Мария-Антуанетта – отстав от него, Моцарт – далеко обогнав.

Наступило долгое молчание. Его нарушил доктор:

– Говоря о дружбе Моцарта с Гайдном, вы упомянули, что именно Гайдн рекомендовал Моцарта

Праге. Это напомнило мне, что я слышал когда-то, но подтверждения чему так и не получил и потому никогда никому не говорил об этом...

– Я предчувствую, что нас ожидает еще одно открытие, – с некоторой напыщенностью проговорил Людвиг. – Думаю, что, несмотря на очень поздний час, никто не будет возражать, если я от имени всех попрошу нашего уважаемого друга поделиться с нами тем, что он знает.

Никто не только не возражал, но, наоборот, все выразили живейший интерес. Лишь Йозеф попросил несколько минут обождать с началом рассказа, пока он заварит свежий кофе. Когда он вернулся с полным кофейником и наполнил нам чашки, доктор начал так:

– Знакомо ли вам имя Иоганна-Петера Саломона?

– Ну как же! – откликнулся Лео. – Это ему мир обязан появлением на свет двенадцати лондонских симфоний и, косвенно, обеих ораторий: «Сотворения» и «Времен года»!

– Мне придется затронуть некоторые детали моей биографии, – продолжал доктор. – Может быть, я однажды уже говорил вам, что лет сорок с лишним тому назад проходил практику у одного из лучших лондонских врачей. Одним из его пациентов был внучатый племянник Петера Саломона, с которым мы, несмотря на разницу в возрасте, нашли общий язык – на почве одинаковых музыкальных вкусов. Однажды мы встретились с ним на концерте, где исполнялась музыка Гайдна, и, как мы сегодня, пошли вместе домой. Он пригласил меня к себе и тоже за чашкой кофе предался воспоминаниям о днях своей юности. И вот тогда я услышал то, о чем позже нигде не встречал никакого упоминания.

“Вы, верно, знаете, что Иоганн-Петер Саломон был очень неплохим скрипачом. Потеряв работу у короля Пруссии, он переселился в Англию, давал концерты и, в частности, стал музыкальным импресарио. В 1790 году ему пришла идея привезти в Лондон кого-нибудь из знаменитых композиторов и тем самым услужить и ему, и себе. Как истинно деловой человек, он прежде всего

собрал сведения о том, чья музыка охотнее всего исполняется в Англии, а затем – об обстоятельствах жизни этих композиторов. В результате он остановился на двух: Моцарте и Гайдне. Устроить поездку в Лондон обоим он не был в состоянии; значит, нужно было выбирать, и в конце 1790 года он прибыл в Вену – желая окончательное решение принять уже там, на месте. Случилось так, что первым он встретил Моцарта. Саломон был совершенно уверен, что за его предложение тот ухватится обеими руками, но, к величайшему удивлению, услышал отказ. На вопрос о причинах он не получил убедительного ответа: Моцарт сказал что-то о недомоганиях жены...

– Констанца тогда была беременна их последним сыном, которого позже, после смерти Моцарта, она переименовала в Вольфганга-Амадеуса, – подсказал Лео.

– ...О каком-то долге... Короче говоря, после того, как Саломон попросил Моцарта еще раз обдумать его предложение и снова получил отказ, он обратился к Гайдну. Но и тот сразу отказался и отправил Саломона опять к Моцарту, дав ему некоторые новые сведения об условиях, в которых живет семья Моцартов, и объяснив ему, каким спасением для Моцарта была бы поездка в Англию. Однако тот опять отказался. Несколько раздраженный этим, импресарио сообщил об этом Гайдну, и тогда тот уже сам отправился к Моцарту. Неизвестно, о чем они говорили, но после этого Гайдн согласился поехать с Саломоном – как тот рассказывал, со слезами на глазах. И на рождество 1791 года Саломон с Гайдном выехали из Вены. Саломон присутствовал при прощании Гайдна с Моцартом и был несколько удивлен тем, насколько безутешными казались оба. В дальнейшем Гайдн несколько раз возвращался к идее привезти Моцарта в Лондон, и под его влиянием Саломон отправил Моцарту письмо с приглашением на следующий год. Но ответа не получил...

– Кажется, я нашел то, что мне не хватало до сих пор! – воскликнул Лео. – Существует письмо Моцарта, написанное в начале сентября того года, но не

отправленное, и неизвестно, кому предназначавшееся. Йозеф, у тебя есть все письма Моцарта? Пожалуйста, дай мне последний томик.

“Вот: здесь написано, что, предположительно, адресатом был да Понте, но мне всегда казалось это крайне сомнительным. По смыслу письма, кто-то предложил Моцарту новую работу – мог ли это быть да Понте? Со скандалом изгнанный из Вены, этот не в меру своевольный аббат сначала объехал пол-Европы, потом поселился в Лондоне. Но теперь все сходится! Как раз в 1791 году да Понте приехал в Лондон; не пытался ли он, с помощью Саломона, вызвать Моцарта для написания там новой оперы? Но обратите внимание на необычный стиль этого письма, на отрывочность и многозначительность фраз: словно Моцарта осаждает какая-то мысль, но он не хочет или не может ее высказать ясно. «Досточтимый господин! – пишет он (это обращение, конечно, больше подходит для Саломона, чем для да Понте), – я охотно последовал бы Вашему совету, но как мне это устроить? Мой ум в замешательстве, я едва узнаю сам себя. Образ того Неизвестного я не в состоянии отогнать от моих глаз. Я вижу его постоянно: он просит, он торопит меня и нетерпеливо требует от меня работы. Я продолжаю ее, потому что сочинение музыки утомляет меня меньше, чем покой. Впрочем, мне уже, собственно, дрожать не от чего. Я чувствую это по моему состоянию, оно говорит: часы бьют. (Обратите внимание:) Я готов умереть. Я близок к концу – прежде, чем смог насладиться моим талантом. Как, все же, прекрасна была жизнь! Мой жизненный путь начался под такими счастливыми предзнаменованиями! Однако (опять обратите внимание!) то, что предопределено Роком, изменению не поддается. Никто не в состоянии сам себе отмерить число дней своей жизни. С ясным сознанием необходимо принять на себя то, что угодно Провидению. И так я заканчиваю мою погребальную песнь. Я не должен ее оставить незавершенной»...

– «Моя погребальная песнь» – это Реквием или это письмо? – едва проговорил оцепеневший Жоржик.

– Может быть, и то, и другое, – вздохнул Джордж.

– А кто этот «Неизвестный»? Может быть, не «незнакомец в черном», а сам Рок? Или они в сознании Моцарта слились? Так он знал, что в том году должен умереть? – продолжал тот спрашивать, уже не ожидая ответа.

– Я слышал, что некоторые великие люди, как-то по-особому связанные с Богом, знают свой срок, – медленно произнес доктор. – И много ли есть людей, которые, оглядываясь назад, могут сказать: «Как прекрасна была моя жизнь»?..

– Пока ты читал, – заговорил Йозеф, – у меня в ушах звучало Adagio h-moll: крайняя простота в невероятной сложности, глубочайшая скорбь и мудрая улыбка человека, готового на предельное одиночество, на величайшее страдание с сознанием, что тем самым принимает на себя высшую власть Провидения... Никто из нас не смог бы существовать, дыша тем воздухом, которым жил Моцарт...

И до меня опять донеслась издалека она – та невыразимо страшная и прекрасная музыка: леденящие душу звуки тромбонов, трепещущее ostinato скрипок и неотвратимые затягивания, заострения ритма, отчеканивающие каждый шаг Рока...

2006, 2010

От редакции. В статье сохранена оригинальная пунктуация автора.



Александр Селицкий

Благородство, аристократизм – за роялем и в жизни

(К 60-летию В.С. Дайча)



одна из львовских газет назвала его музыкантом-аристократом. Разумеется, имелась в виду не принадлежность к высшему привилегированному слою общества, куда попадают по «крови». Рецензент пояснял: Владимир Дайч – один из немногих, которые «всегда есть и будут образцами благородства, духовного аристократизма в искусстве».

Совершенно справедливо. Именно эти и близкие по смыслу слова – аристократизм, благородство, культура, интеллигентность, отменное воспитание – первыми приходят на ум, когда размышляешь о видном пианисте и педагоге, заведующем кафедрой специального фортепиано Ростовской консерватории, заслуженном артисте России, профессоре Владимире Самуиловиче Дайче. Потом возникают и собственно профессиональные характеристики: яркая музыкальная одаренность, глубокое постижение стиля исполняемого произведения, блестящая техника... Но прежде всего – качества личности, которые проявляются во всех сферах, где он реализует себя: на концертной эстраде, в классе, на заседании ученого совета, в повседневном общении. В исповедуемых моральных принципах и кодексе поведения. Масштаб, внутренняя сила природы таковы, что замечаются даже в наружности, которая, как известно, с определенного возраста есть не только знак наследственности, но и отражение духовной жизни, которой живет человек. Тот же львовский журналист, развивая свою мысль, писал: «Аристократическое благородство... пленяет

слушателя уже при первом появлении артиста на сцене. Когда же этот представительный бородатый мужчина в очках садится за фортепиано, полностью погруженный в себя, и из-под его рук начинает течь музыка, – впечатление усиливается...»

Внешний план биографии Дайча прост, его можно уложить в несколько строчек. Музыкальная семья, средняя специальная музыкальная школа, вуз, с 1972 года педагогическая работа в Ростовской консерватории, успешно сочетающаяся с концертной деятельностью. В то же время, за каждым элементом перечисления стоит очень и очень многое, что помогает понять, как формировался творческий облик музыканта. Дайчу повезло с учителями: незаурядные художники, они были поглощены музыкой, любили своего ученика и давали ему, с одной стороны, то лучшее, что могли дать, а с другой – именно то, что было ему необходимо.

Владимир Дайч родился не просто в музыкальной семье: то была семья выдающегося музыканта, и семья счастливая. Точнее, отец стал выдающимся музыкантом, можно сказать, у него на глазах. Дима – ранний и единственный ребенок: когда он появился на свет, родители были 21-однолетними студентами Ленинградской консерватории. Кстати сказать, почему они звали Владимира – Димой, а вслед за ними зовут по сию пору товарищи, остается загадкой. Отец, Самуил Аронович Дайч окончил консерваторию по классу одного из столпов советской органной школы И. Браудо и стал известным в Советском Союзе органистом. Ради любимого инструмента пожертвовал карьерой пианиста (знавшие его люди говорят о превосходном владении роялем, великолепной читке с листа, необъятном репертуаре). Объездил с концертами всю огромную страну; «из всех бывших советских республик он не побывал, кажется, только в Таджикистане», – вспоминает Владимир Самуилович. По существовавшим тогда негласным правилам, на столичных сценах разрешалось играть только музыкантам с почетными званиями и лауреатам крупных конкурсов. Поэтому Дайч-старший, не сподобившийся ни того, ни другого, никогда не играл в

Москве. И очень гордился тем, что Ленинград, игнорируя неофициальные запреты, регулярно приглашал его для выступлений в зале Капеллы, но главным образом – в Большом зале филармонии. В иные годы он играл в северной столице дважды, а в одном из сезонов – три раза. Такой чести удостоивались очень немногие даже из самых именитых солистов!



Самуил Аронович Дайч

Мама, Елена Александровна Мутман была талантливым педагогом, много лет проработала в Львовской десятилетке, где считалась своеобразным центром фортепианного отдела. Многие ее ученики, окончив школу и поступив в консерваторию, стремились попасть в класс фортепиано Самуила Дайча. Сам он, воспитавший множество музыкантов, считал сына своим лучшим «опусом». С шести до девяти лет учителями мальчика были родители.

Когда через полвека Владимир Самуилович напишет мемуарный очерк об отце, он предупредит читателя: «...Не могу думать или "вспоминать" об отце отдельно от мамы. Только сейчас я в полной мере понимаю, какой идеальной парой они были. Это звучит банально, но поистине сам Бог соединил их, и каждый нашел свою вторую половину. Редко приходится встречать настолько гармоничную супружескую чету, связанную такой пылкой любовью до последнего вздоха, такой взаимной преданностью, таким полным совпадением взглядов и интересов». И далее: «Хотя он и не

занимался со мной регулярно, его влияние на мое профессиональное становление было очень сильным».

Влияние это воспринималось не только на «уроках», но и тогда, когда ребенок, потом подросток слушал домашние занятия отца (тот играл на старинной двухмануальной фисгармонии, пневматическую систему которой приводил в действие... пылесос) и концертные выступления. «Главной особенностью исполнительского искусства моего отца, – полагает Дайч, – наверное, было замечательное ощущение музыкального времени. Его ритм был упругим и поразительно гибким, а совершенное владение агогическими и артикуляционными тонкостями делало исполнение необычайно выразительным, содержательным и естественным».



Органист Самуил Дайч

Эти же черты свойственны и Владимиру Дайчу-пианисту, агогика и артикуляция – предмет его постоянных педагогических размышлений. В своем превосходном методическом пособии для преподавателей музыкальных школ, изданном много лет назад микроскопическим тиражом, он делится опытом достижения интонационной выразительности, близкой пению:

Если мы попробуем спеть какую-нибудь музыкальную фразу, то обязательно почувствуем, что некоторые мелодические обороты (широкие скачки, ходы на уменьшенные или увеличенные интервалы) поются труднее, требуют словно какого-то прицела внутреннего слуха, а

следовательно – затраты небольшого дополнительного времени на их точное интонирование. Сыграв ту же мелодию на рояле, но соблюдая при этом законы вокализации (то есть как бы слегка «растягивая» интонационные обороты, которые было труднее спеть), мы придадим ей гибкость и естественность. Прислушаемся повнимательнее к игре хорошего пианиста – и непременно заметим, что именно благодаря подражанию вокальной манере произнесения мелодии его исполнение воспринимается нами как выразительное и содержательное.

В Львовской десятилетке Дайч учился у Александра Лазаревича Эйдельмана, личности в музыкальном мире города заметной и весьма колоритной. Вечно спешащий и вечно опаздывающий, наделенный буйным темпераментом, влюбленный в музыку до самозабвения, близкий друг семьи Дайчей, в прошлом концертирующий пианист, за девять лет учения он дал ему бесценные знания, которые служат Владимиру Самуиловичу творческими ориентирами до сих пор. А многие произведения, доньше входящие в его концертный репертуар, разучивались в классе школьного педагога. По наблюдению Дайча, учитель обладал великолепным природным пианизмом, прекрасно владел фортепианной техникой (любил в классе «пробежаться» по клавиатуре, сыграв с феноменальной скоростью какую-нибудь гамму). Но доминантной его педагогического метода было стремление привить ученикам «вокальное» туше, научить их романтическому «пению» на рояле.

Любопытные совпадения, свидетельствующие о стойкости усвоенного в далекие школьные годы, обнаруживаются между написанными Дайчем воспоминаниями о первом «официальном» учителе и методическим пособием. Из воспоминаний: «Под его руками инструмент звучал совершенно замечательно. А. Л. прикасался к клавишам с какой-то нежной страстью, погружаясь в них не вертикально вниз, а движением чуть от себя – словно ласково поглаживая каждую клавишу перед тем, как мягко и сильно прильнуть пальцем к ее дну. И рояль отвечал ему очень теплым, сочным и глубоким звуком

необыкновенно красивого тембра». Из рекомендаций учителям ДМШ: «Для того, чтобы извлечь из рояля мягкий, теплый и вместе с тем сильный и длящийся звук, нужно прикоснуться к клавише, а затем очень активным нажатием, но не ударяя и не толкая, "погрузить" в нее палец, словно в густую, вязкую массу».

Однако не менее важным для становления юного пианиста было отношение учителя к музыке: она являлась для него «не просто специальностью, но способом существования». Музыка и ученики. Дружба Эйдельмана и его жены с четой Дайчей была во многом основана на общности интересов. Во время взаимных визитов разговоры велись преимущественно об учениках и коллегах, о событиях в музыкальной жизни города. Владелец редкой для тех времен вещи – магнитофона (тогда это были громоздкие устройства, на которые устанавливались большого диаметра катушки с лентами), Александр Лазаревич мог в состоянии крайнего возбуждения позвонить Дайчам и потребовать прийти немедленно, чтобы послушать новую пленку. Так было, в частности, с записью еще мало кому известного в Советском Союзе «сумасшедшего гения» – Глена Гульда. Мог с женой отправиться на автомобиле из Львова в Киев, чтобы попасть на концерт Вэна Клайберна, ставшего после сенсационной победы на Первом конкурсе им. П.И. Чайковского кумиром советских музыкантов и любителей музыки, и взять с собой в поездку семью друзей, включая десятилетнего Диму. Дайч с улыбкой вспоминает, что после одной из совместных встреч Нового года одноклассники спросили его о том, как это происходило. – «Ну как! Как всегда: всю ночь они обсуждали какой-то экзамен...»

Владимир Дайч, каким его знают сегодня коллеги, ученики, друзья (к коим и я имею честь принадлежать), настроен на ту же систему ценностей. Да, он живо интересуется литературой, историей, культурой, политикой, может поддержать разговор на разные темы, вообще живет, что называется, с открытыми глазами. Но музыка – это пылкая любовь на всю жизнь. Любовь, где немислимы измены. Про тех наших общих знакомых, кто лишен этого

счастья, кто не испытывает настоящей внутренней потребности в ежедневных встречах с ней, кого не увидишь на концертах, он говорит с искренним сожалением: «Музыкой они просто зарабатывают себе на кусок хлеба...»

Гастрольная жизнь в Советском Союзе 1950-1960 годов отличалась завидной для наших дней интенсивностью. В областных филармониях бурлила жизнь. Охотно ехали музыканты и во Львов – европейский город с давними и очень сильными культурными традициями. Основанный в XIII веке и столетиями входивший в состав Польши и Австро-Венгрии, формально он стал «советским» в 1939 году, реально же – только с его освобождением от гитлеровцев в 1944 году (Дайч, напомним, родился в 1949). Здесь сотни исторических, архитектурных и культурных достопримечательностей, исторический центр города внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. В свое время во Львове (тогда он назывался Лембергом) около 30 лет проработал младший сын Моцарта Франц Ксавер, организовал там музыкальное общество, из которого впоследствии выросла Львовская филармония. С этим городом связана жизнь и деятельность Бальзака и Шолом-Алейхема, певицы Соломии Крушельницкой (имя которой носит музыкальная школа-десятилетка, где учился Дайч) и режиссера Леся Курбаса, писателей Станислава Лема и Станислава Ежи Леца, философа Мартин Бубера, выдающихся ученых и политиков... Питомником талантов была специальная музыкальная школа. В послевоенные годы в ней учились Александр Слободяник, Виктор Ересько, одновременно с Дайчем – Юрий Башмет.

Подрастающий пианист навсегда запомнил выступления Э. Гилельса и Л. Оборина, Я. Флиера и Я. Зака, М. Юдиной, М. Гринберг и Д. Башкирова, ряда крупных зарубежных музыкантов. Врожденный дар, добрые и умелые руки учителя, погруженность в музыку, яркие художественные впечатления способствовали быстрому профессиональному созреванию. Свой первый сольный концерт Владимир дал в двенадцатилетнем возрасте. Он хорошо помнит программу:

I отделение

Гендель. Чакона G-dur
Бетховен. Соната № 8 («Патетическая»)
Шуберт-Лист. Вальс-каприз № 6
Шуман. Арабески

II отделение

Шопен. Ноктюрн H-dur, Фантазия-экспромт, Этюд
№ 14

Гершвин. Три прелюдии
Мендельсон. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.

А.Л. Эйдельман вообще придавал большое значение сценическим выступлениям учеников. С наиболее перспективными из них, в число которых, безусловно, входил и Дима Дайч, сольную программу в двух отделениях он подготавливал ежегодно. С тех пор музыкант поднимается на концертную эстраду регулярно, по нескольку раз в год; видимо, с детских лет укоренилась потребность выходить под яркий свет софитов, способность накапливать и удерживать большой репертуар.

Будучи одним из лучших выпускников школы, воспитанником авторитетного профессора, который работал и в вузе, заведовал кафедрой спец. фортепиано, сыном известных в городе музыкантов, Владимир имел все шансы поступить в Львовскую консерваторию. Но юношу манила Москва. К чести А.Л. Эйдельмана, он не только не препятствовал в этом своему питомцу, но и всячески поддержал его намерение.

В Московской консерватории Дайч попал в класс Льва Власенко, у которого потом обучался и аспирантуре (заочно), и это был еще один подарок фортуны. Ученик Якова Флиера, он был блистательным пианистом, разносторонне образованным и глубоко эрудированным человеком. Преподавал в консерватории с конца 1950 годов, но много времени и сил, особенно поначалу, отдавал концертной деятельности. Победителю конкурса пианистов им. Ф. Листа в Будапеште (1956) и обладателю второй премии на легендарном Первом конкурсе им. П.И. Чайковского (1958), где он пропустил вперед только В. Клайберна, были открыты все дороги.

Впоследствии он станет профессором, народным артистом СССР. Критики отмечали, что его игра покоряет открытостью и искренностью, что он наделен счастливым даром сценической общительности, благодаря которому контакт с залом устанавливался легко, словно сам собой. В молодые годы его «коньком» был Лист; привлекала, по собственному признанию пианиста, его «гордая артистическая поза, благородный пафос, эффектная тога романтика, ораторский пафос высказывания».

Параллельно с консерваторией, Л.Н. Власенко окончил также институт иностранных языков, был заядлым книголюбом, позднее вел просветительские радио- и телепередачи, переводил «для себя» Поля Элюара, писал собственные стихи. Дайч вспоминает о занятиях с ним: «Иногда, отвлекаясь от работы над конкретным сочинением, он рассказывал интереснейшие и совершенно неизвестные мне вещи о композиторах или выдающихся пианистах – сведения, почерпнутые из книг на английском, французском, итальянском языках». С детства, проведенного в Тбилиси, неплохо владел грузинским, а позже самостоятельно выучил немецкий. Был по-настоящему, по-мужски красив (густые широкие брови, крупные черты лица, белозубая улыбка), физически силен, увлекался спортом, обладал отменным чувством юмора.

Выбирая учебную программу для студента, Лев Николаевич стремился опереться на сильные стороны его дарования. Попросту говоря, давал играть то, что лучше получалось. Благодаря этому, Владимир переиграл множество виртуозных произведений. К примеру, если брались за Шуберта, то это была фантазия «Скиталец», а не, к примеру, сонаты. Если Лист, – то «Мефисто-вальс». Вместе с тем, он не шел только на поводу у таланта своего ученика. В частности, что касается Дайча, педагог старался «романтизировать» излишне академичную, суховатую манеру игры юноши, которая была ему свойственна в те годы. «Дело в том, – пишет Владимир Самуилович, – что я поступил в консерваторию, имея хорошую профессиональную подготовку и неплохой игровой аппарат,

но в эмоциональном отношении был излишне закрыт, как говорят, застегнут на все пуговицы».

Однажды, во время работы над Третьей сонатой Скрябина, педагог в сердцах воскликнул: «Да не играй ты ровно, черт возьми! Почему ты думаешь, что на рояле надо всегда играть ровно?!». Перед выходом на сцену неизменно провожал Владимира напутствием: «Не думай о технологиях. Делай Музыку!»

Благоговейно относясь к бетховенским текстам, Лев Николаевич настойчиво добивался разницы в выполнении похожих, но все же отличающихся друг от друга авторских указаний – например, *sf* и *fp*, *f* и *ff*. Когда понадобилось, прочитал небольшую лекцию об особенностях обозначения педализации у Дебюсси. И, улыбаясь, завершил ее словами: «Мне это говорила старушка Маргарита Лонг, а ей – сам Дебюсси».

В те годы класс у Л.Н. Власенко был немногочисленный, сплоченный. После классных вечеров, которые регулярно устраивались в Малом зале под Новый год, в доме учителя их ждал не только накрытый стол, но нечто большее – тепло большой, дружной семьи. Молодые люди чувствовали себя ее членами, что было так необходимо немосквичам, чьи родители находились далеко. Вероятно, для юного Дайча это было очень важно. Может быть, слова «второй отец» прозвучат преувеличением (имея прекрасного «первого» отца, не слишком нуждаешься во втором). Но молодому человеку определенно нужен кумир, предмет поклонения и образец для подражания. Хорошо, если он его находит в своем отце. Однако и второй кумир будет не лишним. К тому же между отцом и учителем было немало общего: возраст (оба родились в 1928 году, и к моменту поступления Владимира в консерваторию им еще не исполнилось сорока), «харизматичность», отношение к музыке, некоторые черты характера. Неудивительно, что о роли Л.Н. Власенко в своей жизни Дайч пишет почти теми же словами, что и о роли отца: «По сей день Лев Николаевич остается для меня эталоном рыцарского служения музыке, высоким образцом порядочности, подлинной интеллигентности, необыкновенно доброго

отношения к людям...» Он – «моя профессиональная совесть, а благодарная память о нем – тот камертон, с которым я ежедневно сверяю свою жизнь в искусстве». В квартире Дайча и в его классе в консерватории – портреты Учителя, чей взгляд постоянно устремлен на него.

Наверное, немного отыщется молодых, талантливых музыкантов с яркими сценическими данными, которые мечтали бы о педагогике. По большей части, преподавательская деятельность, особенно в молодые годы, воспринимается либо как «запасной аэродром», либо как «дополнение к главному». Дайч – не их числа. К моменту окончания консерватории (с отличием) он мечтал о педагогической работе в вузе, и мечта эта осуществилась: он стал преподавать в открытом за пять лет до этого Ростовском музыкально-педагогическом институте. Этот поворот судьбы он считает главной удачей в своей профессиональной жизни. Правда, как ни горько об этом вспоминать, главная удача тесно связана с главной неудачей его пианистической карьеры. И в консерватории, и в первые годы после ее окончания Дайч, что совершенно естественно для пианиста его уровня, не раз принимал участие в отборочных прослушиваниях к международным конкурсам. И ни разу не прошел. Не будем сейчас обсуждать причины: было ли то результатом закулисных интриг, которых всегда в избытке на подобных состязаниях, фатального невезения или реального превосходства соперников. Думается, все же, что пробейся он на крупный конкурс, его ожидал бы успех, который, согласно установлениям тех времен, открывал «зеленую улицу» на большую концертную эстраду.

Но случилось так, как случилось. Поэтому, обойдя причины, которые сейчас уже не очень интересны, задержимся на следствиях. Если коротко, то большим пианистом он все-таки стал, но стал и крупным, авторитетным педагогом. Неудача не сделала его неудачником – сколько в музыкантской среде таких «непризнанных гениев», обиженных на весь мир, лелеющих свои обиды! Возможно, даже, напротив: закалила. Он действовал в полном соответствии с советом американского кинематографиста У.К. Филдса: «Если вы не добились

успеха сразу, попытайтесь еще и еще раз. А потом успокойтесь и живите в собственное удовольствие».

Так или иначе, но преподавать и активно выступать он начал одновременно с равной увлеченностью. И высокие звания в обеих областях получил почти одновременно – правда, через четверть века: заслуженного артиста России – в 1996, профессора – в 1997. У Дайча всегда был большой класс. Разумеется, студентам отпущена разная мера таланта, но он старается в первую очередь увлечь их, и ему это удается. Они покидают стены консерватории, по меньшей мере, образованными профессионалами. Студенты его искренне любят, платя взаимностью за его любовь к ним, что хорошо видно даже со стороны. Сейчас его воспитанники работают в разных городах и странах.

Верный заветам своих учителей, профессор Дайч всячески стимулирует частые выступления студентов и аспирантов на эстраде. В течение года проходит несколько открытых классных вечеров, лучшие ученики дают сольные концерты, играют с оркестром. Владимир Самуилович любит выступать с учениками в одной программе, играть в ансамбле. Нередко такие концерты далеко выходят за рамки академических показов, становятся значительными событиями в музыкальной жизни Ростова. Особенно, когда они объединены какой-нибудь общей идеей (к слову, такие концерты или циклы «с идеей» – один из действенных способов пробудить у учеников повышенный интерес, воодушевить и сплотить класс). Дайч, например, осуществил силами учеников исполнение целиком грандиозного цикла Баха «Искусство фуги», повторив, тем самым, редчайший опыт отца, который некогда «поднял» это монументальное полотно со своими питомцами. В этом же ряду можно назвать циклы и вечера «Фортепианные сонаты Прокофьева», «Подражания и посвящения», «...На тему Паганини», «Николай Метнер», «Рахманинов и Чайковский».

Педагогический талант профессора Дайча востребован не только в Ростове. Его часто приглашают с мастер-классами консерватории, училища, школы. Я не сильно погрешу против истины, если скажу, что Владимир

Самуилович знаком и поддерживает профессиональные контакты со всеми училищными педагогами-пианистами региона и с очень многими – школьными. Авторитет Дайча в этой среде непререкаем и обеспечен всем комплексом его музыкантских и личностных качеств. Ежегодно его просят возглавить или войти в состав жюри нескольких фортепианных конкурсов в городах Южного Федерального округа, а также в других регионах России, на Украине, председательствовать на государственных экзаменах в средних и высших учебных заведениях, принять участие в качестве эксперта при аттестации училищ и вузов (Ростов, Астрахань, Краснодар, Сочи, Майкоп, Ставрополь, Губкин, Руза, Киев, Львов, Запорожье). В Новороссийске о нем снят телефильм.

Среди выпускников Дайча – преподаватели и концертмейстеры, работающие в высших и средних учебных заведениях, лауреаты международных конкурсов: Ирина Стрелкова и Марина Флеккель, Анастасия Тимофеева и Светлана Хугаева, Татьяна Гадар, Дарья Музыка, Тамара Майданевич, Вера Синицына, Зварта и Диана Багдасарян, Наталья Меньшикова...

Рассказывает зав. фортепианным отделением Ростовского колледжа искусств Марина Флеккель:

Впервые я услышала В.С. Дайча на сцене малого зала Ростовского училища искусств. Он играл для педагогов и студентов сольный концерт. Мне было семнадцать лет... Впечатление от исполненной им Прелюдии и фуги ре минор Д. Шостаковича осталось в моей памяти навсегда. Трудно описать словами то, что я тогда почувствовала. Видимо, в тот день в моей жизни зажглась звезда по имени Дайч, и я поняла, что учиться дальше хочу только у него.

В те годы в Ростове часто бывали с гастролями выдающиеся пианисты: Н. Штаркман, Д. Башкиров, Н. Петров, М. Плетнев. Публика была в восторге. Не менее интересны и популярны были концерты В.С. Дайча в филармонии или в консерватории, которые всегда собирали аншлаги. Он ошеломлял публику своим исполнением «Мефисто-вальса» Листа, «Аппассионаты» Бетховена, «Петрушки» Стравинского... А Второй концерт

Рахманинова... А сонаты Скрябина... А «Думка» Чайковского... А «Картинки с выставки» Мусоргского... Дайч до сих пор поражает публику на каждом своем концерте.

В своем классе Владимир Самуилович тоже артист. Для него ученик – это публика. Меня он покориł как учитель. Он вообще не учил, не наставлял. Он хотел поделиться своими пианистическими секретами, своим знанием поэзии и литературы, своей огромной эрудицией, и, безусловно, потрясающим знанием музыки. Поэтому на уроках в его исполнении звучала не только фортепианная, но и симфоническая, и оперная музыка. Во время работы над музыкальным сочинением он проводил множество художественных аналогий, тонких параллелей, которые направляли ученика к верному пониманию смысла исполняемого произведения. Не могу забыть урок, когда мы проходили «Вечер в Гренаде» Дебюсси. Он стал читать стихи Г. Лорки, и это помогло мне почувствовать и передать испанский колорит. А чтобы помочь мне выразительно исполнять третью долю в мазурке Шопена, он... танцевал мазурку.

Понятно, почему каждый урок с ним был для меня событием. Я благодарна В.С. Дайчу за то, что, давая основы рационального пианизма, он никогда не сдерживал моей свободы. Наоборот, побуждал к творчеству, к поиску различных вариантов исполнения, чтобы потом вместе выбрать лучший.

И сегодня, когда со дня нашей первой встречи прошло больше двадцати лет, у В.С. Дайча есть, чему поучиться. Мне повезло. Я учусь.

И все же успех к Дайчу-пианисту пришел раньше, чем к Дайчу-педагогу. Две эти сферы деятельности подобны сообщающимся сосудам: обретенное в одной из них переносится в другую. Дайч любит повторять латинский афоризм: «Dozendo discimus» – обучая, учимся сами.

Он быстро стал «пианистом номер один» сначала в Ростове, а потом и во всем Южно-Российском регионе. Его знают и далеко за их пределами. Он играет в Таганроге и Волгодонске, Шахтах, Новочеркасске и Сальске, Черкесске,

Нальчике и Майкопе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи, городах Кавказских Минеральных Вод. Играет в Нижнем Новгороде и Саратове, в Киеве, Львове и Донецке, Ереване и Минске. Его принимали в Германии, Израиле и Республике Маврикий. И везде, где он сыграл хотя бы один раз, его хотят слышать вновь.

Он покориł консерваторскую и городскую публику уже тогда, когда, будучи студентом пятого курса Московской консерватории и ожидая назначения в Ростов, предъявил свою «визитную карточку» руководству, педагогам и студентам РГМПИ, дав концерт в двух отделениях. Тот вечер не забыт коллегами и сегодня, несмотря на минувшие десятилетия и множество последующих концертов артиста.

Помню первое выступление В.С. Дайча на сцене музыкально-педагогического института. Исполнение 29-й ор. 106 сонаты Бетховена отличалось широким охватом формы всего сочинения, зрелостью понимания сложного произведения, масштабом игры, мужественностью виртуозного пианизма. Эти же качества были свойственны и исполнению фантазии «Скиталец» C-dur Шуберта **(профессор Ростовской консерватории Игорь Бендицкий).**

Музыкант успел выступить даже в тот короткий промежуток времени, который был отпущен между началом работы и призывом в армию осенью 1972 года. А после демобилизации концерты становятся регулярными, и проходят с такой частотой, на которую не отваживается никто из его ростовских коллег. Начиная с тех пор, он ведет учет своих выступлений, делая записи в простой школьной тетради в клетку. И если в 70-е годы число концертов в год достигает четырех, то дальше оно стремительно увеличивается и порой приближается к двадцати! Показательно: концерты класса (или отдельных студентов и аспирантов) фиксируются в этой тетради в той же колонке, что наглядно характеризует, сколь неразрывны в его творческом сознании исполнительство и педагогика.

Концертные площадки не делятся для него на «сорта». В Ростове Дайч – неизменный участник

филармонических абонементов (симфонические утренники для детей, «Музыка – живопись», «Учитель и ученик»). Он выступает не только в залах филармоний, музыкальных вузов, училищ и школ, не только в Доме актера и Доме кино, но и на предприятиях, и даже... в магазине «Детская книга». В крупных городах и районных центрах. Чтобы не ходить далеко за примерами, возьмем записи из той самой тетрадки всего за один месяц 2008, предъюбилейного года: 9 марта – сольный концерт в Волгодонске, 12 марта – участие в консерваторском концерте в Ростове, 15 марта – сольный концерт в Краснодаре, 19 марта – сольный концерт в Сочи, 8 апреля – сольный концерт в Белой Глине, 9 апреля – сольный концерт в Тихорецке, 14 апреля – сольный концерт в Майкопе. Зачастую в таких поездках концертные выступления сопровождаются мастер-классами, творческими встречами с педагогами и учащимися колледжей и школ.

Частые отлучки из консерватории отнюдь не означают, что он меньше времени уделяет студентам. Вернувшись из поездки, он с удвоенной, утроенной энергией «покрывает недостачу учебных часов», занимаясь с ними и ранним утром, и поздним вечером, в субботу и воскресенье. Как говорится, без перерыва и выходных дней.

Исполнительский стиль пианиста, высочайший уровень мастерства и профессиональной осведомленности получили оценку в многочисленных отзывах видных музыкантов.

В.С. Дайч сочетает глубокие фундаментальные знания с качествами первоклассного музыканта-исполнителя (народный артист России, профессор Московской консерватории Л. Власенко)

Проделав путь от студента до мастера, он достиг настоящих профессиональных вершин, став превосходным исполнителем, опытным и одаренным педагогом (народная артистка России, профессор Московской консерватории В. Горностаева)

...Крупный музыкальный деятель, прекрасный пианист, замечательный педагог (народный артист

России, профессор Московской консерватории М. Воскресенский)

...Талантливый, серьезный музыкант, постоянно растущий (народный артист России, профессор Московской консерватории Н. Штаркман)

...Высокие профессиональные качества педагога и талант концертирующего пианиста... ...Один из самых известных мастеров фортепианной педагогики... Заведующего кафедрой, члена жюри различных фортепианных конкурсов, председателя государственных экзаменационных комиссий в ряде учебных заведений В.С. Дайча отличает неоспоримая компетентность, объективность, опытность и профессиональная добросовестность (заслуженный деятель искусств России, профессор РАМ им. Гнесиных М. Саямов)

Яркий темперамент, глубокое проникновение в замысел композитора, виртуозный блеск и высокое исполнительское мастерство – эти черты Дайча-музыканта создали ему репутацию артиста большого масштаба (народный артист России, профессор Ростовской консерватории А. Данилов).

В игре Дайча привлекает, прежде всего, то качество, которое можно назвать сотворением музыки «здесь и сейчас», когда, слушая даже хрестоматийно известные произведения, ты чувствуешь, что они только что родились на свет, и никогда ранее не звучали. Пианист далек от стремления «себя показать», для него на переднем плане – автор и его произведение, хотя виртуозные возможности Дайча представляются безграничными, и на них нельзя не обратить внимания. Как-то после концерта другого пианиста он высказался в том смысле, что вообще-то техника не главное, но когда она находится на такой заоблачной высоте, то приобретает самостоятельное эстетическое значение.

Да, музыкант знает цену виртуозности, но – ее истинную цену, которую не стоит ни завышать, ни занижать. Суждения на этот счет, которые воспринимаются как *credo* артиста, он высказал в рецензии на выступление одного из гастролеров, чье имя в тексте я заменил на N:

Нынче стало немодным цитировать Ленина, но вспоминается, что о Маяковском Владимир Ильич заметил примерно следующее: «Я не принадлежу к числу поклонников его поэтического таланта, хотя и признаю свою некомпетентность в данном вопросе». Перефразируя этот отзыв, могу сказать, что я не принадлежу к числу поклонников исполнительской манеры N, и, хотя (в отличие от вождя мирового пролетариата) считаю себя вполне компетентным в этой области, понимаю, тем не менее, что любое оценочное суждение всегда субъективно и может вызвать несогласие.

Спору нет, N отличный пианист, свободно владеющий инструментом. Однако, на мой взгляд, в его артистическом облике ПИАНИСТ пока явно преобладает над МУЗЫКАНТОМ. Игра его не согрета личным чувством и не озарена собственным отношением к исполняемому сочинению, из-за чего у слушателя не возникает ответной эмоциональной реакции на музыку. Вроде бы «все правильно», «все получается», но почему-то неинтересно и даже скучновато. ...Хотя все пассажи, арпеджио, двойные ноты и трели были исполнены (точнее сказать, выполнены) точно и чисто.

Сильная сторона пианизма Дайча – тонкое и точное ощущение музыкального времени (не могу не повторить слов, сказанных им о своем отце), идет ли речь об отдельной фразе, где все определяется агогическими оттенками и замечательным «произнесением», о более или менее крупном разделе или форме в целом. Распределение кульминаций, выбор главной из них, осуществление подходов к ним и послекульминационные спады напряжения – все это заставляет сидящих в зале находиться «под гипнозом» звукового потока, направляемого мастером. Кажется, что частота пульса и дыхания слушателей подчиняются выстроенной им исполнительской драматургии.

Он всегда остается самим собой и, вместе с тем, он «очень разный» на эстраде. Умеет изумительно «петь» на рояле, но ничуть не менее впечатляет его умение «говорить», то есть сообщать звучанию инструмента

выразительность речевой декламации. С годами эта способность развилась и усилилась (ярчайший, но далеко не единственный образчик – навсегда врезавшееся в память исполнение шопеновской мазурки a-moll op. 17 № 4). Умеет быть размышляющим и страстным, ироничным и нежным, карнавально-веселым и глубоко трагичным. Может быть простым и естественным – и изощренным, демонстрируя такие невероятные pedalные «фокусы», что невольно хочется приподняться в кресле, чтобы посмотреть, как он это делает. Словом, как ни тривиально это звучит, артист безошибочно чувствует стиль исполняемого произведения. При обширном репертуаре, которым владеет Дайч, это означает, что он пианист *универсальный*. Трудно сказать, есть ли у него особые историко-стилевые предпочтения. Превосходно звучит музыка разных эпох и направлений. Неудивительно, что мнения самых заинтересованных и компетентных слушателей – коллег – разнятся.

Особое пристрастие В.С. Дайч питает к произведениям Бетховена – таким как Первый и Пятый концерты, 21-я и 23-я («Аппассионата») сонаты, рондо «Ярость по поводу потерянного гроша», багатели op. 126, 32 вариации, – утверждает И. Бендицкий. Но тут же добавляет: – Не меньше впечатляет большая свобода и виртуозный размах, особенно при исполнении этюдов Шопена № 1 op. 10 C-dur, № 11 op. 25 h-moll, 12-й рапсодии Листа и этюда Паганини – Листа № 6 a-moll.

Говорит заслуженная артистка России, профессор Римма Скороходова:

Играет Владимир Дайч...

Это имя на афишах всегда привлекает мое внимание; я знаю, что, придя на его концерт, услышу новое прочтение «старых» страниц, получу новые сильные впечатления не только для сердца, но и для ума. Эти впечатления от интерпретации останутся на долгие годы!

Мы с Владимиром Самуиловичем – коллеги, долгие годы работаем на одной кафедре. Его становление как музыканта проходило на моих глазах. Блестящий пианист-виртуоз, вызывавший неподдельный восторг у всех нас,

коллег, он вырос в глубокого самобытного музыканта-мыслителя.

А его исполнение «Сарказмов» и Пятой сонаты Прокофьева – это золотой фонд, который должен тиражироваться. «Гримасы» ужаса в «Сарказмах» произвели сильнейшее впечатление.

Потрясающие «Картинки с выставки» Мусоргского, где Дайч «вытворяет» такие чудеса с фортепианной оркестровкой; «Аппассионата» Бетховена, взрывающая сознание своей страстностью и трагизмом. А его Скарлатти и Рамо – какое мастерство перевоплощения звучания, тонкость и изысканность красок!

Можно вспоминать еще много его интереснейших интерпретаций, потрясающих своей глубиной, мужественностью. Музыкант такого дарования, масштаба, интеллекта, – это достояние России, яркий представитель русской пианистической школы.



Вероятно, именно способностью вживаться в музыку любого времени и стиля объясняются некоторые принципы построения его концертных программ. Как-то знаменитый пианист Николай Петров удачно скаламбурил: есть артисты, предпочитающие монографические программы, скажем, только Бетховен или только Шопен; в этом смысле я – «полиграфист». Дайч мог бы подписаться под этим высказыванием. О его программах порой хочется сказать, что они не составлены, не подобраны, а *сочинены* исполнителем и всегда глубоко продуманы. Они побуждают

сопоставлять имена и явления, обнаруживать сходство несходного и несходство сходного. Иными словами, они концепционны, нередко принимают форму скрытого «сюжета», в них витает дух историзма. Такие программы, пришедшие, как мы помним, и в построение классных вечеров, позволяют включать произведения редко исполняемые, которые, возможно, не представляют абсолютной художественной ценности, но в определенном контексте оказываются на редкость уместными. К примеру, афиша вечера «Из истории фортепианных жанров: токката и рондо», наряду с более или менее известными образцами, включала и сочинение русского композитора-любителя Д. Салтыкова, пользовавшегося популярностью в первой четверти XIX века (фактура не удовлетворила артиста, и он подверг текст переработке с целью придания ему большей виртуозности).

В программе, посвященной 50-летию со дня смерти М. Равеля, первое отделение было отдано Бородину и Мусоргскому, творчество которых оказало сильнейшее влияние на создателя «Ночного Гаспара», а завершала вечер пьеса Онеггера «Дань почтения Равелю». Начиная с 1980 года, года 35-летия Победы, Дайч неоднократно повторял, в том числе и вместе со своими студентами, программу из произведений композиторов, погибших на фронте: Абрам Гейфман, Борис Гольц, Грачия Меликян, Константин Макаров-Ракитин. Слушая их ранние опусы (до зрелых, они, увы, не дожили), понимаешь: останься они живы, история советской музыки выглядела бы иначе...

Отдельного упоминания заслуживает регулярное исполнение Дайчем сочинений композиторов Дона – Л. Израйлевича, Л. Клиничева, В. Ходоша, А. Матевосян, Г. Гонтаренко, А. Бакши, М. Фуксмана, С. Приступова. «Он переиграл едва ли не все лучшее, написанное ростовскими композиторами для фортепиано», – справедливо замечает Р. Скороходова. Доскональное знание этого материала позволило ему написать небольшое, но очень полезное методическое пособие.

Смолоду и по сей день пианист «легок на подъем», готов специально разучить произведение, которое,

возможно, прозвучит всего один раз. Так нередко случается в связи с многочисленными фестивалями, проводимыми в Ростове и других городах, – «Донская музыкальная весна», «Рахманиновские дни в Ростове», «Музыкальный мир романтизма», «Харьковские музыкальные ассамблеи», «Белые ночи» (Петербург). Какие-то произведения, выученные «по случаю», впоследствии задержались в репертуаре. В частности, подготовленные для выступлений на вечерах Ростовского молодежного музыкального клуба, где Дайч участвовал в большинстве заседаний к превеликой радости слушателей.

Слово – создателю и бессменному руководителю клуба **заслуженному деятелю искусств России, доктору искусствоведения, профессору Анатолию. Цукеру:**

Неоднократно бывая на концертах Владимира Дайча, я имел возможность убедиться в его блистательных качествах пианиста-виртуоза, высокой музыкантской интеллигентности, прекрасном вкусе. Его программы всегда привлекают внимание уже самим подбором произведений, целостностью построения, свежестью и новизной. В. Дайч – не просто исполнитель, но подлинный музыкант-просветитель. Думается, прежде всего, именно с этим связано его активное участие в работе Ростовского молодежного музыкального клуба. Мне как руководителю этого клуба приходилось общаться с В. Дайчем на протяжении многих лет, и это общение всегда доставляло подлинное творческое удовлетворение.

Владимир Дайч – человек инициативный, интересно мыслящий, заинтересованный, что при его больших исполнительских возможностях и широком стилевом диапазоне делает его абсолютно незаменимым в работе клуба. В. Дайч исполнял на вечерах клуба музыку разных исторических периодов и стилей от Д. Скарлатти и Дж. Буллы до Э. Денисова и А. Шнитке, и всякое его выступление было ярким и запоминающимся.

Но не избегает пианист и программ, состоящих из популярнейших шедевров. Таков, помнится, был его первый сольный вечер на сцене Ростовской филармонии в 1988 году (он должен был состояться много раньше, если бы не уже

упоминавшиеся запреты, преграждавшие выход на концертную эстраду музыкантам, не имеющим лауреатских и почетных званий, запреты, отмененные только в середине 80-х). Я написал тогда рецензию для одной из ростовских газет, но она была отвергнута редакцией. Рукопись сохранилась; она позволит воскресить впечатления более чем 20-летней давности.

...Воистину – вечер «заигранной» музыки: две, как он сам выразился, «марочные» сонаты Бетховена, две самые ходовые поэмы Скрябина, «Думка» Чайковского, «Петрушка» Стравинского. Разностильная программа может прозвучать только при наличии дара перевоплощения, дара, который сродни таланту высокого лицедейства. Концерт подтвердил: В. Дайч наделен им в полной мере. А если учесть, что репертуар артиста (складывавшийся поначалу преимущественно из до- и раннеклассической, а также современной музыки) в последние годы значительно расширился за счет фортепианной литературы XIX века, то можно сказать точнее: он воспитал в себе этот талант.

Избрав произведения, известные от первой до последней ноты каждому музыкально мало-мальски образованному человеку, пианист взял на себя обязательство открыть в них нечто новое, не повторять существующие, пусть и великие интерпретации. Когда музыкант – личность (что подразумевает самостоятельность мышления, собственное видение жизни), ему не нужно ничего специально придумывать. Новизна ощущений, свежесть восприятия приходят как бы сами собой.

Артисту удалось стереть со сверхпопулярных произведений «хрестоматийный глянец», вернуть им качество первозданности. Ведущая «тональность» концерта – напряженная экспрессия, захватывающая сиюминутность происходящего. Контрасты всюду подчеркнуты, обнажены; образность – даже в сферах героики или жанровости – окрашена психологизмом. Драматургический рельеф прочерчен резкими линиями, с разломами, сдвигами, крутыми поворотами.

Бетховен В. Дайча, при всей своей гранитной классичности, словно опален дыханием нашего времени. В «Лунной» крайние части темпово и динамически разведены, подобно полюсам; тон произнесения мелодии в верхнем голосе Adagio субъективно-лиричен. «Аппассионата» отмечена повышенным «градусом» переживания с первых же тактов: тема главной партии ритмически заострена из-за слегка укороченных шестнадцатых, а финальное Allegro та поп тропро превращено в адский вихрь (в моем восприятии оно сблизилось с финалом b-мол'ной сонаты Шопена).

Открывшая второе, «русское» отделение «Думка» стала лично для меня действительно открытием. Впервые подумалось о том, что ведь это – поздний Чайковский, уже создавший «Манфреда» и задумавший «Чародейку». Повествовательная (так слышалось ранее) пьеса с подзаголовком «Русская сельская сценка», оказывается, таит в себе и страстную исповедь! В скрябинских поэмах ор. 32 за чувственным томлением и экстатическими порывами обнаружилось нечто большее – катастрофичность мироощущения. А в «Петрушке» нерасторжимо сплелись буйная «кустодиевская» праздничность, едкий сарказм и подлинная психологическая трагедия. Три фрагмента знаменитого балета изобретательно «поставлены», срежиссированы (угадываются мизансцены, пластический рисунок ролей), и мастерски «продиржированы» (оркестральность колорита, сочетание «групп», тутти и соло, их динамический баланс).

...В тот же вечер Ученый совет вуза избрал В. Дайча заведующим кафедрой специального фортепиано.

Во время концертных выступлений Дайча порой мелькает мысль: даже если я не знал бы его близко в течение долгих лет, по его игре можно было бы угадать, какой он человек. Светлый, тонкий ум. Благодородство во всем. Феноменальная память, которая без специальных усилий фиксирует все, что коснулось сознания (однажды он просто сразил меня, упомянув марку бетона, из которого построен дом, где он жил). Тонкий юмор, чуждый зубоскальства,

основанный именно на *остроумии* в прямом смысле слова. Умение рассказывать анекдоты – без утомительных подробностей, кратко и артистично. Склонность к каламбурам, которая свойственна людям с безошибочным «чувством языка». Кстати, его устная речь безупречна, что позволяет ему блестяще справляться с ролью ведущего на многих классных и некоторых собственных концертах. Если бы кто-нибудь задался целью опубликовать его высказывания на заседаниях кафедры или Ученого совета, литературная правка практически не потребовалась бы.

Хорош и его письменный литературный стиль. Я уже цитировал превосходно написанные мемуарные статьи, методическое пособие, и читатель смог сам в этом убедиться. В недолгий период существования консерваторской газеты «Камертон» я как ее редактор всеми силами стремился заполучить Дайча в авторы, и несколько раз это удавалось. Он мог бы стать крупным методистом, музыкальным критиком, у него это великолепно получается, но его литературные выступления, к сожалению, весьма редки. Рояль ему милее, чем перо.

Так же немногочисленны его околомкомпозиторские опыты: талантливые транскрипции баянных пьес Г. Гонтаренко, уже упомянутая редакция токкаты Д. Салтыкова, каденции собственного сочинения к Концерту № 22 Es-dur Моцарта...

Моральный долг – для него не пустые слова. Представляется весьма показательным в этой связи, как он выполнил его по отношению к отцу и учителям, посвятив им прочувствованные, наполненные глубокой мыслью воспоминания, к которым я с удовольствием обращался на этих страницах. Организовал концерт «Памяти Самуила Дайча», на котором ученики Владимира Самуиловича играли фортепианные переложения тех органых сочинений, что входили в репертуар отца. Помчался в Москву, чтобы принять участие в вечере памяти Льва Власенко в Малом зале консерватории.

Коллеги в один голос отмечают безукоризненность его поведения, чистоту нравственной позиции.

Всегда солидное, достойное поведение Владимира Самуиловича, как и его внешний вид – аккуратный, подчеркнута элегантный костюм и обязательно белая рубашка с галстуком, снискали ему всеобщее уважение педагогов и студентов консерватории. К коллегам на кафедре специального фортепиано он неизменно внимателен. Помня и понимая проблемы каждого педагога, Владимир Самуилович старается в позитивном аспекте разрешить те или иные вопросы, которые неизбежно возникают в процессе работы (И. Бендицкий).

Знаю Владимира Самуиловича Дайча очень давно, со времен обучения в Московской консерватории. Высочайший профессионал-музыкант, великолепный пианист, замечательный человек... О его человеческих качествах можно много и долго говорить, но о самом главном, с моей точки зрения, хочется сказать особо. Это СВЕРХПОРЯДОЧНОСТЬ, которая в наши дни, увы, встречается не так часто. Мне кажется, что люди, которые сталкиваются с В.С., ощущали и ощущают именно это редкое качество его природы (заслуженный деятель искусств России, профессор Ростовской консерватории Сергей Осипенко).

В одном из интервью Владимир Дайч сказал: «Каждое утро, отправляясь на работу, я испытываю радость».

Если это и не полная формула счастья, то, безусловно, важнейшая ее составная часть.

Р.С. Материалы, цитированные или упомянутые в тексте:

Дайч В. О моем отце // Самуил Дайч: Статьи, материалы, воспоминания. Дрогобыч, 2008 (на укр. яз.).

Дайч В. Благодарная память // Александр Эйдельман: Дань почтения Учителю. Львов, 2006 (на укр. яз.).

Дайч В. [Воспоминания о Л. Власенко] // Лев Власенко: Статьи. Воспоминания. Интервью. М., 2002.

Дайч В. Формирование некоторых профессиональных навыков у учеников детских музыкальных школ на материале фортепианных произведений композиторов-романтиков XIX века. Ростов н/Д, 1988.

Дайч В. Фортепианные произведения ростовских композиторов 1960–1980-х годов. Ростов н/Д, 1991.

Дайч В. Солист – оркестр // Камертон. 1992. № 3.

Гонтаренко Г. Две пьесы из сюиты «Старочеркасские картинки». Переложение для фортепиано В. Дайча. Краснодар, 1989.

Горак Я. Концертный вечер музыканта-аристократа // Поступ [газ., Львов]. 2003.02.10 (на укр. яз.).

«От чистого истока...» [телефильм] (автор и ведущая Н. Беляева, ГТРК «Новая Россия», Новороссийск, 2003).



Марк Райс

Два эссе об Арнольде Шёнберге

1. Шёнберг и XX век



Арнольд Шёнберг (1874-1951) является, безусловно, одним из самых ярких композиторов прошлого столетия, уже при жизни оказавшим огромное влияние на развитие музыки всего мира. С ним можно было не соглашаться, но его нельзя было игнорировать.

Музыковед И. Соллертинский сравнивает композитора с титанами Возрождения; по его мнению, он воплощает собой тот же тип «всестороннего человека»¹. И действительно, кроме того, что Шёнберг был великим композитором, оставившим после себя произведения практически во всех музыкальных жанрах, он был крупным музыковедом, чьи исследования не устарели до сих пор, педагогом, создавшим влиятельную композиторскую школу («единственную в Европе» – замечает Соллертинский²), дирижёром, а также художником экспрессионистского толка. Кроме того, он писал тексты для некоторых своих произведений (оперы «Счастливая рука», «Моисей и Аарон», оратория «Лестница Иакова», «Три сатиры» для хора и др.); он также является автором драмы «Библейский путь».

Главные открытия Шёнберга – атональность и додекафония – не утратили своего значения до наших дней. Первая столь быстро распространилась и начала считаться чем-то само собой разумеющимся, что имя её

¹ И. Соллертинский. Арнольд Шёнберг.// Памяти Соллертинского, Л.: «Советский композитор», 1978. С. 173.

² Там же, с. 168.

«изобретателя» даже начали забывать. Один из крупнейших итальянских композиторов того времени Альфредо Казелла напоминал уже в 1921 году: «Достоверно известно, что атональность создавалась одним-единственным композитором – Арнольдом Шёнбергом, а не группой их. <...> И начиная с того времени, уже оставшимся в далёком прошлом, этот человек неустанно шёл по той же дороге, героически борясь с непониманием современников и даже с материальными лишениями»³.

Напомним, в чём сущность атональности. В тональной музыке существует один (реже несколько) звуков или аккордов, являющихся главными; к ним тяготеют все остальные. Переворот, осуществлённый Шёнбергом, заключался в том, что отныне таких звуков или аккордов не было; переход одного музыкального элемента в другой осуществлялся исходя из чисто музыкальной необходимости. Ничего не регламентировалось; каждый из звуков или аккордов мог быть в одном такте устойчивым, а в другом неустойчивым.

Атональность не была чисто умозрительным изобретением Шёнберга. Само общественное настроение в то тревожное время перед Первой мировой войной было таким, что его нельзя было выразить, очевидно, только с помощью тональных средств. Именно в это время возник интерес к старинной музыке, написанной ещё до возникновения тональности. Забытые, казалось, всеми произведения – от первых полифонистов XII-XIII веков до Пёрселла и Монтеверди – начали вдруг печататься и исполняться. Так что Шёнберг только чутко уловил то, что и так носилось в воздухе.

Важность «свободной» атональности особенно наглядно стала заметна в музыке второй половины XX века, когда в музыке стали обильно использоваться закономерности, основанные на случайности. Свободная атональность позволяла каждому композитору избрать для сочинения музыки, даже для создания каждого отдельного произведения, метод, который не ограничивался ничем,

³ Цитируется по И. Соллертинскому. Там же, с. 178.

кроме логичности следования звуков или аккордов друг за другом. Так, американский композитор Джон Кейдж в своём цикле «Музыка перемен» основывался на гадании по китайской «Книге перемен» («И-Цзин»): путём подбрасывания монетки определялся и ритм звуковой последовательности, и громкость звучания отдельных элементов. Необходимый элемент цельности музыки вносит строгая организация формы: крупные части имеют то же соотношение внутри целого, как и мелкие внутри крупных⁴.

Ещё более важное значение имеет свободная атональность в так называемой сонористической музыке, или музыке тембров. Если бы соотношение звуко сочетаний в таких произведениях было регламентировано, то тембр никогда не вышел бы на первый план. В случае же когда музыкальные структуры следуют друг после друга совершенно свободно, возможно развитие, исходящее только из красочных закономерностей.

Не менее сильно повлиял на музыкальное искусство созданный Шёнбергом «метод сочинения с 12-ю тонами» или, как позже его стали называть, додекафония. Это было первое упорядочение атональности, позволяющее внести систему в форму, оставляя все звуки музыкального произведения равноправными. Изложим его принципы, хотя это делалось, наверное, во всех статьях, посвящённых Шёнбергу. В серии – последовательности, являющейся как бы строительным материалом произведения – все 12 звуков, содержащиеся в октаве, должны пройти, не повторяясь до тех пор, пока не будут исчерпаны. Это даёт огромное количество сочетаний между звуками – $12!^5=479\ 001\ 600$, из которых можно построить самые различные по структуре серии. В то же время это обеспечивает и равнозначность звуков между собой.

Но и только. Реально существует 4 вида серии, которые берутся от всех звуков гаммы; эти формы обычно идут в одновременности по несколько сразу – ведь

⁴ См. В. Ценова. Пересекающиеся слои, или Мир как аквариум. Электронный ресурс <http://www.21israel-music.com/Cage.htm>

⁵ Читается «12 факториал» и равно произведению всех чисел от 1 до 12.

одноголосные произведения составляют ничтожное меньшинство. Так что на самом деле звуки, сохраняя свои атональные свойства, повторяются (в разных голосах) гораздо раньше, чем когда они будут исчерпаны все; единственное, что достигается употреблением серий – это гораздо большая точность формы. В остальном же додекафонные произведения подчиняются всем тем же закономерностям, что и прочая музыка – особенно если учесть, что можно сделать с серией с помощью ритма и оркестровки. Тем не менее именно эта «рассчитанность» больше всего вызвала самых яростных нападков при жизни композитора.

В своём «ортодоксальном» виде додекафония употреблялась сравнительно недолго. Прежде всего это было в эпоху, когда она только прокладывала себе путь – у ближайших учеников Шёнберга: Альбана Берга, Антона Веберна, Ганса Эйслера, Эрнста Кшенека, Эрвина Штайна и др. Во второй половине XX века ею обычно пользовались композиторы, впервые открывавшие её для себя из-за изменения эстетических взглядов, как Игорь Стравинский – при жизни Шёнберга полный его антипод. В таком виде она присутствовала и в творчестве советских композиторов-«шестидесятников» – Андрея Волконского, Эдисона Денисова, Альфреда Шнитке, Арво Пярта. Многие композиторы заимствовали лишь саму идею серии как средства упорядочения формы. Они составляли её не из 12, а из меньшего количества звуков, устанавливая тем самым градации атональности. В этом случае само это количество служило регулятором силы тяготений музыкальных элементов друг к другу. Причём звуков могло быть сколь угодно мало, вплоть до 1 (так, пьеса Дж. Тенни «Я никогда не писал для ударных» состоит из одного звука на любом инструменте, тянущегося «очень долго» и изменяющего громкость от крайне тихого до крайне громкого звучания и обратно) и даже 0 (пьеса Дж. Кейджа 4'33» является паузой, длящейся это время).

Но появление серии как формы означало и другое, а именно отделение высотных характеристик звука от всех остальных. До Шёнберга тема представляла собой

некоторое единство мелодического рисунка, гармонии, ритма, инструментовки и силы звучания. Изменение каждого из этих элементов означало и изменение темы, большее или меньшее. В додекафонии мелодия, гармония и прочие высотные элементы являются строгими и строятся из серии, остальным же предоставлена абсолютная свобода. Но тогда у композиторов стал возникать вопрос: а почему же нельзя так же строго организовать и прочие элементы, как Шёнберг организовал высоту?

Первым на этом пути стал французский композитор Оливье Мессиаан, организовавший в своих произведениях не только высотную сторону, но и ритмическую⁶. Правда, основой для своих ладов и ритмов он берёт не европейскую хроматическую гамму, а индийскую музыку, но в принципе это дела не меняет.

Ученики Мессиаана – в первую очередь Пьер Булез и Карлхайнц Штокхаузен – пошли дальше. Они уже создавали серии для каждого из параметров звука – для высоты, длительностей, тембров и динамики. Здесь, однако, получается некоторый парадокс. Если высоты или тембры очень легко различить на слух, то два очень тихих или очень громких оттенка, либо две разные мелкие длительности – практически невозможно. Поэтому эта техника хороша и выполняет свою задачу упорядочения формы лишь постольку, элементов в этих сериях достаточно мало. Виртуозно использовали её лучшие русские композиторы, например, Шнитке или Денисов.

Но в принципе и здесь, как и в «ортодоксальной» додекафонии, возможно использовать одновременно и несколько видов серий по всем параметрам – высоте, ритму, громкости, тембру. И тогда на слух форма становится неразличимой – кажется, что в ней царствует полный беспорядок, а не идеальная выверенность. Поэтому в конце концов музыканты стали оперировать уже не отдельными звуками, а целыми звуковыми массами, хотя принцип и здесь остался таким же, как и при построении серии.

⁶См. О. Мессиаан. Техника моего музыкального языка. М.: Греко-латинский кабинет, 1995. Гл. II-VI, XV-XVII.

Особенно преуспел здесь основоположник компьютерной музыки Яннис Ксенакис; собственно, компьютерная музыка и возникла из потребности упорядочить форму музыкального произведения, как до этого были упорядочены все параметры отдельного звука.

Музыковед Константин Зенкин считает, что основой композиторской техники XX века служат или порядок, или хаос⁷. Как мы видим, и к тому, и к другому проложил путь Арнольд Шёнберг – один из величайших новаторов во всей истории музыки.

2. Шёнберг и еврейство

Отношение Шёнберга к еврейству было более чем своеобразным. Он родился в нерелигиозной семье и долгое время был вполне индифферентен в этом смысле; как музыкант он считал себя представителем немецкой школы. Когда Шёнберг впервые пришёл к додекафонной системе, он писал, что обеспечил господство немецкой музыки на ближайшие сто лет. Он никогда не впадал в крайности Герцля, который сначала хотел объединить католицизм и иудаизм в единую религию, а затем пришёл к идее еврейского государства. Шёнбергу было не до этого. Герцль принадлежал к элите, он был репортёром влиятельной газеты – а Шёнберг был плебеем, не знающим подчас, как заработать на хлеб насущный; общество композиторов, куда ввёл Шёнберга единственный его учитель Александр Цемлинский, было по сути дела богемой.

В 1898 году Шёнберг перешёл в лютеранство, но это не было для него вынужденным поступком, как для Малера: тот крестился потому, что в ту пору нехристианин не мог руководить главным оперным театром империи. Скорее Шёнберг пришёл к этому в результате духовных исканий, ведь быть протестантом в католической Вене было так же

⁷ К. Зенкин. Композиторская техника как знак: между порядком и хаосом. Электронный ресурс http://www.21israel-music.com/Poryadok_chaos.htm

«неудобно», как и быть евреем⁸. Но при всём том Шёнберг никогда не отказывался от еврейства.

Интересно, что Шёнберг достаточно рано, уже в 1921 году, обращает внимание на зловещую фигуру Гитлера. Художник Василий Кандинский, бывший некоторое время идейным единомышленником Шёнберга, как-то позволил себе высказаться отрицательно о евреях и поощрительно о Гитлере, идеи которого, по его мнению, могут оздоровить дух нации. Возмущённому композитору он написал, что Шёнберг «хороший еврей» и к нему всё сказанное не относится; дескать, среди его друзей много евреев и такие люди, как Шёнберг, должны думать прежде всего о том, что они европейцы, а не о своей национальной принадлежности.

Разумеется, позиция Кандинского не была чем-то особенным и представляла собой типичную точку зрения русского обывателя. Вы замечали? Русский обыватель никогда не ненавидит всех евреев поголовно. Он всегда находит среди них приятные исключения – и ими, как правило, оказываются его личные знакомые. В ответном письме композитор писал: «...когда я иду по улице и каждый встречный смотрит на меня, чтобы увидеть, еврей я или христианин, я не могу очень хорошо объяснить каждому из них, что я тот, которому Кандинский и некоторые другие делают исключение, хотя этот человек, Гитлер не придерживается их мнения.

И тогда этот благосклонный взгляд на меня не будет особенно полезным, даже если бы я как, слепой нищий, написал бы о нем на куске картона и повесил бы на мою шею для того чтобы каждый мог прочитать.

<...>

Как мог Кандинский поддержать оскорбляющих меня; как он мог ассоциировать себя с политиками, чья цель в исключении меня из моей естественной сферы деятельности? Как он мог устраниваться от борьбы с взглядом на мир, чья цель – это Варфоломеевские ночи, в темноте

⁸ Впрочем, некоторые источники утверждают, что семья Шёнбергов перешла в лютеранство ещё до рождения Арнольда.

которых никто не смог бы прочесть маленькую табличку, говорящую о том, что я – исключение!»⁹

Одним из наиболее ярких произведений Шёнберга на еврейскую тему является опера «Моисей и Аарон». Она была написана в Германии в 1932 году и была своего рода протестом против надвигающейся угрозы фашизма. В грозные времена композитор возвращается к высокой этике Торы. Эту оперу Шёнберг задумал как антипод произведениям Вагнера, которые были для него образцом в начале его творческого пути. В зрелых операх Вагнера все герои, и положительные, и отрицательные, выделяются прежде всего своей силой; и тот, кто побеждает, побеждает только с помощью силы. Власть – альфа и омега вагнеровского мира. Вся борьба между героями, все интриги совершаются только во имя силы и власти; в «Нибелунгах» для них даже есть специальный символ – злополучное кольцо. С нравственной точки зрения герои не подпадают ни под какие нормы, они воруют, убивают, прелюбодействуют; все моральные принципы не только чужды для «арийских» богов, рыцарей и королей – эти нарушения им заведомо позволены, а часто даже и поощряются; в крайнем случае возникают мелкие «разборки» героев между собой. Ясно, что такая идеология была хорошей почвой для возникающего фашизма – достаточно было только подобную вседозволенность «спустить» из заоблачных высот Валгаллы и королевских дворцов на грешную землю и сделать её доступной для каждого.

У Шёнберга герои побеждают с помощью мысли, только в силу своей высокой нравственности и чистоты помыслов. За основу оперы взят эпизод, когда Моисей отправился на Синай за десятью заповедями. Как известно, Аарон в его отсутствие для успокоения народа пошёл на компромисс и создал золотого тельца. Из этого эпизода, содержание которого можно изложить двумя предложениями, Шёнберг создал настоящую драму идей. Она протекает в форме противостояния добра и зла, которые

⁹ Цит. по Д. Бен-Гершон (Черногуз). О роли пустяков в дружбе. Электронный ресурс
<http://7iskusstv.com/2010/Nomer2/Chernoguz1.php>

персонифицированы в образах Моисея и Аарона. Композитор, и в жизни не шедший ни на какие компромиссы, считает их абсолютным злом и не может оправдать никакими хорошими намерениями. Уж очень часто ему приходилось наблюдать, как люди, идущие на сделку с совестью или просто недооценивающие опасность (тот же Кандинский, например), очень часто становились впоследствии прислужниками дьявола.

Беда в том, что народ слушает не самого мудрого, а того, кто больше шумит. Таким, безо всякой пощады, он и изображён в опере «Моисей и Аарон». Он безусловно тянется к лучшему, но это невежественная масса, и вождю нельзя потакать звериным инстинктам этой массы – за это он сам несёт ответственность перед своей совестью и перед Богом. Но, по Торе, Моисей косноязычен, и Аарон должен доводить до народа мысли пророка. Они связаны между собой, как в жизни связаны добро и зло. Но что делать, если «уста» оторваны от «разума» и не выражают того, что надо? У Шёнберга нет ответа на этот вопрос. Заключительная фраза Моисея «О слово, слово, которого у меня нет!» вполне выражает отчаяние композитора в то время. (Для точности отметим, что впоследствии, стремясь обеспечить постановку своей оперы, Шёнберг хотел приписать оптимистический финал, продолжив сюжет и описав последующее возмездие. Но это настолько противоречило общему стилю оперы, что от планируемого третьего действия осталось только несколько фраз либретто).

Драматургия оперы основывается на сопоставлении двух начал: Бога и народа. Прежде всего их музыкальные характеристики различны темброво и сценически; так, великолепной находкой, олицетворяющей Бога, является голос, одновременно мужской, женский и детский, звучащий из пылающего куста. Индивидуальные характеры в народной массе не особенно прописаны. Народ у Шёнберга – это скорее «великая личность, одушевлённая великою идеею» (Мусоргский), и эта идея – мечта о Земле Обетованной. Разные группы народа, наоборот, различаются между собой – это, например, колена израилены, чьё «лицо» символизируют их предводители. Отдельные персонажи,

скажем, Больная женщина или Обнажённый юноша, выделяются из общей массы лишь постольку, поскольку они не заслоняют народа как целого; их задача – лишь продемонстрировать разнообразие народных типов.

Если Моисей и Аарон противопоставлены друг другу, то главные действующие начала, Бог и народ, в сущности своей являются двумя ипостасями одной и той же идеи. Вместе с тем и Моисей, и Аарон связаны как с Богом, так и с народом. Техника додекафонии, основанная на общем интонационном источнике всего материала произведения, как нельзя лучше может передать эти сложные взаимодействия, это единство и противоречие одновременно, эту нерасчленимость добра и зла; чуть ли не безграничное количество возможностей преобразования серии может передать всё многообразие таких отношений.

На уровне музыкального языка опера тоже является вызовом Вагнеру. Сама техника додекафонии с её единством – это противоположность вагнеровским лейтмотивам, а «Моисей и Аарон» – это самое крупное по масштабам додекафонное произведение Шёнберга. Противопоставление мы видим и в драматургии. По Вагнеру, миром правят страсти – в опере Шёнберга даже нет любовного конфликта. Несмотря на это, опера исключительно сценична. Гибкий речитатив отлично передаёт все тонкости настроений, используются говорящие хоры, танец вокруг золотого тельца по темпераменту и по ярко выраженному «дикому» восточному колориту сравним с «Половецкими плясками» из «Князя Игоря» Бородина или с «Танцем семи покрывал» из «Саломеи» Р. Штрауса.

После эмиграции из Германии в 1933 году Шёнберг демонстративно принимает иудейскую веру. Живя в Америке, он становится самым непримиримым антифашистом. И это не только солидарность с угнетёнными и страдающими, но и ярко выраженная еврейская позиция. Она отражается и в музыке. Первым произведением композитора на еврейскую тематику стало «Кол нидрей» для хора и оркестра (1938), в сущности, одночастная кантата, в основе которой лежит известная

молитва. (В 1945 году Шёнберг создал в такой же форме «Прелюдию к Книге Бытия (Берешит)»)

Следующим этапом стала «Ода Наполеону» для голоса и квинтета (1942). Эта вещь – сатирическое иносказание, где под Наполеоном подразумевается Гитлер. «Оду Наполеону» часто сравнивают с «Карьерой Артуро Уи», и своей тематикой, всеми в ту пору узнаваемой, оба произведения действительно похожи. Разница в том, что пьеса Брехта написана с позиции идейного противника, а музыкальный памфлет Шёнберга – с позиции жертвы. И хотя оба произведения действуют очень сильно, но воздействие это по своей природе разное.

Наиболее ярким произведением Шёнберга на еврейскую тему, созданным в Америке, является кантата «Уцелевший из Варшавы» для чтеца, мужского хора и оркестра (1947). Композитор был потрясён открывшимся после освобождения варшавского гетто гитлеровским механизмом тотального уничтожения незащитных людей. Рассказ ведётся от лица вымышленного рассказчика, которому якобы удалось бежать; текст Шёнберг написал сам. Чтец выбран для сольной партии не случайно. По мнению композитора, никакое пение не могло бы передать весь ужас того, что было пережито заключёнными. Кончается произведение картиной идущих на гибель евреев, поющих «Шма Исраэль». Точно процитированная молитва, исполняемая мужским хором на иврите, является как бы своего рода жутким катарсисом; несмотря ни на что, духовное начало всё же побеждает¹⁰.

В конце жизни Шёнберг ещё больше стал интересоваться еврейскими вопросами. Он приветствовал создание государства Израиль, сочинил несколько духовных произведений. Три хора ор. 50 («Трижды тысяча лет»,

¹⁰ Нужно сказать, что в конце жизни Шёнберг часто отказывается от додекафонии в пользу свободной атональности, и прежде всего это относится к произведениям, связанных с еврейской тематикой. Причина этого – использование в качестве символов известных произведений («Марсельеза» в «Оде Наполеону», молитвы «Кол нидре» и «Шма Исраэль»), с которыми свободная атональность лучше сочетается по интонационному языку.

«Псалом 130», «Современный псалом»), написанные на иврите, посвящены страданиям еврейского народа – от исхода из Египта до гитлеровских лагерей. Шёнберг стал первым ректором Иерусалимской музыкальной академии, а в последние годы композитор и вовсе собирался перебраться на родину предков. Эти намерения были, несомненно, самыми серьёзными, но из-за состояния здоровья он так и остался жить в Калифорнии. По правде говоря, представить Шёнберга с его эстетизмом, с его ощущением себя гражданином мира, с его тесной связью с европейской традицией в марширующем Израиле Бен-Гуриона я не могу. Смерть разрешила этот вопрос и милосердно уберегла Шёнберга от разочарования в еврейской идее.



Давид Паташинский

Потому не молчу...

мельница

Бежит сквозь сон червленная лисица,
заря на солнце звонко колосится,
собрал ее, и хлеба полон дом,
пустая репа, радость домоседства,
стучит свирепо медленное сердце,
горелые, летают над прудом,

не утки, нет, обрывки старых писем,
а по весне ты сам остался лисьим,
крутил хвостом, неведомо ведом,
поникли долу мысли человечка,
бежит сквозь гору ледяная речка,
и расступается хрусталь и халцедон.

Колотит мельница, скрипит сырая балка,
жизнь заполняется, стеклянная, как банка,
ты весь пропал, как маленький, с концом,
а завтра что, а завтра будет завтра,
хозяйюшка изменится внезапно
несчастливым, обстоятельным лицом,

откроет подпол, вытащит изделий,
сама светла, ну чистый перигелий,
варений там, грибочков и т. д.,
а за окном летит ночная сажа,
меняя обязательность пейзажа,
хозяйка рада, словно не тебе.

Цветам, чтоб пить, недоставало леек,
она простит, но прежде пожалеет,
в постель сведет, душой обнажена,
да ты так дюж, твои такие речи,
а кто твой муж, а муж мой недалече,
но я ему не первая жена.

Бежит сквозь сон сомнительное пламя,
бесстыдства сор теряется углами,
а ты кого до полночи звала,
во всем неукоснительность природы,
лопатит мельница уступчивые воды,
не отражают лица зеркала.

Ушел под утро, головой прохладен,
душа полна каких-то черных пятен,
лисица, зверь, презрительная страсть,
концу всегда недоставало края,
и только ветер, листьями играя,
летел в лицо, чтоб в сердце не попасть.

зима

Пронизывающий ветер с холодком,
и птица Петер с красным хохолком,
зима настала, лыжи напевают,
блины и стужа, слышь, собаки лают,
и черной сажой балуется печь,
приходит ночь, хотелось бы прилечь.

Хотелось бы, кровать еще тепла,
пустые, замирают зеркала,
воды им, воздуха, лица с его необщим,
но верным выражением любви,
а ты сквозь сон медлительно плыви,
пока мы землю каменную топчем.

Мне холодно, но жить еще живей,
иди ко мне и просто пожалей,
спроси тихонько: что-нибудь случилось,
а жить осталось меньше, чем прожилося,
и снег лежит хрустальным молоком,
и птица Петер с красным хохолком.

сонатина

Графиня бежит к пруду, да какой там пруд,
море пришло, сделало ей кишмиш,
Фигаро здесь и там, а слова не врут,
только если навстречу выходит мыш,

лапки выпачканы рудой, на груди сафьян,
ботиночки в крапинку, галун улыбается галуну,
мыш, головой седой, он не враг графьям,
пенсне его отражает золотую луну.

Графиня страдает яблоней и душой,
утро, и она здорова опять,
бежит к пруду, пруд у нее большой,
а шаги она не научилась считать,
Фигаро там и тут, запевай, не стой,
падай в снег, радуйся, дуралей,
дети растут, жизни бежав простой,
вот и ты, малыш, не болей.

Босиком по камням, она не помнит, кому,
мир происходит медленно, по прямой,
слышно ням-ням, подожди, я голову окуну,
а потом мы возьмем еще по одной,
а потом мы еще возьмем, и по счету три
мыш встанет на цыпочки, скрипка его поет,
и голубой чернозем отражает вечерние фонари,
и за окном Нью-Йорк.

Считали голоса, и танки выползали на улицы Москвы,
кремлевские дрозды
пропели полчаса, и толпы на вокзале, и шорохи листвы, и
острые звезды
падучие лучи картину освещали, горели зеркала, и бритвы
наголо,
а ты еще кричи сквозь каменные шали, что кружится зола,
которым повезло.
Считали голоса, и пламенный макаров протер штаны дотла,
до самых сердцевин,
падучая слеза, томление шакалов, и новая метла, и догорел
овин,
и танки у ворот платочки доставали, кто синий, а кому и
камня на душе,
до утренних широт старался генацвале, суммы его тюрьму, и
милый в шалаше.

Нам искренне везло, телега вдаль летела, попутчики, зерно,
и прочая пурга,
и девушка весло поставила вдоль тела, пустое спасено на
помыслы врага,
и голоса зачесть, и пуле удивляться, что, голая, гудит у
самого виска,
и маленького съест железного паяца, и молодой бандит, и
прочие места.

Считали голоса, и тишина такая, что генерал-майор
сморкался и болел,
жужжи, моя оса, предплечье протыкая, мы время узнаем
гороховых колен,
медвяны калачи, и танки словно мыши, и маленькая тварь
целует свой наган,
а ты еще кричи, я все равно не слышу, военный календарь
читая по слогам.

Нас постигла злая участь, говори buenas notches, до кости
иглой херачась, плакала она,
водкой смолоду измучась, это вера а не почесть, рак
насвистывает рачесть, песни с бодуна.
Писем сроду не писати, мир раскинулся, как сети, не
дойдешь, поди, до сути, сытые они,
и не выдержать веса те, звуки бегают в кассете, дело в
шляпе, лапы в зуде, дорогие пни.
Нас настигло, прячь заначку, гладь обугленную почку,
посмотри, летает тучка, только не кричи,
если выбрал из задач ту, что умножилась на точку,
разделяется на ту, что бегают в ночи.

Вот такие невезухи, говоришь себе, azohen, возраст, стало
быть, бальзаков, взгляд его целков,
а навстречу прут косухи, воздух мелок и азотен, на дворе
заморских злаков, как боровиков.
Море, море, где колена, на душе опять Голаны, а на небе
только луны, голые серпа,
слишком долго ты болела, не уйдем из-за стола мы,
распадемся на золу мы, горе озерка.
Зеркалами ночь лоснится, пьет с лица, зовет паяца, сердце

пляшет и смеется, голова в огне,
только каменная птица, ухватив себя за яйца, о тугие прутья
бьется в дальней стороне.

Мерцание полуночного сердца, луна горит, как девочка, в
ночи,
закрыв глаза, под лампою уселся, теряя слов напрасные
ключи,
домашние потемки страшно споры, и на свету все помыслы
черны,
и наши осмотровые споры хранят зерно пустой
величины.

Зима звенит, но холодит не шибко, ложится снег на голову
холма,
стучит в груди прилежная машинка, и ночь углами голыми
полна,
летит луна медлительно и жутко, и комната навзрыд
освещена.

Неслышно улыбаешься во сне ты, а спать еще две
пригоршни минут,
тепла ладоней ласковые неты, оставь слова, пускай их
отдохнут,
и на свету малиновы стаканы, и хлеб лежит, как рыба, не
дыша,
не стоит заниматься пустяками, ты посиди со мной, моя
душа.

Остановите музыку, я выйду, не мне считать вороновую
чернь,
в стране потерь строке послушно лыко, а головам до шапки
дорости
не позволяет каменное небо, я вдаль смотрел, и не было
меня,
и пули милые летели мимо, и девочка смеялась у ворот.

Остановите музыку, я пьяный, мне воздухом налили рукава,
смешно упрямым пальцам вниз ронять на клавиши, на

кривиши стальные,
в стране потерь ведру не нужен дождь, дома растут, как
мальчики, внезапно,
остановите музыку, я выйду, остановите музыку совсем.

мышья баллада

Осенним вечером, на черном чердаке,
сидел, себе гадая по руке,
ночь приближалась молча, как родная,
в ее остановившихся глазах
читал грозу, она в начале мая,
и воздуха не пить при стрекозах,
хотя стрекозах, сам косноязычен,
бурлил, кипя, величественно личен,
лица необщим глядя в пустоту,
а пустота навстречу жуть толкала,
лиловую, как стертую версту,
к тому же не всю, а вполнакала,
и говорил седой, как абажур,
певец квартир, неистовый буржуй,
живая речь струилась, медным эхом
ей вторили унылые поля,
а на рассвете, сонный от утех он,
вздохнул, и опрокинулась земля.

Полночных крыш малиновый затворник,
хвоста чудак, шуршания злодей,
послушай лишь, как прорастают корни
к тебе в чердак, и все, как у людей,
осенним вечером, мохнатая мордашка,
на верхоте, неведомо чужой,
и свечи ром согреют, и в ладошках
ты держишь ветра память над межой,
когда колосья, ливень, ливень, ливень,
а то гроза в помощниках росы,
и ты идешь, как маятник, счастливен,
наотмашь бья хрустальные часы,
и ты пушист, неоспорим, победен,
ты прилагателен глаголом гулких крыш,

несчастных мест, раздавленных, как пятен,
живой, как жизнь, единственный, как мыш.

Осенним чучелом, причинным следопытом,
копытом страстной вольницы степной,
а улечу, так вечером мосты там
сестра поставит сразу за стеной,
ее глаза, лазурные, как скалы,
не отражают бешенства морей,
она мышей любить не перестала,
читая им расхристанный хорей,
и серые, зажмуренные шкурки
мы дружно собираем по утрам
в кошелки и случайные шкатулки,
и радуемся, радуемся прям,
и нечего, гутарьте, головачем,
к виску и стал солистом, звуком чист,
осенним вечером, на карте, обозначен,
тоскует по монистам машинист,
в его котомке мышья кукарача,
и паровоз взбирается на холм,
и девочка, не разбирая плача,
целует в рот, не думая, о ком.

Этой ночью увидишь мало, цель посредственна, моль
прозрачна,
в понедельник сидишь на месте, смотришь лично.

Смотришь, прочно руками взявшись за сиденье чужого
стула,
и слова, никогда не певшись, липнут к телу.

То ли мела поел цветного, еле дышит пустая бочка,
за окном не находишь неба, время штучно.

Время склочно, честно, обычно, дел заплечных веселый
мистер,
а на небе темно и тучно, без созвездий.

Ни звезды, только зги густые жгут кусты обозленных

птиц уголья роняет стая в город спальный. молний,

Полный ветром по остры уши, круглых маковок злое
welcome,
ходит вечером страшный пеший, смотрит волком.

Ночь такая, что проще завтра, проще выколоть слово за два,
нота падает вниз с пюпитра, скоро утро.

Дело спать непростое дело, долгий путь говорит дороге,
смотрит в лоб холостое дуло, вести с тыла.

Целовала, дышать не в силах, на губах отголоски синих
электрических, моментальных, рвется тельник.

Высота состоит из птицы, полосатое небо бьется,
полотенце сырого ситца закрывает солнце.

Полюби меня прямо в сердце, попроси, чтобы я остался,
положи мне на кромку пульса голубые пальцы.

Ночь заканчивается рассветом, месяц лодку утопит в небе,
ты окажешься виновата, мне так надо.

Посветлело ночное небо, птицы маленькие запели,
где комедия, там финита, посвист пули.

Посмотри мне в глаза, скажи мне, я услышать готов любое,
мне любовь обещает много, позволяет мало.

Время штучно, весна беспечна, завтра лучше, чем сразу в
сердце,
птица ходит по краю неба, хочет солнца.

Вечером виолончели ничего не замечали,
беспробудные печали запивали черным чаем,
музыку гудели пальцы, души слышали иное,
остальное дело пульса, остальное, остальное.

Вечером и небо глубже, воздух чище, звезды ближе,
улыбаются глаголы, словно голые ладони,

за окном луны баллада, за окном все тише, тише,
бьется бабочка в плафоне, бьется бабочка в плафоне.
Красный цвет всего горячий, белый свет всего больше,
а который настоящий, он останется не с нею,
синий цвет всегда при деле, черный день гуляет в теле,
мы не этого хотели, мы не этого хотели.

Вечером услышишь мама, а потом и произносишь,
день закончился так мимо, ночь полна слепых котят.
Вышел месяц из тумана, вновь показывает ножик,
на холсте Иеронима птицы бледные летят.

Черный цвет всего вернее, мы с тобой совсем родные,
я тебя совсем не знаю, выпьем чаю, как всегда.
За окошком, леденя, ходят люди вороны,
даль разносится лесная, стекла - чистая слюда.

Вечером, изустным словом, понимаешь, просто слаб он,
потому живем, что любим, говори еще, смешной.
Понимаешь, он не сломан, просто временем залапан,
слышишь звон вечерних лютен? Это ночь пришла за мной.
«...сохрани мою речь навсегда...»

Позабудь мою речь навсегда, промолчи говорящее слово,
на пригорке сидит тишина, улыбается болиголову,
замирает хмельная душа, однозвучна свирель камыша,
карандашен набросок портрета, истлевает в окне сигарета,
загорается солнце в груди, это няня, устала поди.

Ярче краски увидеть невмочь, прекращается прежняя ночь,
на пороге лежит, догорая, воздух пухнет грозой молодой,
приготовимся жить, дорогая, подсластя семирукой водой,
отвечает она не спеша, время спать, и постель хороша,
прочитает ночные сонеты, что любить обещал по весне ты.

Собери мою речь, ничего не храни кроме искренней речи,
лобной кости больное чело, камышиная дудочка сна,
было сено, а стало село, от огня приходи уберечь и
небо пепельно, рассвело, нам нелегкая доля честна
слушать музыку мертвых цикад, подпевая слова невпопад.

Был бы деготь, да ноготь увяз, не потрогать, пускается в
всплеск,
ветви плавают, воздуху трудно, голоса не слышны со двора,
волки озера, полые бубны, разбирают народ катера,
три рубля у воды в пополаме, ходит птица босыми крылами,
над прозрачной холодной межой голоса амфибрахий чужой.

Скрип зубов, а казалось, уключин, я слова собирать не
обучен,
ты меня на рассвете встречала, три дороги, и все без начала,
мне бы жизнь подвести под венец, небо, небо, приснись
наконец,
нет, не речь сохрани, бормотанье, черный шепот холодного
рта,
потому не молчу, перестань я, мир заполнит твоя немота.



Софья Шапошникова

Из книги «Гений в плену или в плену у гения»

И в слове отзвук музыки



В сентябрьском номере журнала «7 искусств» был опубликован цикл стихотворений Софьи Шапошниковой из книги «Гений в плену или В плену у гения» (Иерусалим: Скопус, 2010.).

Но именно поэма с неожиданным и смелым посвящением Бетховену, давшая название всему сборнику, представляется наиболее оригинальным сочинением автора, поэтому мы возвращаемся к упомянутой книге.

«Что такое человеческое творчество? Ответный удар, больше ничего. Вещь в меня ударяет, а я отвечаю, *отдаряю*» (цитата из М. Цветаевой, курсив ее же).

Поэт зачарован музыкой Бетховена? Поэт знаком с биографией композитора? Что же в том удивительного? Но тут было нечто иное. Душе захотелось знакомой музыки – забыть, уйти от боли, отдохнуть, и вдруг внезапное и такое сильное ощущение восторга, счастья, как будто слышит эти сонаты в первый раз... Все ожило и закружилось: его судьба, его любовь, и страсть и нежность, отчаянье и ожиданье, трепет, боль, и звуки-звуки – о, как все отчетливо, вот их свиданье в парке, она их видит, вот руки их, тропа и дерево, и этот лунный свет... И музыка словами захлестнула, а руки потянулись за тетрадкой...

Вот так, под каким-то необъяснимым, пугающим и все-таки чудесным гипнозом – от музыки – лились стихи. Да, это была опять же цветаяевская «зачарованность до столбняка» – образом композитора, его музыкой, его молодой любовью к совсем юному существу, своей ученице... Но не только. И муки и радость творчества вообще, поэтому, возможно, в тексте нет ни одного конкретного имени.

Судя по отзывам тех, кто прочел «Гения...» еще в рукописи, а некоторые из них опубликованы в самой книге,

представляется, что поэма вызвала сердцебиение – и не у одного читателя. Просто сердца забились сильнее. И силось и не могу понять, в каких глубинах души, в каких высотах духа сумел поэт сохранить наполненное нежностью и силой чувство влюбленности, все эти нюансы, от восторгов до жгучей боли, когда я знаю, знаю, знаю, что сочинила всю эту «стихию» немолодая, очень хрупкого здоровья женщина.

Дорогого стоит, когда одна из давних учениц Софьи Шапошниковой, сама преподаватель музыки, Ада Геткер, готова признаться, и слова ее и трогательны и искренни, что не она – музыкант, а поэт, ее бывшая учительница русского языка и литературы Софья Сауловна, может ТАК слышать музыку: «Она слушает Бетховена и проживает его жизнь, его любовь, его страдания, открывая *"редкостную душу, как партитуры вечные листы"*... Я, конечно же, – продолжает Ада, – люблю музыку Бетховена, много сама играла и обучала детей исполнению его сонат от 1-й C-dur до Лунной, Патетической, Авроры. Но не устаю поражаться, как умеет Она слушать, на каком-то уровне подсознания улавливать его ритм, именно его форму ... Порой кажется, что идет подтекстовка музыки, так совпадают ритм её слова и ритм музыки Бетховена, ибо она пытается *"музыку сонат перевести в словесный ряд"*».

Не менее взволнованно звучат и другие отзывы.

Вот Самуил Иоффе, когда-то выпускник школы-студии Михоэlsa, журналист: «Как можно словами передать богатство музыкальных нюансов? А вот прочитал поэму-драму Софьи Шапошниковой *"Тений в плену или В плену у гения"* и понял: МОЖНО! Читал, а в душе звучали сонаты гения. И слова вроде те же, которые и я употребляю, когда что-то пишу, но в них – музыка... Читая поэму, часто забываешь, где в ней поэзия, а где проза...»

Отчего возник такой строй, такой неозначенный автором жанр повествования? Может, все-таки лирическая поэма? И снова музыка и слово. Задумчивость, веселье, грусть и – шквал страстей, девятый вал, порой невыносимо, до обморока – и надо успокоиться... И с тихим удивлением скажу: мне показалось, что именно в наплывах прозы, то шепотом, то звучно, я отличала знакомую сонату, возможно ль это?

«Я паль-чики твои пе-ре-би-раю...» – нечаянно летучее staccato, и дробь такую специально не придумать, лишь невидимая Муза могла надиктовать, как именно изобразить полет двух любящих сердец, да, «словно над землей»...

Позвольте, дорогой читатель, предложить вам отрывок из поэмы, давшей название всему сборнику.

Шуламит Шалит

Софья Шапошникова

*Людвигу ван Бетховену
посвящается*

Гений в плену *или* В плену у гения

*Я прозе изменила, теперь стихам.
Старинные чернила – прошли века.
Писала, как любила, я Им жила.
Дитя я сотворила. Не назвала.
Смотрю в слезах незряче на лунный свет.
...А жанр не обозначен. Такого нет?..*

Вступление

**Я открываю редкостную душу,
Как партитуры вечные листы,
Без слёзной хляби, без сторонней суши
Пытаюсь на слова перевести.
Ту вязь судьбы, сложнейшей и высокой,
Мне подарила музыки волна,
И от неё родились эти строки,
И я сама менять их не вольна.**

ОН

Лишь в музыке прозрачно обнажались
Тончайшие движения души –
И к матери мучительная жалость,
И он молил в слезах: – Ещё дыши!..
Так много впереди тебя осталось!
Не уходи за красные туманы!
И боль потери, в сердце поселясь,
В нём сотворя нелечимые раны,
Рождала нот мистическую вязь.
Хоть мистика была ему и чужда,

Он улетал в столетий тёмных даль.
Его рука бросала с силой чувство,
И с дрожью принимал его рояль.
Рояль один был вышкой в океане,
Вокруг, как грозы, волны бушевали.
Чуждался он и логики обычной.
В тринадцать лет придворный органист
Был скромн и страдал от пышных спичей.
И слушал зал, как в детстве птичий свист.
Во сне к нему идеи приходили,
Он вскакивал к роялю босиком,
То по клавиатуре пальцы били,
То прикасались с нежностью, легко.
Любовь, как жаворонок, трепетала.
Но нежность, сочтанная с грозой,
Была началом – радости началом,
Чреватая прощальной слезой.
И музыка звучала исступлённо,
Рояль стонал: вот-вот и рухнет он.
Но не было, как думал он, закона,
Которым он остался побеждён.

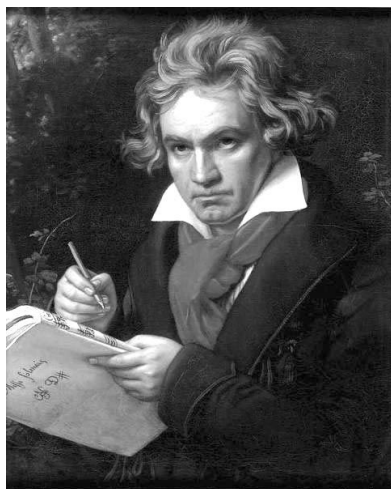
Вечер поздний. Синий вечер. Над вершинами
деревьев, как волшебное виденье, проявляется Луна. Где же
девочка?.. Она не придет уже?.. Тревожно.

Тихо в мире. Смолкли птицы... Заглянуть бы ей в
глаза... Проливается на землю первый свет Луны
прозрачный, безмятежный и тревожный...

На клавишах лежат большие руки,
Но не играют – девочки всё нет.
От этой непредвиденной разлуки
Сумятица: здоров его поэт?..
Лицо темно, как небо перед бурей,
И скулы затвердели, и губа
Поджата... С Ней одной – от радости до хмури –
Не время протекает, а Судьба...

Звучат стремительно шаги, и вот она со мной. Мне сунула листочек: – Прочитай, – и села за рояль:

Облака над нами низкие
Затянули голубое.
Птицы носятся со свистом...
Ждать грозу, как ждут прибой?
Неотвратность?.. Не для нас она!
Мы с тобой не из покорных.
С детства нашей дружбы зёрна
Щедры дали семена...



Людвиг ван Бетховен (1770-1827)

Вскочила. «В парк!.. Поговорим дорогой!» А я не мог опомниться: такие зрелые стихи и музыка прекрасная... И рядом с ними шалости ребячьи, все переплетено. Но вот талант!.. Какой талант высокий!

И в лунном свете мы уже плывём по парку. Она, тростинка в модном взрослом платье, и я, похожий на борца. Её учитель. Она меня заторопила, и в голову мне не пришла простая мысль: что побудило написать её стихи такие?..

Мне привели её в четыре года, я сам мальчишкой был, хоть в музыке известным. И вдруг сейчас они ей

намекнули, что есть другой учитель и что прогулки в парк им надоели... Меня потряс её талант, забылось всё другое...

...Плывём по парку в лунной неге, и льётся музыка с небес. О как щемит в груди! Как сладостно и больно волнуется красота, и трудно, трудно вынести её без слёз и сердце чтобы не разорвалось и рядом был всегда мой ангел златокудрый...

Мы кружим по дорожкам – все деревья приветствовать ей надо. Четырнадцать уже, а для меня дитя и дева юная и зрелый музыкант. И всё это одновременно...

Она бежит тропинкой вниз, мелькают башмачки так быстро – две белых птички, одна другую опережая. Я, быстроход, за ней не поспеваю. Зову её, она смеётся звонко. О как я счастлив! Пусть шутит, пусть смеётся моя шалуныя, мне хорошо! Остановилась, на меня глядит. И я почти приблизился уже – она крутнулась на невысоком каблучке и вновь бежит помедленней, вприпрыжку. И песенку мурлычет:

«Какая красота вокруг,
И рядом ты, чудесный друг, любимый друг,
И ты шагаешь вслед за мной,
Ты рыцарь мой, учитель мой, ты гений мой...»

И я догнал её. Прошли немного за руки держась. Она вперёд рванулась и летит, как птичка яркая. Я загляделся и отстал. И всякий раз: она стоит, пока я не приближусь, и убегает дальше. А у меня так сердце бьётся громко, как будто в тишине грохочет гром. Удар – во мне... Удар – во мне... И мысль, как молния, которой нет на небе: так будет. Да, всегда так будет! Она всё станет убегать, а я смотреть с тоскою вслед. Я это знаю...

Мы с ней идем, усталые от бега. Свернули вправо. Впереди она. Как только не запутается в юбке длинной – трава густая. На золотистых волосах соломенная шляпка, ленты голубые развязались, струятся волей ветерка. Кудряшки выбились, рассыпались колечками и прыгают по узенькой спине – она опять бежит, и я за ней. Вот дождалась

меня, на шею кинулась и в щёку чмокнула от всей души. Здесь, наконец-то, он, наш уголок: деревьев хоровод, а посреди широкий старый пенёк, и мы сидим на травке у него, удобно ноги подвернув. У нас любимая игра: я пальцами на глади пня играю, она угадывает ноты и напевает вслух. И в свой черёд играет мне. Ах эти пальчики! Прекрасней их я в жизни не увижу. Ах умница моя! Движенья точны, мелодию её читаю и пою. Она сияет.

Вот шляпку сбросила и – навзничь на траву. Я рядом с ней. Мы смотрим в небо и плывём над парком...



Юная Джульетта Гвиччарди. «Эта чудесная девушка так сильно любима мною и любит меня...» (из письма Бетховена)

И сердце за взглядом так тянется ввысь, всё выше и выше... А мысли мои о тебе. Жизнь твоя началась так недавно, и так полно впитала она красоту нескончанную. Как желанно, как прекрасно бездонное небо! Сколько здесь недоступного разуму, а душа... Как она понимает? Здесь словами не скажешь, лишь музыка выразить может. Свет Луны растекается щедро, всем нам хватит от щедрости этой. Мы с тобою, и нет никого, кроме нас и Луны, её музыки дивной, её светлой дорожки – судьбы.

Я паль-чи-ки твои пе-ре-би-раю –
Прохлады и нежны, как лунный свет.

Иду с тобою по земному раю,
Которого нигде на свете нет.
Лечу с тобою словно над землёю,
Как луч Луны, он тоже тут завис,
И если я чего-то в жизни стою,
Я подниму тебя, мой Ангел, ввысь.
И если ты услышишь гроз разрывы,
То не пугайся – это всё во мне.
Я так хочу, чтоб ты была счастливой,
Как может лишь пригрезиться во сне.

«Ты видишь, – говорит она мне тихо. – Вершины кружатся, Луна притягивает их, а корни держат... – И вскакивает вдруг. – Послушай!» – И по клавиатуре дерева, которую я для неё нарисовал когда-то, бегут, бегут танцующие ручки. А это что-то новое: импровизация её... Я музыку ловлю и восхищаюсь: деревья в лунном свете, в лунном вальсе. А это... нет, не может быть!.. Такие чувства взрослые и буря... Нет, не в природе – в нас!

Опять мы оба смотрим на Луну и погружаемся в медово-голубое, и музыка божественная в голове звучит... Мне трудно говорить, и чувство новое в душе – такая нежность, такая нежность, что слёзы выступают на глаза, и сердце в радости мучительной, и так тревожно! Волнение, смятение моё один рояль лишь может передать... И этот свет Луны, как он объединяет всё вокруг! А вот в душе моей тревожно. Отчего? Да, эта пропасть... Между нами пропасть: и возраст, и происхождение... Фамилия её известна широко и титул тоже... А я для них – плебей. Всего лишь музыкант. Хотя известен, но иначе:

Европа вся была в плену,
Душой настроена на новую волну.
Волна вздымалась и росла –
Такой его импровизация была.
Часами мальчик мог играть
И затруднений никогда ни в чём не знать.
Он скромненький был, его смущал
Аплодисментов необычных в залах шквал.
«Что, восемь лет?..» «Да, восемь лет.

Он гений в музыке и, по всему, поэт...»

Но всё равно – такая пропасть! Учитель музыки из низкого сословья. Здесь не изменишь ничего любовью...

И ты внезапно встрепенулась и обняла меня так крепко! Головку золотистую с моею гривой чёрною смешала, а карие недетские глаза так смотрят на меня!.. В тебе, подростке, вдруг проснулось... Я не могу определить, не смею... Я спохватился: ночь уже давно! Затормошил её – скорей домой, мы засмотрелись, заигрались, замечтались. Скорей, скорей домой! Ты бросилась в траву и еле слышно прошептала: – Я не хочу домой!.. Ты увези меня... куда-нибудь.

Сегодня чёрный день. Чёрней не может быть. Родные увезли. И как он сможет жить? И как она одна – возмущена, больна?.. Вот плата за ту ночь. И как им было знать, о чём помыслила испорченная знать!

Тайком, без слова отняли её. Услали в дальний город музыке учиться. А он?.. Он больше не годится?.. Их можно друг от друга оторвать?.. Не дать проститься?..

«Ты увези меня», она просила.

Идти домой (вчера лишь!) не хотела.

«Ты увези меня!» – так ведь не силой!

Родители посмели это сделать.

Ему нельзя. Никто он ей: невольник.

До крика, закупоренного в горле!..

Какие тучи мрачные наплыли! Как траурно в моей душе! Как больно! И композитор в ней теперь погублен...

Не то, не то!.. Я потерял её, родное мне, любимое дитя. Нет, больше, больше!.. Всё я потерял. Весь мир!

Гремите, тучи! Ливень, громче плачь!.. Я извлекаю звуки из рояля, и он дрожит от силы рук моих, от страстности отчаянья грохочет. А пальцы бьют по клавишам послушным, не зная передышки, и всё нутро его звенит, гудит, покою струнам нет. Покою нету мне. И темнота на небе в полдень. И в комнате темно. И слёзы неба залили окно. Да, это слёзы ливня слились в ручьи. Окно звенит, и

стены дома так музыкой моей сотрясены, что вот-вот рухнут...

О Небо, Небо! Ты чувствуешь отчаянье моё и мне сейчас так мощно помогаешь! А я хочу звучать ещё мощней. Разбить могу рояль, он не рассчитан на великана с богатырской силой!

Нет, мой рояль, прости. Я только человек с душой гремящей, и в поединке с горем я себя не помню.

...Прошла гроза. Очистилось от туч, поголубело небо. О если б всё причудилось, приснилось... И вечерами башмачки её вновь зазвучат, взметнутся руки вверх. На цыпочки привстав, она повиснет у меня на шее...Боже мой!

...Я иду с моей любимой, и лёгкость на душе моей. Как хочу я годы, годы провести с ней, нет – быть вечно, не расставаясь ни на день.

Мы снова в парке. Как прекрасно, о как прекрасно в мире лунном! Как прекрасно! Как манит высь! Как манит высь! И вечер лунный дарует сердцу свет свой неземной.

И трудно, так больно и трудно поверить, что всё это, всё это, всё – одно только воображенье.

...Что со мною?.. Что со мною?.. Где я был сейчас?.. Да с тобой, с моей Тобою, как нам было хорошо на волнах Луны! Беспечно?.. Нет, но это было вечно, оба знали: будет вечно... Что же я нашёл?.. Пу-сто-ту... Музыка лилась мне в сердце... И рояль играл, как будто тут сама Луна играет... Я играл, но я не в силах высказать, чем был я счастлив и встревожен... Так ведь было – я с тобою, я с тобою, ангел милый, мы с тобою растворились в свете сказочной Луны... Ничего ведь не случилось! Всё, что после, – злые сны...

...И письма нас спасли. Что день – письмо. Сначала почерк детский – слог недетский. Потом и почерк стал стройнее, строже... Какая ты теперь?.. На миг увидеть!..

Люди, люди! Мир несовершенен.
Истина за сетью лжи подчас.
Мы в плену своих неразумений,
Разве не они калечат нас?
В центре – Я! – привычно и понятно.
Вертится Земля вокруг Меня.
Мы привыкли: подвиг – только ратный.

А отдача своего огня,
Дар души – что подвига безвестней,
Но святей и выше тоже нет.
Я – тебе. Мы – это значит, вместе.
Радость – и моя, и общий свет.
Радость... А как часты в жизни беды!
Разделить их – это посложней:
Подарить свою частицу света
И не вспомнить никогда о ней.

Тихие подступы к бурной реке,
И понеслась, понеслась...
Волны грохочут, а вдалеке
Юности нитка вплелась.
Мокро лицо, как ухабы, вода.
Лодке отдался во власть.
Память рванулась как взрывом руда –
Та, что со дна поднялась.
Вновь возвратилась и светлая нить –
Вот за неё ухватись,
Пальцы в луче её обмакни –
Глубь поднимается ввысь.
Снова раздумья, и нежность, и тишь.
Ветер утих, и река
Угомонила на время. Глядишь –
В ней поплыли облака...

Вибрируют струйки. Вибрируют травы
На близком тебе берегу.
Внезапны раскаты и как величавы!
Я сердце унять не могу.

Угасает день, и звуки
Тише, тише... Надо мной
Простирает мирно руки
Шар живой, но не земной.
Он не знает потрясений,
Нет несчастных и больных,
Он как будто для спасенья

Человечества возник.
И надежда сбыться чаёт –
Правит крылья в вышину,
И река слегка качает
Запоздалую Луну.

II

От автора

**Сонаты слышу и вижу ясно
Горенье взгляда и руки, руки!..
Всё в Нём и просто и прекрасно,
А в сердце чутком крик разлуки.
Мотаются по ветру кроны.
Любовь и возмущенье спорят.
Рояль измучился от горя,
Взлетают пальцы – струны стонут.**

Труба зовёт. Труба зовёт. Сзывает на ночь. И бегут и бегут исполины и крохотные создания, спешат под полог ночи. И всех она приемлет и обволакивает мягко струящейся уютной темнотой. И тишина вокруг, и только сны нам дарят встречи, и беседы, и музыка беззвучная играет.

Я бегу по реке, словно птица, и вода подо мной переливчато серебрится. Кто-то стучится... Кто-то стучится... Кто ты?.. Кто ты?.. Переборы струй. Снова кто-то стучится. Всё открыто друг другу, но кто-то стучится... Воздух льётся упругий и нежный, вдали колокольчик. Кто стучится?.. Я не знаю, не знаю, не знаю, и тревожно душе и покойно. Но покой этот близок тревоге, а тревога покою.

Пусть исчезнет всё мрачное разом. Пусть зальёт его Небо широко. Ночь пришла. Ночь настала. Под деревьями выросли встречи, поцелуи и говор девичий, быстрый, лёгкий, как птичий. И в свете Луны мир сияет, сияет знакомо...

И всё в мои глаза вернулось быстро и нежно. И пальцы стали чуткими, как стебельки цветов, и сильными, как крылья горних птиц. Я жду тебя, мой Ангел, ты выросла

уже за эти годы и властна над собой сама. Я жду!.. И будем мы всю жизнь вдвоём. А позади вдали проём, глубокий каменный проём, все беды в нём, остались в нём...

Был тихий вечер, ясный и покойный. И я играл мелодию Тебе: в твой день рождения, восемнадцать лет. Не слышал, как раскрылась дверь и ты вошла... Ты обняла меня за шею сзади... И это мне не снится?.. И шелковистая щека моей коснулась. Я обернулся: карие глаза твои лучились счастьем близко-близко. И губы к моим губам тянулись... Я отпрянул, вскочил... И ты так мягко улыбнулась, всё понимая. Прелестное и умное лицо. Ты стала взрослой... Но как прежде, взяла меня за руку и повела в наш незабвенный парк.

Не кланялась деревьям на аллее, а побежала сразу вниз дорожкой узкой, не обернулась: знала, следом я. Но не было игры былой, она не убегала от меня, она так торопилась, что споткнулась, на куст упала. Я, приподняв её, как в забытии, в объятьях подержал, не опустив на землю сразу. Она затрепетала... Я очнулся.

Вечер ранний. Вечер синий.
Проявился лик Луны.
Он бесцветьем обессилен,
Точно выплески волны.
Посинеет небо гуще –
Золотистая Луна
Мёд цветов дикорастущих
Изольёт на сладость сна.
Вечная и молодая,
Всех влюблённых созовёт,
Даст без крыльев им полёт,
Приоткроет полог рая...

И вот мы там, куда стремились оба. Мы в нашем уголке. Сидим на травке, а вокруг деревья-стражи. – Ну поцелуй мне пальцы! – и руку протянула к большому рту. Отдёрнула тотчас: – Ведь ты откусишь! А мне играть! – и нервно засмеялась.

Он виновато улыбнулся, как будто сам он сотворил себя таким. «Мой гениальный мужичок, – она его так назвала когда-то и постучала пальчиком по лбу его. – О сколько здесь непостижимых мыслей и музыки! Твой лоб пылает изнутри, обжечься можно!..» Вспомнил и смутился и покраснел, и стал как темнокожий. «А ты не болен?.. Ты весь горишь!»

Он встал с травы, пошел между деревьев. Она взлетела тоже: – Подожди! – и в голосе тревога. Он не ответил. Выглядел угрюмым и угнетённым чем-то. А он всё думал, думал, думал... Да, он безумно полюбил её... Забывшись, как ребёнок куклу, он в страсти мог её сломать. Объятье... Безумно не желанье – мысль сама: безумно быть им вместе.

Она вдруг оказалась перед ним и пятернёй упёрлась в грудь его – остановила. – Вернёмся к нам, и я тебе сыграю... какой ты стал сейчас. – И побежала к их «клавиатуре». И он за ней.

Следил за пальцами её – они играли бурю. Разряды грома чуть приглушены – они внутри него... – Не надо, нет! – воскликнула и бросилась ему на грудь. Он руки попытался ей разжать, но осторожно, чтоб не сделать больно. Нет, невозможно: руки пианистки... Они уже боролись на траве. Она прильнула свежим ртом к его большому рту, и он не выдержал и губки охватил своими крупными горящими губами. Она метнулась на секунду прочь и кофточку с себя сорвала, и грудь под нею оказалась обнажённой...

О если б он был пень!.. О если б он был пень!.. Последняя мучительная мысль, и отключилась голова, и губы всю её ласкали: лицо и шею, плечи и перси нежные и плотные, как два плода заветных... Они слились и долго-долго не могли отъединиться, блаженствуя и обо всём забыв. Он в жизни первый раз был с женщиной, и он любил, любил всегда её одну. Жена моя, – шептал он, когда тела их отпустили, – жена моя, любимая моя, ты вся моя, я твой, и мир весь наш, земля и небо и Луна, теперь она так нежно обнимает, даёт покой небесного блаженства – земное только что они познали...

Так полно счастье, высказать словами его нельзя. И оба мы молчим. У тебя на ресницах волшебные слёзы и улыбка покоя на вспухших в лобзанных губах. Вот завтра обвенчаются они, но тайно, родители согласия не дадут. И сразу же уедут в Вену. Туда его зовут давно, он всё тянул, расстаться с ней не мог. Казалось, будет дома, и она скорей вернётся из этой ссылки... А Вена... Да, залы переполненными будут: приехал гений. Он так не думал о себе, хотел ещё учиться... у Моцарта! Заветная мечта. Вот Моцарт – гений!.. И ей учиться надо и тоже выступать.

Она задумчиво кружилась в травах, обняв себя обеими руками. Я счастлив был – начало новой жизни! А она уж докружилась до больших деревьев и мимо них вальсировала... Одна, всё так же крепко обнимая себя руками: защита с двух сторон. Но от кого?.. Я подошел к ней, обнял и руки положил поверх её рук, и так мы покружились вместе.

Вальс, вальс, вальс, вальс...
В травах запутались ноги.
Помни наш парк и танцующих нас
В самом начале дороги.
Ждали вдвоём мы грядущий рассвет...
Не было больше рассвета
В жизни моей. И теперь его нет –
Музыка только об этом...

– Скажи мне, что с тобой?.. Ты всё молчишь. Такое счастье – мы вдвоём, мы больше не расстанемся ни на день. – А ты молчишь. И вот как будто просыпаясь, произнесла медлительно «люблю...» И подняла глаза. А в них недоумение... Нет, нет, страшней: отчаянье!.. И этот взор потряс меня, как бездна, разверзшаяся вдруг. Лечу, лечу в безвестие глубоко, и только что прекрасный мир погас, стал тёмн, искры ни одной.

Она взяла его большую руку в свои, велела слушать молча, а казнить поздней, потом, когда расстанутся...

«Расстанутся» – одно лишь это и понял он – оно пронзило сердце.

Она заговорила размеренно и строго, спокойным, словно равнодушным тоном, но руки охладели, и чувствовалось явно: она дрожит, как будто там, вдали змея глядит ей в очи и забирает силы, и она пойдет на страшный зов змеи, которая её сейчас же обовьёт... Вот от кого защита в этом вальсе!

Она всё говорила, говорила... Её приезд – условие родителям и плата их за то, что вышла замуж, как они желали... Да, день один – подарок этой страсти, а к мужу холодна, он ей не нужен. Ну, граф, ну музицирует... И что?.. Вот ей играть уж расхотелось. Ей нужен с детства Он, один лишь Он, единственный любимый навсегда...

Он мучился всю ночь. Играл, играл, всю боль свою, всю муку изливал и то, чего в нём не было доньше: негодование. Как она могла?! Всё рассчитать, всё выполнить, и это – любя?.. Добилась своего, чтобы сегодня в ночь его покинуть и к мужу возвратиться...

А утром приспешил лакей соседский с письмом. Родители её там сообщали, что дочь уже три месяца супруга и брак её успешен, муж знатен и богат. Перед отъездом за границу она простилась с ним... Пусть он её не ищет, и сам покинет город. Мир перед ним, все гением его покорены. Любая барышня почтёт за честь женою стать его.

Листок он скомкал в бешенстве, швырнул под ноги, растоптал в неистовстве великом. И разрыдался громко и надрывно.

Пустынный парк... Безлюдные аллеи.
Деревья отвернулись от меня.
Ничто души не радует, не греет.
На небе нет священного огня...

Пересекаю парк и дальше иду дорогою молчанья прямо, прямо. Кто толкает в спину?.. Ужели сердце?.. И я куда иду, зачем? Мне так необходимо идти всё дальше до изнеможенья...



Марк Азов

Книга



ог жил в горах. В маленькой тесной сакле, сложенной из базальтовых глыб. Три стены пришлось построить самому, четвертой служила скала. Она же нависала над крышей, прикрывая от камнепадов. На площадке, расчищенной от камней, перед дверным проемом был сложен очаг с котлом, на стенках которого жена бога пекла лепешки, тонкие, как бумага. Впрочем, бумаги еще не было и в помине.

И богу и жене его было много лет, а детей у них не было. Я бы сказал «бог не дал». Но никакого другого бога они не знали.

Разговаривая с женой, бог всегда повышал голос, и она орала на него, но не потому, что они ссорились, а потому что рядом ревел водопад. Вода летела с высоты, над которой властвовали только двое: орел с орлицей. Но и орлы не долетали до вершины и постоянно кружили у стены с уступом для гнезда. А гора уходила ввысь к леднику, блистающему на солнце, даже тогда когда солнце скрывалось за горой. Снег, правда, лежал и ниже: острова крупнозернистого снега были разбросаны по голым склонам. А еще ниже волновались травами и глазели цветами альпийские луга, на которых паслось стадо бога.

И все это происходило не на земле, а на небе, потому что облака паслись далеко внизу. Я потому и назвал бога богом, что он жил в заоблачной выси. Тени от облаков и мокрые следы отплывающих туч он разглядывал сверху, пока облачность не сгущалась настолько, что туман отгораживал наглухо земную жизнь от небесной. Бог бродил в молоке по альпийскому лугу, и обнаруживал свои стада лишь по вздохам, бляенью и мычанью.

Но чем старше он становился и чем мудрее, тем скучнее ему было жить на небе все в той же черной хижине и в том же составе: один на один с женой. Они попали сюда детьми, давно схоронили родителей, и некому было рассказать, откуда они родом и из какого племени.

Однажды он взял свою чабанскую палку, сумку с лепешками и пошел к перевалу искать себе подобных.

Заснеженный перевал походил на белое седло, наброшенное на горный хребет. Здесь горы расступались, и с седла, было видно, что земля пуста. Лишь синие горы вставали вдаль цепь за цепью до самого края света, и нигде ни единого следа растительности и жилья. Камни, нагромождения камней, осыпи камней, пыль и пепел.

Как это все оживить? И сколько бы он не вглядывался в каменный хаос, не находил такой возможности.

Вернувшись, долго сидел у потухшего очага неподвижно, жена даже испугалась и стала спрашивать, перекивая водопад:

– Что случилось? Ты еще живой?

Вместо ответа он встал, ушел и вернулся, согнувшись почти до земли под тяжестью каменной плиты. Он знал такое место, где камень лежал слоями, спрессованный собственной тяжестью, и обламывался, образуя кладку сравнительно плоских плит.

Бог находил одинаковые плиты с прямыми краями, приносил и приставлял наклонно к скале плиту за плитой. Закончив эту часть работы, он походил, походил вдоль ряда плит, потом поплевал на ладони и взял резец, которым отесывал камни, когда строил хижину, и молоток.

– И что это будет? – спросила жена бога.

– Буква «Бэт», – отвечал ей бог.

И нанес на мягкий камень три насечки в виде ворот, опрокинутых набок.

– Буква? – удивилась жена. – Это еще что такое?

– Столько лет прожила с мужем, и не знаешь. Вначале бог сотворил буквы. А потом уже все остальное. Но мы не будем этого писать, само собой разумеется: если

начало написано буквами, значит, буквы уже были до начала.

И вырубил в камне первую фразу: « Вначале сотворил Бог небо и землю»

– Не думала, что ты такой хвостун.

– А я не думал, что ты такая дура? Это будет художественное произведение. Я, в данном случае, не герой, а всего лишь прототип героя. Бог, который Создатель всего сущего, – совсем другой человек. Его мы будем писать с большой буквы, а меня можно с маленькой. Начнем с «преамбулы».

– Это что за штука такая?

– То, что было до. Земля была пуста и хаотична, ну почти так, как смотрится с перевала, и тьма над бездною. Но Бог, на то и Бог, что отделил свет от тьмы, небо от земли, день от ночи, моря от суши и населил все это тварями, летающими, плавающими, бегающими и пресмыкающимися по земле. Увидел, что это хорошо, сотворил человека, сделал ему жену, насадил для них сад в Эдене и запретил есть плоды от древа познания добра и зла, чтоб не задавали вопросов, на которые, прости меня Сара, я и сам не знаю ответов. Но Змей уговорил Еву надкусить запретный плод, а она уж и с Адамом поделилась по доброте душевной, и Бог оторвал Змею ноги, а людей выпер за ворота рая, Адаму пришлось в поте лица добывать хлеб, а Еве в муках родить сыновей: Каина и Авеля, – из которых один убил другого...

...На этом кончилась первая серия. Но автор уже вошел во вкус, и супруга требовала продолжения. Она даже забывала, иногда, подоить коз, и, глотая пыль из-под резца, ждала с нетерпением, чем кончится всемирный потоп, и когда уже Ной с семейством выйдут из ковчега здесь на горе Арарат? Она не заметила, как поверила, будто это все на самом деле, и даже приготовилась к приему гостей...

И, вот, однажды, когда темнота наступившего вечера разлучила автора с его творением, и он привалился к жене на их войлочном ложе...

– Аврам, – сказала она ему. – Когда ты уже начнешь о нас?

– О нас? С чего, вдруг, ты решила, Сара, что мы с тобой достойны описания?

– Я, может, и недостойна, но если ты такой умный, почему тебе Бог не дал детей? Адаму и Еве, которые его не послушались, дал двоих сыновей...

– Один из них братоубийца

– Ною – троих.

– Один из них Хам.

– А нам Он не дал ни братоубийцы, ни хама, – вообще, никого. Очень скоро наша берлога опустеет, змеи заведутся в щелях, козлы забросают навозом нашу супружескую постель, и никто никогда не узнает: жили мы с тобой когда-нибудь на свете или нас не было никогда.

– На этот раз ты, жена, права. Завтра же начну с новой плиты повесть о пастухе Авраме и о жене его Саре.

Сказал и сделал – усадил Сару на камень у скалы, поплевал на ладони, и ленточки мягкого камня потекли из-под резца, налету распадаясь, и превращались в белую пыль, которой скопилось под скалой уже много.

«И явился ему Господь в дубраве Мамрэй, а он сидел при входе в шатер во время зноя дневного», – написал Аврам.

– Бог сам к нам пришел? – не поверила Сара.

– Нет. Почему сам? Это были какие-то бродяги. То есть путники – назову я их книжным языком. И Аврам побежал им навстречу от входа в шатер и поклонился до земли:

«Возьмите немного воды и омойте ноги ваши, и прислонитесь к этому дереву. А я возьму кусок хлеба, и вы подкрепите сердце ваше» А тебе я сказал: «Сара, лучшей муки замеси и сделай лепешки». А сам побежал к скоту, взял теленка хорошего, которого приготовил, масла, молока, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели.

– Бродяги?

– Это были не бродяги, а божьи ангелы. Потому что не стали мыть ноги, когда я предложил.

– Ангелы ходят с грязными ногами?

– Они не ходят, а летают, потому и не пачкают ног. И сказали они Авраму: «Где жена твоя, Сара?» И я ответил: « Вот, в шатре», потому что ты притаилась у выхода из шатра и подслушивала.

– Я никогда не подслушиваю!

– Кого здесь подслушивать? Не перебивай! И ты слышала, как сказал один из ангелов: «Я возвращусь к тебе в это время, и будет сын у Сары»... Что ты смеешься? Я же не комедию пишу – это серьезная книга.

– Забыл, сколько мне лет?

– Ну почему забыл? Я написал: «Аврам и Сара были стары, и перестало быть у Сары обычное для женщин»...

– У тебя тоже – обычное для мужчин. Как тут не засмеяться?

– Ну и дура. Тут оказалась замешана большая политика. Бог заключил союз с Аврамом, назвав его Авраам, что значит – отец множеств. «Ибо пойдет от Авраама народ великий», – так Он сказал. «Я сделаю потомство твое, как песок земной...» Ты можешь сосчитать пылинки, которые падают из-под резца? А, представляешь, песок земной?! Как Он мог это сделать без твоей помощи?

– Значит я, правда, рожу ребеночка?

– Родила! У меня уже все записано: «Сделал Господь, как говорил, и она родила сына, которого назвали Ицхак, что значит смех и радость, потому что она смеялась».

– Правда?! – Сара стала раскачиваться и кружиться, держа руки над головой, в танце из их забытой молодости. – Сын-сын-сын!.. Что же ты не танцуешь, Аврам? У нас родился мальчик!

Она никак не могла заснуть в эту ночь, все смеялась, болтала...

Но когда устала от своей болтовни и уснула, наконец, Авраам вылез из сакли и пошел к своим плитам, захватив по дороге ворох сухого хвороста у очага.

Сара проснулась среди ночи – что-то ей ударило в сердце. Долго не могла понять что, пока не поняла, что это удары молотка.

Аврам при свете костра продолжал писать свою книгу.

– Что случилось, Аврам? Было так хорошо. Что тебе еще понадобилось добавлять к нашей радости.

– Да так... всего несколько строк.

– Не ври! Ты уже исцарапал целую плиту криво-косо. У тебя руки дрожат.

– Просто устали. Иди спать.

– Не уйду, и буду стоять здесь на ветру под брызгами от водопада, пока меня не продует насквозь, и ты останешься один. Вот тогда и пиши, что хочешь.

– Хорошо. Я скажу. Но ты должна понять – это всего лишь книга.

– Ну!

– Бог сказал: «Прошу, возьми сына своего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака и принеси его во всеожжение на одной из гор...»

– И ты... ты согласился?!

– Это всего лишь книга. В книге Авраам не мог послушаться Бога. Нагрузил на осла дрова для жертвенного костра, взял нож...

– Зарежь меня этим ножом и сожги на костре, но не трогай мальчика!

– Но я уже написал. И ничего не сделается с мальчиком. Он даже не догадывается... Только спросил: «Вот дрова и огонь, отец, а где же агнец для всеожжения?» А Аврам на то ответил: «Бог сам усмотрит себе агнца»... Что с тобой, Сара? Не надо так страшно закатывать глаза!.. Не падай, пожалуйста, не падай. Ладно, полежи, пока я намочу платок.

Он побежал к водопаду, а, вернувшись, увидел Сару с молотком, занесенным над его творением.

– Ну что ты делаешь?! Ничего же не случилось. Книга – есть книга, в книге все должно быть по правде: и хорошо, и плохо, а не так, как нам хочется.

Сара обрушила молоток на исписанную плиту, и трещина поползла поперек строк, превращаясь в его глазах в черную пропасть.

– Будь проклят ты, и все, кто пишет книги!

– Подожди. Я, по-твоему, что же, не отец? Сейчас, потерпи, допишу. Пусть все кончится, как в сказке,

благополучно: Ангел спустится с неба, схватит Аврама за руку, державшую нож, и как раз вовремя заблеет баран, который запутался в кустах. Его и принесут в жертву. А мальчик жив, жив твой сынок! Он вырастет, наш Ицхак, родит нам внука Яакова, а Яаков – двенадцать правнуков. Короче, все окончится благополучно, Бог не даст нас в обиду.

– Ты... Ты мой бог, Аврам, спасибо тебе!

Сара стала на камень, закинула руки на шею Авраму, повисла и губами искала губы в его дремучей бороде.

Усы Аврама стали почему-то мокрыми и солеными.

– Мало того, что ты, в своем возрасте, лезешь целоваться, так еще и плачешь.

– Сам ты плачешь!

– Я от радости.

– А я отчего?!..

– Наплакавшись всласть, они обнялись на своем войлочном ложе и заснули. А к утру ударил мороз, какой только в горах и бывает в это время года. Все вокруг сковало льдом и приукрасило инеем, как старинный катафалк Черные базальтовые глыбы, из которых сложено их жилье, превратились в черное серебро. Камни замерзли, что уж говорить о людях. Старик и старуха так и не проснулись в это утро и никогда больше, счастливые.

Прошло время, достаточное, чтобы пауки заткали не только вход в саклю, но и все пространство внутри нее.

А вершина горы с ледником продолжала сиять, даже с наступлением ночи, потому что ее освещало невидимое солнце.

Там, в сверкании льдов, проснулся поутру Создатель Вселенной, он же Великий Скульптор (все его должности не стану перечислять), как всегда, задул звезды, протер луну рукавом, посмотрелся в нее, как в зеркало, и забросил за горизонт. А солнце вытащил за рыжие космы из ущелья, и наступил для него рабочий день.

Он со своими с крылатыми подмастерьями спустился с вершины к заброшенной хижине, обвел взглядом каменные плиты, покрытые письменами, и зачерпнул ладонью белую пыль в углублении под скалою.

– Догадайтесь, что это? – сказал Он подмастерьям.

– Пыль, – ответили они, – просто пыль.

– Нет. Это слова, которые резец извлек из камня. Те самые буквы, от которых остались углубления на скрижалях.

Он осторожно ссыпал драгоценный порошок в заржавленный котел, который лежал на камнях перед саклей.

– Принесите мне воды из водопада, – повелел Он подмастерьям, – и соберите в расщелинах скал медово-восковое мумие, черное и рыжее, оставленное дикими пчелами.

– И что мы будем делать? – спросил самый молодой и нетерпеливый из подмастерьев.

– Мы будем лепить, – отвечал ему Он. – И мы вылепим из этой пыли народ книги.



Даниэль Тамар

Тени прошлого



онет 11

– Как это странно, сэр, что вы в своем уме!
Но вы так, суетясь, печетесь обо мне,
Как будто ждете моего расположения.

Вас удавили, лорд, сто лет тому назад,
Но вы вперяете свой ненасытный взгляд,
Почти раздев меня, и после века тленья?

Меня имели, сэр, немногие из тех,
Кто ладит и кроит столь чудные законы.
Натурой заплатить – не самый тяжкий грех,
И было так давно, во времена-то оны.

В дубовых рамах мы, и это ль не успех,
И ваш парик, о лорд, как взбитая корона.
– Как сладки вы, мадам, сквозь этот пышный мех,
Позвольте уточнить, что рамы-то из клена.

Новелла 11. Письмо

*В недрах глубоких, как море, волнуется огненно-
адская магма,
Выйти грозитя кипящею, всесожигающей лавой.
Боги, оставьте свой замысел злостно-безумный,
Пусть все окутано будет тончайшею, лунной
печалью.*

«Мой дорогой!

Надеюсь, ты жив, и у тебя хватило здоровья и сил,
чтобы добраться до моря, сесть где-нибудь на камень,
вросший в песок, или на выступ скалы недалеко от кромки

земли, и тогда уже начать читать это письмо. Так мне видится, ибо ты всегда говорил, что нет ничего более успокаивающего, чем вид и шум моря, любого моря, а в этом осеннем месяце оно почти всегда спокойно.

Прошло двенадцать лет, как я написала это письмо. Я написала его по двум причинам: я уже знала определенно, что ухожу, и я должна была глубоко поблагодарить тебя – ты ведь не знал, что я знаю, что ты знаешь мою постыдную тайну.

Я благодарю тебя, что ты всё понял и поступил исключительно мудро, не взорвав все это в страстях и скандале, не разрушил нашу жизнь, нашу семью, наши исключительные отношения, наше здоровье, отношения с детьми и даже с внуками.

Да, я встречалась с Марком в течение многих лет по три-четыре раза в год. Я ни разу не осталась у него на ночь, мне хватало трех-четырех часов, я говорю цинично, чтобы зарядиться на несколько месяцев.

Я всегда любила только тебя, и ты знаешь, что это правда, но на меня находило нечто неудержимое, прости за вульгарность, бешенство матки, и тогда я хотела его и шла к нему.

Марк был замечательным человеком, я ведь была знакома с ним ещё раньше тебя. Он был выдающийся математик, а я – только крепкий, основательный; он был потрясающий рассказчик, удивительный собеседник, внимательный слушатель, он был надежный друг. Но насколько он был замечателен, настолько и несчастлив. Из-за его несносного характера от него ушла жена и увела дочь, и это было для него самое тяжелое, ибо из-за жуткой гордости и безумного упрямства он так никогда больше и не встретился с ними. Он остался один, и всегда был один, и в этом был виновен сам, но немало страдал от зависти коллег и интриг администрации во всех университетах и колледжах, где он преподавал, опять же из-за независимости и негибкости его нрава. У него и потом были женщины, но каждая уходила от него с горечью в сердце при обоюдном страдании.

Ещё молодыми, когда я познакомилась с тобой, и это уже стало серьезным, он сказал мне с грустью: «Я бы с большим желанием сделал тебе предложение, но боюсь, с моим характером причиню тебе немало неприятностей, и ты со мной долго не выдержишь».

Уже тогда он догадывался, что тяжел будет в семейном общении. Я ответила: «Так ты попробуй перестроиться, поработай над собой». А сама подумала, что нет ни единого шанса, чтобы я согласилась на жизнь с ним, когда у меня уже был ты.

Я пришла к нему в первый раз в сорок лет и приходила до его смерти, но не из жалости – я наслаждалась физически и беседой с ним, и заряжалась какой-то необъяснимой энергией. Я не могу сказать, положительной или мной не определенной. Может быть, в этом было что-то безумное, что крылось во мне, и о чем я ранее не имела никакого понятия.

И вот вмешался мой злой гений – доктор С. Самое ужасное, что и его я не могу ни в чем обвинить. Он любил меня иступленно и безнадежно, потому что, как у Марка не было ни одного шанса связать со мной свою жизнь, так у доктора С. не было ни одного шанса даже приблизиться ко мне, хотя в нашей работе мы были ближе с ним, чем с Марком, несмотря на то, что доктор С. физик. Мы никогда не говорили с ним ни на какие темы, кроме прикладной математики, но мы оба глубоко понимали ситуацию, в которой я ощущала его сумасшедшее влечение, а он несокрушимость моей позиции, из-за полного моего к нему равнодушия.

У людей с таким острым умом, как у доктора С., маниакальное влечение вырабатывает дьявольскую прозорливость, и благодаря этому по каким-то тончайшим признакам, вроде брошенного взгляда или слова, или обмена взглядов или слов, он догадался о наших с Марком отношениях. Не понимаю, как, но он выследил меня. Он, по крайней мере, два-три раза видел, как я входила в дом Марка или выходила оттуда. Мне, кажется, что и я однажды заметила его следящим за мной, но только теперь я понимаю это, а тогда и представить себе не могла.

Что же случилось с этим интеллигентным и вообще-то порядочным человеком? Как он мог позволить себе написать тебе такое письмо и так беззастенчиво и бесстрастно рассказать о том, что он знает о нас с Марком?

По правилам обыкновенной этики и порядочности – это самая элементарная подлость, уж он ли не понимал этого, особенно после того, как ты не среагировал. Нет, не подлость двигала им, не месть и даже не чувство ущемленной и незаслуженной несправедливости (почему он, Марк – да, а я – нет).

Им двигало только жуткое постоянное отчаяние, поэтому-то не мне судить его.

Он доказал это, не выдержав стыда и уехав в Австралию, бросив здесь всё.

Такой физик нужен всем и везде, я слышала от его коллеги, что он без всяких проблем был принят в университет в Канберре, но что дальше с ним стало, не знаю. У меня было такое предчувствие, что ничего хорошего не ждет его.

Ты сохранил его письмо, ты спрятал его на самом видном месте, но там, где я бы в жизни не нашла его – среди счетов за электричество и за газ, это ведь твоя епархия, а я никогда туда и не заглядывала. Ты, наверное, помнишь «Украденное письмо» Эдгара По.

Но судьба распорядилась по-другому. Как-то зашел сосед выяснить что-то по поводу последнего счета за электричество, а тебя не было дома. Я пошла искать этот счет, наверное, впервые за много лет, показала ему, и уже после, когда вернула на место, заметила небольшой конвертик между счетами. Из самого простого любопытства я прочла письмо.

Небеса обрушились на меня, земля разверзлась подо мною. Все же у меня хватило самообладания позвонить тебе и сказать, что я еду в университет, что я забыла о какой-то консультации и что несколько студентов ждут меня.

Я поехала в дальний от нас парк. Я сидела там, одинокая на всем свете, на заброшенной скамейке, в серый пасмурный день поздней осени, опустошенная и

безразличная – я просидела, не сдвинувшись, почти три часа до сумерек.

«Нужно возвращаться», – сказала я себе, и за несколько минут вдруг как-то пришла в себя.

Марк умер почти два года назад, и доктор С. уехал почти четыре года назад, и почти столько же ещё это письмо пролежало среди счетов за газ и за электричество. Счета менялись, приходили новые и раз от разу выбрасывались старые, а письмо мирно покоилось между ними и не выбрасывалось, и не знаю, перечитывалось ли. И не было бури, жизнь текла тем же спокойным течением, хотя, понятно, что кто-то внутри перестал быть прежним, как я перестала быть прежней с того дня, как прочла его. Но я никогда уже больше не подходила к полке со счетами, не смотрела даже в ту сторону и не знаю, лежит ли письмо там по-прежнему или исчезло.

Я не знаю, повлиял ли на меня этот удар, в смысле моего недуга, ведь я уже прожила более двух лет. Но и эти два года были благословенны, и только благодаря тебе. И вот, чуя, как животное, что мой конец рядом и окончателен, я написала это письмо и добавила к моему завещанию в нашей нотариальной конторе, с просьбой доставить его тебе через двенадцать лет, либо уничтожить, если и тебя уже не будет.

Это все оттого, что ты не знаешь, что я прочла письмо доктора С.

В простом здравомыслящем понимании я не должна была писать его – к чему снова беречь незаживающую рану, но я опять не справилась со своим полубезумным порывом.

Прощай, мой дорогой, мне кажется, что и там мне остро будет недоставать тебя».

Старый человек дочитал письмо. Море ласкалось у самых его ног, мелкие волнишки с шуршанием накатывали на темно-бурый песок. Человек как будто посмотрел на себя со стороны и удивился без особой радости, что он ещё так долго живет. Потом он обратился к той, кто написала письмо: «Но ты ошиблась, дорогая моя, ты ошиблась – я

знал, что ты знала, что я знал про все это, а проще говоря, я знал, что ты прочитала письмо, ибо ты вернула его не на прежнее место. Оно ведь лежало как раз на границе между счетами за электричество и счетами за газ, а ты вернула его куда-то в середину тех или других, я уже не помню, да и держать его там после было уже не актуально. И ещё, ты не знаешь о докторе С. Ты правильно предчувствовала по поводу его судьбы. Он умер, я думаю, что он умер, ибо он сгинул в пустыне. Его приятель рассказал, что в какой-то воскресный день он выехал из Канберры на север и не вернулся. Его искали несколько дней. Нашли его джип, даже рюкзак с вещами в джипе, а его так и не нашли. Но все это уже мне не важно – слишком много времени прошло.

Что-то другое важно. Боже мой, как тебя мне не хватает, тебя так мне не хватает».

Высокий, худой, жилистый старик медленно брел по самой кромке земли у моря, в левой руке он нес открытое письмо. Он, как длинный колодезный журавль, склонился влево. Видимо, его ноша была слишком тяжела для него.

Сонет 14

Сам командующий с мокрой повязкой
На пылающем лбу, словно сонный филин.
Генерал-адъютант – бесстрастной маской,
И каждый из генералов, как конь, намылен

Своею ролью, и жирной краской –
Линия фронта. Как грузный Силен,
Сам министр, а с ним подсказкой
Некто согбенный, как червь, бескрылен.

Давно уж полночь, и муть сомнений
Мозги туманит. Следы ранений.
Кому-то худо – глаза тьмой слипло.
Проснулся филин и ухнул хрипло:
«Пройдем ущельем, вплавь через реку».
Вот так решают победу века.

Новелла 14. Засада у Аякучо

Конь унесет меня от гибельной засады,

*Свист пуль иссяк, и враг теряет след,
Жизнь светится спасительной наградой,
Но от любви уже спасенья нет.*

*Как тяжело знание прошлых тайн постыдных
И вместе страшных, и тупая боль
Не даст уснуть, и роздыха не видно,
И до конца играть всё ту же роль.*

«Полковник Игнасио Торо Гутьерес повернул взмыленную лошадь на тропу, ведущую к ущелью, и в этот момент почувствовал резкий удар в левое бедро.

– Фернандо! – крикнул он своему лучшему товарищу, – я ранен.

Подполковник Фернандо Дуас Эстрелья подскакал к нему ближе и сразу же заметил темно-багровое пятно, расплывающееся на штанах и белой рубашке полковника.

– Ты можешь помочь мне?

– Не сейчас. Через минуту здесь будут испанцы, и тогда нам конец. Скачи в ущелье, это только несколько сот метров, и мы спасены. Я прикрою тебя.

– Ты прав, – ответил полковник, – ущелье – наше спасение, и Камилла ждет нас.

– Камилла ждет тебя, – крикнул, усмехнувшись, подполковник, – быстрее, Игнасио!

Кругом свистели пули, и два всадника, низко пригнувшись к гривам лошадей, бешено мчались по горной тропе к ущелью: впереди полковник, и за ним в пятнадцати – двадцати метрах подполковник Фернандо Дуас Эстрелья, отстреливаясь из своего четырехствольного револьвера системы «Мариэтта» от набегающих испанцев. Когда уже оба офицера влетели в ущелье, голова полковника упала на лошадиную гриву. Через три минуты они были в военном лагере Патриотов.

– Полковник ранен, – прогремел голос Фернандо Эстрелья, – нам нужна помощь, скорее в госпиталь. Санитары!

Уже бежали люди с носилками, и Камилла Паласиос дус Ламос, старшая сестра военного госпиталя, была здесь менее чем через минуту.

«Боже, как она хороша», – прошептал подполковник Фернандо Дуас Эстрелья, и слезы блеснули в глазах его.

Полковника сняли с лошади и уложили на носилки.

– Бог ты мой, он ранен дважды, – вскрикнула Камилла, – в бедро и в шею!

– Игнасио, ты слышишь меня, Игнасио, скажи что-нибудь, – умоляла она в отчаянии.

Полковник смотрел на неё широко открытыми глазами, но не мог сказать ни слова.

– Быстро к хирургу! – скомандовала она. Потом повернулась к подполковнику:

– Он умрет, – прошептала она.

На следующий день, 9 декабря 1824 года, генерал, а впоследствии маршал, Антонио Хосе де Сукре одержал решительную победу над испанскими войсками в сражении при Аякучо, а в феврале 1825 года провинция Верхнее Перу стала называться Боливией.

В июле 1825 года Камилла Паласиос дус Ламос родила сына, но полковник Игнасио Торо Гутьерес уже ничего не знал об этих событиях.

Наступал вечер. Закончилась моя беседа с бригадным генералом Эдуардо Дуас Эстрелья. Я встал и подошел к широкому окну. Я посетил генеральскую асьенду Барранка – Нуэва впервые, и даже я, человек привычный к горным величественным пейзажам, был поражен открывшейся картиной. Вид с крутой горной стеной, заросшей поразительно жизнелюбивым кустарником, и внизу бешено несущейся рекой Пилькомайо оказывал неописуемое до дрожи впечатление.

Я знал, что генерал не отпустит меня так поздно, и даже был рад остаться здесь на одну ночь. Прислуга накрыла на стол, и мы скромно, но сытно поужинали.

Бригадный генерал Эдуардо Дуас Эстрелья жил на своей асьенде Барранка – Нуэва один. Жена его умерла пять лет назад, сестра – два года тому назад в Кито, две его дочери уже много лет проживали в Европе.

Мы немного потолковали после ужина, но я уже задолго до этого обратил внимание на семейные портреты, висящие на белой стене между двух окон.

Два поясных портрета висели рядом, третий – рисунок молодого человека – висел немного в стороне.

– Это моя матушка, в девичестве Камилла Паласиос дус Ламос, из очень старинной креольской семьи, – объяснил генерал.

Женщина была замечательной красоты, но трудно было выдержать подавляющую энергию, идущую от портрета, и её пронзительный взгляд, который буквально впивался в зрителя. Напротив, лицо мужчины в форме полковника было открытым и мягким, может быть, даже задумчивым.

– Он был замечательным отцом и для меня, и для моей сестры, – сказал генерал, – я уверен, что нам повезло с отцом.

Я долго и пристально вглядывался в портреты. Это не был выдающийся портретист, но ему удалось выразить нечто очень важное, чего на этот момент я понять не мог.

– А кто это? – указал я на третий портрет молодого мужчины.

– Полковник Игнасио Торо Гутьерес. Он погиб за день до знаменитого сражения при Аякучо. Его небольшой отряд попал в засаду испанцев, спаслись только трое солдат и один офицер – мой отец. Он и полковник Игнасио были верными, преданными друзьями с детства, но особенно во время длительной войны Симона Боливара с испанцами.

Что-то очень знакомое показалось мне в лице молодого полковника, и опять-таки в этот момент я не знал, что это.

– Идемте спать, – сказал генерал, – для вас приготовлена постель в левом флигеле. Это великолепное место для спокойного и глубокого сна.

– Генерал, можно мне остаться здесь, эта софа очень удобна.

– Но шум реки исключительно силен здесь, особенно ночью.

– Этот шум только убаюкает меня, – ответил я.

Генерал лишь качнул плечами и принес мне маленькую подушку и шерстяной плед. Но спал я плохо. Ворочался с боку на бок и совсем за полночь просто встал с дивана. Я зажег четыре свечи в канделябре и приблизился к портретам.

Теперь при пламени свечей и танцующих в лунном свете тенях на стенах и потолке лица выглядели совсем иначе, странно, даже таинственно. И я заметил_скрытое отчаяние в глазах матушки генерала и глубокую тревогу в глазах его отца. В этот момент я услышал слабое шуршание открываемой двери. Вошел генерал в коротких до колена штанах и белой летней рубашке.

– Теперь я понимаю, почему вы остались здесь, друг мой, конечно же, не из-за убаюкивающей реки Пилькомайо, – засмеялся он.

– Ваша матушка, определенно, была очень сильной натурой.

– О да. Она была бы способна подавить любого мужчину, и все же отец пользовался авторитетом в семье.

– А вы?

– О, я не стал маменькиным сынком. Мать, как могла, толкала меня вверх, и вы видите, пока я не дослушался до генерала, – он улыбнулся.

Я приблизил канделябр со свечами к третьему портрету. И в тот же момент словно молния ослепила меня. Я взглянул на молодое лицо полковника, потом на генерала, перевел взгляд на портрет и вновь на генерала.

– Что, похожи? – спросил генерал с горькой усмешкой.

– Да, очень. Я думаю, он ваш отец.

– Может быть, – ответил генерал, – он погиб восьмого декабря 1824 года, а я родился в июле 1825.

Генерал Эдуардо Дуас Эстрелья чуть сжал мое плечо.

– Моя мать любила их обоих, и только их, и они оба любили её, и только её. Но в этой стране нет закона, который разрешал бы женщине, даже такой, как моя покойная матушка, иметь двух мужей... Идемте спать.

– Я чувствую, генерал, здесь нечто загадочное.

– Возможно. Я повесил эти портреты уже после смерти матушки.

Я проспал до позднего утра без сновидений.

С этого декабрьского дня 1886 года я больше никогда не был на асьенде Барранка-Нуэва и никогда не встречался с генералом Эдуардо Дуас Эстрелья.

Двумя годами позже, когда я уже жил в Каракасе, я получил небольшую почтовую посылку от управляющего асьендой Барранка-Нуэва. Это был деревянный ящик, обернутый плотной бумагой. Я снял обертку и обнаружил короткое письмо, которое было приклеено к крышке ящичка. Сама крышка была привязана тонкой, но крепкой лентой.

«Мой дорогой друг! Мой день пришел, но я не забыл ту ночь, когда вы, с канделябром в руке, сказали мне о некоей тайне, окружающей портреты моих отца и матушки.

До моего последнего дня я не имел достаточной смелости и решимости открыть эту мистику, хотя я что-то подозревал и даже о чем-то догадывался. Вы знаете, я остался один. Мои женщины на небесах или в Европе. Откройте этот ящик, мой проницательный гость, и пусть Господь благословит вас.

Ваш бригадный генерал Эдуардо Дуас Эстрелья.

Ноябрь 1888 года. Асьенда Барранка-Нуэва».

Под письмом генерала я обнаружил нераспечатанный конверт. Я открыл его.

«Мой дорогой сын! Я очень надеюсь, что сегодняшней день – мой последний день, но прежде, чем я предстану перед вратами ада, я храню слабую надежду, что Господь все же, хоть частью, простит меня и твоего отца Фернандо, хотя истинным отцом твоим является Игнасио. Но прежде Господнего прощения я прошу твоего, сын мой, и более простить Фернандо, чем меня. Он был замечательным отцом тебе и сестре твоей и исключительным мужем для меня.

В день его кончины он позвал меня: «Камилла, – прошептал он, – я хочу сказать тебе что-то ужасное...».

«Нет, Фернандо, – ответила я, – не говори. Я всё знаю и знаю давно, с самого начала».

«И ты хранила молчание более тридцати трех лет?»

«Да. И ты молчи сейчас и уходи со смиренной душой».

Мой дорогой сын! Открой этот ящик, и пусть Господь благословит тебя.

Твоя матушка, Камилла Паласиос дус Ламос Эстрелья».

Я перерезал ленту и открыл крышку. В ящике находились четыре пакета, завернутых в бумагу, один побольше и три совсем маленьких. Каждый был пронумерован. Я снял бумагу с большего под номером один. Это оказался четырехствольный револьвер системы «Мариэтта» в разобранном виде. На обертке была приписка: «Личное оружие подполковника Фернандо Дуас Эстрелья». В пакете номер два я нашел несколько патронов с пулями к этому револьверу. В пакете номер три была другая пуля и приписка на обертке: «Пуля извлечена из левого бедра полковника Игнасио Торо Гутьереса 8-12-1824 года. Рана не была смертельной». В четвертом пакете я тоже обнаружил одну пулю и приписку: «Эта пуля извлечена из шейного позвонка полковника Игнасио Торо Гутьереса 8-12-1824 года. Рана смертельна». Эта пуля была точно такая же, как и остальные из пакета номер два».

Из записей журналиста и путешественника Хозе Бетельо де Линеро, умершего в 1901 году от тропической лихорадки в Каракасе на 57-м году жизни.

Сонет 17

О, каменный идол, сейчас ты бесстрашно-спокоен
И даже задумчив, мыслитель лишь в мертвом
обличье.

Забыта свирепость, гиен и шакалов достойна,
Но помнят бывшее, кровавое псевдовеличье.

Протянешь века ты, властитель бессмысленных
боев,

Сожженных пространств, доступных полетам
птичьим.

В промытых мозгах встанет Марсу подобный воин,
И слепо погребено единственное отличие.

Дети кругом снуют, пернатые власть щебечут,
В храме Святой Отец держит пустые речи.
Рядом другой истукан смотрит чугунно-вороний.
Каждый здесь сам по себе, близкий и посторонний.

Быть может, взглянув на тебя, кто-то вздохнет с
испугом,
Коль страшную гордость ту нельзя запахать и
плугом.

Новелла 17. Из хроники времён гетмана Богдана

*Вариация на сюжет Менделе Мойхер Сфорима
Молитесь, молитесь, Иудово племя,
Придет час расплаты и грозное время!
За что же – на нас нет ни срама, ни блуда?!
За то, что проклятый зачал вас Иуда!*

Легенда эта родилась более трехсот пятидесяти лет назад, как будто в 1650 году, в небольшом городке Ковеле на Волынщине. В вечер Судного дня ковельская синагога была столь заполнена, что не было никакой возможности пробраться внутрь хотя бы одному человеку. Потому и толпилось множество народа во дворе. В этот вечер и молитвы звучали особенно страстно и даже неистово, ибо причины были особенные – приближалась к ним казацкая армия гетмана Богдана. В Освободительной войне украинского народа, как она именуется во всех советских источниках, казацкая армия, воюя против шляхетской Польши, заодно почему-то, в погромах и резне, с неслыханной жестокостью и пытками, равными, быть может, только бесчинствам Тимур-Ленга (Тимура Хромого), перебила в малых и средних городках и местечках Украины многие тысячи и тысячи евреев и евреек, а к концу кампании и смерти гетмана насчитывалось более трехсот тысяч жертв – 300 000! Больше чем поляков.

Внутри синагоги и во дворе слышались вопли, крики, плач, стоны, стенания, призывы и просьбы к Господу

о милости и спасении. Молящиеся страстно ждали какого-либо знака или сигнала с Небес и казалось, что стенания эти будут продолжаться всю долгую ночь. Но не было знака сверху. И жуткое отчаяние овладевало людьми.

В полночь старый сапожник прокричал в ухо своему соседу по скамье: «Наши молитвы не доходят до Господа – видимо, слишком много грешников заполнили эту синагогу, слишком грешны наши души».

В это время очень бедный мальчик отчаянно пытался пробраться сквозь плотную толпу внутрь синагоги. И он сумел это сделать, потому что был тонок и гибок, как тростинка. Очень немногие знали его, ибо жил он на краю городка в крошечной, с одним окошком, глиняной халупе только с глухой бабушкой. Ни отца, ни мать не помнил он, так давно умерли они, а кусок хлеба и кринку простокваши зарабатывал тем, что пас в поле соседских коров, выгоняя их с первыми лучами солнца и пригоняя обратно с первыми сумерками. Хозяйки, кому нужна была первая дойка, ходили доить прямо на луг.

И вот в эту нынешнюю полночь бедный пастушок, как и все здесь, охвачен был таким неистовым чувством отчаяния и тревоги и одновременно невообразимым экстазом, что ему неудержимо хотелось обратиться к Богу. Только он не знал как. Он не умел молиться, он не умел писать и с трудом читал, ибо никогда не учился, что чрезвычайно редко встречалось среди его сверстников.

И тогда, охваченный священным, трепетным ужасом, он засвистел изо всех сил, так, как свистел только в поле, созывая коров. Этот пронзительный долгий свист пронесся над головами молящихся, долетел до высокого потолка синагоги, как стремительный вихрь отразился от него, вылетел в открытые окна и ушел вверх, в Небеса. В синагоге и во дворе воцарилось абсолютное ужасающее молчание.

Через несколько секунд раздалось в небе два громовых удара чудовищной силы, так что и земля дрогнула.

«Это знак Господа, Владыки мира!» – закричал старый сапожник и залился слезами, и все евреи за ним; и в

синагоге, и во дворе её, и везде был радостный плач и ликующие поздравления друг друга.

Через короткое время польские войска начали наступление на позиции казацкой армии, и город Ковель был спасен от страшнейшего погрома.

Безмолвие

Пронесся смерч, и пала тишина

Блаженная на землю, и полна

Была гармонией, как замышлял Творец,

Но в ней осталась тьма истерзанных сердец.

Великое безмолвие опустилось на землю. Ночь накрыла синим крылом бедное разоренное местечко. Иногда только вспыхивали здесь и там последние огоньки дотла сгоревшей хаты и обугленных яблоневых и вишневых деревцев.

Давно уже ускакали с гиканьем, свистом, диким раскатистым хохотом пропахшие луком, салом и сивухой усатые казаки свирепого гетмана.

Тишина была. Несколько старых евреев сидели на земле полукругом, завернувшись поверх ермолок в белые с черными или синими полосами и золотистыми кистями талиты.

Посередине в ногах у тела своей, завернутой в белый саван, жены, красавицы Двойры, сидел худой и высокий еврей Ефрем, а рядом сбоку лежали, тоже завернутые в белые саваны, трупики его девочек – шестилетней Лялечки и четырехлетней Нехамки. Нехорошо поступил Ефрем, плохое дело сделал – открыл он искаженное от невыносимых мук лицо жены, и с лиц ангельских девочек его тоже отвернул белые саваны. Запрещено у евреев это – нельзя открывать лицо покойника и покойницы тоже, но окаменели старики, не могли пошевелить даже ни рукой, ни ногой и раскрыть рта не могли, чтобы заметить это Ефрему, а, может, и не видели ничего, ибо тьма была в глазах их. Тишина была.

Вдруг чуть тронутый умом отрок Йехезкель, который притулился у уцелевшей части плетня, заговорил

быстро, скороговоркой даже, а картуз его был надвинут глубоко на глаза, так что и он сейчас ничего не видел.

«Я все видел, дядя Ефрем, я сидел здесь за кустом, а они не видели меня. Они выволокли беременную тетю Двойру во двор и раздели её. Каждый из них по очереди на неё ложился, но она не кричала, может, она не могла кричать. Её большой живот мешал им. А ты все не приходил. Тогда один из них, маленький такой, коренастый, с длинными усами, сказал: «Што же энто живот ейный шибко мешает», – нож кривой выхватил и вспорол живот ей. А тетя Двойра не кричала, а вокруг много крови было. Он выхватил её утробного ребеночка и далеко в канаву бросил. А другой, горбатый такой, с желтыми усами, щенка принес. Они ведь вашу сучку Маню тоже убили и четырех щенков её. А этого, пятого, горбатый живым принес и в раскрытый живот сунул. «Штобе жидовье токмо щенят рожало», – сказал он. И тут же они привели сапожника Пинхаса в одном исподнем и велели ему тётке Двойре живот зашить. И зашил Пинхас живот ей большой иглой с черной просмоленной дратвой. А Пинхаса они отпустили, и он домой пошел. Только не дошел он до дома – его, видно, бес попутал. Свернул Пинхас с дороги, туда, где колодец пустой, и в колодец кинулся головой вниз. Он, верно, и сейчас там, в дно упершись. А Лялечку и Нехамку они потом убили головами об стенку. И хату подожгли, и садик тоже. А что на другом конце было, я не знаю, я только здесь был, а ты всё не приходил. А если бы пришел, они бы и тебя убили».

И опять тишина была.

И вдруг вскочил высокий худой еврей Ефрем, схватил свою ермолку с головы, на землю бросил и топтать стал. И закричал этот Ефрем, и руки вверх вскинул: «Ребейне шел ейлом! – закричал он. – Как Ты допустил такое и зачем допустил!»

Мы жили, как отцы наши завещали нам жить, и исполняли все, как в Книге написано, и Тебе молились», – кричал он и топтал ермолку, но только обессилел Ефрем.

И вдруг в темноте, откуда-то сбоку, со стороны дороги, голос раздался. Не гремющий голос, но ясный очень:

«Замолчи, еврей Эфраим. Подними свою ермолку и одень на голову. Прикрой лицо убиенной Дворы, зихрона ле враха, и лицо Лялечки прикрой, зихрона ле враха, и Нехамки тоже, зихрона ле враха.

И что это у вас за манера такая, как бесчинство какое, так сразу у Господа отчет требовать. Разве можно страданием кого удивить, после мук Иова, соскребающего глиняным черепком коросту и грязь с плоти своей.

А что ещё будет с вами, еврей Эфраим, что будет меньше чем через триста лет!»

Великое безмолвие опустилось на землю. Даже сверчка нигде не было слышно или ночной птицы какой.



Елена Матусевич

Чемодан. Рассказы

С приездом. Апрель 1991



ормят, вкусно кормят. Масло, сыр.

– Как я буду это одна есть? Вот бы маме с Бусей передать... Они же там остались, стыдно.

– Что ты несешь? Забудь. Ешь. Мы всегда теперь будем так есть.

Затем и летим, затем и бросили их там, чтобы всегда так есть.

Не лезет. Диковинный сыр, белый снаружи, желтый и мягкий внутри, не лезет. Сок, пей, сколько хочешь, дали. Муж строит планы. Университет, диссертация, карьера. У меня только боль, я сосуд острой боли. Мягкий бесформенный сосуд. У меня там остались они, любимые, там, дома, в существование которого я уже не верю. Невозможно представить, что там все осталось по-прежнему: узкий проход, дощечки, арка, художественная школа, аптека, горелые ящики, обугленные спички в потолке, бульжники, общежитие, детский сад, дырка в заборе, наша дырка, десятка троллейбус, морг в окне, лужа, кусты акации вдоль забора...

– По одному, выходить по одному!

– Имя? Следующий.

– Имя? Следующий.

– Попугаев нельзя, уберите попугая. Куда хотите, туда и убирайте. В карантин. Не знаю. Это не моя проблема.

– Имя? Следующий.

– Имя? Следующий.

Имя фломастером на липучку и на грудь. Как услышал, так и написал.

– Имя? Следующий.

– Имя? Следующий.

Весь самолет, что ли? Что вы встали? Здесь нельзя. Проходите. Стойте здесь, здесь стойте. Она не понимает? Ну так скажите ей.

– Ребенок ваш? Имя? Имя ребенка?

– Следующий.

– Почему ребенок упал? Поднимите ребенка. Здесь в обморок нельзя, проходите. Поставьте ребенка обратно. На руках нельзя. Он должен сам пройти. Что значит, не может? Я тоже устал. Давайте, вам сказано. Сюда проходите. Имя? Я вас уже спрашивал, отойдите отсюда. Стойте здесь, к вам подойдут.

Не подошли. Стойки, мертвые складки каруселей, металл, пусто, поздно, пустынно. Всех разобрали. Те, у которых отобрали попугая, ушли давно. Их мальчик страшно кричал и бился, когда его отрывали от клетки. Наш мальчик спит на полу, зажав в ручке любимый трактор. Мы остались одни. Мы сидим на полу.

– Что вы тут сидите? У вас самолет через десять минут. Туда. Может и успеете, если бегом.

Бежим. Муж, ребенок, чемоданы, сумка. Надо быстрее. Еще быстрее. У мужа ребенок и чемодан, у меня чемодан и сумка. Упала. Это я упала. Растянулась. Сумка открылась, все на пол, бутылка, подарок благодетелям, вдребезги, коньяк, армянский, все в коньяке, вся в коньяке, на коленях. На коленях стекляшки, острые стекляшки. Не достался благодетелям коньяк, купленный на последние, на несуществующие наши деньги.

Встаю, бегу. Сильно отстала. Муж сердится. Я – как всегда, со мной – вечно, я же не могу, чтобы не...

Сели. Все улыбаются, как будто только нас и ждали.

– Что она от меня хочет?

– Она спрашивает, что ты хочешь пить.

– А что мне можно?

– Бери коку.

Мы летим на юг. Все дальше на юг. Те, кто летели с нами оттуда, остались со всеми другими в Нью-Йорке. С нами летела наша районная библиотечка с семьей. Она меня не узнала. Нас туда со школой водили, конечно. Я и не

знала, что у нее семья. Большая еврейская семья. Я ее все жалела, потому что она была почти лысая и с паршой. Наклонится над формуляром, а череп светится сквозь паршу. Она с семьей ехала к родне.

Прилетели. Из стеклянных дверей наши отсыревшие легкие обдал жаркий, сухой пустынный воздух. Огни, цикады, красная земля Оклахомы. Приехали. Этап второй.

Чемодан. 2004-2005 годы

Петр Кириллович покончил с собой. Все ему надоело. Он был неизлечимо болен, ему было хорошо за семьдесят, и врачи смотрели на него с тоской. Тело обнаружила уборщица. Похоронили его на средства штата Колорадо, наследовать было нечего. После него остался старый, страшно тяжелый, диковинного вида чемодан. В чемодане обнаружили альбомы фотографий и коллекция минералов. Покойный был геологом. Также там был обнаружен адрес его дочери, живущей в России. Соседи не решились выбросить чемодан, и теперь он несколько месяцев пылился у них в гараже.

Когда-то Петр Кириллович был красавцем и гордецом. Больше всего на свете он ценил независимость и свою способность никогда ни в чем не одалживаться. Еще он был знаменитым геологоразведчиком, доцентом и научным авторитетом. У него было много книг и женщин, но хранил и ценил он только книги. С женщинами он умел вовремя расставаться. Одна из них родила от него дочь. Однако и эта, почти сразу забытая им дама, не стала к нему, по излюбленному выражению Петра Кирилловича «цепляться», и он смог сохранить прежнюю независимость. Вскоре он эмигрировал в Америку, где сделал неплохую карьеру. В 90-е годы бывший сослуживец привез ему из России адрес дочери и рассказал Петру Кирилловичу, что мать ее уже умерла, но что у него есть два внука. Петр Кириллович озлился на сослуживца за плохо замаскированную попытку давить ему на сознательность и лезть не в свое дело, но адрес сохранил. Не то что бы эти новости его совсем не тронули, хотя он и не мог вспомнить имени своей бывшей возлюбленной, и долго не понимал, о

ком вообще шла речь. Наличие внуков даже приятно пощекотало самолюбие. Просто он разумно посчитал, что все это для него уже поздно, а роль блудного дедушки не для него. Теперь этот адрес лежал в побитом жизнью чемодане в чужом гараже.

Совестливые соседи, наивно решившие, что камни в чемодане представляют научную, если не денежную ценность, избавились от громоздкого, отрывающего руки гаражного жильца, только год спустя, с облегчением вручив его проезжему геологу. И хотя геологу хватило одного взгляда на коллекцию, чтобы убедиться в ее чисто сентиментальной, как говорят американцы, ценности, он также не решился выбросить чемодан или даже отдать минералы в ближайшую начальную школу. То ли адрес дочери, лежавший сверху, то ли профессиональная солидарность, заставили пожилого и не очень здорового человека отвезти чемодан к себе на Аляску. Геолог был женат на русской и надеялся, что кто-нибудь из едущих в Петербург знакомых или друзей возьмет оказию.

Но чемодан и тут надолго застрял. Проклиная свою и мужнину порядочность, добросердечная жена геолога натыкалась о чемодан, казалось, навсегда засевший в их доме. Чемодан, как гроб, темнел из-за угла, старый, уродливый и никому не нужный. Будучи всем, что осталось от покойного, эти остатки-останки превратились в неподъемную кожаную мумию с каменным нутром, с каждым днем все больше тяготящую хозяев. Товарки нашептывали и без того измученной хозяйке, что чемодан принесет несчастье, что его надо выбросить или даже сжечь. Но та упорствовала, так как дочь умершего, которой сразу позвонили, неожиданно заплакала в телефон, горячо благодарила за спасение чемодана и сказала, что будет ждать.

Чемодан, однако, не отправлялся. Отчаявшиеся хозяева стали предлагать заплатить за его перевозку. С дочери покойного, музыкального критика, взять было нечего. Но и с доплатой никто не соглашался его везти. Придут, посмотрят, и откажутся. Несколько раз оказии срывались, когда все уже совсем было готово.

Впечатлительному уму могло даже показаться, что он приносит-таки несчастье тем, кто соглашался его взять. На одного согласившегося командировочного чемодан навлек гнев начальства, скандал на службе, обиду отправителей и полный разрыв когда-то хороших отношений. Потенциальным перевозчикам отказывали в визе, они заболели, опаздывали, теряли документы. Увезти его удалось только чете паломников, ехавших с Аляски на Валаам. Но и они намучились. Их виза, давно готовая, отчего-то не приходила, и они получили ее только в аэропорту, за час до вылета, когда они уже потеряли всякую надежду.

Когда чемодан, наконец, доехал до Петербурга, ни дочь и ни ее муж Владимир не смогли его сразу забрать. В день его прибытия у них родился ребенок, девочка, событие тем более примечательное, что роженице было 49 лет, что было даже освещено в местной прессе. Дочери покойного вообще значительно больше повезло в жизни, чем ее матери, а теперь судьба преподнесла ей этот осенний подарок. Радостное событие оттянуло воссоединение наследницы с наследием, и чемодан пропылился еще несколько недель в чьем-то коридоре. Зять геолога, оперный певец, в благодарность за услугу, подарил паломникам хорошего вина и контрамарки на свои концерты, но опасался говорить о прибытии чемодана жене. Та всю жизнь собирала сведения о своем отце, и дома хранились его научные труды, папки со старыми газетами, копия фотографии со стены почета из Горного Института и даже привезенный тем самым сослуживцем из Америки отчет о конференции с именем отца в списке докладчиков. Об отцовском чемодане она узнала в то же время, что и о неожиданной беременности. И та и другая новости вызвали бурю в семье. Сыновья в один голос возмутились решению родителей с благодарностью принять оба дара судьбы. Родителям уже давно были отведены почетные роли бабушки и дедушки, и изменение в пенсионных планах вызвало поддержанное общественностью негодование. А уж дочерней нежности к старому чемодану не разделял никто. Во-первых, у них и так мало места, во-вторых, покойник не заслужил всей этой

возни с его посмертными сувенирами, в-третьих, какого черта? Однако постепенно великовозрастные братья смирились с мыслью о запоздалой сестренке, а о чемодане забыли. Владимир же видел, что в ожидании таинственного чемодана, совпавшим с ожиданием младенца, жене стало казаться, что это послание с того света адресовано именно ей, что оно откроет ей, наконец, тайну об отце и закроет болезненную главу в ее жизни. От отца она ничего никогда не получала. Мать так и умерла, ничего не рассказав об их встрече и ее рождении. Добрые же люди, переславшие им чемодан отца, упомянули, что в нем были альбомы фотографий, и тайная надежда забралась в душу. Таинственное совпадение, по которому упорно молчавшее прошлое и уже, казалось, исчерпавшее себя будущее, одновременно ворвались в ее размеренную, почти предпенсионную жизнь, стало казаться ей судьбоносным. В вечной детской попытке, во что бы то ни стало оправдать родителя, она давно связала самоубийство отца со своей участью, а чудесная беременность теперь виделась примирением и утешением его измученной душе.

Владимир уже шел забирать чемодан с тяжелым сердцем. Когда же он увидел облезлого, будто обгорелого, кожаного уродца у него похолодело внутри. Неудобная ручка как зубами вцепилась в руку, и чемодан резко потянул его вниз. Радуюсь, что он, слава Богу, на машине, Владимир уложил уродца в багажник. Неприятное чувство не проходило, но, повторяя себе, что, в конце концов, это не его отец и не его чемодан, Владимир сел за руль. Машина не заводилась. Как человек искусства, в машинах Владимир разбирался слабо, и позвонил приятелю, живущему сравнительно недалеко. Маясь ожиданием и дурным предчувствием, он открыл чемодан. Пахнущее старостью нутро было сплошь заполнено образцами горных парод, аккуратно завернутых и надписанных. Сверху же лежали два фотоальбома. Сначала Владимир смотрел рассеянно, пропуская страницы, но, взглядевшись, напрягся, и начал альбом сначала. Скрючившись над альбомом, Владимир на каждой странице вглядывался в дно и то же единственное лицо: Кирилл Петрович на курорте, в панаме и шортах,

Кирилл Петрович на скамейке в Летнем, Кирилл Петрович за кафедрой, на фоне Горного Института и на фоне Эльбруса, на лыжах, на пляже, в Прибалтике и в Крыму. Но абсолютное большинство было, конечно, снято, в геологических партиях: Кирилл Петрович с другими геологами, в палатке, у костра, но чаще один, в Сибири, на Урале, на Крайнем Севере... Во втором альбоме постаревший Кирилл Петрович путешествовал уже за рубежом, и Владимир узнавал Флоренцию, Париж, Лондон, Стокгольм ... Других людей на фотографиях больше не было совсем. Но и Кирилл Петрович на этих снимках уменьшился до размеров незначительной фигурки на историческом фоне, а иногда и просто отсутствовал. В конце фотографии и вовсе перешли в открытки. Среди всех фотографий не было ни одного женского лица.

Владимир убрал альбомы и посмотрел на часы. Приятель задерживался, застрял в пробке совсем рядом. Начинало темнеть. Муж дочери покойного вынул из чемодана бумажку с адресом, снова закрыл чемодан и быстрыми шагами пошел прочь от машины, несколько кривясь на один бок под тяжестью ноши. Он очень торопился, боясь потерять решимость и пропустить приятеля. В Петербурге везде недалеко от воды, а грузила в данном случае не требовалось. Владимир выпрямился и встряхнул онемевшей рукой. Приятель подъехал как раз, когда Владимир вернулся. Машина завелась, но друзья еще некоторое время о чем-то говорили, держась за приоткрытые дверцы своих неновых и непристижных автомобилей. Потом разъехались.

Елена Петровна долго сокрушалась о краже чемодана, даже подавала в милицию, но потом постепенно успокоилась. Малышка была слабая, беспокойная, много плакала, и они с мужем сбились в первые месяцы с ног. Но странно, усталость и досадная история с чемоданом их как-то даже сблизили. Кажется, никогда муж не был к ней так внимателен. Она и не знала, что он так ее любил.

Папа. Ним, южная Франция, 2007

Он всегда знал, что этим кончится. Знал, что именно ему достанется сидеть в полумраке и духоте, в этой самой комнате, в этом самом кресле, наедине с еще живым, с еще отчасти живым телом отца.

Он часто засыпал. Просыпался от собственного храпа, вскакивал, стыдился, подбегал к постели умирающего и слушал отцовское дыхание. Он был один, мать не в счет. Она так боялась заразиться смертью, что даже не входила в комнату. Только кричала ему с другого конца дома упреки, что он спит, вместо того чтобы смотреть за папá. Конечно, надо было, чтобы он заснул как раз тогда, когда приехали братья, и теперь проклятый храп перечеркнет недели и месяцы одинокой муки в этой комнате, этот запах, крики вконец оглохшей матери, а главное, это трупное присутствие бесконечно долго неумирающего старика.

Но он будет сидеть. Именно тут и именно так. Ему казалось, так надо, должно, более того, иначе невозможно, нельзя. Он сказал себе, что у него нет выбора. Он всегда так говорил себе. Так легче.

Опухали ступни, терзали набухшие колени, голова то закатывалась назад, на высокую жесткую спинку кресла, то скатывалась на грудь. Все попытки молитвы душило тяжелое семейное беспмятство. Теперь же бороться с ним было особенно трудно, так как оно норовило соединиться, как разлившаяся нефть, с внешним черным ужасом дома его детства.

Он всегда его ненавидел, но со временем ненависть менялась качественно, переходя от изначального, жгучего состояния, когда при одной мысли об отце сжимались зубы и кулаки, в более скрытое, но и более глубокое чувство. Отец никогда не любил ни его, ни кого бы то ни было, и в этом смысле ни ревновать, ни завидовать ему было некому. Его трагедия заключалась скорее в том, что он, единственный получивший образование, мог осознать и выразить словами ужас их существования.

Но больше он не смог ничего. Ни свободы, ни даже освобождения от пут прошлого он не добился. Многолетняя изнуряющая война с прошлым, начатая в юности с задором, была уже проиграна, хотя о том, чтобы признаться себе в

этом не могло быть и речи. С возрастом прошлое все больше освобождалось от него, а не он от прошлого. Где-то он это читал: в молодости мы стремимся освободиться от давления прошлого, а в старости прошлое от нас. Первое не удается никому, второе происходит само собой. Хуже того, если раньше прошлое терзало только свое обычное, законное место – его память, то теперь оно вырвалось из-под ее контроля и, как скрытая грибковая инфекция, стало постепенно расплзаться и захватывать его жизнь, его время, и впилося в самое его тело. Так, из утробной трухи старого кресла, отцовского кресла, в котором теперь сидел сын, в здоровую плоть впитывалась растревоженная мертвечина.

Когда-то мать славилась умением готовить. Она и сейчас суетилась на кухне, приставала с едой, пичкая его по старой привычке, но все только путала и портила. Он злился, гнал ее, но остановить ее было невозможно. Глухая и назойливая, без единого седого волоса, она, как черная толстая муха, бессмысленно жужжала и изводила его своим присутствием. Все ее и братьев попытки составить завещание ни к чему не привели. Казалось, что самое упоминание о деньгах временно возвращало отца к жизни. Оживая, отец уверял, что ему лучше, что он не так плох, что время еще не пришло и что завещание составлять рано. Если увещевали и настаивали, он вращал глазами, исходил слюной и даже приподнимался на подушке. Наклонившись совсем близко можно было услышать ясное: «Не дождетесь».

Один раз, когда отцу стало совсем плохо, сын решил позвать кюре. Совсем молодой еще священник, застенчивый и учтивый, тихо проследовал за сыном в комнату умирающего. Он пробыл там совсем недолго. Сын услышал только торопливые, бегущие шаги по лестнице. Рванувшись навстречу гостю, сын столкнулся с юным священнослужителем уже внизу, в самых дверях. На его немой вопрос несчастный кюре только дико замотал головой и, глядя перед собой полными невыразимого ужаса глазами, как слепой вытянув перед собой руки, выскочил из

отцовского дома и кинулся, все так же держа руки, бежать по улице.

С тех пор стало совсем тихо. Из своего угла лица отца ему было не видно, только подушку. Что он высиживал тут? Признание? Прощение? Но он не нанимал сиделку, мучимый паническим страхом пропустить смерть отца. Он и спал часто и плохо по той же причине. Ему это казалось самым страшным, что может произойти, и он без конца будил себя и вздрагивал.

Он зря волновался. Смерть разбудила его заранее и прежде, чем того, за кем пришла. Он проснулся от тишины такой, что, то, что было в комнате до этого, теперь показалось ему шумом жизни. Он немедленно понял, ничего еще не осознав, встал и подошел к кровати. Отец лежал в той же позе, совершенно неподвижно. Он спал. Вдруг сын резко обернулся: смерть подошла к постели за его спиной. И тут все изменилось. Отец заметался, посинел, стал корчиться, цепляясь за простыню. Он дрыгал ногами, как будто пытаясь убежать, хрипел, задыхался и неожиданно громко кричал: нет! нет! нет! Но тут и это кончилось. Отец упал на подушку и замер. Смерть удалилась. Для порядка проверив пульс отца, сын некоторое время раздумывал, пытаясь вспомнить, полагается ли закрыть лицо мертвеца простыней или нет. Решив вопрос отрицательно, сын привычно отошел к креслу, но потом, как будто с облегчением вспомнив что-то, взял стул и поставил его у кровати покойного. Сложив руки на коленях, нелюбимый сын тихо и бездумно смотрел перед собой, чуть наклонившись вперед.

Вдруг отец сел. Он сел совсем, резко и прямо. Мертвое лицо его открыло рот и глаза и уставилось прямо на сына. Губы зашевелились, но не произвели ни звука. И тут рот его разорвался в немом крике, страшнее которого сын не видел и не слышал ничего. Потому как, хоть крик и был немой, он услышал его громче, чем все звуки мира. В этом крике все мертвые взвыли в последнем отчаянии, сам ад возопил о пощаде. Ужас, адский ужас, выразить который нет слов в человеческом языке, отразился в вылезавших из орбит отцовских глазах. Эти глаза, уже умершие, уже

побывавшие, уже бывшие и ПРЕБЫВАЮЩИЕ ТАМ, кричали то, что они ТАМ увидели сыну. Сыну ли? Рывок оттуда ни к кому не был обращен. Сын стал лишь его свидетелем. Свидетелем, что это ТАМ случилось, есть, существует, и ничего страшнее нет ни для живых, ни для мертвых.

Мы не похороним друг друга

Мы не похороним друг друга. Нас не будет друг у друга ни на поминках, ни у гробовой доски.

Бежали мы, кто ватными ногами, кто вприпрыжку, кто кувырком, кто вечно задом наперед, наполовину здесь, наполовину там, а кто без оглядки, без памяти, навсегда, совсем, насмерть, чтобы зажить припеваючи. А и зажили мы, разгулялись, рассыпались, покатались, закатились в разные щели по земле. И я одна из вас. Одна не одна, а испить до дна. Да и нас-то самих, уж из самых из остатков, из бабушкиных распоследних сусеков намели, наскребли, налепили. Вот и покатались колобки на свободу, за свободой. Выкатились в чисто поле, чтобы быть, чтобы стать, добиться, прорваться, насквозь пройти, с другой стороны выйти. Вышло. Вот он я – колобок. Ничей, без ключей. Молчи.

Взгляд не задерживать, зубов не разжимать! Помнить – забыть, больно. А ты катись по дорогам, оно и отлипнет, отстанет, отсохнет, внутрь не войдет. Не зацепит. Распылились, рассыпались, измельчились в труху, в мишуру, в рваные бумажки. А что было, то так, кое-как, впопыхах.

Нет, не будет вас у меня, не увижу я вас незрячими глазами при прощании. Ни жизнь, ни смерть не соединят нас. Всегда найдется что-то важнее и того и другого. В суете жизни не вспомним мертвых, не позовем живых. И были ли вы, да не выдумала ли я вас? А хорошая была выдумка, чудо, что за лица. И поглотила бы нас мать сыра земля, если бы не рассыпались по ней ее лучшим урожаем?



Хаим Соколин

И сотворил Бог нефть...

(Роман в двух частях с возможностью продолжения, если на то будет воля Божья)

(окончание. Начало в № 7(8) и сл.)

11



роводив Рона, Макс и Эсти вышли к паркингу аэропорта, сели в машину и выехали на четвертый автобан, ведущий в город.

– Мне что-то не хочется в гостиницу, – сказала Эсти.
– Где здесь можно провести вечер, посидеть, поболтать?

– Лучшее место Гринцинг, на севере Вены. Очень уютный район, излюбленное место туристов.

– Поехали.

Они пересекли город и въехали в район узких улочек, уютных ресторанчиков, сувенирных лавок. Жизнь здесь кипела. Побродив немного, зашли в большой огороженный двор. Прямо под открытым небом стояли длинные деревянные столы и скамейки. На столах лежали меню. Еда была простая, а выбор блюд невелик. Официантка в традиционной национальной одежде сразу же принесла бутылку вина и приняла заказ.

– Такие рестораны называются «херрингер», – сказал Макс. – У них любопытная история. Когда-то, в послефеодальные времена крестьяне арендаторы имели право, после расчета с землевладельцем, продавать у себя на дому излишки вина собственного изготовления и подавать к нему нехитрую закуску, включавшую подсоленную рыбу («херринг»). Так возникли эти дворовые ресторанчики. Традиция сохранилась до наших дней. Правда, сейчас

владельцы «херрингеров» уже не крестьяне и открыты они круглый год, а не только в конце винодельческого сезона.

– Как странно, – сказала Эсти, – я ведь родилась в Вене, здесь прошло мое детство. Но ничего не помню. Совершенно чужой город. А что для тебя Вена? Считаешь ли ты ее своей родиной?

– У меня сложное чувство. Географически это, конечно, родина. Но не более. Я здесь работаю, здесь мой дом. Кстати, совсем недалеко отсюда, пятнадцать минут езды. Вон там, за Венским лесом. – Макс показал рукой направление. – Но часто и подолгу бываю в отъезде. А вообще-то Вену, да и Австрию в целом, мне трудно считать родиной в том смысле, который обычно вкладывают в это слово. Я имею в виду духовную связь, историю, традиции. Но город этот люблю, хорошо его знаю. И люблю возвращаться в него после долгого отсутствия.

– Мне кажется, я понимаю тебя. Для нас, австрийских евреев, понятие родины утратило свой прежний духовный и эмоциональный смысл. Знаешь, Макс, в эти дни я думала о тебе и задавала вопрос – почему ты здесь остался? Ведь очень многие из тех, кто уцелел, уехали. Наверное, большинство...

– Так сложилось. Кто-то всегда остается. Но я не жалею. У меня все хорошо, все нормально. Не чувствую дискомфорта.

– А почему ты один?

– Ответ такой же. – Макс улыбнулся. – Так сложилось.

– Хочу посмотреть, как ты живешь. Посидим немного и поедem к тебе. Не возражаешь?

– Буду рад показать дорогой сестре свое скромное холостяцкое жилище.

– Сестре? Не такие уж мы близкие родственники, чтобы ты видел во мне только сестру. *Second cousin seven times removed* (английское выражение, соответствующее русскому «седьмая вода на киселе»). Вот кто мы такие, – Эсти улыбнулась и дотронулась пальцами до его щеки.

– Дома я покажу тебе один документ, и ты увидишь, как мы близки.

– Документ? Какой может быть документ? Я сгораю от нетерпения. Давай поедем прямо сейчас. Не хочу есть эти сосиски с капустой.

Макс расплатился за вино, отменил заказ и они поехали в Вейдлинг по Гауптштрассе, пересекающей Венский лес. Спустя пятнадцать минут подъехали к небольшой двухэтажной вилле. Они вошли в дом, и Эсти сразу же принялась обходить комнаты.

– Недурно для холостяцкого жилища. И потом – такой порядок. Кто у тебя убирает?

– Приходит женщина два раза в неделю. Да я и сам поддерживаю чистоту. Не люблю беспорядка.

Эсти удобно устроилась на диване, подобрала ноги и расстегнула несколько пуговиц на платье. Получилось глубокое декольте, открывшее соблазнительную ложбинку.

– Ну, милый братец, что мы будем пить?

– Что желает дорогая сестрица?

– Сестрица желает коньяк и фрукты.

– «Хенесси Ричард» годится?

– О! Название слышала, но никогда не пробовала.

Макс открыл бар и вынул бутылку. Затем помыл фрукты, нарезал лимон и поставил все это на журнальный столик около дивана.

– Давай немного выпьем, а потом ты покажешь мне документ, ради которого я пожертвовала этим деликатесом – сосисками с капустой, – Эсти улыбнулась.

Макс налил коньяк в невысокие плоскодонные бокалы.

– Как жаль, что мы уже на «ты», – сказала Эсти. – А то бы выпили на брудершафт. Впрочем, одно другому не мешает. Давай поцелуемся. Садись рядом.

Поцелуй получился не вполне родственный...

– Ну, показывай что обещал, – сказала Эсти.

Макс принес рулон ватмана и развернул его на столе.

– Посмотри этот рисунок. Хотя ты видишь его впервые, но, думаю, легко разберешься, – сказал он.

Эсти стала внимательно разглядывать генеалогическое древо. Лицо ее сделалось серьезным. Выражение игривости сменилось печальной задумчивостью.

– Боже мой, такая большая семья. Даже две семьи. Адлеров я почти не знаю. Но Ландау – это же мои родственники, самые близкие люди. И только мы с тобой остались. Кто-то еще, кажется, живет в Канаде. Теперь это как засохшее дерево, на котором чудом сохранились два зеленых листочка, ты и я, – говоря это, Эсти водила указательным пальцем по ватману, как бы прикасаясь к душам умерших. – Вот дедушка, бабушка, вот мои родители, а вот и я. А вот здесь ты. Да, засохшее дерево...

Внезапно у нее появилась идея.

– Знаешь что, Макс? Давай оживим его, вдохнем жизнь. Пусть зашумит листва, на ветвях запоют птицы.

– Что за романтическая фантазия? – удивился Макс.

– Дай мне карандаш, – попросила Эсти.

Она взяла карандаш и соединила большой дугой два прямоугольника на разных сторонах древа. В одном было написано «Эстер Ландау», в другом – «Макс Адлер». Потом на середине дуги нарисовала сердце.

– Так дети изображают любовь, – сказала она. – Вот видишь, дерево ожило. Любовь его оживила. Эсти обняла Макса, и они застыли в долгом поцелуе.

– А теперь давай выпьем за память тех, кто погиб в Катастрофе.

Они выпили и помолчали.

– Ну, все. Траурная церемония окончена. Покажи мне свою спальню, – скомандовала Эсти.

...Макс был тренированный мужчина. Любвеобильная искусенная фрау Эльза старательно поддерживала его в хорошей форме. Но через три часа он вдруг почувствовал, что не выдерживает темп. А Эсти не проявляла ни малейших признаков усталости. Она была так же неутомима, как в самом начале, и требовала еще и еще. Ее энергия была сравнима только с разнообразием ошеломительных поз, которыми она искусно владела.

– Боже мой, Эсти, где ты всему этому научилась? – с изумлением воскликнул Макс.

– У меня в этой области пи-эйч-ди (*Ph.D.* – докторская степень, *англ.*), – рассмеялась она и проверила его готовность. – А ты, дружок, утомился. И твой дружок

тоже. Ну что ж, идите примите холодный душ, освежите себя яблоками и подкрепите себя вином, как говорили наши древние предки. А я и моя подружка вас подождем.

Макс встал и нетвердой походкой направился в ванную. Когда через десять минут он вернулся в спальню, то увидел, что Эсти выполняет замысловатые упражнения по системе йоги. Только сейчас он рассмотрел как следует ее изящную и очень женственную фигуру.

– Дорогая, неужели ты не устала? – удивился он.

– От чего я должна устать? От любви? От этого живительного эликсира? – искренне и просто сказала она. – Ну что, продолжим?

Через два часа Макс признал свое поражение и со смущенным видом сошел с дистанции.

– *Ultra posse nemo obligator*, – сказал он.

– Что это значит?

– Это значит – никого нельзя обязать сверх его возможностей. Так считали древние римляне.

– Они были правы, – сказала Эсти. – Не переживай. Ты молодец, продержался дольше других.

– Это что – комплимент или пропуск в элитный клуб? – спросил Макс.

– И то и другое, – рассмеялась Эсти. – А если серьезно, то никакого клуба нет. Есть опыт, соответствующий возрасту и некоторым особенностям анатомии. Вот и все, что есть. Так что не пугайся и не преувеличивай. Давай немного поспим.

...Как обычно, Макс проснулся в шесть утра. Эсти уже лежала с открытыми глазами.

– Ты так сладко спал, что не решалась будить, – сказала она. – А теперь давай повторим пройденное. Нет ничего лучше любви на рассвете.

На этот раз Эсти продемонстрировала неподдельное глубокое чувство с продолжительными нежными ласками и поцелуями. Она называла это утонченным сексом.

– Ты необыкновенная женщина, – восхищенно сказал Макс. – Как же я теперь буду без тебя?

– Мы что-нибудь придумаем, – деловито ответила Эсти. – Можем встречаться в Европе, в Израиле. Ты ведь приедешь в Израиль?

– Возможно. Это зависит от того, как будет складываться совместная работа с «Дабл Эй».

– Есть проблемы?

– Пока нет.

– Макс, хочу спросить тебя. Но не подумай, что это имеет для меня какое-то значение. Ты богатый человек?

– Я состоятельный человек.

– В чем разница?

– Богатство – категория количественная, а состоятельность – качественная.

– Понятно. Тогда скажи мне, состоятельный человек, какие у нас планы на сегодня? После завтрака ты отправляешься на работу. А вечером?

– После завтрака мы с тобой едем на кладбище.

– Вот как. Ты решил похоронить нашу любовь?

Макс рассмеялся.

– Нет, это мы пока делать не будем. Сегодня открытие мемориала в память членов семей Адлер и Ландау, погибших в лагере смерти Маутхаузен. И поэтому твой приезд очень кстати.

– Что за мемориал? Ты мне ничего не говорил.

Макс рассказал о своем решении увековечить память погибших, о приобретении участка на кладбище и о главной идее архитектурного проекта.

– На днях строительство закончено. И сегодня официальное открытие с чтением поминальной молитвы. Мы должны быть там в одиннадцать. После этого заеду в офис на пару часов. А потом я в твоём распоряжении, дорогая.

– Макс, я очень взволнована. Это событие придаёт особый смысл и особый характер нашим отношениям. Ты мне нравишься все больше и больше. Скажи, а почему ты решил построить мемориал именно сейчас, спустя столько времени после войны?

– Эсти, ты обратила внимание, что на некоторые твои вопросы я отвечаю двумя словами: «так сложилось»?

Таков же ответ и на этот вопрос – так сложилось. Если вопросов больше нет, то давай завтракать.

Мемориал находился в западной части нового еврейского кладбища, рядом с протестантским участком. Он был сделан в виде серой гранитной стены, по краям которой возвышались две стелы из черного мрамора. Венчала стену необработанная базальтовая плита со сквозным вырезом в центре в форме шестиконечной звезды. Стена была наклонена к зрителю, поэтому небо через вырез приобретало очертания этой звезды... На одной стеле были выгравированы с указанием возраста имени членов семьи Адлер, на другой – Ландау. Всего тридцать шесть имен. Под каждым списком – слова «Зихронам левраха». На гранитной стене надпись: «Умерщвлены в Маутхаузене в числе 38 120 евреев, 1938-1945», а ниже изречение на иврите: «Воздастся кара за кровь невинных. Псалом 79».

Эсти внимательно осмотрела мемориал.

– Все сделано достойно, сдержанно, с большим вкусом и тактом, – заключила она. – Без внешних эффектов. Но каждая деталь и каждое слово кричат. Молодец, Макс. Спасибо и от меня тоже.

– Рад, что тебе понравилось. Ты совершенно точно уловила главную идею мемориала. Да, каждое слово кричит, – повторил он и машинально добавил: – В начале было Слово...

– Да, в начале было Слово, – продолжила Эсти, – потом слово против слова, потом народ против народа, потом две Мировые, потом Холокост. Вот и вся история цивилизации от Иоанна до наших дней.

Макс был поражен таким емким и исчерпывающим экспромтом.

– За это ты заслуживаешь еще одну докторскую степень, – сказал он.

Присутствующих было немного – глава Венской еврейской общины, его заместитель, трое руководителей «Хевра кадиша», раввин Самуэль Маркус, староста синагоги, архитектор и скульптор. Состоялась краткая церемония. Раввин Маркус прочитал поминальную молитву:

«Итгадал вэ иткадаш шемей рабо...» – «Да возвеличится и освятится великое имя Его...»

Перед уходом Эсти положила по небольшому камешку на горизонтальный выступ у подножья каждой стелы.

– Так это делается в Израиле, – объяснила она в ответ на недоуменный взгляд Макса. – По еврейской традиции возлагаются не цветы, а камешки.

Макс отвез Эсти в гостиницу, и они договорились, что через два часа он заедет за ней.

– Мы отправимся в деревушку в семидесяти километрах от Вены, – сказал он. – Там и заночуем. Возьми все необходимое.

Деревушка называлась Дюрнштейн. Она расположена к западу от Вены, у излучины Дуная. Место очень живописное, настоящий рай для туристов. Множество уютных гостиниц сельского типа, ресторанчиков, прогулочных тропинок вдоль реки и по склонам соседних холмов. На одном из них – развалины старинного замка, в котором, согласно летописи Крестовых походов, содержался плененный английский король Ричард Львиное Сердце.

Макс и Эсти приехали в Дюрнштейн в седьмом часу вечера. Они оставили вещи в гостинице, прошлись несколько километров вдоль Дуная и поужинали в семейном ресторанчике «У излучины».

– Просто сказка! – воскликнула Эсти. – Не хочется думать, что все это скоро кончится. Так бы и путешествовала с тобой по всему миру... Впрочем, это даже хорошо, что кончится. Иначе я бы привыкла к тебе, а то и банально влюбилась. В моем возрасте это опасно. Да и тебе ни к чему...

– Не знаю, не знаю. Мне, может быть, и к чему, – загадочно произнес Макс. – Но тебе, действительно, надо быть осторожной. Не следует ломать семейную жизнь.

Эсти иронически посмотрела на него.

– Откуда тебе знать? Может, и ломать-то нечего, – неопределенно сказала она. – Ну ладно, сменим тему. Хочу в гостиницу. Грядет ночь великой любви номер два...

– Любовь номер два или ночь номер два?

– Ночь, конечно, – Эсти рассмеялась.

Макс обнял ее и поцеловал.

– Не испугался? – Эсти лукаво посмотрела на него. – Обещаю, сегодня не будем нарушать завет древних римлян. Как там говорится – *ultra posse...*

–...*nemo obligator*, – закончил Макс.

– Вот именно, облигатор.

На следующий день они отправились вдоль излучины Дуная на юг в городок Мелк, где находится знаменитый монастырь ордена бенедиктинцев. Построенный в стиле барокко в начале восемнадцатого века, он поддерживается в идеальном состоянии и привлекает туристов со всего мира.

Макс с увлечением рассказывал по дороге обо всех интересных местах, которые они проезжали. Эсти была благодарной слушательницей и обнаружила немалые познания в архитектуре, искусстве, истории... В Вену вернулись поздно вечером.

12

Эсти улетела утренним рейсом. Проводив ее, Макс приехал в офис. Эрна сразу же сообщила, что Пауэлл хочет поговорить с ним.

– Пусть зайдет, – сказал Макс.

Пауэлл появился через пять минут.

– Макс, я хотел бы обсудить условия нашего участия в канадском тендере. На мой взгляд, максимальный взнос при подписании контракта не должен превышать миллион долларов. Каково ваше мнение?

– Я думаю, мы можем увеличить его до полутора миллионов. Там ожидаются серьезные открытия. Не следует упускать этот блок.

– Хорошо. Есть еще один вопрос. Возможно, он вас заинтересует.

– Что за вопрос?

– Дело в том, что у меня есть небольшой пакет акций «Эрдойль». На днях знакомый брокер предложил мне продать его по цене выше рыночной. Из разговора с ним выяснилось, что идет скупка акций компании и что сам он

действует в интересах одного из ее директоров. А стоит за этим Гельмут Келлер. Вам понятен смысл происходящего, Макс?

– Думаю, что да. Внутренний тейковер.

– Именно так. Они хотят заблокировать ваш пакет и отстранить вас от руководства компанией. Не исключено также, что Келлер лелеет мечту вернуться в «Эрдойль».

– Спасибо, Дейв. А сейчас вот что. Напишите мне объяснение о вашей сделке с Келлером. Обещаю, оно не будет использовано против вас, а только чтобы приструнить его. Вы же не хотите, чтобы он вернулся в компанию, не так ли?

– Определенно не хочу.

– Прекрасно. Теперь о брокере. Думаю, это Дитрих Хаузер. Я не ошибся?

– Да, это он.

– Хорошо, Дейв. Еще раз спасибо за информацию. Продолжайте заниматься тендером и не беспокойтесь насчет Келлера и всей этой возни с акциями.

Макс договорился с Клаусом Руппе о созыве экстренного собрания акционеров. Затем он разыскал Хаузера и предложил встретиться в ресторане делового клуба. Брокер был немного обеспокоен, но согласился.

– Господин Хаузер, я обдумал ваше предложение об увеличении своего пакета и решил принять его. Давайте обсудим условия. – Макс сразу перешел к делу.

Хаузер смутился.

– Видите ли, господин Адлер, я, конечно, заинтересован работать с таким клиентом, как вы. И надеюсь, в будущем смогу оказывать вам профессиональные услуги. Но в данный момент ситуация не вполне благоприятная. Боюсь, что должен временно отказаться от этого предложения. Очень сожалею. Если вас интересуют акции других компаний, то готов немедленно обсудить это.

– Нет, меня интересует только «Эрдойль». А что, собственно, изменилось? Почему ситуация стала неблагоприятной? Не могли бы вы объяснить конкретно?

– Конкретно? В нашем деле, господин Адлер, есть свои профессиональные тайны. И мы не всегда можем делиться информацией, которой владеем. Полагаю, у вас тоже есть своя конфиденциальная информация. Одним словом, вы меня понимаете...

– Опять тайны. В прошлый раз были тайны и сейчас снова. Но я понимаю вас, Хаузер. Очень хорошо понимаю. И предупреждаю – если вы не прекратите всю эту возню со скупкой акций «Эрдойль» по завышенной цене, то нарветесь на крупные неприятности. Такие крупные, что они перевесят комиссионные, которых вы ожидаете. Я просто сделаю вас персоной нон грата в этом бизнесе. А у меня есть такие возможности. В прошлый раз вы трусливо сбежали. Сейчас этим не отделаетесь.

– Простите, господин Адлер, но почему вы так со мной разговариваете? На каком основании? Я бы попросил...

– Основание есть. И очень веское. Вам известно, что тейковер – это уголовное преступление и преследуется по закону. А вы участвуете в нем самым активным образом. У «Эрдойль» уже сейчас есть основания потребовать расследования вашей деятельности и деятельности тех, на кого вы работаете. Я не знаю, чем рискуют они, но вы рискуете своей лицензией. Если хотите сохранить ее, то назовите имена. Для кого вы скупаете акции?

Хаузер побледнел.

– Вы требуете от меня невозможного, господин Адлер. Я не могу... профессиональная тайна...

– Забудьте о тайне. Думайте о лицензии. Итак, здесь, конечно, замешан Келлер. Кто еще?

– Только на условиях конфиденциальности, господин Адлер. Могу я рассчитывать?

– Можете. Говорите.

– Я имею поручение господина Келлера. Он мой давний клиент. А непосредственно заинтересованное лицо господин Вернер. Рудольф Вернер. Его пакет составляет, как вы знаете, пять процентов.

– Вернер? Один из директоров «Эрдойль» и президент бумажного синдиката?

- Да, он.
– Ну, и каковы ваши успехи? Сколько акций успели купить?
– Немного. Очень немного. Но я только начал.
– Ваше счастье. На этом вы и закончите. Если я узнаю, что вы ведете переговоры хотя бы с одним акционером, то пеняйте на себя. Вам все понятно, Хаузер?
– Да, господин Адлер.

На собрание пришло больше акционеров, чем обычно. Слово «экстренное» возбудило всеобщее любопытство. Последние два года дивиденды почти не поступали, и это вызывало недовольство пайщиков, привыкших к постоянному доходу от акций.

Клаус Руппе предоставил слово Максусу. Он, как всегда, был краток и говорил по существу.

– Дамы и господа, – обратился Макс к собравшимся, – вы, конечно, разочарованы результатами последних двух лет. Есть несколько причин этого, и главная – неудача в заливе Папуа. Однако сейчас имеются все основания ожидать существенного улучшения ситуации. Я не могу вдаваться в детали, но мы находимся в преддверии крупных открытий в Канаде, которые самым благоприятным образом отразятся на прибылях компании и на ваших дивидендах. Это и есть основная хорошая новость, ради которой мы пригласили вас на экстренное собрание. Но есть и плохая новость. Нам стало известно, что некий акционер, владеющий относительно крупным пакетом, начал скупку акций по повышенной цене через подставных лиц (Макс бросил выразительный взгляд на Вернера, сидевшего в первом ряду). Разумеется, каждый вправе распоряжаться своими ценными бумагами по собственному усмотрению. Но я хочу еще раз сказать с полной ответственностью – скоро доходы «Эрдойль» возрастут, и тогда те, кто поторопился продать акции, будут сожалеть об этом. Мой долг предупредить вас.

После выступления Максусу было задано много вопросов. И почти все они так или иначе касались ожидаемых открытий в Канаде. Акционеры хотели знать, на

чем основана такая уверенность. Чтобы не быть голословным, ему пришлось сказать, что компания планирует применить новую разведочную технологию, которая позволяет обнаруживать месторождения быстро и с минимальными затратами. На вопрос, разработана ли технология в «Эрдойль», он ответил отрицательно, добавив, что изобретение принадлежит небольшой фирме, которая, исходя из собственных интересов, готова продемонстрировать его на разведочном блоке «Эрдойль». Тут же посыпались вопросы по поводу этой технологии. Макс уклонился от объяснений, сказав, что собрание акционеров – не самое подходящее место для обсуждения технических деталей. Рудольф Вернер внимательно слушал и делал пометки в блокноте.

...Усилия Макса по предотвращению тейковера дали результаты. Дитрих Хаузер прекратил скупку акций, а те, кто готов был продать их, отказались от этого намерения.

13

В Израиле Макс был впервые. Он знал, что рано или поздно приедет в эту страну. Но как-то так складывалось, что поездка отодвигалась на неопределенное время. В конце концов у него появилось некое смутное ощущение, что приезд в Израиль будет связан с каким-то конкретным поводом, а не просто с ознакомительным туром. Такое ощущение ни на чем не основывалось, оно было скорее интуитивным, чем осознанным. Но Макс привык доверять своей интуиции. Он неоднократно убеждался, что предчувствия подтверждались самым неожиданным образом. Так получилось и на этот раз. Рон позвонил ему и передал приглашение босса. Он попросил захватить с собой материалы по блоку Стин Ривер, а также, к удивлению Макса, письменные оценки его прошлой работы.

...Макс вышел на балкон тель-авивской гостиницы «Хилтон». Вид спокойного Средиземного моря действовал умиротворяюще. Пляжи были заполнены народом. По воде скользили парусники. И только патрульные вертолеты, пролетавшие над морем на небольшой высоте, напоминали о том, что страна воюет с террором. Он посмотрел на часы. Рон должен был приехать за ним через десять минут. Макс

еще раз проверил содержимое кейса, убедился, что все документы на месте, и спустился в вестибюль.

Рон появился минута в минуту. Они обменялись рукопожатием и вышли на улицу. Белая «вольво» стояла у входа.

– Макс, босс хочет встретиться с тобой у себя дома, в Кесарии. Это пятьдесят километров на север, вдоль моря. Минут сорок езды. Заодно посмотришь прибрежную полосу.

– Прекрасно. Надеюсь в ближайшие дни посмотреть и другие места, о которых много слышал.

– Разумеется. Каждый, кто впервые приезжает в Израиль, просто обязан сделать это. Я и Эсти позаботимся об этом. Но сначала, конечно, наше дело, – Рон улыбнулся и добавил: – как ты знаешь, по-итальянски это называется «коза ностра».

– Зловещая аналогия. – Макс рассмеялся. – И как зовут крестного отца?

– Его зовут Шмуэль.

– А фамилия?

– Для нас он просто Шмуэль. И для тебя тоже.

– Не торопись, Рон. Я еще не член «семьи».

– Да, конечно. Стать им не так-то просто.

В разговоре появился явный подтекст, и оба хорошо понимали, о чем идет речь.

Перед Максом стоял высокий худощавый старик с резко очерченным лицом, орлиным носом и пронизывающим взглядом глубоко посаженных глаз. Бобрик густых седых волос. Спортивная осанка. Одет он был в строгую темно-серую тройку, что подчеркивало официальный характер встречи, хотя она и происходила дома, а не в офисе. Старик протянул руку, и Макс почувствовал крепкое пожатие сухих костлявых пальцев.

– Шмуэль, – представился он и добавил фамилию, но Макс ее не расслышал. – Рад познакомиться с вами, Макс. Мы называем друг друга по имени. Так принято в Израиле. Не возражаете?

– Не возражаю.

– Прекрасно. А сейчас давайте сделаем лехаим. Наливайте сами по своему выбору. Они подошли к боковому столику, на котором стояла батарея бутылок. Макс налил сухое «Шардонне». «Лехаим!» – произнес Шмуэль. Все чокнулись и выпили.

– Итак, – продолжил Шмуэль, – Рон рассказал вам в самых общих чертах о нашем методе. Больше пока мы сообщить не можем. Полагаю, это не станет препятствием для сотрудничества на первом этапе. Под этим этапом я имею в виду ваше участие в завершении разведки блока Уинтон в Австралии и наше участие в разведке блока Стин Ривер в Канаде. Следующий этап будет зависеть от результатов этой работы. А сейчас, Макс, я хотел бы задать вам два вопроса. Извините старика, если они покажутся некорректными. – Шмуэль хитровато прищурился.

– Слушаю вас, – улыбнулся Макс.

– Хорошо. Видите ли, Макс, ни я, ни Рон не специалисты по нефтяной разведке. Поэтому мы не можем оценить ваш профессиональный уровень. А для нас это очень важно. Геолог, которого мы потеряли, был специалистом мирового класса. И мы хотели бы заменить его таким же. Поэтому первый вопрос – как вы сами себя оцениваете?

– Ни один специалист не может оценить себя объективно, – ответил Макс. – Могу представить официальную оценку моей работы за последние годы. Рон попросил меня захватить эти документы.

Он открыл кейс и передал Шмуэлю несколько страниц.

– Немецкий, – сказал Шмуэль, взглянув на текст. – Когда-то я владел им прилично. Ну что ж, тряхнем стариной. А у тебя, Рон, насколько я знаю, проблем с этим языком нет. Он медленно читал страницы и передавал их Рону.

– Превосходно, – сказал он, закончив чтение. – Вопрос снимается. Но возникает новый вопрос. Здесь сказано, что вы, Макс, работаете старшим специалистом отдела. А сейчас вы вице-председатель Совета директоров и

куруете всю зарубежную разведку. Как такая метаморфоза могла произойти всего за два-три года?

– О, это долгая и почти фантастическая история. Если не возражаете, расскажу ее после деловой части. Это скорее литература определенного жанра, нежели нефтяная разведка или бизнес.

Шмуэль и Рон переглянулись. Они были явно заинтригованы, но им оставалось только согласиться.

– Хорошо, подождем окончания деловой части. А сейчас второй вопрос, столь же некорректный. – Шмуэль снова хитровато прищурился. – Скажите, Макс, вы богаты?

– Полагаю, что да.

– Насколько?

– Достаточно.

– Почему, в таком случае, вас интересует сотрудничество с нами? Ведь прямой метод – это, в конечном счете, только деньги, и ничего больше.

– Видите ли, Шмуэль, для нефтяного геолога это не только и не столько деньги. Это мечта, прорыв, другой качественный уровень. Это как пересесть из конного экипажа в «мерседес». – Сказав это, Макс вдруг вспомнил детство, конную коляску за сараем, свой нынешний «мерседес» и удивился конкретности этой образной фразы. – И коль скоро, будучи обеспеченным человеком, я продолжаю работать, а не уйду в отставку, то не могу не думать о техническом прогрессе в нефтеразведке. Вот почему ваше предложение оцениваю не только с точки зрения увеличения личных доходов, но прежде всего как своего рода профессиональный допинг. А уже потом то, о чем вы говорите, Шмуэль.

– Хорошо сказано, Макс. Нечто подобное я слышал однажды от Алекса, зихроно левраха. Вероятно, вы, геологи, люди одинакового склада.

– Раз уж вы затронули этот вопрос, то хотел бы задать его и вам. Вы человек немолодой и, насколько я понимаю, достаточно состоятельный. Что заставило вас, в ваши годы, бросить такой опасный и рискованный вызов нефтяным корпорациям? – спросил Макс.

Шмуэль рассмеялся.

– Молодец, Макс. Мяч не задержался на вашем поле. У каждого из нас свои причины и стимулы для этого. Что касается меня, то вам они станут полностью понятны, когда доберетесь до моего возраста. А пока поверьте на слово – проблема старости не в том, что мы стареем, а в том, что остаемся при этом молодыми. Старость – не для слабых духом. Если ответ удовлетворил вас, тогда давайте посмотрим карту.

Они подошли к большому столу, на котором лежала карта блока Уинтон. Она выглядела достаточно пустой. Были обозначены только предполагаемый контур месторождения по данным почвенной съемки и три нефтяные скважины. Рядом лежали конверты с каротажными диаграммами, папки с результатами испытания скважин и описанием керна.

– Вот все, что у нас есть. Мы приготовили для вас копии. Как вы знаете, сейсморазведку мы не проводим. Ваша задача, Макс, определить количество и местоположение дополнительных скважин. Затем обеспечить геологический контроль за их бурением, подсчитать запасы нефти и подготовить всю необходимую техническую документацию для продажи месторождения. А на заключительном этапе участвовать в тендере с нашей стороны.

Макс вынул из конвертов каротажные диаграммы и разложил их на столе. Потом достал из папки отчеты по испытанию скважин. Минут двадцать он внимательно рассматривал материалы. В комнате стояла полная тишина.

– Серьезное месторождение, – сказал он, закончив просмотр. – Из задач, которые вы перечислили, Шмуэль, я могу лишь определить количество дополнительных скважин, необходимых для подсчета запасов, точки их бурения и подготовить техническую документацию. Для контроля за бурением, подсчета запасов и участия в тендере пришлю опытного геолога. Мой статус в «Эрдойль» не позволяет выполнять такую работу для другой компании. Надеюсь, вы понимаете это.

– Для меня это несколько неожиданно, – сказал Шмуэль. – Я полагал, что вы сделаете всю работу.

– Сожалею, но это исключено. Я говорил об этом Рону в Вене. Могу гарантировать, что геолог, который будет этим заниматься, абсолютно надежен как в профессиональном отношении, так и в плане личного доверия. Вы не должны оплачивать его работу. К тому же она не требует знания всех обстоятельств выбора разведочного участка. Он вообще не будет знать, что вы используете прямой метод.

– Хорошо. Мы подумаем. А сейчас покажите, что мы должны сделать для вас на блоке Стин Ривер.

Макс разложил на столе карту Пауэлла и показал кольцо рифовых поднятий, обрамляющих лагуну.

– Мы решили участвовать в тендере и получить этот блок. Не могли бы вы точно указать, какие рифы содержат нефть?

– Нет проблем. Мы сделаем это, – сказал Шмуэль. – Образцы будет отбирать наш человек. Он имеет опыт работы на Камероне. Ваши люди должны только указать ему точки отбора и нанести их на карту. Нам карта не нужна, она будет находиться у вас.

Он обратился к Рону.

– Рон, разыщи Пьера Леже. У нас есть его телефон в Квебеке. А до этого ты и Макс должны составить план работ в Австралии и Канаде. Формальный договор и смета расходов, я полагаю, не нужны. Будем работать на бартерной основе. Не возражаете, Макс?

– Да, это справедливо.

– Итак, деловая часть в общих чертах закончена. Теперь, Макс, мы слушаем вашу фантастическую историю.

Макс улыбнулся.

– Хорошо. Но сначала один вопрос к вам. Что означает столь необычное название – «Дабл Эй»?

Шмуэль объяснил.

– Теперь это своего рода мемориальное название, – сказал он и добавил после небольшой паузы: – Они похоронены недалеко отсюда, на городском кладбище. Если хотите, можем подъехать.

– Да, я хотел бы побывать там. Непременно. А сейчас, господа, о той метаморфозе, как вы это назвали,

которая произошла в «Эрдойль» за последние два-три года, – сказал Макс.

Он начал с истории своего увольнения, затем перешел к содержимому брегета и, наконец, к поездке в Женеву. Кульминацией рассказа было драматическое заседание Совета директоров. Шмуэль и Рон слушали, затаив дыхание.

– Фантастика, триллер, граф Монте-Кристо! – воскликнул Шмуэль. – Теперь, подобно Дантесу, вы можете наказать мерзавцев. Вы сделали это?

– Нет, Шмуэль, я не литературный герой. Я решил не сводить счеты.

– Вот как. Вы сильный человек, Макс. Только сильный способен прощать. Слабый не прощает никогда.

– Макс, ты должен написать об этом книгу. Она затмит историю Ли Якокки, – предложил Рон.

– Я подумаю, – сказал Макс.

...Закончив беседу, они отправились на кладбище. Могилы Алекса и Андрея объединяла общая мраморная плита у изголовья, на которой было выгравировано: «Прожили мало, успели много». Перед уходом Макс положил по камешку на каждую из них. «У меня предчувствие, Макс, что вы примете эстафету», – сказал Шмуэль.

14

Первый день осмотра Иерусалима подходил к концу. Эсти показала Максу Старый город, Стену Плача, туннель Хасмонеев, пробитый в скале еще до новой эры, и колоритный арабский базар («шук арави»), представляющий собой лабиринт узких улочек, протянувшихся в общей сложности на многие километры. Теперь они поменялись ролями. Эсти рассказывала, а Макс слушал. Все увиденное и услышанное произвело на него большое впечатление. Двухтысячелетняя история ожила и предстала перед ним в виде удивительных инженерных сооружений далеких эпох, раскопок, названий улиц, застывших традиций и абсурдных запретов. Религия и политика, кровавые войны и не менее кровавые междоусобицы, разрушения и восстановления,

изгнания и возвращения были переплетены и спрессованы во времени на этом клочке земли, как нигде в мире.

Макса особенно поразила действующая модель Храмовой горы, установленная в одном из подземных залов туннеля Хасмонеев. Она приводилась в движение нажатием кнопки. Постройки, оборонительные стены, архитектурные блоки одной эпохи рушились и исчезали, а их место занимали сооружения следующей эпохи. Это происходило на глазах у изумленных зрителей и напоминало смену декораций на трагической сцене Истории, ибо каждая такая «смена» сопровождалась реками крови. В течение нескольких минут возникали одна за другой эпохи Первого храма, Второго храма, правления римлян, крестоносцев, арабов, турок. Зрелище было фантастическое и напоминало путешествие через века и тысячелетия в машине времени...

Внимание Макса привлекла большая шестиконечная звезда, выбитая на стене под сводчатым потолком.

– Знаешь ли ты истинный смысл этого изображения? – спросила Эсти.

– Знаю, что это звезда Давида, но никогда не слышал, что она имеет какой-то особый смысл.

– Прежде всего – это эмблема. И как во всякой эмблеме, в ней заключена определенная символика.

– И какова же она? – спросил Макс, предвкушая очередной интересный рассказ.

– Объяснений несколько, но все они, кроме одного, ничего не объясняют. Эта эмблема была изображена на круглом щите царя Давида. Поэтому буквальный перевод с иврита – не звезда, а щит Давида. Как видишь, геометрически это очень простая фигура – два треугольника, наложенные один на другой. И в каждом из них заключен столь же простой символический смысл. Треугольник, обращенный вершиной вверх, указывает на небесные сферы, где, как принято считать, обитает Всевышний. Треугольник, обращенный вершиной вниз, указывает на землю, где обитает избранный им народ. Таким образом, вся фигура представляет собой предельно выразительное, без каких-либо геральдических излишеств, графическое изображение союза между Богом и народом, – объяснила Эсти. Она

сделала паузу и продолжила: – Этот союз (на иврите брит) – главный идеологический стержень Торы. Он сопровождает еврея с самого рождения, а точнее с момента обрезания на восьмой день после рождения, когда брит скрепляется кровью, и до смерти, когда читается поминальная молитва. И обрезание, и молитва посвящены в большей степени Богу, чем самому человеку. Все остальное в Торе – это лишь исторические хроники, предания, легенды и толкования. Кстати, задумывался ли ты, почему Бог избрал именно еврейский народ?

– Почему же? – спросил Макс с нескрываемым интересом.

– О, это совсем просто, – Эсти снова улыбнулась. – Потому что этот народ избрал именно этого Бога. И у Всевышнего не оставалось иного выхода, как, на основе взаимности, избрать для своих экспериментов именно этот народ. Другие народы избрали других богов. И, с точки зрения этих богов, тоже могли бы объявить себя избранными. Но они до этого не додумались. Между прочим, их боги тоже увлекаются экспериментами...

Макс снова поразился тому, что здесь, на этой древней земле, каждый камень, каждое слово и каждый знак имеют свой символический смысл – иногда глубокий и мудрый, а иногда наивный и абсурдный. Эта символика прочно укоренилась не только в религиозной философии, но и в сознании значительной части народа, наложив особый, порой фатальный отпечаток на его историю...

Эсти рассказала несколько любопытных историй, связанных с Храмовой горой. Одна из них касалась еврейской свадебной традиции разбивания женихом стакана ударом ноги. Макс всегда считал, что стакан разбивается «на счастье». Оказалось, что это не так. Традиции уже две тысячи лет и символизирует она разрушение Храма, о чем нельзя забывать даже в самые счастливые минуты... Другая история была связана с арабским завоеванием Иерусалима в седьмом веке. Халиф Омар, победивший христиан-византийцев, решил построить мечеть на Храмовой горе, но обнаружил, что она превращена ими в городскую мусорную свалку. Он очистил ее необычным способом – разбросал по

всей территории горсти золотых монет. Бедняки в поисках денег должны были разгребать мусор и удалять его. За несколько дней гора стала чистой. Это обошлось дешевле, чем нанимать рабочих. «Прекрасный метод восстановления экологии, – заметил Макс. – Почему бы не возродить его сейчас?»

После туннеля Хасмонеев они вернулись на площадь у Стены Плача. Макс прошел к мужскому участку Стены, а Эсти осталась ждать его на площади. Он с удивлением и любопытством наблюдал за всем, что происходило вокруг него в этом древнем священном месте. Молящиеся стояли почти вплотную к Стене, закрыв глаза, раскачиваясь взад-вперед то в ускоренном, то в замедленном темпе, время от времени прикасаясь рукой и губами к отполированным тысячелетиями каменным плитам. Макс стал внимательно вглядываться в их лица, жесты, вслушиваться в резко меняющиеся интонации незнакомой речи. Все это выражало отрешенность и исступленное погружение в тот недоступный посторонним виртуальный мир, где происходит таинство общения с Богом. «Так это, наверное, было и две тысячи лет назад, – подумал он. – Интересно, изменилось ли что-нибудь с тех пор? Неужели гигантский технический прогресс прошел мимо столь экзотического реликтового сообщества?»

Не успел он задать себе этот риторический вопрос, как получил исчерпывающий ответ на него. К Стене подошел благообразный пожилой человек с пейсами и седой окладистой бородой. Он вытянул вперед правую руку, приложил ее к каменной плите и замер в такой позе. Он не раскачивался подобно остальным, его губы не шевелились. Он не молился. Просто стоял неподвижно на расстоянии вытянутой руки от Стены. Макс стал с интересом наблюдать за ним. Вдруг, приглядевшись к его руке, он увидел, что человек не опирается на Стену, а держит около нее мобильный телефон. Это еще больше поразило и заинтриговало его. Соединение новейшей технологии с глубокой древностью казалось немыслимым и сюрреалистическим. Макс извинился за любопытство и спросил, что означает столь необычный ритуал.

– Видите ли, уважаемый, – объяснил незнакомец, – мой брат живет в Нью-Йорке и молится по телефону у Стены Плача. Да будет вам известно, что Америка – это часть Иерусалима. – Он хитровато улыбнулся и отчетливо произнес, расчленив слово на три части: – Jer-USA-lem.

В этот момент внимание Макса привлек другой человек, с пухлым портфелем в руке. Он подошел к Стене и начал вынимать из портфеля маленькие рулончики стандартной писчей бумаги, складывать их пополам и засовывать в щели между камнями. Владелец мобильного телефона увидел, что Макс с удивлением наблюдает за этими действиями.

– Мне кажется, уважаемый, вы хотите спросить, что он делает, не так ли?

– Буду признателен, если объясните.

– С удовольствием. Это служащий телефонной компании. Он вкладывает в щели обращения к Богу, поступающие по факсу со всего мира.

Только сейчас Макс заметил, что все щели между камнями нашпигованы плотно спрессованными бумажками разных размеров.

– Что это за бумажки? – спросил он своего нового гида.

– О, это записки к Всевышнему. С их помощью каждый имеет уникальную возможность обратиться к Нему напрямую, без посредников. Единственный посредник – сама Стена.

– Каждый? И я тоже?

– Вне всякого сомнения.

– А на каком языке должна быть записка?

– На любом. Он читает на всех языках. Главное – обращение должно быть искренним и правдивым. Никакой фальши или корысти.

– На любом языке? Могу ли я написать на немецком?

– Можете, конечно. Но мы ведь разговариваем с вами на английском. Почему вы хотите написать по-немецки? Напишите по-английски. – Он подумал и добавил:

– Так будет лучше.

Собеседник Макса извинился, сказал, что торопится, пожелал ему доброго дня и начал пятиться от Стены. Макс вопросительно посмотрел на него. Тот заметил это и объяснил: «К Стене нельзя поворачиваться спиной. Таков наш закон».

Молитва по телефону, обращения к Богу по факсу, записки в щелях, запрет поворачиваться к Стене спиной – все это было для Макса неожиданным и удивительным. Он почувствовал себя невольным свидетелем таинственного фантастического священнодействия, герои которого разыгрывали вечную библейскую тему сложных и запутанных отношений между человеком и Богом. Ему захотелось немедленно обсудить все это с Эсти и задать ей множество вопросов. Его первый вопрос касался записок.

– А что происходит с ними потом?

– Потом? Ничего особенного. Дважды в неделю уборщики вытаскивают их из щелей железными крюками. Потом их отвозят на специальный участок кладбища.

«Вот как. Отвозят на кладбище», – подумал Макс. Таинственное священнодействие обернулось ритуальным захоронением человеческих ожиданий и надежд. Задавать другие вопросы он не стал...

Эсти была хорошим гидом. Она распланировала экскурсию по городу на два дня, а на третий день наметила поездку к Мертвому морю. Поэтому возвращаться в Тель-Авив не имело смысла, и она предупредила Рона, что ночевать они будут в Иерусалиме. Назавтра предстояло посещение мемориального музея Катастрофы «Яд ва-Шем» с примыкающими к нему горой Герцля и военным кладбищем, где могилы генералов и солдат неотличимы одна от другой.

Они остановились в гостинице «Хилтон» и зашли поужинать в небольшой итальянский ресторанчик «Траттория» недалеко от нее.

– Макс, я так счастлива, что ты приехал. Наша встреча в Вене, открытие мемориала, сказочная поездка в Дюрнштейн – все это просто перевернуло мою жизнь. Я живу от встречи до встречи. А ты думал обо мне?

– Да, дорогая. Я думал о тебе, о себе, о Роне. И, говоря откровенно, не вижу выхода из этого треугольника. У нас нет будущего.

– А никакого выхода и не нужно. Пусть все так и остается. Наше будущее – это наше настоящее. Мы же можем себе позволить встречаться, где захотим и когда захотим.

– Почему ты так решила?

– Рон сказал, что ты сказочно богат, почти владелец компании. Вот я и подумала, что ты можешь в любое время поехать куда хочешь без чьего-либо разрешения. Разве это не так?

Макс рассмеялся.

– Во-первых, насчет сказочного богатства. Такие эпитеты годятся только для арабских шейхов. Я тебе уже говорил, что я состоятельный человек. Это действительно дает финансовую независимость, но не более того. А во-вторых, что касается поездок в любое время и в любое место, то у меня есть работа и большая ответственность перед компанией. Если я буду часто и подолгу отсутствовать, то ей будет нанесен ущерб.

– Макс, мне не нравится то, что ты говоришь. У меня такое чувство, будто я тебе надоела, и ты начинаешь искать отговорки. Это так?

– Нет, это не так. Я никогда не встречал такую женщину, как ты. Такую умную и такую сексуальную. Но мы должны быть реалистами. Нельзя, закрыв глаза, бросаться в омут...

– И это мне тоже не нравится. Какие-то благоразумные лягушачье-холодные слова. Работа, ответственность перед компанией, быть реалистами... Ладно, я знаю, как выбить эти вредные мысли из твоей головы. Идем в «Хилтон».

...Эсти несколько часов неутомимо выбивала из головы Макса мысли, которые ей не нравились. Она установила тариф. Каждый раз, когда он произносил слово «работа», она накладывала на него штрафное очко, а за слова «ответственность перед компанией» – три очка. И эти очки добавлялись к тому, что она, после латинского

изречения Макса, стала называть «древнеримской нормой». В конце концов, он сдался и обещал, что встречи с Эсти будут для него приоритетными. «С учетом форс-мажорных обстоятельств», – сделал он единственную оговорку. Эсти милостиво согласилась и добавила, что постарается держаться подальше от омута и не затаскивать в него Макса. Так, полушутя-полусерьезно, они заключили конвенцию, которую назвали иерусалимской.

Следующий день начался с мемориального комплекса «Яд ва-Шем», что переводится как «Рука и Имя». В еврейской культурно-исторической традиции рука служит символом памяти. Например, в молитве о Иерусалиме говорится: «Если я забуду тебя, о Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука». А значение и символика имени заключаются в том, что человек продолжает жить в памяти до тех пор, пока сохраняется его имя. Поэтому в картотеке музея хранятся миллионы имен жертв Холокоста, и она постоянно пополняется.

Наиболее зримо и трагично эта символика воплощена в уникальном зале памяти детей. В нем нет ни окон, ни электрического освещения. Слабый мерцающий свет исходит только от множества маленьких свечей. Их пламя отражается в тысячах зеркал, создавая подобие звездного небосвода. Звезды – это души убитых детей. Посетители молча проходят в темноте как бы внутри небосвода по специальному мостику. Рука каждого скользит по ограждающему поручню, указывающему направление. В абсолютной тишине дикторы, мужчина и женщина, поочередно на иврите и английском произносят имена. «...Шимон Яблонски, шесть лет, Польша... Ида Гринберг, девять лет, Украина... Павел Штеха, пять лет, Чехословакия...» Полтора миллиона имен, читаемых непрерывно. Все, кто входят сюда, испытывают ни с чем не сравнимое потрясение.

...Макс медленно продвигался по мостику. Ничего подобного он раньше не видел и не слышал. Вдруг его рука крепко сжала поручень. Дыхание у него перехватило. Он остановился, не в силах идти дальше. Нет, он не ослышался. «Эмма Адлер, десять лет, Австрия». Эмма, Эмми. Сестренка

Эмми. «Твоя сестра Эмми очень любит тебя. Когда ты был совсем маленький, она не отходила от тебя ни на шаг», – писал отец в прощальном письме. Судьбе было угодно, чтобы он встретился с ней здесь, в «Яд ва-Шем», в далеком Иерусалиме. Одна из тысяч мерцающих над ним звездочек – это она, ее душа. Чтобы не мешать идущим сзади, Макс и Эсти перешли на другую сторону мостика. Он замер в ожидании, будучи уверен, что сейчас услышит имя брата. Но дикторы уже читали другие имена. Макс подумал с беспокойством и горечью, что Арни по какой-то причине нет в списках. Однако Эсти уверила его, что это невозможно и что за разъяснением следует обратиться в отдел имен.

Сотрудник отдела выслушал их, включил компьютер и быстро нашел полную информацию: «Арнольд Адлер, двенадцать лет, Австрия, сын Леопольда и Берты, погиб в Маутхаузене вместе с родителями и сестрой Эммой». Макс попросил, чтобы имена Арни и Эмми произносились вместе. Его заверили, что исправление будет сделано незамедлительно. Затем, по его просьбе, были проверены имена родителей и деда Оскара. Они тоже оказались в списках. «С австрийцами у нас нет проблем, – сказал сотрудник. – Мы получили от них исчерпывающие данные. Они вели делопроизводство и учет с присущей им аккуратностью».

...После экскурсии по Иерусалиму была поездка к Мертвому морю. Наибольшее впечатление на Макса произвела легендарная крепость Масада недалеко от его южной оконечности. Вагон подвесной канатной дороги доставил их на плоскую вершину скалы, где на высоте 400 метров археологи обнаружили руины двух царских дворцов и крепостных укреплений. Крутые отвесные утесы образуют неприступную естественную границу по всему периметру крепости. Эсти рассказала, что Масада была построена в первом веке до новой эры царем Иродом, а спустя столетие вошла в историю как последний оплот восстания против Рима. Крепость, в которой укрылись девятьсот шестьдесят человек, включая женщин и детей, держалась три года после подавления восстания и падения Иерусалима. Десятый римский легион больше года осаждал ее, возводя насыпь и

готовясь к штурму. Когда защитникам стало ясно, что они не смогут противостоять многократно превосходящему противнику, было решено совершить коллективное самоубийство. Макс, как и все туристы, получил вместе с билетом на подвесную дорогу небольшой буклет по истории Масады. В нем была приведена последняя речь командира крепости Элиазара Бен-Яира, текст которой сохранился благодаря сочинению Иосифа Флавия «Иудейская война». Несмотря на двухтысячелетнюю давность, Макс прочитал ее с большим волнением. «Братья, мы первыми восстали против римлян и последними заканчиваем битву. Пришел наш час. Завтра те из нас, кто уцелеют в сражении, попадут в руки врагов, станут рабами и будут растерзаны дикими зверями на потеху язычников. Сегодня мы еще вольны выбрать славную смерть вместе с теми, кого мы любим. Наши жены умрут неопозоренными, наши дети не познают ужасов рабства. Но прежде мы истребим огнем дворцовые сокровища. Только воду и съестные припасы оставим в целости. Это покажет римлянам, что не жажда и голод нас принудили, а сами решили умереть свободными людьми в своей стране. Пока наши руки еще не скованы цепями и могут держать меч, пусть они послужат нам последний раз. В огне и крови Иудея погибла. В огне и крови Иудея возродится. Шма, Исраэль!» («*Слушай, Израиль!*» – *последний возглас евреев, идущих на смерть*). – «Шма, Исраэль!» – ответили сотни голосов. После этого каждый убил свою семью. Потом избрали по жребию группу воинов, которые закололи остальных. Наконец, последние оставшиеся десять человек подожгли крепость и метнули жребий. Тот, кому он выпал, заколол товарищей, а затем пронзил себя мечом. В живых остались только две старые женщины, от которых римляне узнали, что произошло. Командующий легионом Флавий Сильва был ошеломлен. Воздавая должное величию духа осажденных и их презрению к смерти, он приказал, вопреки традиции, не праздновать победу...

Спустя девятнадцать столетий при археологических раскопках в небольшой пещере около крепостной стены были обнаружены двадцать пять скелетов мужчин, женщин

и детей. В 1969 году они были захоронены с воинскими почестями. Главный раввин армии прочитал поминальную молитву. Безмолвие Иудейской пустыни разорвали залпы танковых орудий. Предсказание командира Масады исполнилось. Ежегодно в крепости принимают присягу солдаты бронетанковых войск. Ее последние слова: «Масада больше не падет!»

...После Мертвого моря Макс и Эсти вернулись в Тель-Авив, а потом отправились на два дня в Галилею, называемую израильской Швейцарией. Там кровавая история этой древней земли снова напомнила о себе. На развалинах крепости крестоносцев они увидели яростный призыв их свирепого предводителя герцога Готфрида Бульонского, высеченный на уцелевшей части фронтона: «Убивайте всех. Бог своих узнает».

– Богу, наверное, пришлось хорошо потрудиться в те времена, – сказал Макс и, подумав, добавил: – Не удивительно ли, что спустя семь столетий три свирепых правителя России, Китая и Камбоджи возродили этот безумный призыв. Они даже не нуждались в услугах Всевышнего, чтобы узнавать своих.

– Безумие заразительно и всегда повторяется. То ли еще будет... – Когда речь шла об исторических событиях, Эсти выражалась кратко и точно.

Макс улетел в Вену, полный впечатлений от переговоров со Шмуэлем, от Израиля и, конечно, от встреч с Эсти. Все складывалось как нельзя лучше – партнерство с «Дабл Эй», ожидание предстоящих открытий в Альберте, какой-то волнующий, но не очень понятный поворот в личной жизни...

15

Макс вызвал секретаря.

– Эрн, закажите пропуск для Зигфрида Кляйна. Когда он придет, сразу же пригласите ко мне.

– Хорошо, господин Адлер.

Кляйн появился за десять минут до назначенного времени. Он оглядел кабинет и одобрительно хмыкнул.

– Привет, Макс. Ты хорошо устроился. Рад за тебя. Наслышан, что тут у вас происходит. Однажды даже хотел

позвонить, но решил, что ты это неправильно истолкуешь. Подумал, может, сам когда-нибудь вспомнишь. Мы ведь неплохо работали вместе, если не считать этих нелепых последних лет.

– Не будем об этом, Зигфрид. Я пригласил тебя не для воспоминаний. Как ты, чем занимаешься?

– Консультирую иностранные компании. Недавно закончил большую работу по Болгарии. Получил приглашение от Албанской нефтяной компании. В общем, кручусь. Без работы не сию.

– Опасная у тебя работа.

– Опасная? Что ты имеешь в виду?

Макс снял с полки последний номер американского журнала «Oil and Gas».

– Вот, взгляни на этот рисунок.

Кляйн посмотрел и рассмеялся. Два детектива разглядывают труп, и один из них говорит: «Судя по жестокости и количеству ножевых ранений, убитый, видимо, был консультантом по разведке нефти».

– Да, не дай бог втянуть заказчика в проект типа «Большой мухи». Легко можно оказаться в положении этого парня.

– Хочешь поработать в Австралии? – спросил Макс.

– В Австралии? Для «Эрдойль»?

– Нет. Никакого отношения к «Эрдойль». Частный проект для одной небольшой иностранной фирмы. Она ведет разведочное бурение, но у них нет своего геолога. Гонорар весьма приличный, намного больше, чем тебе платят болгары или албанцы.

– Что за работа?

– Геологический контроль за бурением разведочных скважин, их испытание и подсчет запасов. По окончании разведки они хотят продать месторождение. Поэтому надо будет участвовать в тендере в качестве эксперта по геологии.

– Ну что ж, дело привычное. Когда начинать?

– Через месяц у них стартуют три скважины. Три они уже пробурили. К этому времени тебе надо быть на месте. И еще вот что. Работа абсолютно конфиденциальная. Никто

здесь о ней знать не должен. Поэтому все это время ты обязан жить в режиме сухого закона. Если сорвешься, контракт будет сразу расторгнут.

– С этим все в порядке, Макс. Я уже давно завязал.

– Так что, берешься?

– Нет проблем. Макс, ты упомянул гонорар. Нельзя ли уточнить, о какой сумме идет речь?

– Речь идет о повременной оплате. Сколько тебе платят заказчики в месяц?

Кляйн назвал цифру.

– Будешь получать в тройном размере, – сказал Макс. – Но повторяю – никакой утечки информации. Даже о том, что я тебя рекомендовал на эту работу, никто знать не должен. От ее результатов зависят твои дальнейшие заказы.

– Понял. Можешь не беспокоиться. Ты меня знаешь.

Блок Стин Ривер вызвал интерес у многих компаний. Поэтому торги были упорными. Макс увеличил взнос при подписании контракта до двух миллионов долларов и включил в заявку ряд дополнительных обязательств, которые могли склонить чашу весов в пользу «Эрдойль». Они касались главным образом сокращения сроков разведочных работ, в чем правительство Альберты было особенно заинтересовано. В итоге компания выиграла тендер, и Макс сообщил Рону, что они могут приступить к отбору образцов.

Ответный факс пришел в тот же день. В нем указывалось место и время встречи с Пьером Леже в Калгари, а также уточнялись обязанности геолога «Эрдойль», который будет с ним работать. Под верхним обрезом страницы были обозначены стандартные данные: время отправления, факс отправителя и название компании «Дабл Эй». Все это машина в Тель-Авиве печатала автоматически.

Эрна приняла факс и сняла с него копию. Оригинал сразу же передала Макс, а копию положила в сумочку...

Рудольф Вернер вызвал Рейнгольда Кларке. Это был новый сотрудник бумажного синдиката.

– Рейнгольд, у меня к вам не совсем обычный вопрос. Вы ведь раньше работали в нефтяной компании. Не приходилось ли вам слышать о какой-то новой разведочной технологии, – Вернер заглянул в блокнот и прочитал: – «которая позволяет обнаруживать месторождения быстро и с минимальными затратами и которая разработана небольшой фирмой»?

– Видите ли, господин Вернер, я не специалист по разведке, хотя и имею некоторое представление о ней. Это определение, я бы сказал, слишком общее, расплывчатое. Насколько мне известно, каждая компания старается вести разведку быстро и с минимальными затратами. Здесь многое зависит от опыта и квалифицированности персонала.

– Это понятно, Рейнгольд. Я имею в виду нечто другое – новая технология или, возможно, изобретение, которые никак не связаны с квалификацией персонала.

– Боюсь, что не смогу быть вам полезным, господин Вернер. Если была бы какая-нибудь дополнительная информация: ну, допустим, техническая основа изобретения или хотя бы название фирмы...

– Да, я понимаю. Данных мало. Точнее, их почти нет. Хорошо, можете идти.

Год назад Рональд Кларк, начальник отдела специальных проектов «Альбион Энерджи», находился в районе дельты Амазонки, где улаживал конфликт с бразильскими индейцами из-за бурения разведочной скважины на их землях. Он только что вернулся на базу в городке Белем после трехдневной поездки на остров Кавьяна. Его ждал факс из Лондона с сообщением об аварии вертолета, гибели руководства компании и предписанием о немедленном возвращении. Кларк сразу же связался с транспортным отделом и выяснил, что вертолет прошел техосмотр за три дня до злополучного рейса. Старший авиамеханик заверил его, что машина была в полном порядке, а погодные условия нормальные. Он добавил, что в день аварии внезапно исчез помощник механика, ирландец, который был принят на работу девять месяцев назад. У многих это вызывает подозрение. Не исключено, что здесь

замешаны террористы из Ирландской республиканской армии.

Кларк умел анализировать факты, извлекать из них нужную информацию и делать правильные выводы. Он вспомнил, уже не в первый раз, операцию в Лонгриче и угрозу Алекса Франка: «Когда что-то случается с нашими людьми, то виновные просто взрываются в своих машинах и офисах». Да, все сходится. Это, несомненно, их рук дело. Ирландцы здесь ни при чем. После взрыва самолета с людьми «Дабл Эй» Кларк жил в тревожном ожидании, что что-то должно произойти. Теперь он не сомневался, что следующим будет он, Рональд Кларк, непосредственный исполнитель акции. Если уж они добрались до верхушки компании, то ему вряд ли удастся ускользнуть. Что же делать? Вернуться в Лондон и принять участие в расследовании? Без него оно не сможет пойти в правильном направлении. Только он держит в руках ключ к событиям и понимает, что произошло.

Кларк сделал глоток виски и закурил сигару. «Но какой вообще смысл в расследовании? – подумал он. – Даже если вертолет поднимут со дна и установят, что это была диверсия, – что дальше? Тех, кто это сделал, наверняка след простыл. А те, кто стоят за ними, навсегда останутся в тени и вне досягаемости». Каким бы странным это ни казалось, расследование было не только бесполезным, но и нежелательным. По ходу следствия обязательно всплывет история с «Дабл Эй», и ничего хорошего это не предвещает. Как всегда в таких случаях, потребуются козел отпущения. А лучшего кандидата на эту роль, чем он сам, не найти. Кларк стряхнул пепел и отхлебнул еще виски. Мелькнула мысль, что дело принимает слишком личный оборот. При любом раскладе ему несдобровать. Или на нем отыграется компания, или, что еще хуже, – те, кто устроил аварию вертолета. Нет, он не вернется в Англию. Сейчас единственный выход – это затеряться в огромном мире и начать новую жизнь.

Кларк положил на стол стопку газет, накопившихся за время его отсутствия, и стал рассеянно просматривать их. Неожиданно его внимание привлек раздел объявлений о

работе в «Файнэншиэл Таймс». Требуется, приглашаются, хорошие условия... Эти объявления как нельзя более соответствовали его мыслям. «Найти работу будет не так уж трудно, – подумал он. – Несколько лет на должности менеджера в крупной компании, диплом психолога Кембриджа, докторантура Боннского университета, знание основных европейских языков... Жизнь снова может обернуться не худшей своей стороной...» Он перевернул страницу и увидел объявление бумажного синдиката в Вене: «Требуется руководитель сектора англоязычных стран в отделе экспорта... Свободное владение немецким и английским... Опыт ведения деловых переговоров... Знание основ психологии торговли и бизнеса...»

Через месяц Кларк уже работал в синдикате. Он слегка изменил свою внешность, вместо пышной шевелюры была теперь короткая стрижка. А главное – должность руководителя сектора занял не Рональд Кларк, а Рейнгольд Кларке, доктор психологии Боннского университета.

Вернер снова вызвал Кларке.

– Рейнгольд, в прошлый раз вы сказали, что нужна какая-нибудь дополнительная информация. Вот, взгляните на этот факс. Он адресован Макс Адлеру из «Эрдойль Гезельшафт». Нет ли в нем чего-то, что приблизит нас к пониманию вопроса?

Кларке начал читать текст. Первым, что бросилось в глаза, было хорошо знакомое название «Дабл Эй» под верхним обрезом. Затем имя Пьер Леже. Это тот парень, которого разыскал Дэвис из «Игл Корпорэйшн» и о котором он рассказал покойному Ларри Эвансу. Кларке прочитал короткий текст дважды и запомнил его. Потом вернул Вернеру.

– К сожалению, здесь нет ничего такого, что может прояснить вопрос. Во всяком случае, мне это ни о чем не говорит. Но хочу еще раз подчеркнуть, что я не специалист в этой области.

– Понимаю. А что такое, по-вашему, «Дабл Эй»?

– Трудно сказать. Возможно, это маркировка акций и других ценных бумаг – Дабл Эй, Трипл Эй (*Double AA*,

Triple AAA – двойная и тройная надёжность, англ.). Здесь это может указывать на степень срочности или важности информации.

– Да, логично. Но нам это ничего не объясняет. Спасибо, Рейнгольд. Это все, что я хотел спросить. Можете идти.

У Кларка-Кларке не было ни малейшего желания опять впутываться в какие-либо дела, связанные с «Дабл Эй». Не для того он перебрался в тихую Австрию и сменил имя, чтобы снова оказаться в водовороте кровавых событий. Вернер еще не знает, во что ввязывается. Но предупредить его он не может. Это раскрыло бы тайну самого Кларка. Поэтому лучше держаться от всего подальше...

И тем не менее этот эпизод заставил его снова вспомнить всю цепь драматических событий. С чего все начиналось? С информации, которую Эванс получил от своего приятеля Дэвиса. Сам Дэвис и его «Игл Корпорэйшн» остались в стороне и перекинули hot potato (*«горячая картофелина» – неприятная или опасная проблема, от которой стараются избавиться или перебросить другому, англ.*) руководству «Альбион Энерджи», где первую скрипку играл напористый мачо Бриссон, Гарри Ковбой. И вот, из-за этого авантюриста, он, Рональд Кларк, сидит сейчас в бумажном синдикате и дрожит за свою жизнь. Ведь он предупредил его, что с «Мосадом» нельзя связываться...

Все эти мысли и воспоминания вызвали у Кларка острое желание расквитаться с кем-нибудь за свою сломанную карьеру. Но с кем? Не с теми же, для кого кабина вертолета стала общим саркофагом. А не перебросить ли hot potato обратно туда, откуда они ее получили? Идея ему понравилась. Он нашел в Интернете факс Дэвиса и отправил ему анонимное сообщение: «Фирма "Дабл Эй" планирует отбор образцов почвы для "Эрдойль Гезельшафт" на разведочном блоке Стин Ривер. Руководит работой Макс Адлер. Отбор будет производить известный вам Пьер Леже, который встречается с геологом "Эрдойль" в Калгари, в таком-то месте, в такое-то время». Чтобы на

факсе не появились слова «Бумажный синдикат», Кларк отправил его из ближайшего почтового отделения.

Билл Дэвис прочитал факс еще раз. Он вызвал у него какое-то тревожное ощущение. Что-то было здесь явно не так, не в соответствии с нормами и правилами деловой переписки. И главное в этом несоответствии, конечно, отсутствие подписи. Он снял трубку и набрал номер Джека Тэйлора: «Зайдите, Джек».

– Вот, Джек, прочитайте, – сказал он и передал ему текст. – Что вы об этом думаете?

– Станный факс. Анонимный. Слова «известный вам Пьер Леже» говорят о том, что автор знает что-то о нашем прошлом интересе к «Дабл Эй» и о встрече с этим парнем из Квебека. Вы, Билл, рассказывали эту историю только покойному Ларри Эвансу, не так ли?

– Только ему и никому больше.

– Но факс не из Лондона, а из Вены. Из какого-то почтового отделения. Это тоже странно. Ясно одно – кто-то пытается снова столкнуть нас с «Дабл Эй», но сам при этом хочет остаться в стороне. Не думаю, что мы должны реагировать на такую информацию, очень похожую на провокацию. Вспомните две загадочные авиационные катастрофы – самолета с людьми «Дабл Эй» в Австралии, о которой вам рассказал Эванс, и ровно через год гибель его самого и всей верхушки «Альбион Энерджи» в Северном море. У меня ощущение, что эти события как-то связаны между собой. В любом случае нам лучше в эти дела не впутываться. А что касается факса, то его нужно просто выбросить.

– Пожалуй, вы правы, Джек. Я так и сделаю.

Когда Тэйлор ушел, Дэвис отыскал в Интернете факс нового вице-президента «Альбион Энерджи», занявшего место покойного Эванса, и переадресовал сообщение ему. Затем спустился на первый этаж, зашел в небольшой магазин фотопринадлежностей и переслал оттуда факс в Лондон. Он тоже не хотел держать в руках горячую картофелину. Но и забывать о неприятных и даже трагических событиях, связанных с «Дабл Эй», не

собирался. Что-то, сидевшее глубоко в душе, не давало ему простить и прокол Фрэйзера из «Независимых детективов» в Вермиллионе, и скандальную итальянскую аферу, стоившую карьеры Андерсону, и гибель его друга Ларри Эванса. «Проблема не исчезла. Попробуем еще раз разобраться с ней», – подумал Дэвис и усмехнулся...

16

Разведочные работы в Канаде и в Австралии продвигались успешно. «Дабл Эй» выполнила анализ образцов почвы на блоке Стин Ривер, и Макс определил по ним участки для бурения. Три первые скважины были намечены на зиму, и он планировал на это время приезд в Канаду. Текущей оперативной работой по блоку занимался филиал «Эрдойль» в Калгари, а Дейв Пауэлл получил новое проектное задание – разведку концессии в Северном море. Хотя Макс теперь и доверял ему, но не настолько, чтобы посвятить в дела, связанные с «Дабл Эй».

Зигфрид Кляйн уверенно и грамотно вел работы на блоке Уинтон. Макс регулярно получал от него информацию на свой домашний компьютер и по телефону. Таким образом, «Эрдойль» не была вовлечена ни прямо, ни косвенно в то, что происходило в Австралии.

Макс прилетел в Калгари солнечным зимним утром. Он взглянул на заснеженные поля вокруг аэропорта и подумал, что не зря захватил горнолыжное снаряжение. Его встречал Франц Пик, менеджер канадского филиала. По дороге в город он сообщил последнюю информацию о бурении на Стин Ривер и сказал, что вертолет заказан, и завтра они могут лететь в район разведки.

Следующий день Макс и Франц провели на буровых. Все три скважины уже прошли первые сотни метров. Макс познакомился с инженерами, обсудил с ними геологические аспекты бурения и внес в проект кое-какие незначительные изменения. В Калгари вернулись поздно вечером. Утром Макс побывал в офисе филиала, где Франц представил ему сотрудников.

И вот, наконец, он закончил дела, уложил вещи в джип «тойоту», закрепил на нем лыжи и отправился на

неделю в горы. Конечным пунктом поездки был городок Кимберли, недалеко от американской границы, лежащий у подножья самой длинной освещенной горнолыжной трассы в Северной Америке. Поэтому сюда съезжаются любители ночного катания со всего континента. Макс выехал на Трансканадский хайвей и повернул на запад. Через сто километров равнина закончилась, и дорога вошла в канадские «рокки». Он проехал на запад еще пятьдесят километров, миновал жемчужину этого края городок Банф с его всемирно известным Международным центром искусств, повернул на юг по девяносто третьей дороге и пересек границу Альберты с Британской Колумбией. Еще двести пятьдесят километров вдоль величественных горных вершин, глубоких ущелий, стремительных горных рек, горячих источников и индейских резерваций, и вот перед ним возник словно игрушечный Кимберли, считающийся из-за своей архитектуры «самым австрийским городком» в Скалистых горах. И действительно, сочетание типичных тиролевских домиков и улочек с петляющими горнолыжными трассами на соседних вершинах напомнило Максу район Инсбрука в Австрийских Альпах, где он обычно проводил зимний отпуск.

Он доехал до места в полдень, как и рассчитывал. Зарезервированный накануне небольшой уютный коттедж, внешне напоминавший горную хижину, уже подготовили к его приезду. Около камина были аккуратно сложены наколотые сухие поленья, на столе стояли ваза с фруктами и бутылка «Шабли». Макс принял душ, перекусил, немного отдохнул и облачился в горнолыжный костюм. Он не вставал на лыжи почти год и не стал терять время.

Через десять минут кресельный подъемник уже плавно нес его к вершине горы Северная Звезда. Сидя в кресле высоко над землей, Макс с каким-то привычным, но неизменно восторженным трепетом осматривал сказочно красивые окрестности. Лыжи были для него не только стремительным бегом вниз по склону, но и неповторимым зрелищем, волшебным сочетанием горных вершин, голубых озер, ослепительно белого снега и солнца. На все это можно было смотреть только через специальные защитные очки,

закрывающие половину лица. Они приглушали яркие солнечные краски и придавали им фантастический желтовато-голубоватый оттенок. Макс всегда воспринимал это зрелище как воплощение всего самого прекрасного и волнующего, что есть не только в природе, но и, по некой необъяснимой ассоциации, в искусстве – живописи, скульптуре, музыке, поэзии. Кроме того, он хорошо представлял себе, как рождались эти горы, какие глобальные катаклизмы сталкивали континенты и океанические плиты, как из всего этого хаоса возникла удивительная гармония горных хребтов и долин. И это знание добавляло к его восприятию еще одну грань, связанную с тектоническими играми природы, которые для Макса были столь же понятны и реальны, как застывший современный горный ландшафт.

Двухместное кресло подъемника приближалось к вершине. Макс откинул наверх предохранительную раму, поднял концы лыж и приготовился прыгнуть на снег.

– Вы направо или налево? – предупредительно спросил сосед, чтобы отъехать в другую сторону и избежать столкновения при соскоке.

– Все равно, – ответил Макс.

– Тогда я направо. О'кей?

– О'кей.

Макс легко соскочил с продолжавшего двигаться кресла и отъехал на левую стартовую площадку. Он окинул взглядом уходящую круто вниз извилистую трассу «Олений рог», согнул колени, сильно оттолкнулся палками и начал спуск, быстро набирая скорость. Ветер свистел в ушах, края лыж с хрустом резали снег на виражах – вжик, вжик... Возникло знакомое ощущение абсолютного владения телом и полного контроля над скоростью. Макс любил быстрый спуск, азарт обгона и своеобразную игру, когда ты некоторое время идешь за кем-то след в след, повторяя его движения, а потом вдруг резко набираешь скорость и уходишь вперед.

...Далеко внизу он заметил женскую фигурку. Она спускалась легко и изящно, длинными прямыми ходами с едва заметными виражами. Макс увеличил скорость и сократил расстояние с ней. Ее техника была безупречна. Она

шла на параллельных лыжах, ноги тесно прижаты одна к другой, корпус неподвижен, и только оба колена отклоняются вместе то влево, то вправо. Вот она выбрасывает вперед правую палку, делает легкий укол около острия лыжи, переносит тяжесть тела на другую лыжу и входит в короткий левый вираж. Потом левая палка идет вперед – и такой же правый вираж. Приталенный костюм подчеркивал ее ладную фигуру. Длинные рыжие волосы распластались на ветру. Макс какое-то время идет за ней след в след, а потом обгоняет. Поравнявшись, он бросает на нее быстрый взгляд, но увидеть лицо не удастся – оно закрыто защитными очками. Непонятно почему, но ему вдруг очень захотелось увидеть его. Объяснить это желание он не может, да и не пытается. Он просто подчиняется ему. Макс сбрасывает скорость и пропускает лыжницу вперед. До конца спуска он висит у нее на хвосте. В конце трассы она делает широкую плавную дугу и подъезжает к очереди на подъемник. Макс повторяет дугу и становится за ее спиной. Очередь короткая и движется быстро. Он подсчитывает пары и понимает, что они окажутся в одном кресле.

С полминуты они едут молча. Макс боится разрушить овладевшее им какое-то волнующее предчувствие. Наконец, он медленно поворачивает голову, пристально смотрит на нее и тихо произносит: «Джулия». Она замирает и продолжает неподвижно смотреть прямо перед собой. Затем, не меняя позы, шепчет чуть слышно, одними губами: «Боже мой, Макс».

Комната была слабо освещена. Горели только три свечи по углам. В камине потрескивали поленья. На столе почти нетронутый ужин, заказанный в ресторане. Макс и Джулия сидели на диване, прижавшись друг к другу. Он обнял ее за плечи. Они разговаривали уже несколько часов. Время от времени возникали долгие паузы, которые заполнялись поцелуями.

Макс узнал, что Джулия развелась с мужем три года назад, что у нее есть сын, студент Гарварда. Она живет в Банфе, где руководит балетной студией в Центре искусств.

Он рассказал ей о себе, главным образом о том, что ее особенно интересовало, – что он не женат и что у него нет детей. Драматических событий последнего года Макс не коснулся.

– Ты уже три года одна. У тебя есть кто-то? – спросил он.

– Теперь есть. И не кто-то, а тот, кто был всегда. Был в моих мыслях, в моем сердце. Его зовут Макс Адлер.

– Я не о том. – Макс улыбнулся.

– А я о том. И ни о ком другом. И знаешь что, – не задавай глупые вопросы.

Макс поцеловал ее.

– Все эти годы я часто вспоминал тебя, – сказал он. – И нередко в самой неожиданной ситуации и в самом неожиданном месте. Когда-нибудь расскажу об этом. Ты очень удивишься, узнав, где и когда это происходило.

– Например? Ты меня заинтриговал. Скажи сейчас.

– Нет, сейчас не время. Как-нибудь потом.

– Ну хорошо. Давай о другом. Двадцать пять лет назад ты сделал мне предложение. Оно еще в силе?

– Разумеется. У него нет срока давности.

– Я согласна.

– Ты уверена? Даже если я так же беден, как тогда?

– Для меня это никогда не имело значения. Богатство – самая зыбкая разновидность счастья. Знаю по своей семье.

– Ну, а если я очень богат? Ты все равно согласна?

– Тогда подумаю.

– Ты прелесть, Джулия. Я действительно богат. А теперь, когда у меня есть ты, я сказочно богат. И снова прошу тебя стать моей женой.

– Пожалуй, я все-таки согласна. Несмотря на твое сказочное богатство. И знаешь, Макс, мы так долго ждали этого дня, что не будем откладывать и снова испытывать судьбу. Как только приедем в Банф, сразу же регистрируем брак в мэрии. Не возражаешь?

– Я готов ехать в Банф прямо сейчас.

– Сейчас не надо. Сейчас мы сделаем что-то другое. Немного переставим местами события и устроим настоящую первую брачную ночь. А потом в Банфе еще одну.

...В три часа ночи в голову Джулии пришла новая идея.

– Где это сказано, что первую брачную ночь нужно всю проводить в постели?

Она спрыгнула с кровати, подошла к окну и раздвинула занавески.

– Посмотри, что делается на трассе.

Макс направился к другому окну. Комната была освещена только неровными отблесками горевших поленьев. Прежде чем взглянуть в окно, он посмотрел на Джулию. Она стояла между ним и камином. Ее точеная, будто изваянная из мрамора, фигура балерины была очерчена огненными бликами. И каждая новая вспышка огня выхватывала из полумрака и освещала какую-нибудь другую часть тела – грудь, бедро, ногу.

– Ты не представляешь, дорогая, как красиво твое тело в свете каминного огня.

– Ты хочешь сказать, дорогой, что камин – это самое подходящее освещение для сорокапятилетней женщины? – Джулия засмеялась. – Нет, ты все-таки посмотри в окно.

Лыжная трасса была освещена. Работали подъемники. По снегу скользили лыжники. Макс вдруг вспомнились слова Шарля Ле Корбюзье: «В доме должны быть три главные вещи: первая – вид из окна, вторая – вид из окна и третья – вид из окна».

– Давай покатаемся пару часиков, – предложила Джулия.

И вот они снова на склоне. В ночном катании есть своя прелесть. Защитные очки не нужны. Без них краски более естественные, хотя и не такие яркие, как днем. Из установленных вдоль трассы динамиков льется хорошо подобранная музыка.

– Первое брачное ночное катание. – Джулия улыбнулась. – Будет что вспомнить и рассказать детям.

– Кому? – удивился Макс.

– Детям, – невозмутимо повторила Джулия, – нашим детям. Твоим и моим. Что тебя так удивило?

– Просто не думал об этом. – Макс замялся.

– Как так – не думал? Кому же ты оставишь свое сказочное богатство? Союзу девственниц или Армии спасения?

– Нет, но... видишь ли... возраст...

– Макс, тебе только пятьдесят шесть. Сам же говорил, что ты из породы долгожителей. Еще внуков дождешься. Я тоже в полном порядке. Какие проблемы?

– Ты права, дорогая, проблем нет. Поэтому, пока ты еще не беременна, давай-ка пройдемся по «черному ромбу» (*трасса высшей категории сложности*).

– Не возражаю. Хотя насчет беременности теперь не уверена.

Оба расхохотались. Через несколько минут они уже мчались по трассе «Тюлений ласт», вдоль которой стояли указатели с черными ромбами. Лыжи прыгали по бугристому склону, напоминая удары тюленьих ласт по снегу. Отсюда и название. Здесь требовалась особая техника, которой Макс и Джулия хорошо владели.

«Что за год! – подумал вдруг Макс. – Увольнение, наследство деда Оскара, Совет директоров, прямой метод. И в довершение всего – Джулия. Такой год заслуживает названия, как в Китае. Пусть он будет годом Золотого Брегета... Судьба знает, куда ведет нас. Но мы узнаем это только в конце пути...»

После регистрации брака в мэрии неожиданно самым сложным оказался вопрос о том, где им жить дальше. Джулия решительно отказалась возвращаться в Австрию, а Макс не мыслил свою жизнь без «Эрдойль». Они перебрали и обсудили различные варианты, включая Швейцарию, Францию, Америку, но ни на одном не остановились. Проблема была сложнее, чем казалась на первый взгляд. В конце концов они решили провести медовый месяц на Гавайях, а затем снова вернуться к ней. Но сделать это пришлось несколько раньше. Однажды, на острове Кауаи, они стояли на плоской вершине утеса, с которого речка Вайлуа срывается вниз, образуя самый красивый водопад архипелага. Джулия вдруг сказала: «Какое зрелище! Если бы не беременность, подошла бы к самому краю». Макс уже

привык к ее милой манере – говорить о делах первостепенной важности как бы невзначай, между прочим. И при этом смотреть ему прямо в глаза. «О Джулия!» – только и смог он воскликнуть. В этом возгласе было все – любовь, благодарность, счастье... «Я никогда не бросаю слов на ветер», – спокойно заметила она.

17

Разведка блоков Стин Ривер и Уинтон закончилась почти одновременно. На севере Альберты была обнаружена группа нефтяных месторождений, связанных с древними рифами. Как только появилось официальное сообщение об этом, стоимость акций «Эрдойль» резко подскочила. Макс выполнил обещание, данное на собрании акционеров.

Обе стороны были более чем довольны результатами сотрудничества друг с другом. У Шмуэля постепенно крепло убеждение, что участие Макса в их совместной работе не должно стать лишь эпизодом. Теперь он не сомневался, что в профессиональном отношении Макс не уступает Алексу, а по административному опыту и связям в нефтяном мире превосходит его. Поэтому если «Дабл Эй» будет и дальше заниматься тем бизнесом, стратегию которого разработал Алекс, то без Макса им не обойтись.

...На этот раз они встретились в Вене, в доме Макса. Разговор с самого начала принял деловой откровенный характер.

– Макс, я прилетел сюда, чтобы сделать вам серьезное предложение. Но прежде хочу сказать, что я очень доволен работой, которую вы и Кляйн проделали в Австралии. Насколько я знаю, наша карта по блоку Стин Ривер также полностью подтвердилась, и вы не пробурили ни одной сухой скважины.

– Да, все совершенно верно. Ваш метод указал нефтеносные рифы абсолютно точно. Скажу больше. Мы все-таки пробурили две сухих скважины. Но они лишь подтвердили надежность метода. Мы пробурили их намеренно на рифах, которые на вашей карте были отмечены как пустые, без нефти. Это была дополнительная проверка метода на отрицательный результат, если так можно выразиться. Иногда, как вы знаете, плохие

результаты намного хуже, а хорошие – намного лучше, чем ожидается. На Стин Ривер получился второй вариант – результаты превзошли наши ожидания.

– Прекрасно. Итак, вы проверили метод, а мы проверили вас. Поэтому я сейчас здесь. Я полагаю, что наше сотрудничество не должно на этом закончиться. Наоборот, это только начало. Надеюсь, вы того же мнения. Помните, тогда, на кладбище, я сказал о своем предчувствии, что вы примете эстафету от Алекса и Андрея?

– Помню. И сейчас у меня нет возражений.

– Замечательно. Видите ли, Макс, я не геолог и вообще не нефтяник. Моя специальность – деньги. Поэтому давайте перейдем к ним. Вы знаете, за сколько мы продали Камерон?

– Не знаю, но примерно представляю.

– Мы продали Камерон за триста пятьдесят миллионов долларов. Месторождение Уинтон стоит не меньше, если не больше. На него уже есть покупатель. Разведка одного такого месторождения занимает примерно полгода. Работая без особого напряжения, мы можем готовить по три месторождения каждые два года. Грубо это почти миллиард долларов. Ни один другой бизнес не обеспечивает даже близкую норму прибыли. Я предлагаю вам официально присоединиться к «Дабл Эй». Сейчас компания принадлежит трем владельцам. Моя доля составляет семьдесят процентов, и семьи Алекса и Андрея имеют по пятнадцать процентов. Остальной персонал – наемные работники. Если вы примете предложение, то я готов продать вам часть своей доли, вплоть до тридцати процентов. «Дабл Эй» – это особая компания. Она не имеет промышленной инфраструктуры и стационарной собственности. Все, чем мы владеем, это месторождения до их продажи и финансовые активы. Поэтому цена долевого участия по сравнению с доходами относительно невелика. После присоединения к компании вы автоматически получите доступ к ноу-хау. Это то, что касается финансовой стороны дела. Теперь о личных и профессиональных обязательствах. Вам придется уйти из «Эрдойль». Как вы понимаете, совмещать интересы обеих компаний

невозможно. Разумеется, вы можете сохранить пакет акций и получать дивиденды, но участие в работе австрийской компании исключается. Такова в общих чертах суть предложения.

– Все это довольно неожиданно. Я должен подумать, Шмуэль, – сказал Макс.

– Да, конечно. Надеюсь, это не займет много времени.

– Полагаю, что завтра смогу дать ответ. А пока такой вопрос. Как вы себе представляете нашу совместную работу в территориальном плане? Должны ли мы иметь общий офис в одной стране?

– Это не обязательно. Вы можете жить в любой стране. В Австрии или где-либо еще. При нынешнем уровне электронных коммуникаций это не имеет особого значения.

– Ну что ж, это упрощает дело. Знаете, Шмуэль, я ведь недавно женился. И моя жена ждет ребенка. А живет она в Альберте, в прелестном горном городке Банф. И не хочет уезжать из него. Если я приму ваше предложение, то смогу открыть офис в Банфе. Не так ли?

– Почему бы и нет. В любом месте земного шара, кроме Арктики и Антарктики. Так вы теперь женатый человек, Макс. Примите мои искренние поздравления.

– Спасибо, Шмуэль.

– Мне начинает казаться, Макс, что вы склонны принять мое предложение. Не так ли?

– Пока ничего не могу сказать. Я должен подумать. Завтра дам окончательный ответ.

– Хорошо. До завтра.

Вечером позвонила Эсти и снова попыталась уговорить Макса встретиться где-нибудь в Европе.

– Макс, ты нарушаешь иерусалимскую конвенцию. Поверь, женитьба – это не форс-мажорное обстоятельство и не повод для прекращения наших отношений.

– Сожалею, Эсти, но я вынужден денонсировать конвенцию в одностороннем порядке. – В голосе Макса послышалась шутивная интонация. – А если серьезно, то для меня женитьба – это больше, чем просто изменение

семейного положения. Я женился на женщине, которую любил всю жизнь. И у нас скоро будет ребенок.

– Вот как. Рада за тебя. И все-таки очень жаль... Ну что ж, давай сохраним хорошие воспоминания.

– В этом можешь не сомневаться. Ты была прекрасным мгновением в моей жизни.

– Спасибо, Макс. Будь счастлив.

– И ты будь счастлива, Эсти.

На следующий день Макс дал согласие на предложение Шмуэля. Сразу после этого они обсудили некоторые общие юридические вопросы, связанные с его присоединением к «Дабл Эй», и договорились, что окончательным оформлением документов займется Рон Берман. «Рон ознакомит вас также с материалами расследования событий, которые произошли в Австралии. Вы должны будете изучить их внимательно. У нас нет права на еще одну ошибку», – сказал Шмуэль.

18

...Прошло три года. В малоэтажном Банфе на берегу горной реки появилось новое трехэтажное здание из черного базальта, стекла и бетона. На его фронтоне были выбиты две большие буквы «АА» и ничего больше. Широкие окна кабинета Макса выходили на трехглавую горную вершину причудливой формы, как бы охраняющую город. Название ее, «Три сестры», напоминало о пьесе Чехова, которую он видел когда-то в Вене. На стене, напротив его письменного стола, висели портреты Алекса и Андрея, подаренные Шмуэлем. Иногда Макс пристально всматривался в их лица, словно пытаясь понять некую тайну, связанную с этими двумя парнями из России, почти его ровесниками, чья трагическая судьба так тесно переплелась с его собственной. Как им удалось то, в чем потерпели неудачу все остальные? Счастливый случай, внезапное озарение или долгий целеустремленный поиск? Что их объединяло, и в чем они отличались друг от друга? Внешне Алекс и Андрей были очень разные. Но что-то неуловимое сближало их даже на фотографиях. Наконец Макс понял, в чем дело. Это было выражение глаз, а точнее – взгляд. Оба смотрели на него в

упор, будто хотели не то спросить о чем-то, не то предупредить. Было в этом взгляде и напутствие, и предостережение одновременно. Они как бы говорили ему: «Макс, судьба выбрала тебя из тысяч других. Но не забывай, что за все надо платить. И не только деньгами. В бизнесе, как и на войне, важны не отдельные победы, а конечный результат».

Макс придавал особое значение тому, что Алекс и Андрей были из России. У него имелись для этого веские причины. Работая в «Эрдойль», он много слышал о российских геологах. Их поразительные успехи на территории Австрии превратились в своего рода легенду, которая берет начало со времени аншлюса, когда поиски нефти в стране резко активизировались. Германия катастрофически нуждалась в горючем и не жалела средств на разведочные работы. Открытие новых месторождений в Австрии стало стратегической задачей. Но несмотря на все усилия, результаты оказались более чем скромными. До конца войны были обнаружены только четыре незначительных залежи. Это привело к выводу, что потенциал открытий исчерпан и дальнейшие поиски не имеют смысла. После войны восточная часть Австрии вошла в советскую зону оккупации, и здесь было создано Советское нефтяное управление. Российские геологи, опираясь на уникальный опыт открытия более тысячи месторождений в собственной стране и применив open mind approach, пришли к заключению, что нефть искали не так и не там, где следовало. Уже в 1949 году в десяти километрах от Вены они открыли самое крупное в Австрии нефтегазовое месторождение Матцен, которое стало давать шестьдесят процентов всей добываемой в стране нефти. А вслед за этим обнаружили крупнейшее газовое месторождение Цверндорф, из которого Австрия получает половину всего добываемого газа. В общей сложности за пять лет были выявлены восемь новых месторождений. Столь впечатляющие успехи за короткое время на крохотной территории между Веной и чешской границей, где до этого проводилась интенсивная, но почти безрезультатная разведка, вызвали конфуз и растерянность

австрийских и немецких геологов. С тех пор престиж российской школы нефтяной разведки остается в Австрии очень высоким. Когда Макс однажды рассказал эту историю Шмуэлю, у того сразу же возникла аналогия с Израилем. «Теперь я, кажется, знаю, что требуется для открытия у нас месторождений, – сказал он с хитроватым прищуром. – Нужно создать Российское нефтяное управление. А для этого необходима оккупация страны хотя бы на пять лет. – Он помолчал и добавил серьезно: – Впрочем, насколько я знаю, Алекс пытался применить в Израиле этот знаменитый *open mind approach*, но его и близко не подпустили к разведочным работам. Мы, слава Богу, еще не оккупированы русскими. Израильские геологи не хотят испытывать конфуз и растерянность, которые постигли их австрийских и немецких коллег. Они предпочитают оставить страну без нефти...»

...Иногда в кабинет Макса по дороге из детского сада заходила Джулия с маленьким рыжеволосым Леопольдом-Оскарком, который называл себя коротко Лео. Он сразу же начинал носиться по комнате и переворачивать все что мог. Устав, он забирался под письменный стол и затихал, устроившись у ног Макса.

...В специально оборудованных комнатах работали операторы. На их компьютеры непрерывно поступала информация из разных стран, где «Дабл Эй» одновременно вела разведку нескольких блоков. Техническое состояние скважин, результаты испытаний, каротажные диаграммы, анализ керна – все эти данные систематизировались и передавались Зигфриду Кляйну, а от него поступали к Максусу. Отдельное крыло занимали мобильные бригады, отбиравшие образцы почвы в районах разведки. Руководил ими Пьер Леже. Никто из сотрудников, включая Кляйна, не имел ни малейшего представления о том, как анализируются образцы и какая информация из них извлекается. Работа была организована так, что каждый знал лишь свой непосредственный участок. И только Максусу был известен весь технологический цикл и ноу-хау.

Аналитические приборы находились в Израиле. В связи с возросшим объемом работ их количество было

сначала удвоено, а затем утроено. Работали на них опытные специалисты под руководством Рахель Франк.

Охрану компании и личную безопасность ведущих сотрудников обеспечивало агентство Давида Бен-Эзры, который создал для этого специальный отдел. Шесть сотрудников отдела во главе с Морисом Шахаром постоянно находились в Банфе.

...Дела «Дабл Эй» шли все лучше и лучше. Месторождения открывались, продавались, в разведку вводились новые блоки, на которых открывались новые месторождения. Все это напоминало гигантский хорошо отлаженный конвейер, приносящий огромные прибыли. Макс и Шмуэль регулярно встречались, координировали работу и обсуждали текущие вопросы. Время Золотого Берега продолжалось...

Такая активность не могла, конечно, ускользнуть от внимания нефтяных компаний. Многие признаки указывали на их возрастающий интерес к «Дабл Эй». Попытки этих компаний установить контакты с ее сотрудниками и получить информацию пресекались людьми Мориса Шахара быстро и решительно. У Макса и Шмуэля эти попытки не вызывали особого беспокойства. Они знали, что служба безопасности надежно прикрывает «Дабл Эй». Но вскоре им пришлось убедиться, что кое-кто имеет по отношению к ней более серьезные намерения, выходящие за рамки сбора информации...

Однажды в секретариат компании позвонил незнакомый человек. Он коротко представился: «Салман Асад, Саудовская Аравия». Сказал, что находится в Банфе и хотел бы встретиться с руководителями «Дабл Эй». По времени это совпало, видимо, не случайно, с приездом Шмуэля. Секретарь передала его просьбу Максусу. Посоветовавшись, Макс и Шмуэль назначили встречу на следующее утро.

За десять минут до назначенного времени к офису подъехал лимузин. Из него вышли трое – Салман Асад и сопровождавшие его крепкие молодые люди. Охрана проверила их документы и обыскала. Затем Асада

проводили на верхний этаж, в приемную Макса, а его спутникам было предложено расположиться в вестибюле. Гость вручил секретарю визитную карточку, которую она тут же отнесла в кабинет. Макс и Шмуэль с удивлением прочитали: «Доктор Салман Асад. Вице-президент Национальной нефтяной компании Саудовской Аравии. Глава группы советников министра нефтяной промышленности шейха Ахмеда Ямани». «Пригласите », – сказал Макс.

В кабинет вошел высокий, худощавый, элегантно одетый человек с явно европейскими чертами лица. На вид ему было лет шестьдесят.

– Доброе утро, джентльмены, – произнес он низким приятным голосом. – Вы, вероятно, удивлены моим визитом. Но мир нефтяного бизнеса сегодня очень тесен. Поэтому следует скорее удивляться тому, что мы не встретились раньше.

– Да, мы несколько удивлены, – ответил Макс. – Но поскольку название вашей страны ассоциируется со словом «нефть», то ничего слишком удивительного в этом визите нет.

Асад улыбнулся.

– Прекрасно. Мне бы хотелось с самого начала внести ясность в предстоящую беседу. Прежде чем встретиться с вами, я получил исчерпывающую информацию о вашей компании, о ее поразительных успехах и, не буду скрывать, о вас лично, джентльмены. Но вы обо мне ничего не знаете. Это ставит нас в неравное положение. Не в моих правилах вести разговор, зная многое о собеседниках, но оставаясь для них «таинственным незнакомцем». Чтобы устранить это неравенство, я готов ответить на ваши вопросы. Даже вопросы личного характера.

Шмуэль и Макс переглянулись.

– Хорошее начало, – сказал Шмуэль. – Нам оно нравится. Я, пожалуй, начну с вопроса, который покажется вам странным. Среди арабских интеллектуалов из стран Аравийского полуострова порой встречаются люди внешне мало похожие на арабов. Но все же некоторые черты лица,

иногда трудно уловимые, говорят об их происхождении. У вас, мистер Асад, совершенно отсутствуют столь характерные черты уроженца Саудовской Аравии. Чем это можно объяснить? Если считаете вопрос некорректным или неэтичным, можете не отвечать.

– Вопрос вполне корректный и этичный. Я, например, знаю, что вы оба евреи. И полагаю, что вы имеете право знать о моем происхождении. Я мусульманин, но не араб. Мои отец и мать родились в еврейских семьях в Галиции, принадлежавшей тогда Австро-Венгрии. В двадцатых годах они приняли ислам и навсегда связали свою жизнь с мусульманским миром. Я родился в Пакистане, где отец входил в состав высшего руководства страны. Он много лет был Полномочным послом Пакистана в ООН. Затем семья переехала в Саудовскую Аравию, где у отца было много друзей, в том числе члены королевской семьи и шейх Ямани, основатель Национальной нефтяной компании. – Все это Асад рассказывал с подкупающей прямоотой и откровенностью.

– Как звали вашего отца? – спросил Шмуэль.

– Мухаммед Асад.

– Мухаммед Асад? Не он ли автор книги «Принципы мусульманского государства»?

– Да, это его книга. Вы читали ее?

– Читал.

– Перу отца принадлежит немало книг. Если помните, в «Принципах» он развивает тезис о глубокой связи между исламом и либеральной демократией.

– Помню. Но не разделяю его.

– Не вы один. У отца было много оппонентов. Особенно среди мусульманских теологов. И все же я считаю, что в главном он был прав. Ислам в основе своей подлинно демократическое учение.

– Да, история необычная, – подвел итог Макс. – Возможно, есть некий смысл в шутке американского писателя Бернарда Маламуда, сказавшего как-то, что все люди евреи, только не все знают об этом... Итак, что свело вместе троих евреев? О чем они собираются говорить?

– Простите, мистер Адлер, но я не еврей. То случайное обстоятельство, что мои отец и мать родились евреями, не делает меня евреем.

– Не хотел вас обидеть.

– Вы совершенно не обидели меня. Поверьте, я рассказал о своем происхождении не для того, чтобы добиться вашего расположения. Вы спросили, я ответил. Не считаю, что должен что-то утаивать. К тому же, эта история достаточно известна в мусульманском мире. Если у вас нет других вопросов, джентльмены, я бы хотел перейти к цели моего визита.

– Это нас весьма интересует. Итак, какова же цель? – спросил Макс.

– Мы хотим купить вашу компанию, – спокойно ответил Асад.

– Не больше и не меньше... – произнес Шмуэль, не скрывая иронии.

– Больше нам не нужно, а меньше нас не устраивает. – Асад сделал вид, что не заметил иронического тона.

– Нам нечего продавать. У нас нет собственности, кроме здания, в котором мы сейчас находимся.

– Да, мы знаем, что ваши акции не продаются на бирже. Тейквер вам не грозит. Поэтому речь идет о покупке метода, – невозмутимо уточнил Асад.

– Он не имеет цены, – сухо ответил Макс. – Так же как камень Кааба в Мекке.

– Наша стартовая цена два миллиарда долларов. – Асад говорил так, будто пропускал слова собеседников мимо ушей. – Но это не окончательная цифра. Вы можете предложить свою.

– Нам было очень интересно познакомиться с вами, мистер Асад, и узнать необыкновенную историю вашего отца. Но боюсь, вы совершили столь далекое путешествие напрасно. Метод не продается, – твердо сказал Шмуэль.

– Не надо торопиться, джентльмены. Первая реакция не всегда правильная. Как я уже сказал, цена открыта для обсуждения. Я остановился в гостинице «Банф спрингс». И намерен пробыть в этих благословенных местах еще неделю. Позвоните мне, если вам будет что сказать.

– Желаем хорошо провести время, мистер Асад. Спасибо, что посетили нас.

Когда Асад ушел, Шмуэль взял лист бумаги и написал запрос своему другу в министерстве иностранных дел: «Срочно требуется информация о Мухаммеде Асаде, бывшем после Пакистана в ООН. Вопросы – семья, детство, учеба, карьера, социальный статус и все остальное, относящееся к его жизни».

– Пусть секретарь отошлет факс немедленно, – сказал он. – Саудовская нефтяная компания – одна из крупнейших в мире. Не мешает знать родословную ее вице-президента более подробно.

Ответ из Тель-Авива пришел на следующий день. «Мухаммед Асад, имя при рождении Леопольд Вайс. Родился в 1900 году в Лемберге (сейчас Львов), Галиция, тогда часть Австро-Венгрии. Дед Якоб Вайс – ортодоксальный раввин, отец Соломон Вайс – адвокат. Вскоре после рождения Леопольда семья переехала в Вену. Изучал философию и историю искусств в Венском университете. Курс не закончил, занялся журналистикой. Стал широко известен после публикации в 1921 году статьи о подлинных масштабах голода в Поволжье, вызванного большевистским переворотом в России. Материалы для статьи передала ему Екатерина Пешкова, жена писателя Максима Горького, приехавшая в Германию собирать средства для голодающих. Статья произвела сенсацию, и Вайс получил предложения о работе сразу от нескольких крупнейших газет. Принял предложение "Франкфуртер цайтунг". Был послан ее корреспондентом на Ближний Восток, где провел три года. В Палестине разочаровался в сионизме и увлекся исламом. Объехал все арабские страны, завязав тесные связи с их руководителями и духовными лидерами, особенно с саудовским королем Абдулом Азизом ибн Саудом. В 1926 году Вайс и его жена Эльза перешли в ислам. Изучал арабский язык в Каирском университете Аль-Азхар. С этого времени Вайс под именем Мухаммед Асад начинает играть заметную роль в мусульманском мире. Был убежден, что будущее западной цивилизации связано с

исламом. В конце сороковых годов возглавил борьбу за отделение мусульманских районов от Индии и разработал идеологические основы создания независимого Пакистана. В 1947 году вошел в состав правящей верхушки страны, а затем стал послом Пакистана в ООН. Был инициатором нескольких антиизраильских резолюций. Ушел с поста после военного переворота в 1955 году, возглавленного Айюб-ханом, и переехал в Саудовскую Аравию, где занимался нефтяным бизнесом и литературной деятельностью. Его перу принадлежат перевод Корана на английский и ряд философско-религиозных трудов, среди которых наиболее известны "Принципы мусульманского государства", "Дорога в Мекку", "Ранние годы ислама" и автобиография "Возвращение сердца". Умер в 1992 году. Единственный сын Салман занимает руководящий пост в Национальной нефтяной компании Саудовской Аравии. Родители Вайса-Асада, сестра Клара и брат Якоб погибли в лагере смерти Маутхаузен, Австрия».

Шмуэль передал текст Максу.

– Удивительная история, Макс. И тоже начинается в Вене, как и ваша. Что вы думаете обо всем этом?

Макс прочитал сообщение с нескрываемым интересом. Последние слова произнес вслух: «Погибли в лагере смерти Маутхаузен».

– Моя семья тоже погибла в Маутхаузене, – сказал он. – Знаете, Шмуэль, а ведь этот Салман Асад и я в некотором роде даже родственники. Его тетя Клара была женой моего дяди Теодора Ландау. Согласно генеалогическому древу, о котором я вам рассказывал, она дочь адвоката Соломона Вайса из Галиции. А Мухаммед Асад его сын. Впрочем, Салман Асад вряд ли знает об этом... Да, какой невероятный культурный, религиозный и идеологический кульбит всего за три поколения – от ортодоксального галицийского раввина до представителя Пакистана в ООН. Признаться, когда вчера я слушал нашего визитера, то слабо верил в его рассказ. Оказывается, все правда, все так и было. Нужно ли придумывать закрученные литературные сюжеты и киносценарии, если самые невероятные истории можно брать из жизни...

– Да, поразительная история. Такие кульбиты обычно заканчиваются выморочными идеями. Только воспаленному воображению прозелита мог померещиться в исламе дух либеральной демократии. Еврейский лжепророк, недоучившийся студент, заблудившийся в мусульманском религиозном болоте. А сколько их заблудилось до и после него в политических дебрях Европы и России... Интересно, что за три года до рождения этого Леопольда-Мухаммеда другой венский журналист, Теодор Герцль, основал политический сионизм и проложил путь к созданию еврейского государства. А его земляк Вайс стоял у колыбели возникшего одновременно с Израилем мусульманского государства – одного из самых сильных и фанатичных. Такие кульбиты свойственны определенной разновидности евреев, обуреваемых патологической страстью лезть в чужие дела. Они несут в себе особый ген-мутант, заставляющий их делать это. А расплавляется весь народ... Сегодня Пакистан – центр исламского фундаментализма и единственная мусульманская страна, обладающая атомной бомбой. Непримирымый враг Израиля. Внук галицийского раввина был его повивальной бабкой. Теперь правнук раввина хочет купить для Саудовской Аравии, другого центра фундаментализма, прямой метод. В нефтяном мире это почти то же, что атомная бомба в мире глобальной политики. Мессианские метания отца и сына на тупиковых мусульманских дорогах сделали еще один твист и столкнулись с «Дабл Эй». Вместо наивного соединения ислама с чуждой и эфемерной либеральной демократией Салман Асад решил оснастить его реальным инструментом для экономической и политической экспансии. Итак, что вы думаете, Макс, об этом предложении?

– Я думаю, у них нет таких денег, за которые можно купить «Дабл Эй». Даже если они превратят в доллар каждую песчинку Аравийской пустыни...

– Ну, это уж чересчур, – рассмеялся Шмуэль. – Впрочем, иногда «чересчур» – это то, что нужно. Мне нравится ваша мысль.

Макс отвез Шмуэля в аэропорт Калгари и возвращался поздно вечером в Банф. Дорога уже вошла в горы, когда вдруг фары его машины осветили старенький «форд» на обочине. Из-под капота валил пар. Рядом стояла молодая женщина в спортивном костюме с дорожной сумкой на плече. Он остановил машину и спросил, не нужна ли помощь.

– Вряд ли вы сможете помочь. Кажется, потерялась крышка радиатора и вода выкипела.

– Куда вы едете? – спросил Макс.

– В Канмор. Это двадцать километров отсюда.

– Садитесь, я подвезу. Я еду в Банф. Канмор как раз на полпути.

– Спасибо. Я только возьму вещи.

Она открыла багажник и вынула чемодан. По тому, как она наклонилась, было видно, что он очень тяжелый.

– Поставьте на землю. Я помогу. – Макс поднял чемодан. – Что в нем?

– Книги.

Он перенес чемодан в свой багажник.

– Это все? Больше ничего не хотите взять?

– Больше ничего.

...Они ехали уже минут пять, но женщина не произнесла ни слова. Макс мельком взглянул на нее – миловидное лицо, большие черные глаза, короткая стрижка. Где-то он уже видел ее. Но где?

– Вы всегда так молчаливы? – спросил он.

– Извините, я немного устала. И потом, эта неприятность с машиной...

– Да, да. Я понимаю, – он подумал, что вопрос мог показаться грубоватым, и решил разрядить обстановку. – Меня зовут Макс Адлер.

– Очень приятно, мистер Адлер. Мария Фаркаш, – представилась она.

– Фаркаш? Вы из Венгрии?

– Да. Но в Канаде уже два года.

– А что вы делаете в Канморе?

– У меня здесь школа спортивных танцев. Я закончила физкультурный институт в Будапеште, – объяснила она.

Мария поставила сумку на колени и стала что-то искать в ней.

– Что-нибудь потеряли? – спросил Макс.

– Не могу найти косметичку. Наверное, оставила в машине.

– Хотите вернуться?

– Ну, что вы. Такая мелочь.

Подъехали к ее дому.

– На каком этаже вы живете? – спросил Макс.

– На третьем.

– Я донесу чемодан.

– Спасибо, вы очень любезны. Но я справлюсь сама.

– Нет-нет. Он слишком тяжелый.

Они поднялись на третий этаж.

– Большое спасибо, – сказала Мария. – Я бы с удовольствием пригласила вас на чашку кофе, но у меня не очень убрано.

– Не беспокойтесь, – ответил Макс. – Я спешу. Как-нибудь в другой раз. Доброй ночи.

– Доброй ночи, мистер Адлер.

Он сбегал по лестнице, сел в машину и продолжил путь в Банф. Уже дома, въехав в гараж, Макс случайно бросил взгляд на пол перед соседним сиденьем и увидел маленькую желтую сумочку. Это была та самая косметичка, которую искала его пассажирка. Он открыл ее. Содержимое было обычным – губная помада, пудреница, разная косметика. В маленьком внутреннем карманчике лежали двести долларов и несколько визитных карточек. Он вынул одну и прочитал: «Мария Фаркаш. Школа спортивных танцев. Адрес, телефон».

Макс задумчиво вертел в руках косметичку. Потом поднял глаза, посмотрел на портреты напротив и спросил вслух: «Что вы думаете об этом, ребята?». Алекс и Андрей

молча смотрели на него. Не дождавшись ответа, снял телефонную трубку и набрал номер.

– Доброе утро, Морис. Зайди ко мне. И захвати свой отчет по расследованию австралийских событий.

За минувшие три года Макс заметно изменился. Если раньше конфликты, в которых ему приходилось участвовать, касались только его самого, то теперь ставки были другие. По мере погружения в мир большого бизнеса он все яснее понимал, что великодушные, мягкость и склонность к прощению – наказуемы и угрожают существованию компании. Да и в личном плане ситуация отныне была не такая, как прежде. Теперь удар по нему означал удар по Джулии и маленькому Лео, который стал смыслом его жизни, продолжателем рода. Это сделало Макса жестким, готовым решительно и без промедления реагировать на угрозу. В минуту опасности он теперь становился все больше похожим на Шмуэля – холодный взгляд, собранность, четкие распоряжения...

Морис вошел в кабинет через несколько минут. В руках у него была толстая папка. Он вынул из нее отчет и положил на стол.

– Садись, Морис. А я пока посмотрю кое-что, – сказал Макс.

Он прочитал несколько страниц и поднял голову.

– Как же все-таки решился вопрос с Рональдом Кларком? Вы нашли его?

– Мы узнали, что он в Бразилии. Но когда наши люди прибыли туда, его уже не было. В Лондон он не вернулся.

– Понятно.

Макс вынул из карманчика на внутренней стороне обложки газету «Лонгрич Ньюс». В ней было интервью с Юдит Добос и фотография. Большие черные глаза, короткая стрижка...

– Еще вопрос. Напомни, пожалуйста, почему эта Мата Хари привлекла твое внимание?

– Нашелся человек, который видел ее в машине доктора Франка незадолго до похищения. Кроме того, клерк из «Козерога» рассказал, что она ночевала в гостинице

накануне вылета группы в Перт. Это было подтверждено записью в книге регистрации. Но мы не смогли найти ее. Исчезла бесследно.

– Она не исчезла, – задумчиво произнес Макс.

Он подробно рассказал о вчерашней встрече на дороге и заключил: «Судя по фотографии, Фаркаш и Добос – одно лицо». Затем протянул Морису косметичку и визитную карточку.

– Займись этим, Морис, – голос Макса был жестким, и глава службы безопасности уловил это.

– «Школа спортивных танцев», – прочитал он. – В Лонгриче была школа аэробики. Как говорил мой инструктор, шаблон врага – твой лучший друг... Если это действительно она, то напрашиваются три вывода. Во-первых, ваш маршрут, мистер Адлер, и время поездки отслеживались, а неисправность машины инсценирована. Во-вторых, тяжелый чемодан потребовался для того, чтобы вы, как джентльмен, донесли его до двери. Если бы проявили настойчивость, то могли получить приглашение на чашку кофе. И в-третьих, если бы чашка кофе не состоялась, то должны сработать двести долларов. Они обязывают вас приехать и вернуть косметичку. План хитроумный, но дилетантский. Как бы то ни было, мистер Адлер, с сегодняшнего дня вы и ваша семья будете находиться под постоянной охраной. Это приказ. А со школой спортивных танцев мы разберемся...

– Ну, что ж. Приказ есть приказ. – Макс улыбнулся.

«Судя по австралийским событиям, эти спортивные танцы не столь забавны и безобидны, как церемонные восточные телодвижения Салмана Асада, размахивающего чековой книжкой», – подумал он и вспомнил последнее предупреждение Алекса в ноутбук: «Большой бизнес никогда не отступает...»

20

...До наступления третьего тысячелетия оставалось около полугода. В небольшой городок Котал у подножья Гималаев на пакистано-афганской границе съехались несколько десятков человек. Они прибыли со всех концов

арабского мира. И хотя одни из них были богатыми бизнесменами, а другие занимали высокое положение в своих странах, на пыльной площади перед неприметным зданием медресе, в котором они собрались, не было ни лимузинов, ни дорогих машин. Здесь стояли только старые обшарпанные джипы и такие же выдавшие виды легковые автомобили. Подстать машинам была и одежда прибывших. Посторонний наблюдатель мог бы принять их за торговцев средней руки или контрабандистов, переправляющих через границу наркотики и оружие.

Когда все поднялись в зал на верхнем этаже, наступило время второго салата (*пятикратная ежедневная молитва – арабск., на фарси – намаз*). В этот момент через незаметную боковую дверь рядом с михрабом (*специальная ниша для молитвы*) вошел худощавый высокого роста человек лет пятидесяти. Одет он был в длинную светло-серую галабию, под которой виднелась рубашка цвета хаки. На узком лице с усами и аккуратной длинной бородкой выделялись большие печальные глаза и крупные чувственные губы. На голове его был белый тюрбан. Облик и одежда выдавали в нем уроженца Аравийского полуострова. Взгляды присутствующих сразу же обратились к нему. Вошедший застенчиво улыбнулся и жестом пригласил собравшихся приступить к салату. Он расстелил маленький коврик, опустил на него и провел ладонями по лицу. Все сделали то же самое.

По окончании молитвы охранники убрали коврики и расставили рядами стулья, стоявшие до этого вдоль стен. Затем они вышли и плотно закрыли за собой двери. Помещение превратилось в небольшой зал заседаний. На возвышении около михраба установили простой стол, и три человека, включая «аравийца», сели за него. Один из них взял микрофон, поблагодарил собравшихся за то, что они проделали такой далекий трудный путь, и предоставил слово главе Аль-Казды Усаме Бин-Ладену. «Аравиец» подошел к трибуне.

– Уважаемые братья, – начал он тихим ровным голосом, – вы все знаете, с какой целью руководство нашей организации пригласило вас в это место, удаленное от глаз

тех, кто не должен знать о наших планах. Наступает третье тысячелетие христианской эры. Для нас, мусульман, эта дата не имеет никакого значения – ни исторического, ни календарного, ни символического. Мы живем в 1378 году хиджры (*11 сентября 622 года пророк Мухаммед прибыл в Медину из враждебной Мекки. Эта дата считается началом мусульманской эры хиджры*). И это единственное истинное летоисчисление, установленное пророком Мухаммедом по воле Аллаха. Поэтому если третье тысячелетие что-то и символизирует, то только прогрессирующее одряхление так называемой западной цивилизации, по сравнению с которой наша религия и культура моложе почти в два раза. И, соответственно, у нас во много раз больше жизненных сил и веры в то, что будущее принадлежит исламу, а не погрязшему в пороках альянсу Запада с сионизмом. Но посмотрим правде в глаза, братья. Это будущее может оказаться очень далеким, если мы не приблизим его с помощью джихада, завещанного нам пророком. Уклонение от джихада под разными предлогами – это самый большой грех перед Аллахом, особенно в свете следующего важного обстоятельства. Если для нас, как я уже сказал, первый год нового тысячелетия – это всего лишь еще один год хиджры, то подверженный нелепым страхам и суевериям Запад готовится чуть ли не к концу света. Бесчисленные предсказатели и аналитики запугивают природными и техногенными катастрофами, эпидемиями, новыми, неизвестными ранее, болезнями. Нашлись даже специалисты, заявляющие о предстоящем коллапсе глобальной сети Интернета. Все это делает ближайший год, с точки зрения психологического эффекта, исключительно благоприятным для крупномасштабной операции. Таковы общие положения. Теперь о конкретных планах. Некоторое время назад Аль-Каэда познакомила вас со своей стратегической концепцией. Она заключается в нанесении внезапных сокрушительных ударов по наиболее важным и уязвимым объектам экономической, социальной и военной инфраструктуры Запада. Руководство организации приняло принципиальное решение, что первый удар будет нанесен 11 сентября, когда пророк Мухаммед прибыл в Медину и

возвестил начало эры хиджра. Аллаху угодно, чтобы сентябрь 2001 года стал началом эры глобального джихада. Какова ваша роль, братья, в этих планах? Не секрет, что мы не смогли прийти к единому мнению относительно главного объекта для удара. Поэтому год назад мы обратились к вам, уважаемые спонсоры, с просьбой помочь в выборе такого объекта. Наша аналитическая группа рассмотрела все поступившие предложения. Одно из них признано наиболее серьезным и перспективным, поднимающим планку борьбы с Западом на новый уровень. Отныне все наши усилия сосредоточены на его детальной разработке. Автор этого замечательного предложения находится в зале (Усама едва заметно кивнул кому-то во втором ряду), и я хочу особо поблагодарить его. Считаю долгом выразить признательность и другим авторам, чьи рекомендации мы получили. К сожалению, не все поняли наше обращение правильно. Например, алжирские братья предлагают разрушить Эйфелеву башню. Они не учитывают, что совсем скоро этот символ Франции станет высочайшим в мире минаретом и укажет Европе путь к исламу. Некоторые другие братья решили, что с нашей помощью они могут устранить своих западных конкурентов и внесли весьма курьезные, чтобы не сказать смехотворные, предложения. Так, некая уважаемая фирма по производству ковров, оказывающая нам посильную финансовую поддержку, предлагает взорвать несколько ковровых фабрик в Европе (в зале раздался общий смех). Недалеко ушла от нее и одна уважаемая нефтяная компания, которая желает разделаться с какой-то еврейской нефтяной фирмой (при этих словах Салман Асад, сидевший в первом ряду, бросил на Бин-Ладена презрительный взгляд. «Усама остался таким же надутым болваном, каким был всегда», – мысленно отметил он). Но некоторые предложения нас заинтересовали как возможные объекты второй и третьей очереди. В ближайшее время мы обсудим их в рабочем порядке. Что касается других рекомендаций, то авторы приглашаются еще раз разъяснить свою позицию. Мы их внимательно слушаем. Нельзя исключить, что мы чего-то не поняли. Ведь мы всего

лишь скромные воины Аллаха, а не мудрецы или ученые. – Усама печально улыбнулся.

Когда Бин-Ладен покинул трибуну, Салман Асад подошел к нему.

– Усама, ты в самом деле не мудрец. Как у тебя хватило ума поставить наше предложение в один ряд с просьбой этого ковровщика? Как ты можешь сравнивать нефть, наше главное оружие, с коврами? Я хочу серьезно поговорить с тобой и с членами этой твоей аналитической группы.

– Хорошо, уважаемый Салман. Мы можем еще раз обсудить твоё предложение. И прошу тебя – не обижайся. Меня завалили этими так называемыми проектами. Если бы верблюд моего дедушки увидел некоторые из них, он бы умер от смеха.

После обеда человек Бин-Ладена приехал за Асадом и отвез его в маленький ничем не примечательный домик на окраине городка, у въезда в Хиберское ущелье. Там уже собралась вся аналитическая группа из семи человек. Среди них были специалисты по строительству и эксплуатации высотных зданий, эксперты по городской инфраструктуре, экономисты, психологи. Один из аналитиков, представленный Асаду как эксперт по баллистике и направленным взрывам, оказался, к его удивлению, голубоглазым блондином лет сорока, с внешностью профессора. Асад обратил внимание на едва заметную ироническую улыбку, которая появилась на его лице, когда кто-то произнес слова «по воле Аллаха». Тем не менее было очевидным, что Бин-Ладен относится к нему с большим уважением и доверяет не меньше, чем остальным членам группы.

Асад начал с того, что объяснил собравшимся значение нефти в мировой экономике и политике. Он приводил цифры, ссылаясь на исторические примеры, когда Германия и Япония проиграли войну из-за отсутствия этого стратегического сырья, напомнил недавние события, связанные с Кувейтом и Ираком.

– В мире нет ничего важнее нефти, – продолжал он. – По воле Аллаха мы владеем огромными запасами ее и

можем диктовать цены на мировом рынке. Но с годами поиски новых месторождений становятся все труднее и дороже. И вот появляется какая-то ранее не известная фирма, принадлежащая двум евреям, которые изобрели новый исключительно дешевый метод обнаружения нефти. Пока они используют его только для себя. Но история учит, что такие фундаментальные изобретения не могут долго оставаться тайной. Недалеко время, когда этот метод станет достоянием всех нефтяных компаний, и тогда цена на нефть резко упадет. Это отразится не только на наших доходах, но и на финансовой помощи, которую получает Аль-Каэда. В современном мире, братья, все взаимосвязано, и ваши интересы неотделимы от наших. Мы попытались купить изобретение, предложили хорошую цену. Но натолкнулись на решительный отказ. Владельцы фирмы даже не пожелали обсуждать сделку. Поэтому руководство компании возлагает решение проблемы на тебя, Усама, и на твою организацию. Вы должны обеспечить нам доступ к этому изобретению.

– Мы с большим вниманием выслушали тебя, уважаемый Салман, – ответил Бин-Ладен. – И не можем не согласиться, что нефть, дарованная нам Аллахом, имеет важное значение для джихада. Запад платит нам за нее мизерную цену. Это величайший грабеж за всю историю человечества. Придет время – и мы сокрушим Америку и Европу с ее помощью. Но цель нашей первой крупномасштабной акции не только военная или экономическая. Прежде всего она психологическая. И если мы направим ее против этой малоизвестной фирмы, о которой ты говоришь, то о психологическом эффекте можно забыть. Сожалею, уважаемый Салман, но мы не можем не учитывать это. Почему бы тебе не обратиться к палестинским братьям? Они с радостью сделают эту работу. И вам она обойдется дешевле. Но если ты все-таки настаиваешь, чтобы ее выполнила Аль-Каэда, то мы можем включить эту еврейскую фирму в наш общий список объектов и заняться ею в порядке очередности.

– Мы платим тебе, Усама, а не палестинцам. И требуем выполнения обязательств, взятых на себя Аль-Каэдой. Очередность объектов меня не интересует. Это

ваши внутренние бюрократические игры. Работа должна быть сделана.

– Хорошо, уважаемый Салман. Мы снова обсудим твоё предложение. Время ещё есть. Аллах Акбар!

– Аллах акбар! – ответил Асад. – А сейчас меня ждёт вертолет. Распорядись, Усама, насчет машины.

После ухода Асада раздалась негодующие возгласы. Присутствующие были задеты и даже оскорблены не только его требованием, но и тоном, которым он разговаривал с Усамой. Наконец Бин-Ладен призвал к тишине.

– Этот еврей считает, что за деньги можно купить все – нефть, кровь шахидов и даже великие битвы джихада, – сказал он раздраженно. – Он думает, что если дает деньги, то может приказывать тем, чьи деды водили верблюжьи караваны по священной Аравийской пустыне. Но он ошибается. Омар, как проходит подготовка операции «Хиджра» в Нью-Йорке и Вашингтоне?

– Все идет по плану, уважаемый Усама. Шахиды уже закончили курсы пилотов и заняты изучением маршрутов и расписания полетов на внутренних авиалиниях.

– Если Аллаху будет угодно... – смиренно произнес Бин-Ладен и молитвенно сложил ладони.

– Да будет Аллаху угодно! – уверенно воскликнул шейх Омар. – Аллах акбар!

– Аллах акбар! – ответили аналитики.

В этот момент голубоглазый блондин многозначительно кашлянул. Бин-Ладен это заметил.

– Вы хотите что-то сказать, уважаемый профессор? – спросил он.

– Да, если позволите, уважаемый Усама. Я не ставлю под сомнение необходимость операции «Хиджра», но вместе с тем полагаю, что к предложению мистера Асада также следует отнестись со всей серьезностью. В будущем именно оно может способствовать превращению нефти в ваше главное стратегическое оружие, о чем вы сами упомянули в разговоре с ним. Поэтому было бы разумным помочь ему овладеть методом, о котором он говорил.

Бин-Ладен посмотрел на профессора с неожиданным интересом.

– Вы так думаете? В таком случае не могли бы вы изложить свою мысль более подробно в письменном виде?

– С удовольствием, уважаемый Усама. Но для этого мне необходимо встретиться с мистером Асадом.

– Хорошо. У меня нет возражений.

Август 2003 г., Иерусалим



Нина Воронель

Герой своих романов

(Сценарий художественного фильма)

(Окончание. Начало в № 8(9))

113. Терраса дома Врангеля – ранний вечер



Федя, сидя за столом, усеянным исписанными листами бумаги, методично рвет один за другим и бросает в мусорную корзину. Когда он поднимается, чтобы выбросить обрывки в мусорный ящик, на дорожке появляется Врангель. При виде Врангеля Федя делает неловкую попытку спрятать корзину за спину.

ВРАНГЕЛЬ Ну, как дела? Много вы сегодня написали?

ФЕДЯ Неплохо. Почти три страницы!

ВРАНГЕЛЬ Дадите почитать?

ФЕДЯ *(с кривой улыбкой)* Вы же знаете, что нельзя давать читать недописанное.

ВРАНГЕЛЬ Терпеть не могу, когда вы так улыбаетесь. *(быстрым движением сгребает бумаги со стола)* В чем дело? Да тут даже меньше, чем было вчера вечером! *(замечает корзину с обрывками)* А это что?

ФЕДЯ *(в отчаянии)* То, что вы видите! У меня ничего не получается! Ничего! Наверно я просто разучился писать!

114. Пустырь позади солдатских уборных – осеннее утро

Уборные представляют собой узкий деревянный помост с рядом дыр. Зажимая нос носовым платком, Врангель следит, как солдаты извлекают из одной дыры

маленький сверток и опускают его на расстеленную на земле тряпку. Два других солдата появляются, ведя за собой Катю в арестантской одежде. Она с ужасом смотрит на маленький сверток. По приказу Врангеля один из солдат разворачивает сверток – в нем мертвый младенец. Катя теряет сознание.

115. Кабинет Врангеля – полдень

Врангель сидит за столом, Федя шагает из угла в угол.

ВРАНГЕЛЬ Когда я узнал, что Катю арестовали за детоубийство, я попросту отказался в это поверить. Подумать только! Девушка из хорошей семьи, известная своим благонравным поведением! Но ничего нельзя поделать против вещественных доказательств.

ФЕДЯ Но при чем тут я? Вы – губернский прокурор, а я кто? Я никто!

Врангель протягивает Феде лист бумаги.

ВРАНГЕЛЬ Только вы можете уговорить ее подписать эти показания. Она ни за что не хочет подписывать – уперлась и ни в какую.

ФЕДЯ Что там написано?

ВРАНГЕЛЬ Что она совершила свой ужасный поступок в полном беспамятстве и умопомрачении, наступившем после родов.

ФЕДЯ А что будет, если она не подпишет?

ВРАНГЕЛЬ Ее подвергнут жестокой порке на центральной площади города. Я хорошо знаю нашего палача – он спустит ей не только кожу, но и мясо с костей. Я просто схожу с ума при мысли, что он с ней сделает! Умоляю, попытайтесь! Только вы можете ее спасти.

ФЕДЯ От этого разговора я назавтра заболею. Вы же знаете мои слабые нервы.

ВРАНГЕЛЬ Т-с-с-с! Ее ведут.

Солдат вводит Катю в кабинет и уходит.

ФЕДЯ Добрый день, Катя.

При виде Феде Катя отшатывается и закрывает лицо руками.

ВРАНГЕЛЬ Ну, что ты решила насчет этих показаний?

КАТЯ Я просто не могу подписать их, ваше превосходительство, не могу, и все! Не было у меня никакого помрачения, я все помню, каждую мелочь помню. *(плачет)* Когда я перегрызла пуповину, он заплакал – это ведь был мальчик... Я взяла его на руки, он был такой маленький и легкий, личико синее, я не могла на него смотреть... Я сняла с головы платок и завернула его, но ножки торчали наружу – пальчики такие маленькие-маленькие. Я стала ножки заворачивать, но тогда открывалась головка, а он все плакал и плакал. Тогда я поползла к уборной, сил у меня не было подняться, и кровь из меня все текла...

Но я все же приподнялась на локтях, стала на колени, подтянула его наверх и бросила в дыру. Дыра была черная и вонючая... Внизу плюхнуло и стало тихо. Наконец он замолчал. Я все-все помню, – и ножки с пальчиками, и вонючую дыру, и как он перестал плакать. Как же я подпишу про помрачение?

ФЕДЯ Ты хоть представляешь, какое тебя ждет наказание? Тебя привяжут к столбу посреди площади, и палач станет стегать тебя кнутом, пока не снимет с тебя всю кожу. А наш палач – настоящий зверь!

У Кати на лбу выступают крупные капли пота и текут вниз, заливая ей глаза. Она начинает дрожать всем телом.

ФЕДЯ *(входя в транс)* Я видел не раз работу нашего палача. Он – великий мастер работать кнутом, он вмиг опускает его и тут же вздергивает с выворотом, норовя содрать со спины клочки кожи.

Катя нетвердым шагом идет к столу и хватает лист с показаниями.

КАТЯ Где надо поставить подпись?

Врангель указывает ей место подписи. Она, плача, берет ручку и подписывается дрожащей рукой, заливая слезами страницу.

116. Тюремная церковь – утро

В церкви идет утренняя служба. Группа заключённых, среди них Катя, внимательно слушают проповедь молодого Священника. Федя и Врангель стоят в стороне. Женщина из заключённых вдруг падает на колени и начинает с истерическими рыданиями биться головой об пол. Другие заключённые, в основном женщины, постепенно присоединяются к ней, наполняя церковь воем, визгом и рыданиями. Священник, как ни в чем ни бывало, продолжает службу – похоже, такие сцены ему не внове.

Внезапно Катя, которая до сих пор молилась молча, не поднимая глаз, тоже падает на колени и издает такой душераздирающий вопль, что все смолкают и смотрят на нее. Священник тоже смолкает, и все головы поворачиваются к Кате.

КАТЯ О Господи, сможешь ли ты простить мой страшный грех? Я подписала лживую бумагу, чтобы обмануть судью. Никакого помрачения у меня не было. Я помню, как я утопила своего мальчика! Когда я перегрызла пуповину, он заплакал, он был такой маленький, личико синее, я не могла на него смотреть... Я сняла с головы платок и завернула его, но ножки торчали наружу – пальчики такие маленькие-маленькие... Я поползла к уборной, стала на колени, подтянула его наверх и бросила в дыру. Я все помню! Дыра была черная и вонючая... Внизу плюхнуло и стало тихо. Я виновата, пусть меня накажут! Я хочу наказанием искупить свою вину!

Пока Катя говорит, Врангель бросается к ней и пытается ее остановить. Но каждый раз, когда он касается ее плеча, она яростно отталкивает его руку и продолжает свою исповедь. Федя бежит за Врангелем, к ним присоединяется Священник и все трое склоняются над коленопреклоненной Катею.

Врангель обращается к Священнику отчаянным шепотом

ВРАНГЕЛЬ Остановите ее, не верьте ей! Она вне себя! Она сама не знает, что она несет!

СВЯЩЕННИК Вы уверены, что не знает?

ВРАНГЕЛЬ Уверен! Уверен!

Федя касается руки Врангеля.

ФЕДЯ Оставьте ее, Барон. Ее душа знает сама, что ей нужно.

ВРАНГЕЛЬ Ничего она не знает! Остановите ее – это самоубийство!

Федя бережно уводит Врангеля от рыдающей Кати. С нею остается Священник, который что-то говорит ей. Ее рыдания постепенно стихают.

ФЕДЯ Оставьте ее, оставьте! Вы не можете спасти ее от самой себя. Она лучше знает, что ей нужно, потому что ее память душит ее, убивает ее душу. Я очень хорошо понимаю, что она чувствует.

Они выходят из церкви.

117. Улица Семипалатинска – утро

Врангель и Федя идут по улице.

ВРАНГЕЛЬ Я этого не переживу! Какой из меня прокурор, если я не могу спасти даже эту несчастную?

ФЕДЯ Невозможно спасти душу, терзаемую раскаянием. Так и меня невозможно спасти. Мой отец был монстр, чудовище, а не человек, и я его проклял. Я его проклял и сразу после этого он умер страшной смертью. Его забили до смерти собственные крестьяне.

ВРАНГЕЛЬ Почему вы никогда не рассказывали мне, что вашего отца убили?

ФЕДЯ Потому что я боюсь об этом вспоминать. Может, если бы я его не проклял, его бы не убили!

ВРАНГЕЛЬ Расскажите мне, как это случилось, – вам станет легче.

ФЕДЯ Разве можно такое рассказать? Это – целый роман, а не рассказ.

ВРАНГЕЛЬ Вот и расскажите мне этот роман. А потом возьмите и напишите.

ФЕДЯ Ладно, я подумаю. Если смогу, вечером расскажу. А пока прощайте. И мне, и вам пора на службу.

Они расходятся в разные стороны.

118. Столовая в доме Врангеля – вечер

Комната погружена в полутьму. Горит только керосиновая лампа на столе, который Адам накрыл для ужина. Врангель сидит у стола, Федя нервно шагает по комнате. Останавливается перед копией «Сикстинской мадонны», висящей на стене.

ФЕДЯ Хорошо, я попробую рассказать вам эту историю, но боюсь вас утомить. Она длинная и запутанная.

ВРАНГЕЛЬ Ничего, у нас в запасе целый вечер. А я хороший слушатель.

ФЕДЯ Когда мать умерла, мы с братом Михаилом жили в Петербурге. Мы были студентами Инженерной Академии, она квартировалась в Михайловском замке, – знаете, где заговорщики убили императора Павла. В замке была одна комната, в которую никто не заходил, – все боялись. Мебели в ней не было, только на стене висело большое зеркало в золоченой раме, расколотое пополам большой трещиной. Ходили слухи, что это зеркало раскололось, когда император в канун убийства увидел в нем свое мертвое лицо, покрытое синяками и кровоподтеками.

Лампа над столом покачивается от дуновения ветра. Благодаря игре теней картина за спиной Феди выглядит в полумраке, как зеркало, расколотое большой трещиной.

ФЕДЯ Мы знали, что после смерти мамы отец сильно задурил у себя в деревне, по ночам часами говорил с мамой, а она ведь уже год, как умерла. Когда мы приезжали летом на каникулы, по деревне ходили недобрые слухи. Будто он изнасиловал Варю, дочку лесника Степана, и она с отчаяния утопилась в деревенском пруду. А главное, отец страшно издевался над моими бедными сестрами, чуть не довел их до самоубийства. За это я перед отъездом его проклял, закричал «Чтоб ты сдох, проклятый!» и выбежал. Я ведь был еще мальчишка, мне было всего четырнадцать, я мало что понимал. И вот в Петербурге меня стало часто тянуть в ту страшную комнату. Я заходил туда со свечой и долго смотрел в зеркало. И мне начинал чудиться наш пруд, а из глубины, *(задыхаясь)* из глубины выплывало лицо Вари...

119. Крупный план зеркала

Освещенное свечой, оно выглядит, как зеркальная поверхность пруда в лунном свете. Из глубины пруда на поверхность медленно всплывает детское лицо, обрамленное длинными волосами.

120. Столовая Врангеля – вечер

Федя стоит перед картиной, прижимая ладони к глазам.

ВРАНГЕЛЬ Хватит, Достоевский, не надо больше! А то вам станет плохо.

ФЕДЯ Нет, нет, теперь я должен рассказать вам эту историю. Я не успокоюсь, пока не доскажу ее до конца!

ВРАНГЕЛЬ Ладно, продолжайте, раз так.

ФЕДЯ И вот однажды вечером мне вдруг страшно захотелось туда пойти. Было уже поздно, остальные студенты укладывались спать, нам было запрещено выходить, но я ничего не мог с собой поделать. Я взял свечу, украдкой выскользнул из dormитория и по темной лестнице поднялся в ту комнату. Там было холодно и тихо. Я подошел к зеркалу и заглянул в него – на меня смотрело лицо отца, все в синяках, глаза стеклянные, губы разбиты в кровь.

121. Крупный план зеркала

В нем отражается изувеченное лицо отца Феде с широко раскрытыми мертвыми глазами.

122. Столовая Врангеля – вечер

ФЕДЯ Я услышал быстрые шаги, дверь распахнулась и кто-то вбежал – я чуть не упал в обморок от страха. Но это был мой брат Михаил. Он сказал: «Федя, случилось что-то ужасное». «Я знаю, – ответил я, – отца убили». «Откуда ты знаешь?» – удивился Михаил. – «Я увидел его в зеркале». Михаил поглядел в зеркало, но увидел в нем только свое собственное лицо. Потому что он не был виноват в страшной смерти отца. Только я был виноват. Только я, только я... Как мне с этим жить? Как? Как?

123. Комната старой гадалки – вечер

Комната освещена парой свечей. Гадалка раскладывает карты перед Федей.

ГАДАЛКА Король червей помер, но сердцу твоему все равно не будет покоя.

ФЕДЯ А что она? Не забыла меня еще?

ГАДАЛКА Бойся бубнового валета, он молод и хорош собой.

ФЕДЯ Покажи мне этого молодого валета.

Гадалка берет с полки зеркало и ставит на стол.

ГАДАЛКА За зеркало отдельная плата.

ФЕДЯ Разве я мало тебе заплатил?

Гадалка ставит перед зеркалом свечи и миску с водой. Федя садится перед зеркалом и смотрит в миску, Гадалка через его плечо следит за тем, что он видит. Из глубины миски всплывает мертвое лицо Фединого отца, все в синяках, глаза стеклянные, губы разбиты в кровь. Федя отшатывается от зеркала и закрывает лицо руками.

ФЕДЯ Разве это бубновый валет?

ГАДАЛКА Кто это? Ты его узнал?

Снаружи слышатся чьи-то поспешные шаги. В комнату врывается Врангель, трясет Федю за плечо.

ВРАНГЕЛЬ Новость, потрясающая новость! Царь умер!

Углубленный в свое видение Федя отстраняется от Врангеля, но тот продолжает трясти Федино плечо.

ВРАНГЕЛЬ Вы что, оглохли, Достоевский? Царь Николай умер!

ФЕДЯ *(не понимая)* Царь умер? Какой царь?

ВРАНГЕЛЬ Наш царь, наш! Император Николай!

ФЕДЯ Его убили? Убили, да?

ВРАНГЕЛЬ Никто его не убивал, умер своей смертью.

ФЕДЯ Вы уверены?

ВРАНГЕЛЬ Да что с вами? Какие безумные идеи одолевают вас?

ФЕДЯ Я только что видел в зеркале лицо отца. И понял, что кого-то убили. И опять из-за меня. Ведь все эти годы я желал царю страшной смерти. Я молил Бога, чтобы он сдох. Когда я увидел в зеркале лицо отца, я понял, что кто-то опять умер по моей вине. И в эту минуту вбегаете вы

– совсем, как тогда Михаил – и сообщаете... говорите, что царь умер.

ВРАНГЕЛЬ О чем вы, Достоевский? Думайте лучше о том, как может теперь измениться ваша жизнь!

ФЕДЯ Что бы ни изменилось, моя вина всегда остается со мной.

ГАДАЛКА (*подозрительно*) Какая еще вина? Что ты натворил?

ВРАНГЕЛЬ (*тянет Федю к дверям*) Пошли отсюда! Скорей! И не болтайте лишнего.

ГАДАЛКА Стойте, стойте! А платить, кто будет?
Врангель бросает на стол пару банкнот.

ВРАНГЕЛЬ Вот твои деньги, сдачи не надо.

ГАДАЛКА (*любовно оглаживая банкноты*) Вот теперь ладушки! И вины никакой за тобой нет!

124. Мрачная тюремная камера

На стене колонка цифр, завершающаяся 1856 годом.

Ставрогин лежит на койке, он оброс огромной бородой, давно нестриженные волосы сваялись, глаза потухли, губы ввалились над беззубым ртом. Тюремщик приоткрывает дверь.

ТЮРЕМЩИК Эй, Ставрогин!

Ставрогин не поднимает голову, словно не слышит.

ТЮРЕМЩИК А по коридору погулять не хочешь, Ставрогин? Пятьдесят раз – взад-вперед, взад-вперед, а? Ты же раньше любил гулять.

Ставрогин не отвечает, безучастно глядя в потолок.

ТЮРЕМЩИК (*почти заискивающе*) А что, если я принесу тебе бумагу и перо?

СТАВРОГИН На черта они мне сдались?

ТЮРЕМЩИК Раньше ты любил писать петиции царю.

СТАВРОГИН А зачем? Я уже сотню написал и все без ответа.

ТЮРЕМЩИК А ты еще одну напиши. Кто знает, может новый царь будет к тебе милостив.

СТАВРОГИН (*с искрой интереса*) Что еще за «новый царь»?

ТЮРЕМЩИК Его Императорское Величество царь Александр.

Ставрогин внезапно вскакивает с койки, хватая Тюремщика за плечи и начинает трясти, почти ударяя его головой об стенку.

СТАВРОГИН Ты хочешь сказать, что старый пес сдох? Неужто наконец сдох?

Тюремщик пытается вырваться из все еще могучих рук гиганта.

ТЮРЕМЩИК Его Императорское Величество царь Николай преставились вчера ночью.

Ставрогин пляшет – настолько, насколько позволяет ему низкий потолок камеры.

СТАВРОГИН *(поет)*

Зверь поганый сдох, сдох!

Пес вонючий сдох, сдох!

ТЮРЕМЩИК Ты бы поосторожней, Ставрогин! Все ж таки он был император всяя Руси.

СТАВРОГИН Пес вонючий он был, а не император! *(поет)*

Зверь поганый сдох, сдох!

Пес вонючий сдох, сдох!

125. Столовая Врангеля – вечер

Федя стоит перед смутно освещенной «Мадонной» – в полутьме она кажется ему Марией. Он прижимается щекой к стеклу.

ФЕДЯ Мария! Ты слышишь меня? Отзовись – мне так одиноко без тебя!

«Мадонна» молча смотрит на него из рамы картины.

126. Спальня в доме Исаевых в Кузнецке – вечер

Спальня смутно освещена лампадкой под иконой и единственной свечой на тумбочке у кровати, где больной Алекс полулежит, опираясь на грудь подушек. Лицо Марии отражается в зеркале, погруженном в полумрак – при этом освещении оно и впрямь напоминает лицо «Мадонны».

Мария в вечернем платье сидит перед зеркалом, она красит губы помадой и пудрит нос и лоб.

АЛЕКС Хватит прихорашиваться! Ты и так выглядишь слишком хорошо для жены умирающего, которого она бросает, чтобы отправиться на танцы без него.

МАРИЯ Хватит, хватит! Ты вовсе не умираешь, ты просто плохо себя чувствуешь.

АЛЕКС Конечно, можно считать, что я вполне здоров, раз моя жена бросает меня, чтобы помчаться на бал!

МАРИЯ Зачем ты меня мучаешь? Ведь ты прекрасно знаешь, как больно мне оставлять тебя. Но я просто обязана посетить благотворительный бал – ведь нет другого способа завязать связи в этом жутком городишке. *(поправляет подушки)* Все в порядке, тебе удобно лежать, все у тебя под рукой – и вода, и снотворные таблетки. Будь хорошим мальчиком и засыпай поскорей.

Мария целует Алекса в лоб, набрасывает шубу и выскальзывает за дверь.

127. Убогий зал дворянского собрания – вечер

Благотворительный бал в разгаре. Нарядные пары вальсируют под музыку военного оркестра, мужчины – в основном, офицеры. Мария неприкаянно бродит в веселой толпе танцующих – она ни с кем не знакома и чувствует себя одинокой. Николай – красивый и очень молодой человек в плохо сидящем на нем фраке, явно с чужого плеча, приглашает Марию на танец.

НИКОЛАЙ Позвольте пригласить вас.

Она соглашается с обольстительной улыбкой.

МАРИЯ *(кладет руку ему на плечо)* С удовольствием.

Они танцуют – оба отличные танцоры. Танец заметно возбуждает их. Мария начинает кокетливый разговор.

МАРИЯ Держите меня крепче, а не то я улечу!

НИКОЛАЙ Я не дам вам улететь, пленительная незнакомка!

МАРИЯ Ах, держите – улетаю!

НИКОЛАЙ теснее охватывает ее талию.

НИКОЛАЙ Вы ведь недавно в нашем городе?

МАРИЯ С чего вы взяли?

НИКОЛАЙ Я никогда не видел вас раньше.

МАРИЯ Вы же не можете помнить всех встречаемых!

НИКОЛАЙ Но я бы не забыл такую очаровательную женщину, как вы!

Танец сменяется танцем. Мария и Николай продолжают увлеченно танцевать. Видно, что Мария забыла свои беды, она танцует и флиртует с Николаем, лицо ее сияет счастьем.

128. Улица перед домом Исаевых – ночь

Николай провожает Марию домой.

МАРИЯ Как интересно! Вы – первый человек в этом городе, с которым я познакомилась, и вы оказываетесь учителем моего сына. Просто невероятно!

НИКОЛАЙ Я думаю, это перст судьбы! Мне кажется, я ждал этой встречи всю жизнь!

МАРИЯ Не хотите ли зайти в дом и выпить чашку чаю на ночь?

НИКОЛАЙ Я был бы счастлив, но не слишком ли поздно? Мы можем разбудить вашего супруга.

МАРИЯ Мой супруг принимает снотворные таблетки. Его даже пушкой не разбудишь!

129. Кухня в доме Исаевых – ночь

Мария, снявши шубу, раздувает самовар, а Николай в смущении то садится на табурет, то вскакивает и неловко топчется, не зная, как себя вести.

НИКОЛАЙ Позвольте спросить, почему ваш супруг принимает снотворные таблетки?

МАРИЯ Он нездоров, его мучают страшные боли.

Окончательно смущенный Николай делает неуверенный шаг к двери.

МАРИЯ *(с вызовом)* Да, я не рассказала вам об этом! Более того – я бросила его в одиночестве и пошла на бал! И на балу я танцевала с вами! Вы осуждаете меня за это?

НИКОЛАЙ По какому праву я могу осуждать вас?

МАРИЯ Потому что я сама себя осуждаю!

НИКОЛАЙ *(испуганно)* За что?

МАРИЯ За то, что я порой жажду, чтобы он поскорее умер!

НИКОЛАЙ Вы? Вы?

МАРИЯ Да, я! Он так ужасно страдает и терзает меня за то, что я останусь жить, когда он умрет!

НИКОЛАЙ *(в панике)* Я думаю, мне лучше уйти.

Мария бросается к нему и припадает к его груди.

МАРИЯ Не уходите! Умоляю вас, не уходите! Не оставляйте меня одну!

Николай пытается вырваться, но она в приступе отчаяния всем телом прижимается к нему и осыпает его лицо и руки страстными поцелуями.

МАРИЯ Молю вас, не уходите! Мне так страшно, так одиноко!

Николай поддается ее натиску, он целует ее в ответ, и они занимаются любовью прямо на коврике, брошенном на кухонный пол. В самый разгар любовной сцены из спальни доносится громкий стон, звон разбитого стекла и голос Алекса, который зовет Марию.

АЛЕКС Маша! Маша! Где ты?

130. Спальня в доме Исаевых – ночь

Спальня освещена только светом лампадки. Алекс мечется в постели, корчась от невыносимой боли. Мария в расхристанном платье появляется на пороге спальни. Алекс пытается встать с постели и падает навзничь, ударяясь головой о край кровати. Мария бросается к нему, падает на колени и начинает выть, как волчица. Испуганный Николай смотрит на эту сцену из освещенной кухни.

131. Бедная церковь в Кузнецке – день

Идет скромная похоронная служба над гробом Алекса. Мария в трауре, стоит возле гроба, держа за руку рыдающего Пашу. Церковь почти пуста – никто не пришел на похороны, кроме двух старушек и Николая, который скромно стоит в стороне.

132. Ворота дома Врангеля – полдень

Сани с кучером на облучке стоят возле ворот. В санях Федя в большом овчинном тулупе. Врангель стоит возле саней.

ВРАНГЕЛЬ Не забудьте, – вы должны вернуться ровно через неделю. Иначе вы потеряете все привилегии, которых я для вас добился.

ФЕДЯ Какой ужас! Выходит, я могу побыть с Марией всего один день?

ВРАНГЕЛЬ Я знаю, знаю! Но больше ничего не могу сделать! И будьте осторожны в Кузнецке. Не дай Бог, кто-нибудь вас узнает! Тогда вам несдобровать!

ФЕДЯ Только не запугивайте меня! Ведь вы сами предложили устроить мне этот недельный отпуск для поездки к ней.

ВРАНГЕЛЬ Я просто не мог больше видеть, как вы сходите с ума. Иногда я прямо ненавижу эту женщину. Она доставляет вам одни страдания!

ФЕДЯ Она сама так страдает, что мои страдания ничто по сравнению с ее! Каждая строчка ее писем полна таким отчаянием! Она так одинока, а я не могу на ней жениться из-за того, что я солдат.

ВРАНГЕЛЬ Но почему бы ей не вернуться в Семипалатинск?

ФЕДЯ У нее столько долгов и нечем их выплатить. Алекса даже похоронили в долг. У нее порой нет денег на кусок хлеба.

Врангель вынимает из кармана бумажник и извлекает из него пачку денег.

ВРАНГЕЛЬ Раз так, вам понадобятся деньги. Возьмите у меня, прошу вас.

ФЕДЯ Я возьму, спасибо. Но не знаю, когда я смогу вам их вернуть.

ВРАНГЕЛЬ Это неважно, Достоевский. Когда сможете, тогда и отдадите.

КУЧЕР *(смуцненно)* Прошу простить меня, господа. Но нам пора ехать, если мы не хотим ночевать в лесу.

ВРАНГЕЛЬ Да, да, езжайте. Уже поздно.

ФЕДЯ Одну минуточку! Я должен вам что-то сказать, я хочу быть с вами откровенен. Прошлую ночь я никак не мог уснуть, терзаемый страхом за свою любовь. Наконец перед рассветом я задремал и тут же проснулся весь в слезах. Я не знал, как мне быть. И тут подлая

мыслишка шевельнулась во мне – а не вынудить ли вас предложить мне денег? И я продумал каждое свое прощальное слово, чтобы речь моя пронзила ваше сердце жалостью. И вот вам результат – денежки мои!

ВРАНГЕЛЬ *(порываясь уйти)* Прекратите свои глупости!

Федя хватается за рукав и не отпускает – можно подумать, что он совсем потерял голову.

ФЕДЯ И вы, бедная благородная душа, дали мне эти деньги так естественно, так просто! Если бы вы знали, как мне стыдно! Как я презираю себя, низкого, мерзкого, нищего! Но ничего, не беспокойтесь – теперь, когда мне позволено писать и печататься, я заработаю кучу денег и верну вам этот долг!

ВРАНГЕЛЬ Да я и не беспокоюсь. *(вырывается)*.
Езжайте уже, наконец! Да и мне пора, меня могут хватиться.
Сани начинают двигаться, набирая скорость.

ВРАНГЕЛЬ *(кричит им вслед)* А вы сообщили Марии о своем приезде?

ФЕДЯ Нет, я хочу сделать ей сюрприз!

133. Гостиная в доме Исаевых – вечер

Мария мечется по комнате, ломая пальцы, Николай с жалким видом сидит на диване.

МАРИЯ *(считает, закладывая пальцы)*. Двадцать два рубля за квартиру, девять двадцать пять бакалейщику, двенадцать тридцать мяснику... это уже подходит под пятьдесят, а ведь остаются еще молочник и сапожник. Может, мне пора приискать себе пожилого богатого вдовца...

Робкий стук в парадную дверь прерывает ее слова. Она отворяет дверь, входит Федя, дрожа от волнения. Он бросается к Марии, пытаясь ее обнять.

МАРИЯ *(не веря своим глазам)* Господи, Федя? Откуда ты здесь?

ФЕДЯ Родная моя бедняжка! Наконец-то я здесь, с тобой!

МАРИЯ *(уклоняясь)* Познакомься сперва с Николаем. Он – Пашин учитель.

Николай неловко поднимается с дивана и протягивает Феде руку.

НИКОЛАЙ Большая честь для меня... *(перехватывает взгляд Марии и торопливо идет в прихожую за своим пальто)*. Я думаю, мне пора.

Николай уходит, Федя ревниво наблюдает лицо Марии.

ФЕДЯ Кто этот бубновый валет?

МАРИЯ Я же сказала тебе – это Пашин учитель.

ФЕДЯ Когда-то Пашиным учителем был я. Он что, занял мое место?

МАРИЯ Господи, ты все такой же! Не успел приехать и уже начинаешь свои безобразные сцены.

ФЕДЯ Разве ты не рада, что я приехал? Я так к тебе мчался! Ты знаешь, как я рискую? Ведь я сбежал без разрешения.

МАРИЯ Ты приехал без разрешения? Ты с ума сошел!

ФЕДЯ Но ведь ты писала мне, что ты одинока, что ты страдаешь!

МАРИЯ *(падая перед ним на колени)* О, прости меня, прости меня, грешную! Мой муж только-только умер, а я уже успела полюбить другого. Я такая блудница, такая грешница, но я без ума от него! Без ума! Он так молод и глуп, мне так хорошо с ним, как не было ни с кем, никогда!

ФЕДЯ Я не верю ни одному твоему слову!

МАРИЯ Я такая грешница, я не имею права жить. Может я должна наложить на себя руки?

ФЕДЯ Нет, нет, ты так много страдала, ты заслужила свое счастье!

МАРИЯ Ты хочешь сказать, что прощаешь мне мою любовь к другому?

ФЕДЯ Я не прощаю, нет, но кто я такой, чтобы судить тебя? Я так люблю тебя, что счастлив видеть тебя счастливой.

МАРИЯ *(обнимая Федины колени)* Я, подлая и грешная, как я смею приносить боль такому благородному человеку? Я выброшу из своего сердца эту грешную любовь и запиру его на ключ!

Федя отталкивает ее.

ФЕДЯ Я не могу принять такую жертву, я не хочу стоять на пути твоего счастья!

МАРИЯ (*прижимаясь лицом к его коленям*) Как я могу быть счастлива, зная, что сделала тебя несчастным?

Федя поднимает Марию и страстно ее целует.

134. Улица перед домом Исаевых – вечер

Николай заглядывает в щель между гардинами. При виде Марии целующейся с Федей он начинает бешено колотить в дверь кулаками.

НИКОЛАЙ (*очень громко*) Мария, открой! Впусти меня, Мария!

135. Гостиная в доме Исаевых – вечер

Федя пытается вырваться из объятий Марии, но она льнет к нему и не отпускает.

НИКОЛАЙ (*громко барабана в дверь*) Мария, открой! Открой! Впусти меня, Мария!

ФЕДЯ Останови его, умоляю! Он поднимет на ноги весь город!

136. Улица перед домом Исаевых – вечер

Николай бросается на дверь всем телом, словно хочет ее сломать. В окнах соседних домов зажигаются огни, выглядывают любопытные лица.

137. Гостиная в доме Исаевых – вечер

Вырвавшись, наконец, из рук Марии, Федя идет к двери и отворяет ее, хотя Мария висит на его руке, стараясь воспрепятствовать этому.

ФЕДЯ В чем дело?

НИКОЛАЙ (*пытаясь войти в дом*) Нам надо поговорить.

МАРИЯ (*выталкивая его*) Уходи. Не о чем тут говорить!

ФЕДЯ Нет, Маша, мы должны его выслушать.

НИКОЛАЙ (*врываясь в комнату*) Вы воображаете, что вы ей нужны?

МАРИЯ И он прав – он мне очень нужен.

НИКОЛАЙ И вы ей верите? У нее только что умер муж, она сама не знает, что говорит! Она любит меня, и мы собираемся пожениться!

ФЕДЯ Ты собираешься замуж за этого бубнового валета?

МАРИЯ Понимаешь, я люблю его. Но тебя я тоже люблю.

ФЕДЯ Что ж, он молод и хорош собой, но сможет ли он содержать тебя с ребенком? Сколько получает бедный школьный учитель?

НИКОЛАЙ Если я женюсь, мне повысят жалованье.

ФЕДЯ Теперь мне по крайней мере понятно, почему ты вздумал жениться!

НИКОЛАЙ Не слушай его – он просто старается вбить клин между нами.

МАРИЯ (*Феде враждебно*) Разве ты не сказал только что, будто мое счастье тебе важнее твоего собственного?

ФЕДЯ Но о твоём счастье я как раз и забочусь! С этим валетом ты навеки застрянешь в этом мерзком городишке на краю света!

Николай неожиданно хватается Марию и Федю за плечи и подталкивает их к стенному зеркалу.

НИКОЛАЙ Посмотрите на нее! А теперь на себя рядом с ней! Разве такая красавица может принадлежать вам?

ФЕДЯ (*Марии, умоляюще*) Вы – такая образованная и умная! Неужто он вас достоин?

НИКОЛАЙ Образование не имеет никакого отношения к любви. Я – ее любовник, нам с ней хорошо в постели, при чем тут образование!

ФЕДЯ (*в шоке*) Вы хотите сказать, что вы и она... что она и вы... уже?

НИКОЛАЙ Да, я сплю с ней, и ей это подходит! Ну что, доволен?

МАРИЯ (*закрывая лицо руками*) Хватит, Николай! Прекрати!

ФЕДЯ (*словно в бреду*) Конечно, если ты спишь с ним, я уйду... Я уйду сейчас же... Я не хочу мешать... (*достает деньги из кармана и кладет на стол*) Вот немного

денег, это для тебя, чтобы ты заплатила долги. Возьми их и забудь меня... Я не заслуживаю тебя... я желаю тебе счастья...

Мария хватает деньги и швыряет их Феде.

МАРИЯ Забери свои проклятые деньги, я не принимаю подаваний!

Сбросив с себя рассыпанные банкноты, Федя убегает в ночь. Мария делает было шаг вслед за ним, но Николай перехватывает ее на полпути и крепко держит. Какое-то время она старается вырваться, но напрасно – она сникает в его руках.

МАРИЯ Отпусти меня. Я должна его догнать.

НИКОЛАЙ Пусть катится ко всем чертям. Он нам с тобой ни к чему.

Он отпускает Марию, она падает на диван и начинает биться головой о валик.

МАРИЯ Никогда, никогда не будет мне прощения! Никогда! Лучше уж я наложу на себя руки!

Не обращая внимания на ее слова, Николай опускается на колени и начинает методично собирать рассыпанные банкноты, тщательно пересчитывает их и складывает в аккуратную кучку.

138. Сад при доме Врангеля – летний полдень

Коляска, запряженная тройкой, ждет у ворот. Федя помогает Адаму укладывать в коляску сундуки, коробки и свертки. Покончив с укладкой, Федя входит в дом. Врангель появляется на пороге с подносом, на котором бутылка водки и две рюмки. За ним выходит Федя с картиной, завернутой в одеяло.

ВРАНГЕЛЬ (разливая водку по рюмкам) Что ж, брат, выпьем на посошок!

Федя берет рюмку и садится на ступеньки террасы.

ФЕДЯ Какой это был подарок судьбы, что я вас тут встретил!

Врангель садится рядом с ним.

ВРАНГЕЛЬ Мне следовало бы чувствовать себя счастливым из-за того, что я вырываюсь из этой затхлой

дыры. Но сердце мое разрывается при мысли, что я покидаю вас здесь в одиночестве. Меня утешает только надежда, что в Петербурге я буду за вас бороться. Там от меня будет больше пользы...

ФЕДЯ Выпьем за успех вашей борьбы! Иначе мне конец. Наверно, я эгоист, но зачем мне жить без Марии и без вас?

Пьют. Врангель подливает водки в рюмки.

ВРАНГЕЛЬ Давайте выпьем за то, чтобы вы перестали о ней думать.

ФЕДЯ Никакой надежды. Я думаю о ней день и ночь.

АДАМ Нам пора, барин. Уже поздно.

ВРАНГЕЛЬ (*поднимаясь*) Иду, иду!

Идет к воротам. Федя несет за ним картину.

ФЕДЯ Господи, как мне будет вас не хватать!

ВРАНГЕЛЬ Вот и воспользуйтесь одиночеством. Начните, наконец, писать. Россия ждет ваших новых романов.

Федя вручает ему картину.

ФЕДЯ Счастливого пути, дорогой друг. И пусть наша Мадонна вас охраняет.

139. Дорога перед домом Врангеля – день

Коляски с нарядно одетыми дамами приближаются к дому.

140. Сад при доме Врангеля – день

Заслышав голоса подъезжающих гостей, Врангель ставит картину под дерево и спешит им навстречу. Мадам Беликова выходит из коляски, неся коробку с тортом.

ВРАНГЕЛЬ Какой сюрприз!

МАДАМ БЕЛИКОВА Неужто вы думали, милый барон, что мы позволим вам уехать без надлежащих проводов?

АДАМ (*тянет Врангеля за рукав*) Но мы не можем задерживаться, барин. Мы должны спешить, уже поздно.

МАДАМ БЕЛИКОВА Не беспокойся, Адам, мы вас не задержим. У нас все готово для прощания.

Ольга и две другие дамы достают из коляски бутылки шампанского и ставят на садовый стол. Другие

дамы вносят в сад коробки с бокалами и нарезают торт. Все говорят и смеются, не слушая друг друга. Только Федя одиноко сидит на ступеньках террасы. Врангель замечает это и спешит к нему.

ВРАНГЕЛЬ Почему вы сидите в стороне от всех?

ФЕДЯ До меня только сейчас дошло, что вы и вправду уезжаете. Только сейчас передо мной открылся весь ужас вашего отъезда.

ДАМЫ Барон! Врангель! Куда вы убежали? Мы ждем вас!

ВРАНГЕЛЬ (Феде) Вы не могли бы отвлечь их от меня на минутку?

Федя идет к дамам. Они наливают ему шампанское и окружают его, весело щебеча. Тем временем Врангель прокрадывается к картине и уносит ее в дом. Через минуту он появляется уже без картины и направляется к воротам. Гости и Федя следуют за ним. Врангель целует Федю и взбирается в коляску. Адам садится на облучок и понукает лошадей. Коляска трогается с места. Выкрикивая прощальные напутствия, дамы машут ей вслед. Только Федя одиноко стоит у ворот, по щекам его текут слезы. Коляска исчезает за поворотом, Дамы обращают свое внимание на Федю.

1 ДАМА Бедный Достоевский! Теперь вы остались в полном одиночестве!

2 ДАМА Как грустно расставаться с другом!

МАДАМ БЕЛИКОВА У нас ведь не осталось ничего на память о милом бароне. Не подарите ли вы нам свои замечательные цветы?

ФЕДЯ Но вы же знаете наши правила...

МАДАМ БЕЛИКОВА Что вам до правил, если сердце разбито?

ДАМЫ (хором) Пожалуйста, Достоевский! Пожалуйста! Подарите нам ваши дивные цветы!

ФЕДЯ Наверно, вы правы. Какие могут быть правила, если его больше нет с нами?

Он хватает садовые ножницы и начинает срезать цветы без разбора, Лицо его выражает крайнее отчаяние.

ОЛЬГА Я всегда знала, что сердце у вас нежное.

141. Сад при доме Врангеля – сумерки

Сад абсолютно пуст, там не осталось ни одного цветка. Федя безумно бродит по дорожкам, разглядывая опустошенные грядки. Потом, словно ударенный током, он закрывает лицо руками и бросается в дом.

142. Гостиная в доме Врангеля – сумерки

Федя вбегает в комнату, там темно. Он зажигает свечу и, не веря своим глазам, смотрит на висящую на стене «Сикстинскую мадонну».

143. Роскошная приёмная – день

Брат Феди Михаил нервно ходит по приемной из угла в угол. Дверь открывается, из кабинета выходит Врангель в парадном мундире, Михаил в волнении спешит ему навстречу.

МИХАИЛ С успехом?

ВРАНГЕЛЬ С частичным. Федю повысили в чине – теперь он сержант.

МИХАИЛ То есть ему предстоит еще долго оставаться в Сибири и служить в армии?

ВРАНГЕЛЬ К сожалению, именно так. Но как сержант он, по крайней мере, имеет право жениться и содержать семью на свою жалкую зарплату.

МИХАИЛ Тоже небольшая радость. Я уверен, с этой женщиной он еще хлебнет горя.

ВРАНГЕЛЬ Вам не стоит в это вмешиваться. Не сводите его с ума, он и так сходит там с ума от одиночества и тоски.

МИХАИЛ Я боюсь, брак с этой бабой не спасет его ни от одиночества, ни от тоски.

144. Гостиная в доме Врангеля – ночь

В комнате темно. Федя, одетый, лежит на диване и смотрит на картину. Глаза его открыты, губы шепчут:

ФЕДЯ Проклятая, проклятая Сибирь!

145. Камера Ставрогина в Петропавловской крепости

Ставрогин пластом лежит на койке. Он выглядит еще хуже, чем раньше. На стене добавилась еще одна строка

«А. Ставрогин, 1857».

Отодвигается глазок в двери, заглядывает Тюремщик. Насмотревшись, отпирает дверь и входит, держа руки за спиной.

ТЮРЕМЩИК *(рывает)* Встать!

Ставрогин продолжает лежать.

ТЮРЕМЩИК Встать, кому говорят! Послание от его императорского величества царя Александра второго.

Показывает спрятанный за спиной белый конверт. Ставрогин с трудом поднимает голову и садится на койку, но Тюремщик не спешит отдать ему конверт.

ТЮРЕМЩИК *(помахивая конвертом перед носом Ставрогина)* Может спляшешь? Все ж таки послание от батюшки царя!

Ставрогин неожиданно приподнимается, ударяясь головой о низкий потолок, и выхватывает конверт. Тюремщик хочет забрать конверт, но взглядевшись в лицо Ставрогина, поспешно отступает и выходит из камеры, плотно прикрыв за собой дверь. Ставрогин распечатывает конверт дрожащими пальцами и вынимает из конверта письмо. Медленно вчитывается в написанное. Перечитывает и говорит в пространство – он уже давно привык говорить сам с собой.

СТАВРОГИН Интересный выбор! Чего я хочу – навсегда остаться в этой камере или навечно быть сосланным в Сибирь на поселение? Навечно – ха-ха-ха!

Ставрогин начинает, как безумный, колотить в дверь и кричать неожиданно вернувшимся к нему громовым голосом:

СТАВРОГИН Эй, стражник! Эй, кто там есть живой? Скажите царю, что я счастлив уехать на поселение в Сибирь навечно! Немедленно и навечно! Благословенная Сибирь!

146. Бедная комната гадалки – день

Федя в форме сержанта сидит за столом. Стоя у печи, гадалка что-то варит в маленьком горшочке.

ФЕДЯ Вчера я получил от нее письмо. Она все еще не вышла замуж за своего бубнового валета.

ГАДАЛКА А ты все еще хочешь жениться на женщине, которая любит другого?

ФЕДЯ Я хочу жениться на ней, что бы ни случилось! Даже если небо упадет на землю, я хочу на ней жениться! Но ты можешь мне помочь – ты должна снять с нее это наваждение.

Жидкость в горшочке вскипает. Гадалка бросает в варево какие-то травы, потом зачерпывает ложку темной густой жидкости и выплескивает ее на огонь. Синие языки пламени взлетают под потолок.

ГАДАЛКА Так ты надеешься на мою помощь? Ладно, погоди, я посмотрю, что я могу сделать.

ФЕДЯ Я верю в твое колдовство! Ты можешь сделать так, чтобы она согласилась за меня выйти.

ГАДАЛКА Это хорошо, что веришь. Но вера верой, а денежки готовь!

147. Осенняя ярмарка в Кузнецке – день

Толпа наблюдает за петушиным боем. Черный петух все время побеждает. Николай, стоя в толпе, ставит на черного петуха большую ставку. Через пару минут на поле боя выходит новый петух – белый. Он бодр и свеж, но Николай продолжает упрямо ставить на черного. Белый побеждает, Николай в ужасе следит, как лопатка сгребает со стола все его деньги.

148. Гостиная в доме Исаевых в Кузнецке – на пару часов позже

Мария следит сквозь полузадернутые занавески, как хозяин и хозяйка поднимаются по ступенькам на ее крыльцо. Николай стоит рядом с ней.

МАРИЯ (тихо Николаю) Иди на кухню и не высовывайся.

Николай выскальзывает на кухню за секунду перед тем, как хозяин и хозяйка входят в дом.

ХОЗЯИН Мы пришли за деньгами. Надеюсь, вы не забыли, что вчера был последний срок?

ХОЗЯЙКА Конечно, она забыла. Куда ей помнить о таких мелочах? Она слишком занята своим романом с мальчишкой!

МАРИЯ Как вы смеете разговаривать со мной таким тоном?

ХОЗЯЙКА (*идя в атаку*) А как еще разговаривать с такой шлюхой, как ты? Ты должна мне за полгода, и я намерена получить с тебя свои деньги!

Мария начинает плакать, надеясь разжалобить хозяйина

МАРИЯ Сжальтесь надо мной, господин хороший! Что я могу поделать, если мой дорогой супруг скончался, не оставив нам с ребенком ни копейки?

ХОЗЯЙКА Что ты можешь поделать? Ты, как другие порядочные женщины в беде, можешь найти работу и заработать на себя и на ребенка.

Хозяйка подходит к гардеробу и распахивает дверцу – гардероб полон нарядных платьев.

ХОЗЯЙКА Точно как я и думала – у нее полно нарядов! И неплохих, совсем даже неплохих. Я заберу их, если она немедленно не заплатит за квартиру.

Мария подбегает к гардеробу и, широко раскинув руки, закрывает свое имущество своим телом.

МАРИЯ Через мой труп!

ХОЗЯЙКА (*приказывает мужу*) Держи ее крепче – за обе руки!

Когда хозяин делает шаг по направлению к Марии, из кухни выскакивает Николай – лицо его искажено гневом. При виде его лица Мария пугается – ей ни к чему скандал. Лицо ее принимает скорбное выражение жертвы, она поспешно подходит к комоду, вынимает из-за декольте ключ, висящий на цепочке, и отпирает один из ящичков.

МАРИЯ Что ж, если вы готовы лишиться ребенка последней крошки хлеба – берите все, что у меня есть!

Выдвигает ящик, достает жестяную коробочку из-под чая и открывает ее – она пуста.

МАРИЯ О Боже, куда девались деньги?

Николай делает шаг вперед, умоляюще простирая руки к Марии.

НИКОЛАЙ Прости меня! Умоляю, прости! Я ведь надеялся выиграть! Я знал, что там не достает денег, чтобы заплатить долг, вот минут и подумал – пойду и выиграю!

Хозяйка издевательски хохочет. Какую-то секунду Мария смотрит на Николая, словно до нее не доходит

смысл его слов, а потом присоединяется к хозяйке. Продолжая безудержно хохотать, она бросается к гардеробу и начинает выбрасывать из него платья на пол.

МАРИЯ Хватай мои платья! Бери их все, стерва! Можешь ими подавиться, гадина! На черта мне теперь эти тряпки? Куда мне в них ходить? *(Николаю)* А ты, великий игрок, можешь катиться подальше – я все решила! Я выхожу замуж за Достоевского! Теперь ты доволен, великий игрок?

149. Ворота Петропавловской крепости – морозный зимний день.

Сани со Ставрогиным выезжают из ворот крепости и пересекают мост над глубоким рвом.

150. Бесконечная заснеженная степь – сумерки

Снежные вихри взметают белые хлопья, засыпая узкую, еле видную колею. Федя, одетый в огромный овчинный тулуп, едет в санях, на облучке которых сидит закутанный Первый ямщик.

ПЕРВЫЙ ЯМЩИК Вон какая завирюха начинается, барин. Нам бы лучше остановиться на ночлег в ближайшем трактире, пока не стемнело.

ФЕДЯ Это невозможно! Если мы здесь заночуем, я опоздаю на свою собственную свадьбу.

ПЕРВЫЙ ЯМЩИК *(философски)* На собственную свадьбу опоздать никак нельзя – еще не родилась такая невеста, чтобы ее обвенчали без жениха.

ФЕДЯ Езжай, езжай, хватит философствовать.

Сани продолжают свой путь. Федя задремывает. Навстречу саням Федя из бурана появляются другие сани, на облучке которых сидит Второй ямщик. В санях два пассажира – Ставрогин и жандарм.

ВТОРОЙ ЯМЩИК Эй, парень! Ты знаешь местные дороги? Мы, похоже, заблудились.

ПЕРВЫЙ ЯМЩИК А куда вы путь держите?

ВТОРОЙ ЯМЩИК Да вот, везу ссыльного в Томск.

ПЕРВЫЙ ЯМЩИК Если в Томск, тебе на следующей развилке надо свернуть налево, и ты на верном пути. Только смотри внимательней – чтобы в темноте не проскочить.

ВТОРОЙ ЯМЩИК (*проезжая мимо*) Спасибо. Нам надо спешить. Мой пассажир что-то захворал, ему надо доктора поскорей.

В этот момент Федя открывает глаза и видит сквозь снеговую завесу мелькнувшее мимо неузнаваемо разбухшее, обросшее густой седой бородой лицо Ставрогина с заплывшими глазами. Оба Ямщика погоняют своих лошадей кнутами, чтобы ускорить их шаг. Сани разъезжаются. Федя вновь впадает в дрему, но сон его беспокоен, его преследует беспричинное видение.

151. Роскошный банный зал - видение

Большой овалный бассейн в центре зала многократно отражается в бесчисленных зеркалах, которыми увешаны стены. Голый Федя лежит на полке парной, терпеливо снося жестокие илпки березового веника, которым хлещет его Ставрогин. Спина его полыхает багровыми полосами, губы закушены, пальцы вцепились в край полки.

СТАВРОГИН (*продолжая хлестать*) Ну как? Все в порядке?

ФЕДЯ Лучше быть не может.

Опустив веник, Ставрогин проводит пальцем по багровой Фединой спине, Федя вздрагивает.

СТАВРОГИН А ведь здорово болит, правда? Я уже было подумал, что ты обожаешь боль.

ФЕДЯ Ты что, нарочно?

СТАВРОГИН Уж конечно не нечаянно. Мне любопытно было проверить, как долго ты выдержишь.

ФЕДЯ (*вставая на четвереньки*) Мне тоже было любопытно – насколько тебя хватит.

СТАВРОГИН Но ведь страдал-то ты, а не я!

ФЕДЯ Нет, брат! Страдала только моя спина! А душа страдала – твоя!

152. Бескрайняя заснеженная степь – сумерки

Федя открывает глаза и снова видит промелькнувшее мимо лицо Ставрогина. Он смотрит вслед исчезнувшим в белом мареве саням. Потом вскакивает, чуть не опрокинув сани, и кричит:

ФЕДЯ Ставрогин! Ставрогин! *(Ямщику)* Останови сани! Живо!

ПЕРВЫЙ ЯМЩИК Вы что, барин, так нельзя *(останавливает сани)* Так и в снег опрокинуться можно.

ФЕДЯ Поворачивай обратно! Быстрой! Мы должны их догнать!

ПЕРВЫЙ ЯМЩИК Это тех, что проехали с ссыльным, что ли? Да как мы их догоним? Они уже полчаса назад как мимо проехали, не меньше.

ФЕДЯ *(вне себя)* Полчаса – пустяк! Поднажми и догоним! Езжай обратно – я оплачу тебе лишнюю дорогу!

ПЕРВЫЙ ЯМЩИК Что ж, нам без разницы. Раз вы заплатите, можно и повернуть. Но свадьба-то ваша как? Опоздать не боитесь?

ФЕДЯ *(возвращаясь к реальности)* Свадьба? О Боже, про свадьбу-то я и забыл. Ты прав, брат, поезжай вперед!

153. Дом Марии в Кузнецке - ночь

Дом уже пуст – все имущество Марии упаковано для долгого путешествия. Паша спит на полу. Федя и Мария завершают последние приготовления к завтрашней свадьбе. Федя делает попытку обнять Марию, но она его отталкивает.

МАРИЯ Только не сейчас! Ради Бога, оставь меня в покое – у меня голова раскалывается от беспокойства за завтрашний день.

ФЕДЯ Но почему, почему? Разве я не пообещал тебе, что ты будешь счастлива?

МАРИЯ Ну что ты понимаешь в моем счастье?

ФЕДЯ Я знаю тебя лучше, чем ты сама себя знаешь. С твоей помощью я верну свою бывшую славу

МАРИЯ Вот видишь – опять Я! Я! Я! Ты думаешь только о себе.

ФЕДЯ Но я стремлюсь к этому только ради тебя! Ты встретила меня в самый мрачный момент моей жизни и воскресила мою душу.

МАРИЯ *(смягчаясь)* Конечно, конечно, дорогой! Я просто страшно боюсь завтрашней церемонии – ведь мне придется поцеловать тебя в той самой церкви, в которой отпевали Алекса. *(берет с вешалки пальто Феди)* А теперь

уходи – мне необходимо хоть немного поспать перед свадьбой.

ФЕДЯ А я надеялся, что сегодня ты позволишь мне остаться.

Говоря это, Федя уже послушно застегивает пуговицы пальто, в которое Мария втиснула его почти насильно. Мария решительно отворяет дверь.

МАРИЯ Представляешь, что скажут мои соседи, если ты останешься у меня в ночь перед свадьбой?

ФЕДЯ Кому есть дело до твоих соседей?

МАРИЯ *(награждая Федю прощальным поцелуем)* Мне есть дело, дорогой, мне.

Федя выходит. Мария следит из-за занавески, как он пересекает улицу и скрывается за углом. Потом тщательно задергивает шторы. Выходит на кухню и осторожно открывает заднюю дверь. Из темноты в кухню прокрадывается Николай.

НИКОЛАЙ Почему он так долго не уходил?

МАРИЯ Забудь о нем!

Приникают друг к другу и стоят обнявшись.

154. Площадь перед церковью в Кузнецке – утро

Это та же самая церковь, где отпевали Алекса. Запряженные тройкой сани с Первым ямщиком на облучке дожидаются у церковных ворот выхода Федя и Марии. Наконец, они появляются в дверях церкви и садятся в сани. За ними идет Николай, ведя за руку Пашу. Паша взбирается в сани и устраивается на заднем сиденье. Николай помогает им всем закутаться в тулупы и меховые полости. Сани трогаются и выезжают с площади на улицу. Подождав, пока они исчезнут из виду, Николай направляется к маленьким саням, в которые запряжена одна лошадь. Он усаживается в сани, заворачивается в тулуп и трогается вслед за санями Достоевских, держась от них на значительном расстоянии.

155. Комната Достоевских в гостинице – поздний вечер

Федя раздевается. Мария застыла в напряженной позе у окна, вглядываясь в темноту.

ФЕДЯ *(обнимая ее)* Иди ко мне, моя любовь. Наконец-то мы одни!

Мария отводит его руки.

МАРИЯ Иду, иду! Ты раздевайся и жди меня в постели, ладно?

ФЕДЯ (*покорно*) Как хочешь, радость моя. Я ждал этого момента так долго, что могу подождать еще несколько минут.

Федя ложится. Мария не отвечает – все ее внимание поглощено тем, что происходит за окном. Вне себя от беспокойства она нервно ломает пальцы. Не выдержав ожидания, Федя поднимается с постели и делает несколько шагов по направлению к Марии. Она нетерпеливо отмахивается от него. В этот момент она замечает, как маленькие сани Николая выезжают из лесу и приближаются к гостинице.

Со вздохом облегчения Мария задергивает шторы и направляется к кровати, протягивая руки навстречу Феде. Но едва Федя, полный радостного возбуждения, принимает ее в свои объятия, лицо его вдруг покрывается мертвенной бледностью и с губ срывается дикий, нечеловеческий вопль. Он падает на пол и начинает биться в остром эпилептическом приступе. На губах его выступает белая пена, зубы стучат друг о друга с нечеловеческой силой, лицо искажается до неузнаваемости. Полуодетая Мария в ужасе выскакивает в коридор.

МАРИЯ (*рыдая*) На помощь! На помощь!

156. Гостиничный коридор – ночь

Мария выбегает в коридор, там пусто, гостиница погружена в сон. Из одной из дверей выскакивает полуодетый Николай, Мария с рыданиями бросается ему на шею.

157. Комната Достоевских в гостинице – ночь

Федя лежит на полу, продолжая извиваться в эпилептическом приступе. Вбегают Мария и Николай, который опускается на колени и вытирает пену с искаженных судорогой губ Феди. Мария в истерике мечется по комнате.

МАРИЯ Он умрет? Он умрет?

НИКОЛАЙ Успокойся, он не собирается умирать. У него просто припадок эпилепсии, я хорошо эту болезнь знаю, мой дядя всю жизнь ею болеет.

МАРИЯ Всю жизнь? Ты хочешь сказать, что эта ужасная болезнь на всю жизнь?

НИКОЛАЙ Боюсь, что да. У дяди такие припадки случаются довольно часто.

МАРИЯ Не может быть? Опять – болезнь на всю жизнь? Второй раз я это не вынесу! *(приникает к Николаю)*. Давай убежим! Увези меня отсюда прямо сейчас!

НИКОЛАЙ Куда я могу тебя увезти?

МАРИЯ Куда угодно! Только бы подальше от него!

НИКОЛАЙ *(отстраняясь)* Ну подумай сама, куда мы можем убежать? Мы – нищие, понимаешь? Нищие! У нас нет ни гроша за душой, и никто нигде нас не ждет.

МАРИЯ Мы что-нибудь придумаем! Я найду работу! Только увези меня поскорей от этого... *(брезгливо пинает Федю босой ногой)* от этого...

НИКОЛАЙ Бедная моя, тебе придется с эти примириться. По крайней мере, пока. Но я всегда буду рядом с тобой, я тут же прибегу, ты только меня позови.

Федя со стоном начинает выплывать из глубокого обморока. Николай поспешно целует Марию и выскальзывает из комнаты. Мария опускается на колени, Федя открывает глаза.

ФЕДЯ *(едва шевеля губами)* Где я? Что случилось?

Мария хватает его за плечи и начинает трясти так яростно, что голова его бьется об пол.

МАРИЯ Подлец! Негодяй проклятый! Почему ты обманул меня? Почему скрыл, что болен этой ужасной болезнью?

158. Приёмная военного губернатора Семипалатинска – летний полдень

Николай, сидя у столика в углу, пишет какую-то обстоятельную бумагу. В приемную вбегают взволнованный Федя с журналом подмышкой. Не глядя вокруг, он быстро идет к Секретарю, сидящему за столом возле дверей губернаторского кабинета.

ФЕДЯ (*утирая лоб, покрытый потом от быстрой ходьбы*) Добрый день! Могу я видеть его превосходительство?

СЕКРЕТАРЬ Его превосходительство сейчас заняты. Не изволите ли немного подождать?

Разговор Феди с Секретарём звучит, как беседа двух добрых знакомых, а не как разговор старшего и младшего по чину.

Услышав голос Феди, Николай вздрагивает и, втянув голову в плечи, пытается втиснуться в стул, в надежде, что его не заметят. Да ФЕДЯ и не в том состоянии, чтобы что-нибудь замечать – он взволнован и возбужден.

ФЕДЯ Честно говоря, я просто лопаюсь от нетерпения показать его превосходительству этот журнал! Вы только поглядите, поглядите – мой рассказ напечатан в «Отечественных записках»!

СЕКРЕТАРЬ Примите мои поздравления! Я бы попросил его превосходительство принять вас немедленно, но тот молодой человек в углу дожидается его уже больше часа.

Федя оборачивается в сторону указующего перста Секретаря и видит Николая. Первая его реакция – страшный шок, а Николай тем временем вскакивает со стула со смешанным выражением смущения и вызова.

Тем временем Секретарь входит к губернатору.

ФЕДЯ Вы – здесь? Вот уж не ожидал! Что вы здесь делаете?

НИКОЛАЙ Ищу работу...

До Феди постепенно доходит смысл случившегося.

ФЕДЯ Вы хотите сказать, что переехали из Кузнецка сюда и ищите работу здесь? Мария об этом знает?

Пока Николай мнетя, не находя ответа, Федя находит ответ сам.

ФЕДЯ Да что я спрашиваю? Конечно, знает.

НИКОЛАЙ (*бормочет*) Там, в Кузнецке, меня уволили... так сами понимаете...

ФЕДЯ Значит, вы с ней все это время переписывались?

НИКОЛАЙ Я был в отчаянии... А она была так добра, что сама предложила мне помощь... То есть, что она пустит в ход свои связи... ну, сами понимаете... Чтоб я мог сдать экзамен и повыситься в чине... ну, как государственный служащий...

Секретарь выходит из кабинета.

СЕКРЕТАРЬ (*Феде, возбужденно*) Его превосходительство желают принять вас немедленно! Скажите, вы ведь были знакомы со знаменитым мятежником Андреем Ставрогиным? Представьте, он умудрился убежать из ссылки! Говорят, он уже в Японии. Подумать только, что за человек!

Но Федя не слышит рассказа Секретаря. Потрясенный до глубины души появлением Николая, он, не говоря ни слова, поворачивается на каблучках, и, как слепой, выходит из приемной на улицу.

СЕКРЕТАРЬ (*удивленно вслед Феде*) Куда же вы, Достоевский? Ведь его превосходительство горят нетерпением увидеть журнал с вашим рассказом!

159. Улица Семипалатинска – полдень

Федя, не видя ничего вокруг себя, идет по улице, преследуемый сворой бродячих собак. Порывы ветра швыряют ему в лицо сухой песок и пыль, но он даже не удосуживается протереть полные слез глаза. Он проходит мимо дома гадалки, которая следит за ним из окна. Когда он подходит совсем близко, она распахивает окно.

ГАДАЛКА (*кричит Феде*) И не думай об этом, слышишь? Забудь свои глупости! Ты не способен убить человека, это не для тебя.

Федя резко останавливается и смотрит на нее, словно громом пораженный

160. Дом Достоевских в Семипалатинске – день

Мария на кухне занята стиркой. Федя входит с журналом в руке и молча идет к своему рабочему столу в гостиной, над которым висит «Сикстинская мадонна». Мария замечает, что он пришел, и зовет его из кухни.

МАРИЯ Что ты сегодня так рано? Обед еще не готов.

Не отвечая, Федя роняет журнал на пол и начинает лихорадочно писать что-то. Мария зовет из кухни.

МАРИЯ Я спрашиваю, почему ты так рано?

МАРИЯ (*входит из кухни*) Почему ты не отвечаешь? Надеюсь, ты не оглох?

Федя продолжает писать, не обращая на нее никакого внимания. Это раздражает ее, и она начинает говорить все громче и громче. Голос ее звучит пронзительно, речь ее прерывают частые приступы кашля.

МАРИЯ Я боюсь, я скоро вообще разучусь говорить. Ведь мой бедный муж внезапно онемел – а поскольку я из дому не выхожу, мне не с кем даже словом перемолвиться! Хотите узнать, почему я никогда не выхожу из дому? Я вам расскажу, с удовольствием расскажу! Чтобы выйти из дому, нужно иметь приличное платье и приличного мужа, а у меня нет ни того, ни другого!

Федя продолжает писать. В приступе ярости Мария сметает его бумаги со стола и начинает топтать их ногами.

МАРИЯ (*визгливо*) Убирайся ко всем чертям, каторжник проклятый! Меня от тебя тошнит!

ФЕДЯ (*тихим голосом*) Лучше бы ты не топтала это письмо. Это мое прошение губернатору подыскать работу для Николая.

Потрясенная его словами Мария останавливается, как вкопанная, поднимает письмо и разглаживает его на столе.

ФЕДЯ Может, ты хочешь, чтобы я тебе его прочел? Я пропущу официальную часть. (*читает*) Он – способный молодой человек, но его положение безнадежно, если он не сможет сдать экзамен...

МАРИЯ С какой стати ты хочешь помочь Николаю?

ФЕДЯ Я встретил его сегодня в приемной губернатора. Он выглядел так жалко, возможно он был голоден.

Наконец до Марии доходит смысл слов Феде.

МАРИЯ Та-а-ак! Значит, ты встретил сегодня Николая, и даже не удосужился спросить меня, знаю ли я,

что он в Семипалатинске? Ты ведь не сомневаешься, что я знаю, правда?

ФЕДЯ (с беспомощной улыбкой) Я всегда боялся, что это когда-нибудь случится!

МАРИЯ Чего ты улыбаешься, убудок? Чему радуешься? Я знаю, знаю, – восхищаешься своим благородством и щедростью своей жалкой душонки! А меня ненавидишь! Думаешь, я не чувствую, как ты меня ненавидишь? И презираешь! А мне плевать – можешь презирать сколько хочешь! Ты так занят собой, так собой доволен, что меня тебе нисколько не жаль! Не жаль, что вся моя жизнь – одна сплошная беда!

Федя хватает с пола лист бумаги и начинает торопливо писать.

МАРИЯ Как могло случиться, что все мои мужья оказались убудками? Как на подбор – один хуже другого! За что мне это, за что? Как хорошо, как славно жилось мне в родительском доме! Мой папа был очень уважаемый человек, нас иногда навещал сам господин губернатор. Однажды моя мама давала весенний бал, и я танцевала с молодым графом. Я была так невинна, так очаровательно выглядела в своем воздушном белом платье, отделанном кружевами, что старая баронесса Бромберг указала на меня своим веером из страусовых перьев и сказала: «Эту девушку ожидает необыкновенная судьба!». И она оказалась права – моя судьба и вправду необыкновенная.

Внезапно взгляд Марии падает на исписанный Федей лист.

МАРИЯ Что ты там пишешь? *(выхватывает лист)* Ты за мной записываешь? Зачем? Чего ради?

Федя смотрит на нее взглядом, полным любви и восхищения.

ФЕДЯ То, что ты говоришь – удивительно! Именно этих слов мне не хватало для моего нового романа. Несчастливая женщина, лишенная всего – денег, мужа, крова над головой, – будет рассказывать эту историю своей дочери.

Мария недоверчиво касается его руки

МАРИЯ Какой еще роман? Ты – сумасшедший! Я думала, ты собираешься меня убить, у тебя была такая страшная улыбка, словно с того света.

Федя тянется к Марии и обнимает ее, она не отстраняется. Он ласкает ее со все возрастающим возбуждением.

ФЕДЯ А я и впрямь собираюсь тебя убить. И убью. В своем новом романе. Я заставлю тебя страдать так же жестоко, как страдаю я. И мой нож пронзит твое подлое сердце – так же, как твое предательство пронзило мое. Это будет удивительный, невиданный роман, в нем будет все – грех и раскаяние, преступление и наказание!

Федина страсть захватывает Марию и она отдается его ласкам с меньшей страстью.

ФЕДЯ (его руки бродят по телу Марии) Твоя кровь будет всюду – на лице, на руках, на груди, все стены будут забрызганы твоей кровью...

161. Учебный плац в степи – ранняя весна

Весь плац покрыт тающим снегом. Взвод молодых рекрутов выполняет команды Феди, одетого в шинель с погонами прапорщика.

ФЕДЯ На коле-но! Ружья к плечу!

Рекруты падают на колени прямо в тающий снег. Слышен приближающийся конский топот. На плац въезжает молодой офицер верхом на коне и вручает Феде официального вида конверт.

ОФИЦЕР От его превосходительства!

Федя разрывает конверт дрожащими пальцами, вынимает из него письмо, быстро читает и, не сказав никому ни слова, внезапно убегает прочь. В его глазах и походке есть что-то безумное. Стоящие на коленях рекруты с изумлением смотрят вслед своему убегающему офицеру.

162. Дом Достоевских в Семипалатинске – ранняя весна

На стене висят два портрета, один – Паши, ставшего на пару лет старше, одетого в форму ученика военной школы, другой – Феди с журналом «Отечественные записки». Тот же журнал лежит на Федином рабочем

столе, рядом с пачкой исписанных листов. Федя врывается в дом, как безумный, размахивая письмом.

ФЕДЯ Мы свободны! Мы возвращаемся в Петербург!
Услыхав его крик, Мария выбегает из кухни.

МАРИЯ В Петербург? Не может быть! Мы едем в Петербург?

ФЕДЯ В Петербург! Мы едем в Петербург!

Федя обхватывает ее обеими руками, и они танцуют, хохоча, как счастливые дети. Наконец, запыхавшись, они останавливаются и, обессиленные, падают на диван. Мария кладет голову на плечо Феди и ластится к нему.

МАРИЯ Ты простишь меня? Я знаю, все эти годы я мучила тебя. Я часто делала твою жизнь невыносимой, но ты простишь меня, правда?

Теперь все это позади. Мы едем в Петербург!

ФЕДЯ В Петербург! Мы едем в Петербург!

Они опять начинают танцевать, но внезапно Марию сражает страшный приступ кашля. Она кашляет, задыхается, кашляет опять. Упавши на диван, она подносит к губам носовой платок и смотрит на него с ужасом – платок весь в крови.

163. Большая скала на границе Европа-Азия – весенний день

Погода стоит замечательная. Сверкает солнце, освещая весенний лес. Николай подъезжает к скале по проселочной дороге и прячется за деревьями. Коляска, везущая Марию и Федю, приближается к пограничной скале. Коляска останавливается, Федя и Мария выходят и направляются к скале, разделенной черной чертой. Справа от черты написано большими буквами АЗИЯ, слева – ЕВРОПА, Федя и Мария опускаются на колени и со слезами на глазах целуют скалу. Из-за деревьев за ними следит Николай. Внезапный порыв ветра колышет ветви деревьев. Федя всматривается в танец солнечных бликов над головой, и видит изящную женскую фигуру, идущую к нему по небу под раскрытым зонтом.

МАРИЯ Чего ты уставился в небо? Что ты там увидел?

ФЕДЯ Я увидел тебя – с зонтом в руке, такую, как тогда в первый раз, в Семипалатинске.

Женщина с зонтом в руке подходит ближе и ближе.

164. Лицо женщины крупным планом

Это Полина.



Георгий Фрумкер

Хочется верить...

Credo quia absurdum est
Тертуллиан



не всегда хочется верить в лучшее. Искренне верю, что Михаил Жванецкий и Сергей Довлатов стояли рядом, когда девушка звонила подруге по телефону из дома отдыха: «Приезжать не советую. Совсем нет мужчин. Многие девушки уезжают, так и не отдохнув». Иначе – как понять такие совпадения в текстах у столь уважаемых авторов?

Верю, что прекрасный актёр Валентин Гафт не знает, что ему приписывают эпиграмму на Михалковых:

«Дорогая Родина – чуешь этот зуд?
Трое Михалковых по тебе ползут».

В противном случае он бы ответил, что плагиатом не занимается. И то, что было написано отцу и сыну Воеводиным в 60-х годах присвоить себе не мог. А написал эпиграмму ленинградский поэт Семёнов.

«Дорогая Родина –
Чуешь этот зуд?
Двое Воеводиных
По тебе ползут»

Иногда, но редко, возникают сомнения в том, что первично. Вот строки из произведения «Автобиография» чикагского поэта Наума Сагаловского:

«Метраж у нас был очень мал,
я рос у самого порога,

меня обрезали немного,
чтоб меньше места занимал».

А вот написанные много позже строчки Игорем
Губерманом:

«Евреи рвутся и дерзают,
Везде дрожжами лезут в тесто,
Нас потому и обрезают,
Чтоб занимали меньше места».

Правда, Наум Сагаловский откликнулся:

«Я заявляю без обмана –
Люблю поэта Губермана.
Дай Бог ему немало дней.
Но если б он свой стих ища
Не брал бы вещи у товарища,
То я б любил его сильнее!»

(Не гарантирую точность. Только смысл. Было
напечатано давно в журнале «Вестник»)

Но очень хочется верить, что мысль эта пришла
обоим. Хотя Игорю Мироновичу и с некоторым опозданием.
Но это на транспорт нежелательно опаздывать...

И страшно хочу верить, что при издании его книг
перед этим произведением по досадному недоразумению
просто выпала строка: «Подражание Саше Чёрному».

«Благодарю Тебя, Создатель,
что сшит не юбочно, а брючно.
что многих дам я был приятель,
но уходил благополучно.
Благодарю Тебя, Творец,
за то, что думать стал я рано,
за то, что к водке огурец
Ты посылал мне постоянно.
Благодарю Тебя, Всевышний,
за все, к чему я привязался,
за то что я ни разу лишний
в кругу друзей не оказался.
И за тюрьму благодарю,

она во благо мне явилась,
она разбила жизнь мою
на разных две, что тоже милость.
И одному тебе спасибо,
что держишь меру тьмы и света,
что в мире дьявольски красиво,
и мне доступно видеть это!!!» –

Впрочем, «подражание» – это по желанию.

Если я считаю обязательным указывать
«подражание...», то для других – это не догма.

Повторюсь – хочется верить во многое.

Очень хочу верить, что ни Андрей Ситнянский, ни
Александр Свиначук не читали моего ироничного
продолжения Тютчева:

«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется»:
Попробуй громко крикнуть «б...дь» –
И каждый третий обернется.

А вот творение Андрея Ситнянского:

Самокритичный здесь народ
Не много их таких найдется
Вот крикни: «Эй ты, идиот!»
– Хоть кто-нибудь, да обернется.

Правда Александр Свиначук тоже постарался:

– Эй, дурак! Над толпой пронесётся,
И охочих, десятка два, три,
Моментально на зов обернется,
Со словами: – Я здесь, не ори!

И хочется верить, что Андрей Алякин никогда не
читал Игоря Алексева:

Изменчива судьба... И посему
Резонно донести до индивида:
Фортуна улыбается тому,

Кого не заприметила Фемида.
(Игорь Алексеев)
Можете сравнить для интереса:
Одну из главных теорем
Жизнь доказала за Евклида:
Фортуна улыбнется тем,
Кого не видела Фемида.
(Андрей Алякин)

Но более всего мне хочется верить, что подборка четверостиший после интервью Губермана в австралийской газете «Горизонт» попала туда (как и слово «меня» в телеграмме Поплавскому из «Мастера и Маргариты») по недоразумению. На всякий случай, привожу подборку моих стихов, которые проходят как «новые губермановские»:

Я Вас люблю! Тому свидетель Бог!
Нет женщины прелестней Вас и краше!
Я ровно в полночь был у Ваших ног...
Потом гляжу: а ноги-то – не Ваши!

Всё может быть, всё в жизни может быть.
Я сам, наверно, сильно изменился,
Но первую любовь не позабыть.
Забудешь тут, когда на ней женился!

Не знаю, зависть – грех или не грех,
Но всё-таки могу предположить,
Что свой позор нетрудно пережить.
Сложнее пережить чужой успех.

Ошибки юности, легко сходили с рук.
Ах, молодость – волшебный звук свирели!
Мы часто под собой пилили сук...
И мы – не те, и суки постарели...

Я образ жизни замкнутый веду.
Живу тихонько, ближним не мешая.
Но я всегда на выручку приду...
Конечно, если выручка большая.

Фортуна в руки не даётся,
Она ведёт себя как хочет:
Сначала, вроде, улыбнётся,
А после – над тобой хохочет.

Мы живём в окружении строгом
И поступкам всегда есть свидетели...
За грехи – наказуемы Богом.
Человечеством – за добродетели.

Шутить я не умею плоско,
Но всем скажу, не для красы,
Что неудач моих полоска –
Длиннее взлётной полосы.

В нас часто проявляется плебейство...
Ну, что ж, один – атлет, другой – Атлант.
Несовместимы Гений и Злодейство,
Но совместимы зависть и талант.

Яви мне милость, всемогущий Бог!
Прости, что оторвал тебя от дел...
Но если сделал ты, чтоб я не МОГ,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
То сделай так, чтоб я и не ХОТЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Как мы умны, находчивы и дерзки,
Как отвечаем – остроумно, грозно.
И потому себе ужасно мерзки,
Что свой ответ всегда находим поздно.

А время нас и лысит, и беззубит,
И с каждым днем становимся мы старше.
И жены нас по-прежнему не любят,
И очень редко любят секретарши.

Хочется верить, что заглавие «Новые Гарики Губермана» – простая опечатка. И сам Игорь Губерман об этом ничего не знает. И что ему из друзей никто об этом не сообщил. Даже после перепечатки этих «Новых Гарики» в

Нью-Йоркских газетах?! А в них ещё более полная подборка моих четверостиший.

Удивительное дело. Ни в одной книге Губермана этих четверостиший нет. (Надеюсь, что пока. А вдруг опять вкрадутся опечатки?). А во всех моих книгах изданных в США и России – они есть. И на сайте «Иронической и Юмористической поэзии» есть. И на моём сайте. Причём некоторые, «Новые ...» впервые изданы в моей книге «Я плохо помню чудное мгновенье...» в прошлом веке. И зарегистрированы в Вашингтонской библиотеке. Как и остальные книги...

П.С.

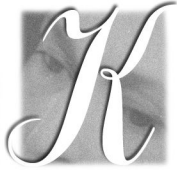
Ещё хочется верить, что те, кто читают мои одностишия (монокрипты), пародии, эпитаграммы, стихи, басни и т. д., со сцены в России, Украине и других странах, всё же будут называть имя автора. И не будут называть мои произведения «народными анекдотами в стихах».

Хотя, как я когда-то написал – «В стране воров – честность наказуема»...



Григорий Рыскин

Реценз-з-з-ия...



акое неблагозвучное слово... Пронзительно-занудное, как оса... Меня повергает в уныние беспросветная страница реценз-з-з-ии, серое поле, засеянное кириллицей... Я дарю читателю дюжину кубиков... Он может сложить из них домик по своему усмотрению... Но лучше оставить все как есть.

«Я хотел бы жить и умереть в Париже...»

(критические фрагменты)

роман Натальи Лайдинен

«Другой Париж: изнанка города»,

изд. «Рипол классик», Москва, 2008 г.

– Не можно служить Богу и мамоне, – говорится в Нагорной Проповеди.

Но Мамоне можно служить и на парижской свалке, ибо она изобильна:

«Поль быстро распахнул мусорный бак, который, на наше счастье, оказался незапертым, и фриганы профессионально закопошились в нем... Мои знакомые отвалили от помойки с довольно богатой добычей: пакетик картошки, морковь, помятые помидоры, луковица, яблоки, пара слегка увядших груш с коричневыми боками... Через пять минут она вернулась с несколькими кусками белого хлеба, сладостями, измятым пакетом виноградного сока...

– Можно обедать! Сегодня, к сожалению, без трюфелей и авокадо, но вполне сносно...».

Кого не хватало в этой компании, так это моего приятеля Мони Барабанера... В Нью-Йорке тридцать лет назад свалки были покрупче парижских. Сразу по приезде мы с Барабанером обнаружили рядом с супермаркетом «Shop Right», в красном контейнере величиной с дом, чуть

початый бурдюк печеночного паштета, пять дюжин яиц-бой, бумажный мешок бубликов с маком... Вскоре жуковатый Моня открыл на базе помойки кошерный ланченет в Бронксе...

– Проститут! – сказала моя мама. – Ганеф (жулик, идиш). Езжай в Вильямсбург к хасидам... У них-то помойка кошер...

Книга Натальи Лайдинен «Другой Париж» – бусы из разноцветных интервью, нанизанных на мысль социолога:

«– А кто в Париже обычно становится бомжем?

– Чаще всего люди, которые не нашли места в обществе... Брошенные жены, спившиеся мужья, потерявшие работу, не сумевшие выплатить кредиты за квартиры... В Париже очень легко оказаться на улице, чуть ли ни треть нормального населения живет в долг... Нелегальных иммигрантов полно к тому же...».

– Не собирайте себе сокровищ на земле, – говорит Мессия. Но это можно истолковать как апологию паразитизма, если вне контекста.

«Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут».

Вслед за описанием лукуллова пира на помойке следует такой диалог:

«– А настоящий парижский клошар – это немного другое... Знаешь Пьера Ришара? Знаменитый актер... Ришара еще до его рождения бросил отец, мот и гуляка, который все свое состояние профукал... Клошар – это философская категория... Им не нужны пособия и бесплатные обеды, им нужна свобода...».

– Настоящий бродяга, даром что по происхождению аристократ».

Именно к этой «философской категории» принадлежала Эдит Пиаф, воспарив с помойки, из мира дольного в мир горний. Но много ли таких под мостами Парижа?

Литературный прием, к которому прибегает автор романа-путеводителя, напоминает эссе Вирджинии Вульф

«Орландо», в середине которого герой меняет пол и становится героиней.

В бедекере Натальи Лайдинен «Другой Париж» писательница тоже меняет пол: становится дотошным репортером Тимофеем. Но в этом естестве остается до конца.

Вместо того чтобы любоваться модерном моста Александра Третьего, Тимофей приглашает нас под мост, в андеграунд, в лимбо парижских клошаров. Свободная одинокая женщина (Тимофей), гуляющая по Парижу в отрепьях клошара.

«Орландо» Вирджинии Вульф, эссе о природе писательского творчества, написано как приключенческий роман. Социологическое эссе Натальи Лайдинен – увлекательное и в то же время обогащающее чтение.

Итак, клошару нужна свобода. Для чего? Во имя чего? О, если бы свободу можно было бы намазывать как масло на хлеб...

Вот как толкует американский социолог Чарльз Мюррей проблему, поднятую Лайдинен:

«Unemployment in the underclass is not caused by lack of jobs or skills, but by the inability to get up every morning and go to work, behaving self-destructively is the problem of the underclass»¹.

Щедрые социалы развращают человека, делают его unemployable and self-destructive. Труд от слова трудно. Зачем же в поте лица добывать хлеб свой насущный, ежели можно получать его, «и не повернув головы кочан».

«Я пошел в сторону палатки с едой для бездомных. На палатке крупная надпись – «РЕСТОРАНЫ СЕРДЦА».

– А таких в Париже много? – не унимался я...

– Да полно... и таких. и других... есть еще реальные рестораны, они подальше...

¹ Безработица андеркласса обусловлена не отсутствием рабочих мест или квалификации, а неспособностью вставать каждое утро и идти на работу, саморазрушительное поведение – проблема андеркласса...

– Бесплатно? поинтересовался я...

– Еще бы они деньги брали... Нас государство должно хорошо кормить... А оно халтурит... Курица или индюшка и то не каждый день бывает... Может, вообще одними яйцами с рисом и овощами питаться скоро будем...

– Я подошел к молоденькой девушке, которая раздавала еду...

– А кто может прийти к вам в ресторан?

– Наши рестораны во всей Франции открыты для всех, кто просто хочет есть... Мы его примем, накормим, обогреем... есть горячий душ... Сегодня мы раздаем бесплатно в год шестьдесят миллионов (!) обедов...

– А чем еще вы занимаетесь?

– Мы организуем для них стажировки, курсы, устраиваем на работу... Всегда есть такие, кто хочет порвать с улицей, вернуться обратно в общество... просто им не хватает сил.

– На чьи деньги сегодня живет сеть?

– Нам помогают меценаты-бизнесмены».

Но отчего слезоточивая благотворительность по отношению к пустоплясу и такой беспощад к трудяге из среднего класса, несущего бремя налогообложения (в странах Европы до 40 процентов)?

А вот почему...

Средний класс не страшен правящей элите... Он «УРАВНОВЕШИВАЮЩЕЕ СОСЛОВИЕ». Он законопослушен... У него есть банковский счет, автомобиль и дом, поэтому он заинтересован в соблюдении законности.

Великие Французская и Октябрьская революции преподали «правлящей элите» урок: НАДО ПОДЕЛИТЬСЯ с андерклассом. Он бикфордов шнур революционного взрыва. Люмпену терять нечего... Восстав, он начинает крушить кареты и автомобили, поджигать дворцы и города. И потому от него необходимо откупиться. Он «могильщик». Он санкюлот, Красная гвардия революции. Он «шариковы».

Об этом предупреждали Бурбонов и Романовых, но те не внимали. За что Людовик с Антуанеттой, Николай с

семейством и поплатились... НАДО ПОДЕЛИТЬСЯ... Иначе из-под моста явится призрак Робеспьера.

Вот какие идеи навеивает вдумчивому читателю этот роман-путеводитель...

Думается, подобные мысли приходят в голову и французскому лидеру Саркози, после недавних боев с арабским отребьем в предместьях Парижа.

Америка до сих пор не может оправиться от шока расовой войны шестидесятых. Голосуя за белозубого, стройного, загорелого президента, она избавляется от застарелого комплекса вины перед черным андерклассом...

Помните ли, читатель, концовку Фауста? Умудренный, полуслепой, гетевский герой осушает болота, чтобы накормить человечество, спасти мать-природу:

«Годы жизни прошли не даром....

Ясен предо мной

Конечный вывод мудрости земной....

Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый миг за них идет на бой».

У ног изможденного трудом Фауста копошатся лемуры... Мешают, путаются под ногами...

Не слишком ли много ЛЕМУРОВ?

Наш Тимофей классифицирует парижских туняйцев, как Карл Линней растения, млекопитающих и гадов. Но КЛОШАР, по его мнению, явление особое. Он воплощение платоновской идеи чистой свободы, поэт, бессребреник, романтик. Клошар есть философская категория.

Давайте отнесемся по-джентельменски, с уважением, к этому суждению. Но жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. В этих словах русского Робеспьера есть момент истины...

Образ клошара проходит сквозь весь роман Н. Лайдинен.

Но в книге есть иная, более обнадеживающая тема.

Мы видим неведанное моему поколению русское племя. Из этих пытливых бродяг по Европе, возможно, явятся новые лидеры. Они придут на смену нынешних, станут рычагом, который развернет великую страну лицом к здравому смыслу демократии...

Роман-путеводитель вовсе не о клошарах. Гоня за оборванцем, Лайдинен ненавязчиво знакомит читателя не только с Парижем, но и с механизмом демократии, ее плюсами и минусами, которые вместе живут.

«Другой Париж – изнанка города»... Но ведь только вывернув шубу наизнанку, мы увидим все ее швы и прорехи.

У России есть нефтедоллары и пространства, но нет современного административного ресурса – главного ингредиента преобразований. Прежде чем «поднять Россию на дыбы» Петр отправил молодежь учиться за границу. И не только корабельному мастерству. Странствуя по Европе, мыслящий русский человек обретает чувство исторической миссии своей Родины, ее сопричастности к человечеству.

Ведь не случайно дотошный Тимофей постоянно вопрошает и ищет ответа...

Можно было бы сотворить наукообразную социологическую диссертацию. Вместо нее Лайдинен пишет увлекательный роман-путеводитель, который определенно изменит наши прежние представления о Париже и Франции.

Соедините этих русских странников с мозговым веществом эмиграции: программистами, экономистами-аналитиками, бизнес-администраторами, чуждыми лениности и коррупции, ищущими новых решений, обзоревающими мир в едином информационном поле интернета, вы получите мощный ресурс, которого так не хватает фонтанирующей нефтью стране. Если у России и есть надежда, то она в этой молодежи, мыслящей глобально, знающей языки и законы свободного рынка... Она противовес самодержавным тенденциям, национальной гордыне, неонацизму.

Сквозь репортажность стиля постоянно проглядывает искусство слова... Вот нашему герою клошары преподают методику своего мастерства:

«– Для начала надо картонку изготовить! – с видом знатока сообщил Марсель...

– Что бы мне на ней написать?

– Пиши «ГОЛОДАЮ».

– А может, что-то пожалостливее?

– Не-а, пиши «ГОЛОДАЮ»! А язвы у тебя есть?

– Язвы? Какие?

– Ну, обычные, на теле... Лишай или струпья?

– Да нет вроде, – поежившись, ответил я...

– Жаль! – философски заметил Луи... – А то бы дали больше...

– А у меня вот есть язвы! – радостно сообщил Марсель...

Оборванец закатал рукав и продемонстрировал мне разъединенную болезнью в нескольких местах руку...

– Может, лучше подлечить?

– Да ты что! – замахали руками оба нищих.

– У Марселя еще ерунда! – сказал Луи. – А вот у Мартина, который на углу, вообще мечта... ноги нет, а вторая сухая... Руки все в струпьях... Ему за день дают больше, чем нам обоим... Настоящий бездомный должен ходить в обносках и не лечить болезни... Вот ты пришел, принес нам вина, уважил. Поговорили душевно. Все хорошо...»

Такой текст понравился бы Сергею Довлатову.

Но тут подает голос странствующий бывалый Публицист, повергая читателя в ужас:

«Хорошо, хоть это явление не приняло пока индийских масштабов, когда сердобольные родители страшно калечат детей, надеясь, что в будущем они смогут заработать на своих увечьях, сшибая гроши с испуганных туристов...»

Мне нравится лирический герой романа. Тимофей хорошо сложен, владеет боевыми приемами дзюдо, самбо, джиу-джитсу, конфу, повергает в бегство вооруженных

бандитов, при этом не чурается труда: вкалывает мойщиком окон, глотателем огня, продавцом в секс-шопе и даже тамбурмажором, кочует с табором по Франции, где влюбляет в себя красавицу-цыганку. И неустанно задает вопросы.

Но я тоже хотел бы поставить один «политически некорректный» вопрос.

В сей миг в волнах между Испанией и Африкой гибнут люди. Они пытаются переплыть с голодного континента в страну сытых: в Барселону, Рим, Париж.

Эти казнимые солнцем лагеря африканских беженцев. Миллионы чернокожих клошаров в цветном тряпье среди выводов черных скелетиков, эти детские облепленные мухами голодные глаза...

Но у меня вопрос, «закорюка из закорюк». Отчего на континенте голодных делают так много детей?.. Отчего на крохотной каменной рыбке, под названием ИЗРАИЛЬ, сжигаемой тем же африканским солнцем (и арабской ненавистью), плодоносят апельсиновые сады и финиковые пальмы на капельном орошении, а супермаркеты ломаются от жратвы? Совсем рядом с убогими арабскими деревнями.

Если подключить мощь негро-арабского либидо к высоковольтной системе, можно весь континент голодных электрифицировать.

Почему, вместо того чтобы неустанно буравить своих женщин, обитатели пустынь не бурят артезианские скважины, чтобы устроить и у себя капельное орошение, а не рваться через пролив к европейскому социалу? Drill, baby, drill. Почему их не призывают к этому коррумпированные лидеры с лоснящимися лицами?

Вспомним, читатель, итальянскую аристократку, из «Сладкой жизни» Феллини. Она предпочитает отдаться репортеру (Мастроянни) не в будуаре палатца, а в затхлой постели проститутки. Наши Мессалины (из новых русских) покруче.

Пустите Дуньку в Европу, она вам такой чертогон отчебучит:

«Приехали две шикарные бизнес-леди... Говорят, у них в Москве сеть крупнейших салонов красоты... Такие все сделанные, с губами накаченными, сиськами силиконовыми...

– Неужели и они побомжевать захотели?

– Хуже! Они захотели побыть проститутками...

– И как это происходило?

– Поскидали свои деловые костюмы, обрядились в джинсовые мини, раскрасились... И на улицы, задницами вилять... С первой попытки клиента подцепили... Короче, обслужили шестерых... Практически даром...»

Бог умер. Вот основа новейшего быта. Презренный Рим гниет как сифилитик...

«– Прикинь... я тут напрягаюсь, – говорит один из телохранителей разгульных россиян, – а эти козлы переделались в лохмотья и придуриваются. Один, вице-президент крупной нефтяной компании, вылез в час пик на улицу милостыню просить.. Уселся на тротуаре с картонкой. За час сто евро собрал... Такой маленький, шупленький, лысенький...»

Этот увлекательный бедкер не только путеводитель по заповедным улочкам и площадям неповторимого города, он есть «энциклопедия русской жизни» Парижа.

На страницах романа-путешествия мы встречаемся с российскими бродягами-музыкантами, нелегалами, с проститутками «непонарошку».

Но мне больше всего по душе романтики дальних дорог:

«– Да, классный город, веселый, тусовочный...

– Тяга к странствиям! – хором сказали ребята...

– Как вы путешествуете?

– Когда как повезет... Денег у нас немного... Иногда автостопом...

– Мы поезда уважаем... Во-первых, на вокзалах дешевые туалеты, всегда можно помыться... Во-вторых, можно несколько станций бесплатно проехать».

Как все-таки изменилась Русь. Вспомним аксеновских «пожирателей километров» из романа «Звездный билет».

Пределом их упований была таллинская Пирита у холодного серого моря. Ну разве еще Болгария. Курица не птица, Болгария не заграница.

А теперь весь мир распахнут молодежи навстречу...

Читая эту книгу, я почувствовал, как поворачивается эпоха, и увидел пролежни на ее боках...

«Праздник, который всегда с тобой» написан Эрнстом Хемингуэем полстолетия назад. Его книга о Париже двадцатых, когда там все было дешево и можно было прожить на сущие гроши. И «потерянное поколение» было все-таки очень молодо.

«Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж – это праздник, который всегда с тобой».

В последний мой приезд в Париж я ехал в электричке от аэропорта Де Голля, сопровождаемый устрашающими граффити: арабская вязь вплеталась в латиницу. Париж прогонял меня сквозь строй.

– Гримасы цивилизации, – сказала на хорошем британском французенка с усталым и нежным лицом...

– Варвары, ворвавшись в Рим, стали уродовать копьями мрамор классических колоннад, – энергично отреагировал я...

Улыбка ее была печальна... Мой праздник был осквернен...

Главная библейская заповедь – аскеза труда... Авраам – пастырь многочисленных стад, Христос – столяр... Согласно Торе, мудрец обязан владеть ремеслом. Маймонид – врачеватель. Сократ – каменотес. Роберт Бернс – пахарь... Второй Роберт... Фрост – фермер... Якоб Беме – сапожник.

Нет в мире ничего прекрасней БЫТИЯ, но человек обязан расплачиваться за него АСКЕЗОЙ ТРУДА... И если

некая популяция отказывается от АСКЕЗЫ, бремя приходится перекладывать на плечи законопослушных.

Вот из недавней статьи Грегга Смита из «NY. Times»:

«France is low on the curve toward developing an entrenching, structural UNDERCLASS – and that could breed extremism and lasting social problems»².

И это несмотря на чрезвычайно щедрый французский «социал». За государственную квартиру семья из четырех платит всего около двухсот долларов в месяц, получая пособий на сумму 1200. Образование и медобслуживание бесплатные...

Но это безумие. Слезоточивый абсурд социала убивает в человеке стимул к труду, способность к обучению и переобучению. Не потому ли уровень безработицы среди французских арабов составляет 30 процентов. Чем же заполнить пустоту существования? Давайте спросим об этом месье Саркози.

А вот корреспонденция из американского «City Journal»:

«No dinner party is complete without a horrifying story... Every crime means a vote for Le Pen or whoever replaces him...

The much vaunted French educational system was falling apart, illiteracy was rising, children were leaving school as ignorant as they entered and much worse- behaved»³.

«Если тебе повезло и в молодости жил в Париже, то, где бы ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж – это праздник, который всегда с

² Во Франции нарастает тенденция к образованию «структурного» андеркласса. А это путь к экстремизму и серьезным социальным проблемам.

³ Ни одна вечеринка не заканчивается без какой-нибудь устрашающей истории... каждое преступление увеличивает количество приверженцев Ле Пена... Столь превозносимая французская система образования распадается, уровень безграмотности растет, дети покидают школы столь же невежественными, как и до поступления в них, а ведут себя еще и похуже...

тобой)... Париж Хемингуэя – другой. Не накрытый волной глобализации.

Пиросман рисует трактирные вывески на клеенке в духане, а выходит живопись. Лайдинен пишет путеводитель по Парижу, получается искусство слова. Репортаж постоянно прерывается такими вот лирическими интермеццо:

«Я брел не спеша по бульвару Клиши, сверкающему ночными витринами, и смотрел на людей, которые подобно бабочкам с любопытством слетались на дешевые разноцветные огоньки витрин. Я вдруг подумал, что в мире наступает время глобального одиночества... Вспомнилось, что эти места издавна притягивали к себе людей с изломанной творческой судьбой... Кто тут только не жил: Тулуз-Лотрек, Сера, Ван Гог, Пикассо... Теперь на этом месте расположены ресторанчики быстрого питания и XXX-кинотеатры. Мне стало очень грустно»

Интонация Кнута Гамсуна...

Я понял, наконец, что такое Клошар. Мне все про него растолковал симпатичный Тимофей:

«Те, кто бросает обычную жизнь, устает от нее или разочаровывается в ней... Уходит жить под мосты, в подворотни и не страдает от этого. Тот, кто ловит кайф в альтернативном существовании. Не нуждается в больших деньгах и квартирах, не заморочен на том, как содержать семью... Кто просто живет»

Мне тоже захотелось в клошары. Я взглянул на карту и обнаружил: Париж на широте Астрахани. А как уйти в клошары в Северной Пальмире? Или, к примеру, в Туле? Лев Николаич попытался «поймать кайф в альтернативном существовании», далеко не ушел: крупозное воспаление легких...

Юноша Пастернак, прибыв на станцию вместе с отцом-художником, вызванным, чтобы зарисовать Льва на смертном одре, увидел в комнатке станционного зрителя маленького сухонького старичка – всечеловеческого клошара...

Ах, если бы в промозглом Петербурге можно было уйти в клошары, Роде Раскольникову не нужно было бы убивать старуху-процентщицу и Елизавету... С такими-то суповыми кухнями и роскошными социалами, как в Париже...

Но похоже парижскую рвань не совсем устраивает «альтернативное существование». Вот они митингуют в саду Тюильри.

«– В последнее время государство совсем распоясалось...

– Нам нужны крыша над головой, письменный стол, мастерская для творчества и собственный душ!

– Выбьем двери пустующих квартир!

– У скваттеров давняя история – когда-то они пытались занять Лувр».

А кто это там изображен на картине Делакруа «Свобода на баррикадах?». Да это клошары.

Один, тощий, без порток, картинно разлегся у самых ног полногрудой (topless) Красавицы-Свободы...

В книге разливается многоголосие люмпенов на интернациональном бомжовом конгрессе в Страсбурге, куда читателя приводит неутомимый Тимофей...

«– Возьмешь псинку, напишешь на картонке крупными буквами «НА пропитание собаке»... Придешь – уже мелочишки на еду накидают...

– А вот в России бомжи собак и кошек едят...

– В Париже все бомжи в государственных палатках...

– А немцам-то что... их пеннеры как сыр в масле...

Получают очень хорошие пособия.

– Им даже деньги на водку выдают...

– Вот это коммунизм... На зиму вообще многие в теплые страны подаются...

– По нашим меркам вообще очень обеспеченные люди...

– Не то что пенсионеры российские»

Но мое нравственное чувство требует вписать в эту божью полифонию ГЕНЕРАЛ-БАС Фридриха Ницше:

«Инкубатор демократии стремительно размножает уродов, больных, бедных, наркоманов, алкоголиков, примитивов, ленивых, наглых, трусливых, лживых, коварных, склонных к предательству и паразитизму».

Владимир Даль определяет все короче: «ЕРА – Беспутный тунядный человек, плут и мошенник, развратный шатун...»

И совсем не важно, как он там себя величает, наш расхристаный аристократ духа, Вагобонд, Клошар... Бомж... Имя ему ЕРНИК... Именно этим словом казнил беспутного мужика Лев Николаевич Толстой...

Вот какие серьезные мысли порождает у вдумчивого читателя бедкер Натальи Лайдинен. Как видите, он не только для путешественников и туристов...

Но было бы несправедливо и обидно для уточненного и талантливой автора закончить на этой ноте.

Я знал литературных критиков, и довольно известных, толковавших о книге, не дочитав ее до конца. Они хуже чеховского профессора Серебрякова, который пишет об искусстве, ничего не понимая в нем...

По заповедным парижским улочкам Наталья Лайдинен уводит нас... из «неволи душных городов» в иные сферы...

Точно так же как писательница становится на страницах романа Тимофеем, ее Муза превращается в Клошара и является нам в конце в облике Мориа. Обаятельный, эрудированный, остроумный, он ведет читателя по кладбищу Пер-Лашез и парижским катакомбам, как Сергей Довлатов вел экскурсии по Пушкинскому заповеднику:

«Старик явно был в ударе... Он беспрерывно хохмил и рассказывал увлекательные истории из жизни знаменитых покойников.

– Если не ошибаюсь, Оскар Уайльд где-то здесь захоронен? – проявил эрудицию я...

– Ага, вон в той стороне! Гениальный бедолага отсидел в английской тюрьме за гомосексуальный роман с лордом Альфредом Дугласом... нашел на Пер-Лашез последнее пристанище... Но мы не пойдем туда. Там всегда однополые коллеги собираются и, бывает такое вытворяют... Не для нежных девичьих глаз...

– Смотрите, что тут краской написано, на склепе – Джим Моррисон.

– Пойдемте лучше навестим Шопена. В отличие от Моррисона, он настоящий композитор...»

Клошар, понимающий Шопена... Ты глубоко копаешь, старый крот. Ты недаром ешь хлеб своего «социала»...

Но не могу же я вести экскурсию за Мориа, тем более что в конце он таинственно исчезает, оставив после себя вот такое стихотворение в прозе:

«Ответы не в утробах отравленных городов, не в жадной до зрелищ пресыщенной чужими страданиями послушной толпе, а в освобождении себя от всяческих фальшивых границ и ложных ценностей...»

Очиститься, отбросить страх и вернуть возможность изначальной стихийной свободы, творчества и любви – не в этом ли главная тайна бытия?»

Но где кончается Свобода и начинается кошмар неприкаянной свободы, когда Бога и Бессмертия нет и все дозволено? Но Мориа исчезает, и наш вопрос повисает в воздухе...

Не можем же мы присобачить эту клошарью мудрость – автору романа.

В отличие от Мориа, у Натальи Лайдинен другая шахматная партия, и она выигрывает ее с блеском:

«– Тимофей! – раздался в трубке энергичный мужской голос. – Поздравляю! Вы сделали классную работу. Особенно в той части, которая касается клошаров и кризиса эпохи постмодернизма, перспектив и возможности бунта

низов и интеллигенции... Вы попали в точку интересов самых разных целевых групп».

У русского человека две родины – Россия и Франция. Пушкинская Татьяна говорит на родном языке с французским акцентом. Тургенев прожил значительную часть жизни на краешке гнезда Полины Виардо. «Война и мир» начинается с полилога на безупречном французском.

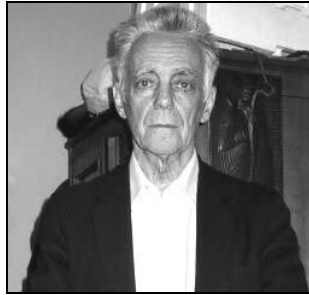
Я возвращаюсь в Париж, как в отчий дом, и в потоке моего сознания всплывает песенка Портоса (а, может быть, Атоса):

«Бар-бар-бар- бар-бар -бар -р-р-а-а-а,
Шагай, мой конь Малыш,
В поэтами воспетый... от погребов до крыш,
Пари-и-и-ж... Пари-и-и-ж... Пар-и-и-ж...»

Нью-Йорк



Об авторах



Борис Болотовский – доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник ФИАН.



Василий Демидович – доцент мехмата МГУ, ведущий научный сотрудник НИИ системных исследований РАН.



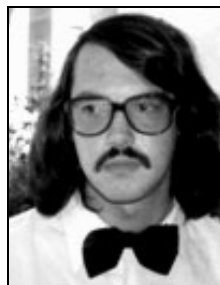
Элиэзер Рабинович – кандидат технических наук. Автор статей по основной специальности и на исторические темы.



Андрей Пелипенко – доктор философских наук, профессор.
Кандидат искусствоведения



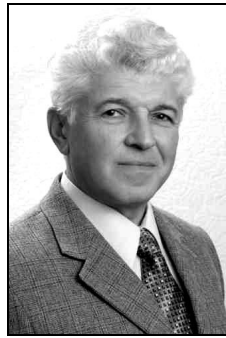
Эстер Пастернак – поэт, журналист, прозаик. В Израиле проживает с 1979 года. Автор нескольких книг стихов.



Генрих Нейгауз (мл) – Пианист, музыкальный критик,
богослов.



Йегуда Векслер – Музыковед, переводчик. Автор нескольких книг. В Израиле с 1979 г.



Александр Селицкий – доктор искусствоведения, профессор, член Союза композиторов России.



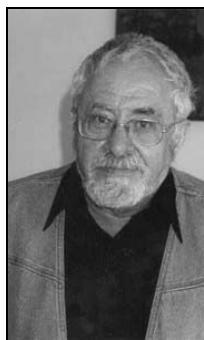
Марк Райс. – композитор, музыковед, журналист, педагог, редактирует музыкальный интернет-журнал «Израиль XXI».



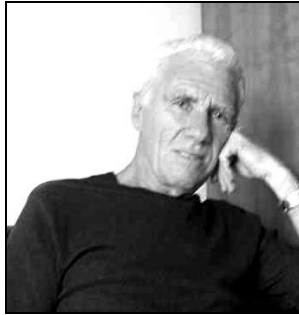
Давид Паташинский – поэт, автор нескольких стихотворных сборников.



Софья Шапошникова – автор более 20 книг прозы и 9 книг стихов. Член Союза русскоязычных писателей Израиля



Марк Азов – член союзов писателей России и Израиля, главный редактор журнала «Галилея».



Даниэль Тамар – инженер, тренер, писатель. Автор трёх книг. Живёт в Израиле.



Елена Мазур-Матусевич – профессор университета штата Аляска (США), автор книги «Золотой век французской мистики», писатель, выставяющийся художник.



Хаим Соколин – доктор геолого-минералогических наук. Автор многих рассказов, повестей, статей, романа.



Нина Воронель – автор книг стихотворений и переводов (2001), трёх романов и книги воспоминаний.



Георгий Фрумкер – поэт, автор нескольких сборников иронической поэзии и прозы.



Григорий Рыскин – писатель, публицист, автор нескольких книг. Почетный член Союза писателей России.

Журнал «Семь искусств», Октябрь 2010
ред.-сост. Евгений Беркович
изд-во «Общества любителей еврейской старины»
Ганновер 2010, 531 стр. 22 а. л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная верстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер
Общество любителей еврейской старины